

ISSN 0130-7673

Н О В Ы Й
М И Р

N M I V R Y

4

2005

МИР

НОВЫЙ

2005

4

НОВЫЙ ВЕК, НОВЫЙ МИР

БУДЬ КОНСЕРВАТОРОМ, ВЫБЕРИ СВОБОДУ

В 2005 ГОДУ «НОВЫЙ МИР»
ПРЕДПОЛАГАЕТ ОПУБЛИКОВАТЬ:

АНАТОЛИЙ АЗОЛЬСКИЙ. Полковник М. (повесть);
СВЕТЛАНА АЛЕКСИЕВИЧ. Новая книга;
АРКАДИЙ БАБЧЕНКО. Взлетка (повесть);
ДМИТРИЙ БАВИЛЬСКИЙ. Роман с китайцем;
АНДРЕЙ БИТОВ. Год козы (стихи);
ИГОРЬ БУЛКАТЫ. Кавказский лабиринт (роман);
ДМИТРИЙ БЫКОВ. Отвращение (роман); Автопортрет на фоне
(стихи);
СВЕТЛАНА ВАСИЛЕНКО. Мария из Магдалы (повесть);
СЕРГЕЙ ГАНДЛЕВСКИЙ. Синий свет (стихи);
ВЛАДИМИР ГЛОЦЕР. Я помню;
НИНА ГОРЛАНОВА, ВЯЧЕСЛАВ БУКУР. Повесть о герое Ва-
силлии и подвижнице Серафиме;
БОРИС ЕКИМОВ. Рассказы и очерки;
ИРИНА ЕРМАКОВА. В вечерней воде (стихи);
АНДРЕЙ ЗУБОВ. Размышления над причинами революции в
России (Павел I и Александр I);
ФАЗИЛЬ ИСКАНДЕР. Новые рассказы;
АНАТОЛИЙ КИМ. Сеть (повесть);
НИКОЛАЙ КОНОНОВ. Чуть позже (роман);
ОЛЕГ ЛАРИН. Тысяча и одна речь (рассказ);
ВЛАДИМИР МАКАНИН. Новый роман;
АЛЕКСАНДР МЕЛИХОВ. В долине блаженных (роман);
ТАТЬЯНА МИЛОВА. Забытый в книге (стихи);
ВЛАДИМИР НОВИКОВ. Моншер (роман);
ОЛЕГ ПАВЛОВ. Чаровщина;
ЮРИЙ ПЕТКЕВИЧ. Заморозки (повесть);
ИРИНА ПОВОЛОЦКАЯ. Пустырь (повесть);

(См. на обороте)

ИРИНА ПОЛЯНСКАЯ. Как трудно оторваться от зеркал (роман);

ВАЛЕРИЙ ПОПОВ. Новая повесть;

ЗАХАР ПРИЛЕПИН. Рассказы;

ЕЛЕНА РАБИНОВИЧ. Филологические новеллы;

ЕВГЕНИЙ РЕЙН. Избранник (роман);

ДИНА РУБИНА. На солнечной стороне улицы (роман);

ВАЛЕРИЙ СЕНДЕРОВ. Власть и общество в России в прошлом и настоящем (историко-публицистический очерк);

РОМАН СЕНЧИН. Дочка (повесть);

ОЛЬГА СЛАВНИКОВА. Период (роман);

АЛЕКСЕЙ СЛАПОВСКИЙ. Новая проза;

АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН. Этюды из «Литературной коллекции»;

РОМАН СОЛНЦЕВ. Книга провокаций;

ЭРИХ СОЛОВЬЕВ. Переосмысление талиона (статья вторая);

АЛЕКСАНДР ТИТОВ. Никиша (повесть);

АНТОН УТКИН. Крепость сомнения (роман);

ОЛЬГА ШАМБОРАНТ. Стокгольмский синдром. Предварительные умозаключения (цикл эссе);

СЕРГЕЙ ШАРГУНОВ. Как меня зовут? (роман);

ГЛЕБ ШУЛЬПЯКОВ. Синан (книга путешествий);

ГАЛИНА ЩЕРБАКОВА. Новая повесть;

а также стихи **МАКСИМА АМЕЛИНА**, **МАРИНЫ БОРОДИЦКОЙ**, **ЕВГЕНИЯ КАРАСЕВА**, **БАХЫТА КЕНЖЕЕВА**, **ГРИГОРИЯ КРУЖКОВА**, **ЮРИЯ КУБЛАНОВСКОГО**, **ИНГИ КУЗНЕЦОВОЙ**, **АЛЕКСАНДРА КУШНЕРА**, **ИННЫ ЛИСНЯНСКОЙ**, **АНАТОЛИЯ НАЙМАНА**, **ОЛЕСИ НИКОЛАЕВОЙ**, **ВЕРЫ ПАВЛОВОЙ**, **ОЛЬГИ ПОСТНИКОВОЙ**, **СЕРГЕЯ СТРАТАНОВСКОГО**, **ОЛЕГА ХЛЕБНИКОВА**, **ИЛЬИ ФАЛИКОВА**, **ОЛЕГА ЧУХОНЦЕВА**, **ЕЛЕНУ ШВАРЦ**; статьи, обзоры, эссе **КИРИЛЛА АНКУДИНОВА**, **ДМИТРИЯ БАКА**, **СЕРГЕЯ БОРОВИКОВА**, **СЕРГЕЯ БОЧАРОВА**, **ДМИТРИЯ БЫКОВА**, **ВЛАДИМИРА ГУБАЙЛОВСКОГО**, **НИКИТЫ ЕЛИСЕЕВА**, **ЕВГЕНИЯ ЕРМОЛИНА**, **АЛЛЫ ЛАТЫНИНОЙ**, **АЛЛЫ МАРЧЕНКО**, **ВАЛЕНТИНА НЕПОМНЯЩЕГО**, **ВАЛЕРИИ ПУСТОВОЙ**, **МАРИИ РЕМИЗОВОЙ**, **РЕВЕККИ ФРУМКИНОЙ**, **ДМИТРИЯ ШЕВАРОВА** и других авторов.

NEW!

Частные лица и организации, находящиеся в любой точке земного шара за пределами Российской Федерации и стран СНГ, могут подписаться на журнал «НОВЫЙ МИР» без посредников, круглый год, с любого месяца, на любой срок и на любое количество экземпляров.

СПОСОБ ЗАКАЗА: по факсу, по электронной почте или по Заявке (см. ниже).

СПОСОБ ОПЛАТЫ: 100 % предоплаты на счет ЗАО «Редакция журнала „Новый мир“» № 40702840938040101095 в Московском банке Сбербанка г. Москвы, Российская Федерация, Тверское отделение 7982, корр. счет 30301840638000603804.

Tverskoe OSB 7982 MB SBERBANK PF, Moscow, Russia, ACC. 30301840638000603804, ACC. Beneficiary: 40702840938040101095.

Заявка принимается к исполнению с момента поступления денег на счет редакции. О возможности купить номера журнала за прошлые годы можно узнать в редакции.

СТОИМОСТЬ одного экземпляра в 2005 году: \$ 10.

СТОИМОСТЬ годового комплекта: \$ 120.

ЗАО «Редакция журнала „Новый мир“» обязуется: отправлять заказчикам журналы в экспортном исполнении (белой обложке) по почте бандеролью в течение 5 дней с момента выхода тиража за счет редакции, обменивать бракованные экземпляры или повторно высылать не полученные заказчиком экземпляры за счет редакции, немедленно информировать заказчиков о всех затрагивающих их изменениях (объем журнала, периодичность, цена и проч.).

С момента передачи оплаченного тиража журнала на Московский почтамт обязательства продавца считаются выполненными и право собственности переходит к подписчику.

Адрес редакции: Россия, 127994, ГСП-4, Москва, К-6,
Малый Путинковский переулок, 1/2, Редакция журнала «Новый мир».
Телефон/факс: (095) 200-08-29, (095) 209-62-13.
E-mail: novy-mir@mtu-net.ru

Заявка на подписку на журнал «НОВЫЙ МИР»

(вырезать или ксерокопировать Заявку, заполнить и отправить в редакцию по почте или по факсу либо отправить все требуемые в Заявке сведения по факсу или по электронной почте)

Я (фамилия, имя или название организации) _____

прошу подписать меня на ежемесячный журнал «Новый мир»
с _____ (месяц, год) на _____ месяцев.

Количество экземпляров _____

Стоимость заказа _____ (число месяцев x число экземпляров x \$ 10).

Дата оплаты (Заявка заполняется и отправляется в редакцию после оплаты) _____

Контактный телефон (факс, e-mail) _____

Адрес для отправки журнала (почтовый индекс, страна, город, улица, дом, имя и фамилия получателя) _____

Подпись заказчика и дата заполнения Заявки _____

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Подписные индексы «Нового мира» в зеленом Объединенном каталоге «Подписка-2005. Пресса России»: 70636 — для индивидуальных подписчиков и библиотек, 16410 — для предприятий и организаций. Спрашивайте этот каталог во всех отделениях связи.

Те из вас, кто имеет возможность приходить за журналом в редакцию «Нового мира», могут оформить *льготную* подписку по адресу: Малый Путинковский переулочек, 1/2 (м. «Пушкинская», «Чеховская», «Тверская»), в понедельник, вторник, среду, четверг с 10 до 18 часов. Для членов творческих союзов, преподавателей высших и средних учебных заведений, студентов вузов, постоянных подписчиков, пенсионеров и инвалидов в редакции предусмотрены дополнительные льготы.

В редакции можно приобрести отдельные номера «Нового мира». Журналы выдаются подписчикам в понедельник, вторник, среду, четверг с 10 до 18 часов. (Справки по тел. 200-08-29.)

Спрашивайте наш журнал в московских книжных магазинах: ООО «Паолине» (Большая Никитская, 26/2, т. 291-65-15), ПК «Фаланстер» (Большой Козихинский пер., 10, т. 504-47-95), ООО «Анега Р» (Большая Дмитровка, 12, т. 229-34-53), «Ad Marginem» (1-й Новокузнецкий пер., 5/7, т. 951-93-60), ООО «Викмо-М» (ул. Нижняя Радищевская, 2, т. 915-27-97), ООО «Анега Д» (ул. Никольская, 19/1, т. 921-58-27).

Распространением журнала «Новый мир» за рубежом занимаются: германская фирма «Кубон унд Загнер» (Kubon & Sagner, D-80328 München Germany. Tel. (089) 54-218-130. Telex: 5216711 kusa d. Fax (089) 54-218-218; Электронная почта: postmaster@kubon-sagner.de Адрес в Сети: <http://www.kubon-sagner.de/ksinfo>)

американская фирма «Ист Вью Пабликейшенз» (East View Publications, Inc. 3020 Harbor Lane North Minneapolis, MN 55447 USA. Tel. (763) 550-0961. Fax (763) 559-2931. В Москве тел. (095) 318-09-37, факс (095) 318-08-81).

Уважаемые зарубежные подписчики!

Экземпляры журнала, предназначенные для распространения за пределами России и стран СНГ,

выходят в обложке белого цвета с надписью «Novy Mir».

Приобретая «Новый мир» в голубой обложке, вы отдаете свои деньги фирмам, не связанным официальным контрактом с журналом, что наносит редакции финансовый ущерб.

Вы очень поможете «Новому миру», оформляя подписку через наших официальных распространителей (см. стр. 4) или через редакцию журнала (см. стр. 3).

НОВОЫЙ МИР®

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ И ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ

Издается с января 1925 г.

№ 4 (960)

Апрель, 2005 г.

СОДЕРЖАНИЕ

МАРИЯ ВАТУТИНА — На любых руинах, стихи	7
ОЛЕГ ЕРМАКОВ — Холст, роман. Окончание	11
АНАТОЛИЙ НАЙМАН — Свой мир, стихи	75
ОЛЕГ ЗОБЕРН — Два рассказа	80
ЭЛЛА КРЫЛОВА — Оторвавшись от ветки, стихи	86
АНАТОЛИЙ КУЗНЕЦОВ — Я дошел до точки... Главы из книги. Публикация и предисловие Алексея Кузнецова	90
ДМИТРИЙ БОБЫШЕВ — Волной о причал, стихи	139

ОПЫТЫ

ГРИГОРИЙ ПОМЕРАНЦ — Опыт Майкельсона	144
--------------------------------------	-----

КОММЕНТАРИИ

АЛЛА ЛАТЫНИНА — Ваши классики — уроды и кретины, — объясняет нам Маруся Климова	150
---	-----

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ВАСИЛИНА ОРЛОВА — Как айсберг в океане. Взгляд на современную молодую литературу	158
--	-----

РЕЦЕНЗИИ. ОБЗОРЫ

Никита Елисеев. Слишком человеческое...	169
Евгений Ермолин. Костер в овраге	173
Михаил Бутов. Судьба барабанщика	178
Василий Костырко. Призрак традиционализма	182

(См. на обороте)

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

КНИЖНАЯ ПОЛКА МИХАИЛА ЭДЕЛЬШТЕЙНА	184
ЗВУЧАЩАЯ ЛИТЕРАТУРА. СД-ОБОЗРЕНИЕ ПАВЛА КРЮЧКОВА	190
КИНООБОЗРЕНИЕ ИГОРЯ МАНЦОВА	197
WWW-ОБОЗРЕНИЕ СЕРГЕЯ КОСТЫРКО	204

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ЛИСТКИ

Книги (составитель Сергей Костырко)	210
Периодика (составители Андрей Василевский, Павел Крючков)	213
SUMMARY	240



ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЛИТЕРАТУРНОГО КРИТИКА, ЛИТЕРАТУРОВЕДА
ИГОРЯ ЗОЛОТУССКОГО
С ПРИСУЖДЕНИЕМ ЕМУ
ЛИТЕРАТУРНОЙ ПРЕМИИ
АЛЕКСАНДРА СОЛЖЕНИЦЫНА!

ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШЕГО КОЛЛЕГУ, ПОЭТА
ОЛЕГА ЧУХОНЦЕВА
С ПРИСУЖДЕНИЕМ ЕМУ
ЛИТЕРАТУРНОЙ ПРЕМИИ
ИМЕНИ БОРИСА ПАСТЕРНАКА!

Издание выходит при поддержке Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации.

МАРИЯ ВАТУТИНА



НА ЛЮБЫХ РУИНАХ

* *

*

Ад — это слово, которое символизирует... вечную смерть,
Смерть, которая все время происходит.

М. Мамардашвили.

Видишь, я выжила: даже смеюсь подчас.
Даже молюсь на эру «за нашей» — третью.
Жизнь начиналась сызнова несколько раз
И никогда не заканчивалась со смертью.

Смерть преломляла память. И в тот излом,
Словно древесный гриб, заселивший древо,
Снова — аул к аулу — лепился сонм
Сирот библейских, которых рожала Ева.

Вот и твержу тебе, что не упомяну зла.
Тихо спускаясь по опаленным склонам,
Я сберегла молитвы, им нет числа,
На языке мне искони незнакомом.

Да и о ком молиться, не вспомню впредь.
Просто спускаюсь — тонет тоннель в улитке.
Бег через твердь — это я постигаю смерть.
Ты ее знаешь так, что берут завидки.

Знаки ее, повадки ее, язык,
Звуки ее, ее времена и сроки.
...Вздрыгнет посуда на столике — рельсов стык;
Скрипнет закрытой двери петля навскрик,
Новое древо впитает земные соки.

Поздний младенец Господу отойдет.
Не дозовешься через толпу у храма.
Кто тебя ждет, Мария, кто тебя ждет?
Ждал хоть один тебя со времен Адама?

30. 3. 2004.

* *
*

А у нас — война.
Я отдала пацана
Маме.
Теперь они — под врагами.
А сама машу рукавами
Длинными и пустыми
И кричу холостыми
В мартовскую тишину.
А враг говорит, жизнь мою отнимая,
Что же ты развязала войну,
Безрукая и немая?

Диптих

1

Дыши дуновеньем ветра в мое лицо
Я руки свои сплету вокруг тебя в кольцо
Ах только б успеть с молитвой своей успеть
Когда по пятам идет за тобою смерть

Кто в это утро молился еще со мной
О том чтоб она опять прошла стороной
Замешкалась напоролась на волнорез
Раздумала опоздала сменила рейс

Входи осторожно в воду не спи ничком
А если в гортани ком под воротничком
Глуши его стоном проталкивай стопарем
Давай мы с тобой любимый мой не умрем

А если умрем то лучше уж в облаках
Чтоб ангелы отнесли нас в рай на руках
Целехоньких не судимых судом ничьим
А просто летевших рейсом одним ночным

2

Лишь вещи в полет упакованы
А бабы уже гомонят
Слетаются старые вороны
На сотовый ночью звонят

В туманное лунное варево
Всплывают подлодки со дна
И челядь не спит государева
Осталась неделя одна

Мы все проходили на цыпочках
По августу и не дыша
Но вотчина смертью напичкана
Как печень того алкаша

И так почернела циррозная
 Что горек ее чернозем
 И Грозный стал призраком Грозного
 Ивана глядевшего псом

Но даже когда закорючиной
 Летят самолеты на гать
 Тебе суицидник обученный
 Россию умом не понять

Мы сами в себе не уместимся
 И плачем и пьем впрозапас
 Гром на небе! Крестимся крестимся
 Весь август молебен у нас

* *
 *

Инне Кабыш.

Классная дама,
 Ева Адамовна,
 Личико с кулачок.
 Я готова по всем предметам.
 Но пока не спросят об этом —
 Я об этом молчок.

Как молитву в одном куплете,
 Повторяешь ты «дети, дети»,
 Выпьешь, и снова «де...».
 Ну, поставь мне свое «отлично».
 Я старалась, жила прилично,
 Словно шла по воде.

Я ведь тоже ребенок чей-то,
 Добрым словом меня согрей ты,
 Взрослую до того,
 Что охота реветь хореем.
 В смысле хором, что мы умеем
 Лучше всего.

Сто детей у тебя ранимых,
 От не наших, от нелюбимых,
 Писанных между строк.
 Ты все молишься — сотня! сотня!
 А сама-то спала сегодня?
 Или тоже — вдова Господня —
 Зубрила урок.
 На цитаты его растащат.

«...всякий страждущий да обрящет» —
 Истоиво — Боже мой! —
 Выводила, судьбу губила,
 На уроке потом твердила
 Детям, себе самой.

* *
*

Все было приглушенным в нашем прошлом:
Звук радио, свет лампы на столе
И голоса сородичей в киношном
В истошном детстве, в комнатном тепле.

Поэтому и плачет недомерок
При первом приближении к Творцу.
...Мне тридцать семь. Второй этап проверок
И сверок приближается к концу.

Я вхожу и сына, и землю,
Я накропаю новый томик свой.
Но глуше, приглушенной заструится
Из детства выпуск «Почты полевой»,

Какая-нибудь песенка для часа
Полночного терпимая, и впредь
Лексического личного запаса
Уже недосчитаюсь я на треть.

Под Новый год заткнем окошки ватой,
Сын изорвет листки календаря.
Полунемой, на память глуховатой,
Захочется спросить Поводыря:

Куда мы забрели с Тобой, отведав
Добра и зла? И видеть, как сквозной
Прозрачный лес уклончивых ответов
Начнет преображаться предо мной.

* *
*

Вот мои острова. Посмотри на карту.
В полушарье среднем, во втором Урарту,
В тридевятиом Риме, в ничьей Элладе,
На любых руинах, при любом раскладе,
При любом распаде — железный остов.
Потому что я и сама как остров.
То есть твердь земная, кора, подкорка —
А года и слезы — это так, обертка.
Это я грядую легла островною.
Разрослись континенты и стали мною.
Посмотри, ведь это тебе нет места
На моей земле, в широте зюйд-веста,
В долготе ночей одиноких этих,
В не рожденных нами великих детях.



ОЛЕГ ЕРМАКОВ

*

ХОЛСТ

Роман

Возвращался Охлопков поздно. Проходя мимо магазина, заметил за стеклом среди тканей фигуру с бледным лицом и белыми руками, остановился. Это был манекен в брюках с блестящим ремнем, в рубашке, одна рука приподнята, словно он пытается задержать идущего и что-то сообщить; за дни и ночи стояния за стеклом у него созрела речь. Позади Охлопкова светил фонарь. И он увидел свое отражение в витрине рядом с манекеном. Манекен был прям, бесстрастен, трезв. А Охлопков шатался перед ним, словно специально, в педагогических целях напоенный илот. «А! спартанец!» — сказал громко Охлопков и замолчал, ухмыляясь. Ему давно хотелось вот так прямо и громко что-нибудь сказать манекену. Но днем было неудобно, а сейчас в самый раз. И все-таки хотя он и был один и пьян, а ему стало неловко. Перед кем, спрашивается? Ну, во всяком случае, не перед этим чучелом. Он подошел ближе, чтобы получше разглядеть его... мм... лицо? или как это у манекенов называется? Твердый мужественно-римский подбородок, прямой греческий нос. Средней величины губы. Неясного цвета глаза. Брови. Светлые волосы. Смотрит в упор, но мимо. Охлопков потерял мокрую от весенней изморози бородку, шмыгнул носом. И вдруг ясно понял, что ему надо: разбить лоб.

Он повернул и пошел быстро дальше.

Ему еще раз надо разбить лоб! Чтобы пространство открылось во всей наготе, неожиданности, свежести — вместилище форм, красок, линий, одну из которых надо вплести в запястье огненной жилой, чтоб по ней... по ней тек шершавый колючий ток, струилась черная кровь Первого Солнца. Вот и все. Пространство. В нем необходимо странствовать, блуждать... Зablуждаться! Он как будто выкрикивал это оставшемуся позади манекену. Лучше уж быть живым рабом заблуждений, чем свободным мертвецом истины! Вперед! на зов чистого пространства. К развоплощению, ибо плоть... уф, плоть тягостна.

Выпитое тяжелой плитой качалось где-то в солнечном сплетении. Они перебрали, попав в гости к радиолюбителю, починявшему старую армейскую радиостанцию, Чекусову Боре. Охлопков с благоговением внимал языку эфирных знатоков — Зимборов на границе служил радистом. Наконец он улучил удобный момент и спросил, можно ли выйти на связь с Тибетом. Черноусый крутоплечий Чекусов в тельняшке, с наушниками, болтающимися на крепкой шее, посмотрел на Охлопкова с некоторым удивлением, будто только что увидел.

— С антенной «Граунд плейн», — внятно, медленно, лениво произнося слова, ответил он, — все возможно. На сороковом диапазоне. — Он подумал, погладил усы и добавил: — Да и в десятиметровом. — И быстро взглянул на Зимборова. — Если солнечный пик поймать, когда ионосфера в луч-

шей проводимости. Но... с кем там связываться? с злым хунвейбином? — спросил он и взглянул снова на Зимборова. — Они же оккупировали Тибет.

— Мне жаль, — сказал Охлопков.

— И мне, — сказал Чекусов. — Строили бы китайский рай за своей стеной.

— Да, — сказал Охлопков, — теперь Тибет подвергнется индустриализации.

— Ну, это, допустим, неплохо, — возразил Чекусов. — А то ведь у них там каменный век? Ни телевидения, ни железных дорог?

Однокомнатная квартирка была похожа на телерадиомастерскую — вся завалена коробками с деталями, инструментами, кинескопами, динамиками, магнитофонами; старыми колонками, проводами; посередине стоял стол с гнездами, розетками, лампочками, проводами, тумблерами, клеммами — явно самодельный, приспособленный для каких-то исследований.

— Я не против железных дорог, — сказал Охлопков. — Но лучше бы в Тибете их не было.

Чекусов смотрел на него с любопытством.

— Ты... луддист?

— Он лудильщик любимой темы, — объяснил Зимборов.

— А, понимаю, — откликнулся Чекусов. — Как писатель-деревенщик или поэт в трехкомнатной квартире с телефоном-газом-телевизором-уни-тазом, кропающий о позывах своей деревенской души?

— Не луддит и не поэт, — сказал Охлопков, — а сторож-пожарник в одном лице.

— В кинотеатре? — переспросил Чекусов. — Ну, наверное, все кино пересмотрел. Вот в Тибет теперь тоже доставят хунвейбины киноустановку, фильмы крутить будут про Мао, Ильича Владимира, он же у них еще в законе? или уже глаза выкололи, Толь?

— Чего?

— Ну как там с марксизмом-ленинизмом у них, у косоглазых друзей?

Зимборов пожал плечами.

— У кого же консультироваться? — спросил Чекусов.

Зимборов отмахнулся.

— Что-что? Тебя это уже не колышет? Ты отошел от дел? перестал думать о судьбах родины? — на китайском направлении? Отслужил — и забыл? Из сердца вон хунвейбина?

— Остыл, — сказал Зимборов.

Чекусов подергал ус, с преувеличенным изумлением тарашась на Зимборова.

— Что я тебе, вечный сержант-пограничник? — проворчал Зимборов.

— Но странно! — воскликнул Чекусов.

— Ничего странного. Все разные, и там не сплошь злобные мураши со стальными ртами, — ответил Зимборов. — Вот недавно в «Фото» напечатали работы Брессона. Среди прочего портрет монаха у монастырской стены в Пекине, такой странный человек с морщинистым улыбающимся лицом, с птичьим лицом... Птицы поют, но не улыбаются. А как бы это могло выглядеть? Брессон показал как. И кулаки разжимаются.

Чекусов предостерегающе вскинул руку.

— Товарищ! стареешь!

Зимборов добродушно похлопал себя по толстым щекам.

— А по-моему, просто толстею.

Охлопков предложил выпить за Тибет — чтоб его освободили! Но Зимборов ответил, что лично он пьет за Козельск, где живет его бабушка, семь недель татары не могли его взять.

Помолчали. Охлопков спросил, кивая на железный зеленый ящик с тумблерами и окошечками, с кем вообще можно установить связь. Чекусов не хотел отвечать.

— На Туркмению выйти можно? — спросил Охлопков.

Чекусов недружелюбно и с легким удивлением посмотрел на него.

— Или с камчадалом?

— Да хоть с папой римским! — не выдержал Чекусов.

— И с Таити?

— У тебя что, родственники там?

— Там Гоген похоронен.

— Кладбище — не моя епархия. Связь с умершими — это не ко мне, я столы не верчу.

— Я предлагаю послать сообщение живым, — возразил Охлопков. — Можно куда-нибудь поближе. На Крит. В Глинске весна тчк Дождь тчк Пьем ваше здоровье водку. И дать какую-нибудь музыку. Жаль, под рукой записей Вика нет, его группы «Иван Сусанин», песни «Бараба-а-ны молчания»... Правда, никто не поймет, что это про сумасшедший дом... — Охлопков осекся, поймав тревожно-изучающий взгляд Чекусова.

— Вот когда у тебя будет своя станция, тогда ты все это и передашь, — сердито сказал он.

— Но... хотя бы сводку погоды можно? — виновато спросил Охлопков.

— Можно, — ответил Чекусов. — Но не сейчас.

— А, не пришло время связи? Сеанса связи, — поправился Охлопков.

Зимборов усмехнулся и сказал, что сеанс еще не скоро наступит, если вообще когда-нибудь наступит.

Чекусов вскинулся:

— Все уже почти на мази!

Далее последовала непереводаемая игра слов: эмиттер, коллектор, вход УЗЧ, схема АРУ — и не хватает лишь какой-то детали, а также антенны типа «Граунд плейн», но если Зимборов принес *вещь*, то процесс приближения выхода в эфир уже начался. Зимборов полез в свою суму, Чекусов принял безразличный скучающий вид, но глаза его хищно протрезвели, когда на спецстоле оказался старый «ВЭФ». Он взял приемник, включил. Толик предупредил, что без батареек все равно не заработает. Тогда Чекусов подключил его к сети. «ВЭФ» зажурчал, послышался голос комментатора, пресекаясь, прервался музыкой, затем наплыло нечто бесформенное, нечто вроде космического наэлектризованного облака, тут же преобразовалось в свистящий и гудящий стадион, внезапно наступила тишина, как будто эфирный путник куда-то исчез, ударился лбом обо что-то и рассеялся, но вот что-то зашелестело, послышался шорох, — из молчания, пустоты вновь сгущался звучащий, хрипящий, клокочущий мир, вдруг чисто и высоко запела женщина где-то скорее всего в Болгарии или Югославии.

— Хорошо, — сказал Чекусов, выключая приемник.

А жаль, Охлопкову представлялись горы, старые белые церкви, пыльные дороги, уставшие от зноя сады. Эфир, чистое пространство звука. В начале был звук. Звук шипящей, как бомба, первоточки, в которой все было свернуто, то есть в котором, в звуке, были свернуты все планеты, туманности, Луна, Солнце, море, горы, облака, деревья, цветы, воды, рыбы, птицы, крепостные стены, колонны, зеркала, бумага, бутылки...

— Хорошо, — сказал Чекусов. Или он это уже говорил? Возможно, повторил.

Толстошеекое лицо Зимборова тоже приняло отсутствующее выражение. Он даже подавил зевок. А сам внимательно следит за Чекусовым, как тот встает, идет в угол комнаты, роется там... внезапно раздается звонок в дверь. Чекусов слегка бледнеет, оглядывается на зеленый ящик радиостанции, просит задвинуть его под стол и идет открывать. В дверь уже звонили ранее, это были дети радиолобителя, девочка и мальчик, он женился еще до армии, так что успел стать умудренным семьянином, не то что Зимборов с Охлопковым; детей он отправил к тете Марии, жившей где-то

поблизости, — по словам Зимборова, бесценной тетке, пекущейся о Чекусове, как о родном сыне, вызволяющей его из разных передраг, каких? ну, потом расскажу. Из прихожей доносится женский голос. Теперь уже чуть-чуть бледнеет Зимборов. Слышна короткая перепалка... дверь захлопывается. Появляется довольный Чекусов.

— А у нас есть там что-нибудь еще в отделениях твоего рундука? — интересуется он, беря пустую бутылку, чтобы отнести ее в кухню.

Зимборов отвечает, что он, в конце концов, не факир. Кивнув, Чекусов уходит, слышно, как звякает бутылка, занимая место в небольшой батарее под раковиной, затем вкрадчиво хлопает дверца холодильника, и Чекусов возвращается с бутылкой «Рижского бальзама».

— Вот, тетя подарила лечиться.

— От чего?

— От насморка.

— Ладно, — не выдерживает Зимборов, — где фотоаппарат?

Чекусов кивает, дескать, да, сейчас, не спеши, всему свое время, неторопливо наполняет лениво текущим черным дегтярным вонючим бальзамом рюмки.

— Ну-ка проверим, что это означает, когда говорят: бальзам на душу.

Зимборов крутит головой, кривится, выпив:

— Га-а-дст...

— А по-моему, чудесная, душистая штука, — возражает Чекусов, передергиваясь.

Зимборов исподлобья наблюдает за Чекусовым. Тот, взглянув на Зимборова, решительно встает, снова идет в угол, роется там и приносит что-то в футляре.

— Что это?.. Подзорная труба?

Чекусов кивает, оглаживая усы. Извлекает из футляра трубу, наводит ее на спецстол, потом на Зимборова, на окно.

— Не хочешь посмотреть?

— Нет.

— Можно увидеть кратеры на Луне, — замечает Чекусов. — Или как девушка в доме напротив зашивает дырку на чулке.

Зимборов насупливается.

— Эту вещь надо Себе подарить... было... несколько лет назад, — бурчит он.

— А тебе не нужна? — быстро и как бы мимоходом спрашивает Чекусов.

— Нет, — резко отвечает Зимборов. — Я пришел за другим.

— Знаю, — соглашается Чекусов и прячет трубу, снова что-то ищет среди ящичков, железок, проволоки — и вынимает коробку. — Посмотри, — просит он.

Зимборов брезгливо глядит на увесистый блестящий металлический цилиндр с крышкой, зажимами, похожий на какой-то снаряд для физических опытов.

— Что это еще?

— Пошли!

В кухне на внутренней стороне двери висит пыльная форма десантника, Охлопков смотрит на птицу, вырезанную из нержавеющей стали.

— Ты прыгал? — спрашивает Охлопков.

Чекусов небрежно кивает, заполняя цилиндр водой, зажигает газ, крепко завинчивает зажимы и водружает цилиндр на огонь.

— Ну и как?

— Ах да, — вспоминает Чекусов, не отвечая на вопрос, достает из коробки трубочку, ввинчивает ее в цилиндр. — Так. Засаеваем время.

Через минуту в снаряде угрожающе засвистело. Зимборов с Охлопковым попятнулись.

— Оп-па!

Чекусов подставляет под трубочку кружку, ослабляет зажимы, из снаряда ударяет кипящая струя. Чекусов торжествующе оглядывает лица зрителей и объясняет, что это суперскоростная кофеварка, кофе, к сожалению, нет, но можно заварить какао, если кто любит.

— Меня от него в пионерском лагере рвало, — говорит Охлопков.

Зимборов ничего не говорит, молчит, полный самых мрачных подозрений, что нужную вещь он вряд ли получит, ее скорее всего Чекусов уже променял на что-либо, а жаль, один фанатик просил у него именно допотопный фотоаппарат «Зоркий», обещая взамен объектив от «Никона».

— Тогда давайте приготовим пунш из «Рижского бальзама»! — с воодушевлением предложил Чекусов.

И вот — ночь, фонарь, аптека. То есть магазин, манекен. Но уже далеко позади. Весь город спит, а Охлопков бредет покачиваясь, словно плывет сквозь волны эфира, — вот где ослепительная свобода! Таити, Крит... в любую точку земного шара можно попасть, постучаться, и она тебе откроется, отзовется, и ты вездесущ, как ангел или демон... но тут есть проблемы, как понял Охлопков, даже когда корабль — армейская радиостанция — будет готов, на нем никогда нельзя будет выйти, пока не получишь разрешения, а его-то и не получишь скорее всего, и без бумажки корабль не сдвинется с места или пойдет на дно. Почему? Чекусов только на первый взгляд добропорядочный советский семьянин, рабочий. На второй взгляд он кто-то вроде Дрейка, и выпускать его в эфир вряд ли сочтут целесообразным товарищи из Госинспекции связи. Во-первых, слишком резок и способен на необдуманные поступки. Вообще обыкновенного парня уже уgomонили бы сроком, ну, хотя бы годик дали на воспитание выдержки, но тут подключалась тетя Мария, ведущий и уважаемый начальством экономист крупного — в масштабах всего Союза и мира — предприятия, и Чекусов отделялся штрафами. За драку с водителем автобуса, остановившегося посреди лужи, — и все покорно прыгали, а Чекусов не захотел, и за прочие выходки. Хотя срок — условный — все-таки получил: за производство и сбыт коммутаторов электронной системы зажигания, — разработали вдвоем с другом эти, как они говорят, мулечки, ускоряющие зажигание, что, по их мнению, дает некоторую экономию топлива — раз — и сокращает вредные выхлопы в воздух — два. За экологический и экономический порыв друзьям дали по году условно (благодаря, естественно, стараниям тети Марии). Далее, стоит обратить внимание на факт невступления Б. Чекусова в ряды ВЛКСМ — ни в школе, ни в армии, ни позже на заводе. Надо также внимательно присмотреться к кругу его друзей. Например, взяты небезызвестного Ярослава Печковского: фарцовщик и меломан, чьей фонотекой интересовались уже и кое-какие записи изъяли ввиду их сомнительной направленности. Или электрик гостиницы «Центральная» Эдмунд Тарасов, совершающий частые поездки в Ригу — Ленинград за пластинками и джинсами с тем, чтобы затем перепродать их втридорога в Глинске. Словом, как поется: «О Гарри, Гарри, ты не наш, да, ты не наш, о Гарри, Гарри, ты не с океана...»

Город спит, и одинокий Охлопков сквозь сны горожан проходит пьяным илотом. Пилотом, катапультировавшимся на пустоши. В карликовый лес пижм.

Слева, в глубине бульвара он видит полыхающие буквы «ПАРТИЗАНСКИЙ» и сворачивает к кинотеатру. Там засел еще один кубинец, Ваня Степовой. Он сейчас наверняка играет. Охлопков приближается к кинотеатру, притрагивается к двери, слушает. Действительно, доносятся деревянные звуки... Ну да, деревенеют, проходя сквозь дверь. Охлопков раздумывает, не постучать ли? не крикнуть ли? Или как-то проникнуть инкогнито в зал. И — заплодировать. Bravo, маэстро! Степовой будет шокирован, может, возмущен, но, если по чести, чего хочет каждый художник? Самый стойкий отшельник, живущий в пещере на необитаемом острове? Что однажды

на горизонте покажутся мачты. И его статуэтки и песчаные замки кто-то увидит. Но как туда попасть? Охлопков задирает голову. Пожарная лестница. Балкончик. Обычно дверь там заперта на задвижку... А что, если кто-то днем выходил покурить — и забыл закрыть? А Степовой не проверил? Возле магазина Охлопков нашел ящик, подставил его под лестницу, вытянул руки и лишь коснулся кончиками пальцев нижней круглой перекладки... подпрыгнул — доски сразу же хрустнули, но он успел ухватиться за железный прут, подтянулся, упираясь ногами в стену. Перекладки были холодные и влажные. Охлопкову почудилось, что он вахтенным матросом карабкается на мачту. На плоской крыше было пусто и хорошо. Сырой ветер раздувал волосы. Охлопков дошагал до угла крыши, здесь была вторая, пожарная лестница. По ней он спустился на балкончик. Огляделся. Никого, только деревья, фонари, скамейки, урны. Он повернулся к двери, наполовину стеклянной, заглянул внутрь. Свет, пробивавшийся из зала, тускло озарял коридор с дверями. Охлопков толкнул дверь. Открыта она была или закрыта?

И что он мог там увидеть?

У разочарования какой-то привкус электричества. Словно лизнул металлические планки батареек, оказавшейся еще достаточно заряженной... Но когда он добрался до дома напротив Штыка, то получил уже нешуточный электрический разряд — как будто его стегнули тонкой проволокой по лицу.

Бессонная раздраженная Ирма заявила, что очень удивлена, увидев его, а не опергруппу или оперную певицу.

Какую еще певицу?.. Такую! Огненную мамму. Только тут он обратил внимание, что она одета как бы для прогулки — или бегства? Наверное, ходила звонить Зимборову, беспокоилась... Ирмочка, что... что случилось? Ты же знаешь, сегодня день рождения Толика. Это было вчера. Ну... вчера. Но мы... мы сначала поехали за город, на кладбище. Потом пили на стене. Потом нанесли деловой визит. И уже ночью я еще заглянул в кинотеатр... Ирма нервно засмеялась. Нет, все так и было. Сейчас объясню. Он начал объяснять. В этой комнате с толстыми стенами говорить можно было громко. Ирма слушала его, отрешенно глядя в окно. За окном еще чернела ночь. Он замолчал. Все? Кажется. А теперь, сказала она, вторая серия. Краткое содержание.

На два звонка она пошла открывать. Она была уверена, что пришли Охлопков с Зимборовым, отмечать день рождения. Но на пороге стояла незнакомая женщина, на ней был пурпурный плащ, крашенные, залитые лаком волосы дыбились огненной лавой над густо подведенными бровями и резко очерченными крапчатыми глазами... Нет, она и не стояла на пороге, как только Ирма открыла дверь, она сразу шагнула вперед и направилась в комнату, сумочка яростно болталась на локте, плащ пылал и шуршал. У Ирмы мгновенно пересохло в горле, а голова слегка закружилась от густого удара тяжелых пряных экзотических духов (она потом гадала: «Каир»? «Джи-Джи»?..). И мгновенно она поняла, что случилось нечто непоправимое — вот оно, происходит... нельзя было так доверчиво открывать. Ей ничего не оставалось, как только последовать за незнакомкой. Войдя в комнату, та окинула все быстрым взглядом и резко повернулась к Ирме, стоявшей у раскрытой двери. Шагнула к ней, вытянув руку с длинными ногтями, сияющими лаком. Ирма попятилась. Женщина закрыла рывком дверь и устоялась на Ирму. Она разглядывала ее со все возрастающей брезгливостью, крашенные губы кривились. Почему-то казалось, что она сейчас шелкнет застежкой сумочки и достанет какое-либо *оружие*. Так я и знала, наконец сказала она, стараясь говорить негромко, но голос у нее был как у джазовой певицы, он до сих пор вибрирует в перепонных барабанках! выпалила Ирма. Непротрезвавшему Охлопкову почудилось, что она пьяна. Он хрипло засмеялся. Ирма с сомнением взглянула на хмельного, глупо кругляще-

го глаза Охлопкова, сидевшего в расстегнутом пальто, с сырой растрепанной бородкой. Конечно, этот кретин не способен был оценить ситуацию, почувствовать весь ужас вторжения немыслимой женщины, вообразить ее голос, истерически взвивавшийся и вдруг переходящий в обморочный шепот (на самом деле он почувствовал и оценил). Она уже не могла остановиться. За что ей все это одной? Пусть и он примет хотя бы десятую долю... примет, примет. И она продолжала. Это было ужасно. Она же говорила о нелюбви к театру? Ее всегда передергивает, как только она услышит театрально преувеличенный голос, как только увидит эффектные жесты, позы. Вот как Охлопкова тошнит от какао, ее мутит от всего театрального. Охлопков облизнул сухие губы, испытующе посмотрел на Ирму. Но не решился попросить чаю. Да, это было бы слишком. Ну-ну. И что? Ничего, с обидой ответила Ирма. Ничего, продолжала она, просто в наказание за что-то ей довелось оказаться в эпицентре какого-то дурацкого спектакля. Эта женщина была насквозь вся театрально. Может быть, она играет в местном театре? Надо было видеть эти ужимки, слышать эти шизофренические паузы. Возгласы, всплескивания руками. Стук высоких каблуков, когда она металась по комнате. Зачем металась-то? куда? К серванту, посмотреть, все ли тарелки целы. Ах, сколько пы-ыли! Андрэй поросенок, понятно, но можно же проявить чуточку такта? Какого такта? — не понял Охлопков, растерянно глядя на нее. Он еще ни разу не слышал, чтобы Ирма кого-то передразнивала. Сознание у него раздваивалось. Он начинал видеть и слышать огненную мамму. Не знаю, ответила Ирма. Она хотела, чтобы я тут же кинулась протирать тарелки. Она приняла меня за очередную подружку Андрэя. Дюши? Елесина? — переспросил Охлопков. Так это его мать? Да. И меня чуть не вырвало, когда она вытаращилась в паузе, услышав, что я никакая не подружка, а квартирантка, живу здесь с одноклассником Дюши Охлопковым. Да, чуть не вытошнило прямо на ее хлопьящие загнутые фальшивые ресницы, на ее заломленные руки, на ее искрящийся плащ. Это было... что-то! Доказывать, что да, да, да, квартиранты, платим деньги ее сыну, Дюше, Андрэю Елесину. Настоящие квартиранты, а не приживальщики. Ведь она поначалу вспылила: что, мол, ее Андрэй — Савва Морозов?! И взвилась и забегала, застучала каблуками, замаяхала руками пуще прежнего, услышав о деньгах. Тут уже Охлопков не вытерпел. Да что такое, черт возьми?! Он наморщился, пытаясь сосредоточиться. Мелькнула дикая мысль, что Ирма его разыгрывает в отместку за позднее возвращение. Вот и она, сказала Ирма, мама эта изогнулась как-то, встряхнула вулканической прической так, что даже искры посыпались, — и дико прошептала, прокричала задуманно: «Это что, ш-ш-шутка?!» Жутко. Объясни толком, попросил Охлопков. Хорошо. Она потребовала, чтобы мы сию же минуту съехали. Сию минуту, пока не нагрянула опергруппа с понятыми и Георгием, попросту Жоржем. Это еще кто? — трезвея, спросил Охлопков. Я тоже спросила. А она ухватилась вдруг за Жоржа, стала ловить меня, загонять в угол, уличать... ей самой, видимо, эта идея так понравилась, что она про все забыла. Ну, я так поняла, Георгий — ее бывший муж, отец Дюши. И он претендует на эту комнату. А еще — хищники соседи. Летчик, что ли? Она сказала, что летчика отравят, комнату его и эту оттяпают и будут жить шикарно, как какие-нибудь важные штучки. Да кто? Лидя с Витькой? Не знаю, «они». «Они» уже заявили, наступали куда надо, что Дюшка незаконно торгует лишней жилплощадью, и вот-вот сюда нагрянет милиция, кошмар. Это она сказала? Ну а кто еще? Полнейший бред, сказал Охлопков, потирая лоб. Ирма хмыкнула. Я хочу чаю, сказал Охлопков.

На улице светало.

Полдня он отсыпался. Очнувшись, принял холодный-горячий душ и за свежим крепким чаем еще раз выслушал о визите дамы в пурпурном. И уже

твердо заявил Ирме, что все это полная фигня и опасаться на самом деле нечего. Комната принадлежит Дюше, он здесь прописан. И ему не пятнадцать лет, за плечами армия... хотя о чем это свидетельствует? У него тоже за «плечами». Ну и что? Все также неясно, зыбко, как и до армии. Чем вооружает этот двухлетний опыт? Знанием людей? Но эти люди такие же несвободные и тоскующие ребята, как ты сам, — вчерашние школьники, студенты. Строить отношения в казарме просто: отвечай на все грубо-насмешливо, не перегибая. Этот грубо-насмешливый дух главенствует в казарме. И как иначе? Это же не школа изящных искусств. Да впрочем, и в обычной школе и тем более в институте — тот же стиль общения, ну, конечно, не столь шероховатый и откровенный, но в принципе подобный. И Сева, кстати, верно все подметил. Хотя Толик, например, утверждает, что отлично и навсегда узнал в казарме людей, что именно из-за стесненных условий и проскакивает то и дело искра, а в обычной обстановке люди долго сближаются, имея много возможностей для различного рода уловок, увиливаний, оттягивающих сшибку, момент истины. Но, возражал Охлопков, армия подобна флюсу, она развивает определенные наклонности, да и встречаются там далеко не все типы характеров. Ну, с типами, избегающими армии, отвечал Зимборов, не стоит и общаться: наверняка неврастеники и ломаки. Почему Достоевский выше Толстого? Потому что все прошел — тюрьму, солдатчину, и в нем сразу угадываешь что-то такое близкое, всеобщее. Но у Толстого был опыт войны? Солдат всегда на войне. А офицер даже на войне может быть как дома. Ну, это не о нем! Нет, Толстой остался барином, с первых строк сразу чувствуется... и т. д. и т. п., — спорить с Зимборовым было бесполезно. Охлопков плохо знал Достоевского, и служил он все-таки не в Зайсане на китайской границе, а под Ярославлем, в штабе писарем-оформителем, его опыт был с изъязном.

Как бы там ни было, но он заверил Ирму, что Елесин не мальчик и визит его матери — какая-то импровизация, беспокоиться не стоит.

— Я бы успокоилась, — устало ответила Ирма, — если бы узнала, что она каким-то образом связана с театром. Хотя бы с самодеятельным.

— Вообще-то она врач, — сказал Охлопков.

Ирма пронзительно взглянула на него.

— Да это какой-то заговор врачей! — удивленно выпалила она и, бросив взгляд на стопку учебников, невольно поежилась.

Он пожал плечами:

— Обычное совпадение.

— Но все как-то совпадает против нас, — тихо проговорила она, подбирая под себя ноги в кресле.

— Ну, это еще неизвестно, — сказал он. — Научились ли вы радоваться препятствиям? — спрашивает мудрец. Это уже диалектика. Учение о противоречиях. После сильнейшего разочарования идет виток восхищения. Если, конечно, не сидеть сложа крылья.

— Хорошо, когда тебя не касается никакая диалектика.

Охлопков посмотрел на ее колени. Она одернула потрепанный домашний сарафан с выцветшими синими солнцами и красными птицами, закрывая колени, и потянулась к учебникам. Он улыбался.

— Порисуй, — в ответ на его улыбку сказала она и водрузила на задрапированные бедра книгу. Он состроил похмельно-кислую мину.

— Поразмышляй, — посоветовала она.

Как будто это легче. Он высунулся с сигаретой в окно, окинул взором улицу, закурил. Размышлять, радоваться разочарованиям. Изыскивать противоядия. Или думать о пространстве... Как будто об этом можно что-то думать.

Но кое-что у него все-таки накопилось, некоторые факты. Можно сказать, он вооружен ими. Но еще не понял, что с этим делать. Что это означает?

Краткая история пространства такова.

1. Античность не знала пространства. Отсутствовало определение для этого.

2. То же и в средние века.

3. Но на Востоке, в Индии, еще в древности пришли к догадке о многомерности пространства.

4. На Западе пространство открылось Возрождению, идею перспективы разработали Брунеллески и Альберти, следом за живописцами к его освоению приступили ученые.

5. Пространство определяли как: а) единое, б) простое, в) неподвижное, г) вечное, д) совершенное, е) безусловное, ж) из самого себя существующее, з) существующее в самом себе, и) непреходящее, к) необходимое, л) бесконечное, м) несотворенное, н) неопишемое, о) непостижимое, п) вездесущее, р) нетелесное, с) всепроникающее и всеобъемлющее, т) существенно сущее, у) актуально сущее, ф) чистый акт.

6. По Ньютону, пространство существует само по себе, независимо от вещей; оно представляет собой беспредельную пустоту, абсолютный вакуум, имеющий три измерения; оно неподвижно и неизменно, частицы материи разделены пустыми промежутками; оно абсолютно проницаемо, не влияет на движение тел и само не испытывает никакого влияния. В «Оптике» он пишет, что пространство есть чувствилище. Затем, в другой редакции: как бы чувствилище. И наконец: пространство есть вместилище всех вещей. Такова эволюция его взглядов на пространство.

7. Паскаль: «Меня ужасает вечное безмолвие этих пространств».

8. Г. Мор: «Пространство есть некоторое довольно странное и неопределенное представление...»

9. Тем не менее в семнадцатом веке выковали ясное определение пространства: бесконечно протяженный и однородный универсум, не зависящий от движущихся в нем небесных тел. Таково же и время.

10. Эйнштейн доказал, что все не столь ясно и просто. Пространство (и время) определяется в космических областях размещением и движением масс. Это положение в школе иллюстрируют следующим образом: на кусок резины (пространство) опускают железный шарик (космическое тело) — резина изгибается под его тяжестью. В местах большой концентрации масс геометрия неевклидова, ритм всех процессов изменен по сравнению с ритмом процессов вдали от сгущений материи. Астрономы подтвердили, что луч звезды, проходя мимо космического объекта, ломается. Но в целом пространство все-таки однородно. Конечно или бесконечно — вопрос открыт.

Незыблемость пространства была поколеблена, и оно буквально закачалось, опрокинулось на полотнах живописцев (Дега, Пикассо, Тулуз-Лотрек, Марк Шагал). Началось плавание Пьяного корабля. Все стали его матросами и пассажирами. И Гоген недаром сбежал на Таити, где со спокойной совестью мог писать мир устойчивым, словно его только что сотворили. Какие широкие ступни у его таитянских Ев. И сколь величественно они неподвижны, будто их писал не парижанин, а безымянный бритоголовый художник эпохи Среднего царства где-нибудь в Фаюмском оазисе. Перспектива в его работах была похерена. Никакой дали, глубины. Какая еще даль, если буквально: дальше некуда, странник достиг предела. И здесь его обступили сны. Они возникли мгновенно из солнечного воздуха, пеня приборя, блеска листья, голосов островитян. Он как будто попал в родилище архетипов. Простые действия: сбор плодов, купание, ловля рыбы тут же превращались в нечто сакральное, ослепляюще прекрасное, извечное. Жизнь приобретала космическое измерение, как бы освещаемая в упор вечно полуденным Солнцем Платона.

Гоген лежал в его лучах, заглушая боль в ноге, покрытой сифилисными язвами, морфием. Сифилис он привез из Парижа. Когда боли стали нестерпимы и к тому же с прибывшим пароходом ему не прислали денег,

он вооружился коробочкой с мышьяком, поднялся в горы и проглотил яд. Афины снова приговаривали к смерти смутьяна. Но он счастливо проблевался и наутро поплелся вниз, в свою хижину.

Интересно, что все жестокие реалии, добросовестно упоминаемые авторами, описывающими жизнь Гогена на островах, кажутся ерундой, чуть ли не выдумкой. От них отмахиваешься, как от писка комаров. Все это подробности быта, а не судьбы.

Но отсутствие перспективы могло свидетельствовать и о другом, не о достигнутом пределе мира и переживаемой полноте, когда пространственная даль и глубина перетекает в духовную даль и глубину и время останавливается, а просто о страхе перед видимым миром. Идею натуралистического и ненатуралистического стилей в искусстве выдвинул немецкий эстетик Вильгельм Воррингер. Художник, испытывающий доверие к миру, стремится изображать его объективно, это грек классической эпохи, итальянец Возрождения и вообще западноевропейский художник — до конца девятнадцатого века. Страх, дисгармония между художником и универсумом порождает ненатуралистический стиль: господствуют линейно-геометрические формы, стабильные, упорядоченные. Художник пишет мир таким, каким он хочет его видеть. Это первобытный художник, египетский скульптор, романский скульптор, византийский живописец. К ненатурализму относятся и основные стили двадцатого века.

Так что же выразил Гоген: отчаяние или благодать?

Вечером он отправился на службу и по дороге в кинотеатр нагнал Вика, тот шел один, не спеша, сунув руки в карманы короткой курточки, глядя себе под ноги. Охлопков приобнял его. Тот вздрогнул, дернулся, быстро обернулся.

— Тшш! не бей сразу, это я! — весело сказал Охлопков и осекся.

Вик разжал кулаки.

— Поймай, что это у тебя?

— Ничего, — проговорил Вик, отворачиваясь.

— А по-моему, тебя кто-то лягнул?

Вик нехотя кивнул и с вызовом ответил:

— Ну, лягнул.

— Кто? за что?

— Если бы знать.

Они остановились у широкого крыльца «Партизанского».

— Подожди, — сказал Охлопков, — сейчас я отпущу билетершу.

— Ладно, — со вздохом согласился Вик, — только дай сигарету.

Когда билетерша ушла, он поднялся на крыльцо, вошел, Охлопков закрыл за ним дверь.

Из зала сквозь перекошенную дверь проваливались смачно округлые, шероховатые звуки. Вик хмуро поглядывал на дверь и рассказывал, вертя в пальцах спичку. Голоса из зала мешали:

— Что они там делают?

— Это малыш Риты... Сегодня крестины.

— Дайте мне посмотреть на него!.. Дайте взглянуть!.. Красавец! Святой! Красавец! Будь счастлив, будь счастлив!

— Ну, в общем, шли втроем, о чем-то спорили. Ну, как обычно. Обсуждали положение. С нами был Ермак, одно время пробовал играть у нас на дудке, но это был полный... абзац.

— Уезжаете? Это правда, что вы выходите замуж?

— Всего наилучшего! всего наилучшего! Ждем конфет!.. Счастья!

— Спасибо! До свидания! Спасибо!

— ...и так мы спорили, отдадут нам инструменты или нет. Потом еще о чем-то. Моррисон, в самом ли деле он или просто ушел в глухое подпо-

лье. Ну, все в таком духе. И тут произошла авария. Перед нами возник мен в каракулевой папахе. Голова у него мерзла?.. Плащ без погон, но с эмблемами на отворотах.

— Какими?

— Щит и мечи.

— Гм.

— Меня как будто робот рычагом захватил... как будто куртку засосало каким-то транспортером. И она на спине так натянулась, что вот-вот лопнет. Я, конечно, высказался по этому поводу... нет! прикинь? Ты идешь и налетаешь на бетонный столб. Тут же второй рычаг сработал, и меня отбросило в сторону.

— О!..

— Смотри... Уже стемнело. Этот вечер тянулся так долго... закат...

— Деньги...

— Спрячь их!

— Благодарю, синьор.

— Может быть, лучше, чтобы они были у тебя... Мое приданое... Триста пятьдесят за дом.

— А этот робот захватил рычагами ребят, Алика и Ермака. Алик что-то заблеял, и механизм тут же дернул его так, что у того зубы клац-клац и пляжная кепочка — он в ней, как фрайер, ходил с тех пор, как мамаша патлы посекала, — слетела на нос. Ермак заговорил. И сразу мордой стук об Алика, как кукла тряпичная. Что за мраки, а?

— Звук гита-а-ры и не-э-много луны-ы...

— Что еще нужно для серенады?.. Поцелуй меня.

— Пойдем сюда... здесь короче.

— Но там темно. Ничего не видно.

— Я вижу. Дай мне руку.

— И тут наконец этот бетонный дядя говорит из папахи: **«Я научу вас ходить»**. Полная шиза! А мы что, не умеем? И озирается на дорогу. Машина какая-то проехала, не остановилась. У Алика очки сейчас свалятся. Он попытался поправить их. Дядя дерг! И нет проблем, очки на асфальте. **«Я научу вас уважать»**. Ермак: «А мы разве не-э-э-э, почему вы решили...» Он уже вник: вляпался с нами в какую-то историю, может быть, связанную с нашей музыкой. Дядя сопит, смотрит прямо на него.

— Тебе грустно?

— Нет... Почему?

— Ты молчишь, не поешь больше...

— Посмотри, как блики луны играют в листве деревьев...

— Как красиво! Жаль, что так темно. А то бы я вырезала на дереве наши имена.

— Ну и что дальше? — спрашивает Охлопков.

Он вынужден прислушиваться к звукам фильма, чтобы вовремя открыть двери, включить свет.

— Что это за пурга? — недовольно спрашивает Вик, кивая в сторону зала. — Дай сигарету.

— Подожди, пусть все закончится.

— Как красиво! О да... все же и в этом мире есть справедливость. Человек страдает, проходит через такое... Но потом наступает для всех момент счастья. Ты стал моим ангелом. Ты замерз? Дорогой. Как глубоко! Посмотри. Хорошо было бы на лодке покататься.

— Ты умеешь плавать?

— Нет... Один раз, если бы меня не спасли, я бы... Меня толкнули... Что случилось?

— Да, — говорит Охлопков, — ну и что?

— Ничего. Алик с Ермаком попросили у него извинения. За то, что он поставил мне бланш. И мотал их как марионеток. Тут проехала еще одна

машина. Он посмотрел, разжал крючья и пошел, сопя, покачивая плечами, словно сошел с палубы или только что спрыгнул с коня, дядя в папаше, будто у горца, закутанный в плащ со шитом и мечами. Исчез, как призрак.

— Замолчи! Замолчи! Что ты говоришь? Не кричи, сумасшедшая! Сумасшедшая! Замолчи!

— Сбрось меня вниз! Сбрось меня вниз! Хватит жить! Сбрось меня вниз! Убей меня! Убей меня!

— Ни фиги себе обломы... И ты каждый вечер эту истерику слушаешь?

— Представь, каково киномеханику.

Из зала рыдания, вой. Потом все стихает.

— Удовлетворил ее?

— Нет, просто взял приданое и смылся... Сейчас приду.

Охлопков уходит в зал, в темноту, где в глубине сияет огромный прямоугольник экрана. Лес. Луна. Среди деревьев женская фигурка. Она выбирается, пошатываясь, из логова теней и бликов — на шоссе. Музыка. Обманутая, едва избегнувшая гибели женщина начинает петь и пританцовывать.

Охлопков открывает двери в холодные сумерки этой вялой весны, выпуская подавленных зрителей... Глаза женщин блестят. Мужчины хмурятся.

Он возвращается в фойе.

Вик говорит, что кто-то звонил, но он не взял трубку; киномеханик вышел, он за ним закрыл.

— Ты что, здесь останешься?

— Ну, в общем, да, если не погонишь. Матери я уже позвонил... Полезно сменить обстановку хотя бы еще на одну ночь.

Охлопков хотел позвонить матери, но передумал, взял чайник, сходил за водой. Достал стаканы, пачку чая, сахар.

— У тебя клевая должность, — сказал Виталик, разваливаясь в креслице и похлопывая по подлокотникам.

— Когда уеду, могу передать по наследству синекуру.

— Я сам отсюда уеду, — мгновенно ожесточаясь, ответил Виталик. — Здесь гиблое место. Надо сваливать в большой город. Смердящее дыхание индустриального центра, шиза мегаполиса полезнее, таков мой организм. Ты думаешь, это не провокация? Не план батеньки Туржанского в полный рост?

— Случайное столкновение. Но опасное. Надо вообще старшим дорожку уступать. Тем более папашам.

— Просто с нами не было Макса.

Охлопков усмехнулся.

— Он кулаком доски ломает, — добавил Вик.

— Да, с ним наломали бы дров.

— Он под арестом, дома... Но ты думаешь, все это нормально, да?

— Я не слишком удивлен.

— А я слишком! И в этом разница между нами и вами.

Охлопков заварил чай.

— Не преувеличивай.

— А что тут преувеличивать. Это и без лупы видно. Вы все боитесь потерять свою пайку. А мы — нет.

— Потому что ничего не имеете?

— Нам нужно все или ничего. — Вик взял стакан, отхлебнул. — О, фуй!.. мм, черт...

— Пусть немного остынет.

— Да, а куда ты задумал свалить, Ген?

— Ну... например, за Урал.

Вик засмеялся.

— Слушай, ты же помнишь, что с Медовщиком было?

Охлопков кивнул.

— Так вот... — начал Вик, но его прервал, как тут водится, телефонный звонок.

Охлопков снял трубку. «Алло? „Партизанский“? коллега?»

Это был бессонный голос, Охлопков не сразу его узнал. Да, знаете, на том конце провода откашлялись, был... мм... в командировке. В высоких широтах.

На Севере? — спросил Охлопков. В некотором роде да, ответили с того конца провода. Это, конечно, гипербола. В общем, выезжать далеко не надо. Ведь, скажем, для южан наши широты уже высоки. Север, Гиперборея. Страна холодных туманов, странных людей, бросающихся в море от пресыщения жизнью... Греки грезили наяву. И, возможно, поэтому были великим народом. Ведь ничего не снится ничтожеству, если верить Бунюэлю. «Не бранитесь на то, что я спал», — так пел немецкий Заратустра. Может, Бунюэль взял мысль у этого гиперборейца, второго Корабельщика, плававшего уже в высоких широтах и услышавшего погребальную весть? Я имею в виду Ницше. А первый — это тот, кто услышал о смерти Пана? — вспомнил Охлопков. Совершенно верно. На том краю ночи улыбались. Охлопков посмотрел на заскучавшего Вика. Лучше было бы, если бы он пришел в другое время.

Помните, я что-то толковал о документальных кинолентах? Вот о высадке ахейцев на малоазийский берег и переходе евреев через Красное море?.. Вы сочли это диким бредом? Смелой фантазией, ответил Охлопков. А мне пришло в голову, продолжал тот, кто держал трубку на том краю, что не есть ли наши сны такие киноленты тысячелетней давности? выдержки? По крайней мере некоторые? И если так, то проблема лишь в одном. Как сконструировать прибор, который бы все фиксировал и передавал изображение. Прибор и сон? Какой прибор можно сунуть в сон? Это даже звучит грубо, гротескно. Но вот некоторые факты. Один фотограф еще в девятнадцатом веке открыл феномен, получивший название — но не объяснение — в Академии наук: психическая фотография. Этот фотограф набрался выше бровей, а ему надо было выполнять срочный заказ, и он возился с ванночками, реактивами, фотопластинками, но только перепутал отснятые и неотснятые, все валялось из рук, а перед глазами черти танцевали. Утром он вновь взялся за дело. Но как отделить зерна от плевел? Тогда он по-соломоновски все бросил в проявитель. И на некоторых фотопластинах увидел давишные химеры. Побежал, волосы дыбом, показал другу из французской Академии наук. Академики это дело замаяли. Но потом шило из мешка вылезло. Исследования показали, что глаз способен быть приемником и генератором излучений. Из глаза исходят электромагнитные волны. Даже опыты ставили, один моряк взглядом засвечивал пленку или передавал на нее заданные мыслеобразы. Ну? Отсюда уже недалеко и до кинолент снов. Быть сторожем в кинотеатре снов? Не отказались бы?

Да, согласился Охлопков, поглядывая на Вика, изучавшего лица актеров советского кино. Он не знал, отвечать ему шутливо или серьезно. Заговори он серьезно — и на том краю рассмеются. Но сам-то голос звучал вполне серьезно. В этих разговорах Охлопкову всегда трудно было взять верный тон. И это было мучительно. Но и интересно. Кто вообще звонит? Как выглядит говорящий? Водит он его за нос или его самого водят? — то есть какие-то *идеи*, которыми только и можно делиться с незнакомыми городскими полуночниками. Нет, этот голос был целой проблемой. Не сиди здесь Вик, рассматривающий фотографии и иногда прикасающийся к бланшу под глазом, можно было бы списать все на невнятицу ночи. Когда спишь урывками, часто просыпаешься, о чем-то думаешь, мечтаешь, вдруг встряхнувшись, берешься за карандаш и лист и начинаешь что-нибудь зарисовывать, — все немного путается... хм, как у того фотографа.

Что молчите, алло?

Соображаю, можно ли отличить настоящий с исторической точки зрения сон от фантазии или пьяной галлюцинации, ответил Охлопков. Вик покосился на него удивленно.

Дельное замечание. Но научились же археологи отличать статуэтки Анубиса-шакала эпохи Среднего царства от подделки каирского лавочника? Впрочем, согласен, материал, конечно, ненадежный, эфемерный. Некоторые даже вовсе отказываются принимать это явление за действительное. На каком основании? А на таком, что заявление «Я сплю» абсурдно. Человек не может знать, что он спит. Если он спит, то не знает этого, да и ничего не знает. Следовательно, неизвестно, видит ли он сны или выдумывает их, уже проснувшись.

Странная идея, пробормотал Охлопков.

А это вообще непонятная вещь — сон. Уже сколько тысячелетий человечество спит и не может решить, есть сновидения или их нет. И если есть, то как их отличить от реальновидений? Эта мысль однажды ударила в весьма умную голову — Декартову. Он долго мучился и наконец пришел к выводу, что все дело в связности. Ну, если эти события как-то связаны с прошлыми событиями, — значит, это скорее всего явь.

Но бывают сны, связанные как раз со снами.

Вик уже неотрывно наблюдал за Охлопковым, прислушиваясь.

Вдруг припоминаешь, что ты уже бывал там-то и там-то, а когда просыпаешься, понимаешь, что бывал в предыдущих снах, а не наяву, заговорил с искренностью Охлопков, увлекаемый уже мыслью о странном пространстве, в котором разворачиваются сны. Действительно, в каком?

Верно, в снах сказывается опыт снов же. Например, вдруг приходит спасительная мысль о способности к воздухоплаванию. И что надо предпринять? А ничего, просто шагнуть, как всегда, в окно... На том краю как-то по-детски засмеялись. Но смех тут же замер. Хотя, должен заметить, тут есть проблемы. У вас вообще-то бывают сны-воздухоплавания? И ничего не мешает? Ну, скажем, провода? Электрические? телефонные?.. Днем пойдете по городу — обратите внимание, ведь и не так густо проводов, пролететь можно. Но почему-то небо снов не такое безопасное. Всюду провода. Иногда — в несколько ярусов. Они трещат от напряжения. А тебя несет слепая сила. Впрочем, возможно, тут уже заявляет о себе явь.

Смерть пана на севере, некий прибор, пьяные галлюцинации, странные идеи, это как-то напоминает «Барабаны молчания», думал Вик, об этом можно сочинить песенку.

Не знаю, продолжал звучать голос в трубке, у вас в детстве ловили во дворе голубей?.. на нитку и хлебные крошки? А потом?.. А мы как-то решили эксперимент поставить. Вдруг всем зачем-то это понадобилось: узнать, как поведет себя ослепший голубь. Но как его ослепить. Можно было чем-то замазать глаза. А легче всего проткнуть. И он полетел, как пьяный, ударился о бельевую веревку, перекувыркнулся в воздухе, но не упал, взлетел выше и наткнулся на ветки, запутался и рухнул на крышу гаража. Мы пытались туда залезть, но тут выскочила тетка, та, чье белье там висело, и накинулась на нас с криком. Голубь забрызгал ей простыни. Мы убежали. Под вечер вернулись. Но голубь куда-то уже исчез. Алло? Да. Странно, что в целях безопасности электрические провода не покрывают какой-нибудь специальной светящейся ночной краской... Чьей безопасности? Птиц, воздухоплавателей. Вообще требуются особые правила по технике безопасности воздухоплавания. Где? Простите? Воздухоплавание где? Голос улыбнулся. В высоких широтах. Собственно, этим я и занимаюсь, но мне мешают... командировки. Голос прервался, короткие гудки были похожи на радиосигналы терпящего бедствие корабля. Охлопков озадаченно посмотрел на трубку, осторожно положил ее. Тут же телефон зазвонил. Он взял трубку. Алло? — тот же голос. Что-то сорвалось. Я хотел сказать... Связь снова оборвалась. Короткие гудки пульсировали в ночи. Где, в каком из переулков, в какой скорлупе кирпичных или бетонных стен находился обладатель этого голоса?

Он еще раз позвонил. Алло? Что-то сегодня в эфире неладно. Но я закончу, если вы и кто там еще мне позволите. Почему-то в снах чудится какая-то надежда, она там есть. И может быть, третий Корабельщик, преодолев океан снов, принесет какую-то другую весть.

— Кто это так долго висел? — нетерпеливо выкрикнул Вик, когда Охлопков опустил трубку.

Тот взглянул на него и развел руками.

— Не понял! Ты базлал с незнакомым?

— Возможно, это тоже какой-нибудь сторож... почему-то кажется, из музея. Сидит среди витрин с мундирами, доспехами, саблями, седлами, киверами. В больших очках...

— ...в папаше, курит кальян, — подхватил Вик, — с медовым «Золотым руном» и гашишем. Угости сигареткой, кстати.

Охлопков задумчиво посмотрел на Вика и напомнил, что тот хотел рассказать о Медовщикове.

— Медовщик? — быстро и торжествующе спросил Вик. — Он заиграл!

— Как?

— А вот так! Хей-хоп! хей-хоп!.. Как только сняли швы. Я, говорит, их намозолю.

Охлопков покачал головой:

— Упрямый парень.

— Сибиряк, — с иронией, но и с тихим восхищением ответил Вик.

— И получается? — Охлопков рассеянно подул на остывший чай.

— Да, — ответил Вик, тряхнув волосами.

— Слушай, Вик, — сказал Охлопков, — ты как-то рассказывал об Аргентинце... то бишь как? Австралийце? Ну, об этом.

— Ну-у.

— А где он сейчас?

Вик хмыкнул и ответил, что не знает. Но сомневаться не приходится, что где-то здесь, в крепких объятиях родины... может быть, даже с завязанными за спиной рукавами.

— Гм, а у него как вообще?.. — С этими словами Охлопков дотронулся до лба.

Виталик воззрился на брата, губы его брезгливо скривились.

— Чего «вообще»?

— Ну, в смысле, голова в порядке?

— Не просек, — сказал Вик, — с чего ты взял... Ты же, кажется, сам собираешься делать ноги? Хоть и в другую сторону.

— Ну, я просто подумал... ведь там пичкают всякой всячиной. И обстановка.

— Не знаю, — ершисто ответил Вик. — Я там не был и вообще этого чувака не видел.

— А кто-то из ваших?

Виталик быстро взглянул на брата:

— А чего тебе вдруг приспичило?

— Да так просто, вспомнилось... вспомнилась ваша вещь, — сказал Охлопков, подслащивая чай.

Вик исподлобья его разглядывал. Охлопков перехватил его взгляд. Вик потянулся, зевнул, спросил безразлично:

— Не первый раз, что ли, звонят?

— Кто?

— Ну, из музея, — выговорил напряженно Виталик.

Охлопков прищурился, устремляя взгляд на брата, — и рассмеялся. Виталик начал краснеть.

— Ладно, хватит! — воскликнул он грубо. — Баки мне забивать! Дашь сигарету или идти на улицу стрелять?

— Да уже поздно, — мирно откликнулся Охлопков, — стрелять.

На следующий день вечером появился Дюша Елесин. Он ничего не жевал, вид имел самый серьезный, мрачно-озабоченный. Не снимая куртки, сел к столу, забарабанил пальцами; на нем были модная куртка из тонкой кожи, настоящие джинсы, белый шарфик; хорошо пахло каким-то одеколоном.

— Гена, — решительно начал он, — у вас была мама?

Охлопков кивнул. Елесин тоже кивнул.

— Она вернулась из Болгарии, — объяснил он.

Ирма поерзала в кресле. Охлопков бросил на нее взгляд. Вот откуда все — духи, одежда, ответил ее взор. Охлопков не понял.

— Мм... — Елесин вытянул толстые губы, побарабанил по столу. — Да-а... море, солнце... — Он вздохнул.

— Она зачем-то сюда приходила, — напомнил Охлопков.

Елесин недоверчиво-настороженно посмотрел на него.

— Меня не было, — сказал Охлопков.

— А, ну тогда... — улыбнулся Дюша и замолчал, взглянув на Ирму в кресле с книжками. — Но ты, — обернулся он к Охлопкову, — в курсе? все знаешь?

— Что?

Елесин повернулся, увидел чайник, взялся за него.

— Я попью? — сказал он, уже наливая в кружку воду. Напился, достал чистый платок, приложил к губам, ко лбу и с прежней мрачной решимостью посмотрел на Охлопкова.

— Да, да, — ответил Охлопков, — так в чем там дело, Дюш? Какая-то сага о Форсайтах.

Елесин кивнул.

— Это так и есть! — воскликнул он. — Черт! — Он постучал по часам, не находя слов.

— Куда-то спешишь?

— Да, Геныч! Да! Ибо ситуация... ситуация выходит или даже вышла из-под контроля.

По коридору кто-то прошел. Елесин с беспокойством оглянулся.

— Ну, если вдруг началась такая спешка, почему же ты вчера не объявился?

— Послушай, Геныч, — сказал проникновенно Елесин, — я-то не думал!

— Что она вернется?

— Кто? мама?

— Ну да, там останется, у моря.

— Честное слово, Геныч, не до шуток. И потом — там ждут. Я не знаю. Я могу, — он с отчаяньем посмотрел на Охлопкова, на Ирму, — могу вернуть, пожалуйста.

Они не отвечали, и он начал рыться в карманах.

— А, да, черт... новая же куртка. Ну, потом, по новому адресу. Или у Романа спрошу, вы напомните, чтоб не забыть, а то в спешке...

— Дюш, с какой стати?

— Тут такие хитросплетения, такой клубок... да ну к черту!

— Ладно, давай в коротком пересказе. Комната чья?

Раздался два звонка. В комнате стало тихо. Охлопков двинулся было, но Елесин порывисто встал, поднял руку:

— Нет. Я сам.

Бледный, как его шарфик, Елесин вышел. Вернулся уже слегка порозовевший.

— Это Роман, — объяснил он. — Ждет на «жигуле». Ему надо заправиться, тут недалеко бензоколонка. Пока будете собираться, он сгоняет.

Молчавшее радио внезапно начало прохрюкиваться сквозь табачного цвета сетку. Все посмотрели на черный ящик. Радио смолкло.

— Куда собираться, Дюш?

— Надо подумать! — с ласковым воодушевлением отозвался тот. — Куда бы, куда бы он мог вас отвезти?.. Да куда угодно! Какие ваши варианты? — И, увидев усмешку на лице Охлопкова: — Нет, это серьезно. Все в самом деле так. Так, а не иначе. Начнем с того, что вы без прописки. И в любую минуту сюда могут нагрнуть.

— Кто?

— Милиционер! — выпалил Дюша и добавил: — С мамой.

Преппирательства продолжались до второго пришествия Елесинского товарища. Он пришел предупредить, что еще пять минут — и он уезжает. Елесин просил подождать еще хотя бы пятнадцать минут. Но тот отказывался. Ну хотя бы десять минут. Нет, он прямо сейчас уезжает.

— Он прямо сейчас уезжает! — воскликнул с угрозой Елесин, вбегая в комнату.

Охлопков кивнул в ответ. Елесину ничего не оставалось, как только последовать за товарищем, чертыхаясь.

...Когда они легли спать, в старом радиоприемнике внезапно опять что-то сдвинулось, хрустнуло, как будто треснуло — заструился с шелестом песок, — и в динамик хлестнуло волной, медно дрожащей, и она застыла, замерзла... снова рассыпалась, и в комнате вдруг чисто и звонко замерцали, залучились трубы и вспыхнули раскатисто-торжественно топки атомохода, отчалившего во враждебную ночь. Полночь.

Охлопков зарисовывал буфет: стойку, колбы для приготовления газированной воды, пустые чистые перевернутые стаканы, стопку салфеток, на полках по стене бутылки в жестком свете ламп. Ирма спала на стульях напротив актерской Доски почета, и отечественные звезды взирали на нее участливо, высокомерно, отчужденно, насмешливо. Ее волосы тускло рыжели в полумгле.

Телефонный звонок — Ирма вздрогнула — заставил его отложить картонку с листом, подойти к конторке билетерши. Звонил Степовой. Его голос звучал немного элегически:

— Приветствую, как дела? Что там показывают? Соломоныч дверь не отремонтировал?

— Разве может он отремонтировать ее за день, если уже полгода она болтается на соплях, — хмурясь, ответил Охлопков. К чему пустые вопросы.

— Ну мало ли, — сказал печально Степовой. — Может, и его уволили или пригрозили. Да-а, — вздохнул он, — веселенькое было местечко. Ты со сменщиком еще не знаком?

Охлопков удивился, он не знал, что лейтенант уже не служит здесь по совместительству. Тот усмехнулся:

— Ну-ну. Уборщицы небось все рассказали. Представили в лицах.

— Что?

— Да все. Всю эту прелестную историю.

Нет, Охлопков ничего не знал.

— Гм, в самом деле? — недоверчиво спросил Степовой. — А я уж думал, общественность бурлит, требует расправы... Ну тем лучше. Я запросто, по старой, как говорится, памяти, загляну на огонек?..

Охлопков покосился на спящую Ирму, замаялся.

— Ну, мы же в некотором смысле остались коллегами. Хотя, честно говоря, я уже думал — турнут из части. Нет, пронесло. Ну, понятно, тут мужики как-никак. Прониклись. Да я все опишу за чашкой чая. Есть у тебя там в шкафчике заварка? Принести? Да! еще один штрих, Геночка. Заварки на троих хватит? Я не один, сам понимаешь.

— Пожалуй, нет, — тут же ответил Охлопков с облегчением.

— Хм... гм?

— Я тоже не один.

— О! Великолепно. Купим вина — и...

— Вряд ли, — мрачно сказал Охлопков.

— Не понял? Какие-то проблемы?

— Да...

— И... они нерешаемы?

— Нет.

— Этого не может быть. Перестань, дружище. Ну же, очнись! Что по-нурился? Взгляни на меня. Если бы ты взглянул, то увидел бы: мое лицо сияет бодростью, как пожарная каска на смотре. Несмотря ни на что. А смотреть есть на что. На все эти мерзопакостные обстоятельства. Ну и что? Я не раскисаю. Переиграл в юности руку, блестящую карьеру пустил под откос... — Степовой скорбно помолчал, и в это время Охлопков вспомнил бравурные деревянные звуки партизанского пианино, это был какой-то фокстрот. — И восстал, аки псица Феникс из, можно сказать, пепла. И кто знает, возможно, даже наверстал упущенное в ночных бдениях. Впрочем, и тут судьба показала мне козью морду. Возможно, со стороны все выглядело комично, но мне было не до смеха. На самом деле история получилась печальной. Я лишился почти всего. Но не угас и не повесил нос! Чего и тебе.

— Хорошо.

— Итак, мы идем.

— Нет, — остановил его Охлопков. — В следующий раз.

— Черт возьми. Ты, дружище, меня удивляешь. Озадачиваешь. Это не по-товарищески. У пожарных так не принято.

— Жаль.

— Но, дружок...

— Какой я тебе дружок! — взбесился Охлопков.

— Как... извини... Не друг?

— Нет.

— И то верно, волк свинье не товарищ, — резко заметил Степовой и бросил трубку.

— Какой-то... кошма-а-ар, — простонала Ирма, ворочаясь на стульях.

— Я предлагал лечь в кассовой.

— Ты вообще хотел меня там оставить, в газетном домике.

— Хочешь чаю?

Телефон зазвонил. Охлопков помедлил, взял все-таки трубку. И услышал вой. Затем — гудки. Он засмеялся и вышел из фойе на террасу, закурил.

Почти все окна домов были черны, два или три беспокойно желтели. Он смотрел вверх, стараясь разглядеть провода, столь опасные для ночных воздухоплаваний... Ему чаще снились блуждания в каких-то переулках, подземных переходах. Однажды — плавание в подземной реке там, где никакой реки не было, — в земляном средневековом валу напротив горисполкома... Там был вход в подземелье, прикрытый намертво заржавевшей железной дверью. Между дверью и косяком оставалась щель, в нее и протискивались ребята, вооружившись фонариками. Подземный ход был короткий и упирался в завал. А ему приснилось путешествие в глубине подземного вала по подземной мерцающей (откуда-то просачивался свет) реке; он плыл и иногда видел впереди лодку и фигуру человека в ней; однажды ему удалось разглядеть круглое раскосое лицо, черные волосы; этот человек иногда взмахивал веслом, привлекая его внимание, показывая, куда дальше плыть, — и ему было отчего-то жаль, что лодочник сейчас исчезнет навсегда, как это обычно бывает в снах (а вопреки утверждению какого-то американца, о котором говорил звонивший по ночам, иногда осознаешь сон во сне и с печалью или, наоборот, с радостью понимаешь, что в следующее мгновение проснешься), и лодка ушла за каменный выступ, а он поднялся по мокрым ступеням к свету и оказался перед стеклянной дверью, лег и отдохнул здесь немного; почему-то не хотелось спешить; в этом «вестибюле» было уже сухо, тепло, свет летнего дня заполнял

все; внезапно он снова увидел лодку и лодочника, медленно уплывавших по подземной реке, заулыбался: значит, это возможно... — и резко проснулся, сразу сообразив, что на самом деле уснул в фойе, хотя собирался лишь немного вздремнуть и разбудить Ирму до прихода уборщиц, чтобы она вышла и обождала его где-нибудь, не хотелось объясняться с фуриями дня в черных резиновых перчатках. Но они уже были здесь, за стеклом. Одна колотила в дверь, а другая — старуха с мужицким восковым носом — прижималась лицом к стеклу, загораживаясь ладонями, чтобы лучше все рассмотреть. Растрепанная Ирма сидела на стуле и изумленно озиралась. Прямо на нее глядели звезды кино. Охлопков встал. Старуха с мужицким носом его увидела, взмахнула рукой.

— Что мне делать? — испуганно спросила Ирма.

— Иди в зал, отопри любую дверь и выходи.

Ирма покосилась на чернеющее нутро зала и покачала головой:

— Я туда не пойду.

— Ну, включи там свет, справа, как войдешь, за портьерами.

— Н-нет.

Уборщицы дергали дверь, стучали. Ирму они не могли видеть.

— На ключи, иди в кассовую.

Он бросил ей ключи. Ключи со звоном упали на пол. Ирма подобрала связку, взяла куртку и пошла. Охлопков направился к двери.

В фойе ворвались уборщицы, высокая сумрачная женщина в плаще с капюшоном и седая старуха в черной куртке и платке.

— Что здесь творится, в конце концов! — каркнула старуха, шаря по фойе маленькими глазками.

Высокая сумрачная женщина кашлянула и пронзительно взглянула на него.

— Это кинотеатр или ночлежка? — крикнула старуха. Она шла, поводя крупным носом.

Охлопков хмуро, виновато помалкивал. Старуха быстро переоделась в халат, натянула резиновые перчатки, взяла ведро, швабру и двинулась к лестнице, ведущей на второй этаж.

— Ключи где?

В связке были ключи от кабинетов, кинопроекторской.

— Да ты не продрыхся, что ль? Утро на дворе, Емеля!

— Хай-хай-хай! — высоко захлебываясь, засмеялась вторая уборщица.

— Сейчас принесу, — ответил Охлопков, досадуя, что затеял эту игру в жмурки.

— Дак ты спишь в кассовой? — спросила старуха, идя за ним.

— Я там чайник брал.

— Аха! чайник. Самовара вам тут еще не хватает. Чайную открыли. С кордебалетом.

— Хай-хай-хай!..

— Погляди, чаевники какие. Степовой тоже строил из себя паиньку. Пока молодец теща не организовала родню — да повела на штурм этого притона. Все выходы обложили. Дядька-тренер в мегафон кричал: сдавайтесь!.. сейчас же отоприте двери! Сейчас же!.. Оне там в исподнем, в чем мать родила — кто куда, кто на крышу, кто в туалет. И ведь женатые люди и замужние бабы, лахудры. Стыда нет. Я директрисе заявляю, поглядите, вот, извлечено из-под пианины, вот что.

— Што? — спросила высокая, хотя знала все подробности.

— Что? Что! Срамота, — ответила старуха. — Что ж еще могли оставить комсомольцы-добровольцы!

— Хай-хай-хай!..

Охлопков приостановился... отворил дверь кассовой. Старуха заглядывала через его плечо. На столе лежали ключи... Охлопков взял их и передал старухе. Старуха недоверчиво повела носом, зыркнула еще раз по кас-

совой и повернула, затопала вверх по лестнице. На площадке между лестничными маршами остановилась, обернулась. Он все еще глядел на нее. Старуха хотела что-то сказать, но молча потопала дальше. Вторая уборщица тащила шланги из туалета в зал. Охлопков пошел за ней, посмотрел, как она спускается к сцене, быстро вернулся в кассовую, заглянул за дверь. «И-р-ма», — тихо позвал он. За шторами ее тоже не было. Он вышел из кассовой и сразу увидел на площадке старуху.

— Мое дежурство окончено, — сказал он ей.

Старуха не ответила.

Он вышел на улицу. Было туманно, холодно, того и гляди, пойдет дождь. Охлопков осмотрелся. На бульваре уже появились прохожие. Пожилой мужчина, покуривая, выгуливал пса. Краем глаза Охлопков заметил, как в фойе раздвинулись шторы... Чертыхнувшись, он пошел дальше, в сквере за кинотеатром услышал тихий свист, обернулся. От телефонной будки шла Ирма.

— Ну что? — возбужденно спросила она, с любопытством заглядывая ему в лицо. — Испугался?

— Этих фурий?

— Нет, пропажи?

— Ну, я знал...

— Не ври, я наблюдала из будки.

— Как это тебе удалось?

— А вот так: раз! два!.. Говорить три?

— Не надо.

Он попытался привлечь ее, но она ускользнула.

— Но признайся, удивился?

— Да.

За окнами взрывались будильники.

— Что ты подумал?

— Ничего. То есть... все, фильм окончен.

— Правда? И как он назывался?

— «Ночные сеансы».

— Плохо.

— Ну, «У нас в Глинске».

— Скучно.

— «Без прописки».

— Фу!

— «Птицегадатель».

— Это еще почему?

— Не знаю... А что предложишь ты?

— Надо подумать... Хм... А о чем вообще?..

— Вот обо всем этом.

— Да?.. Стра-а-нно вообще-то.

По улицам грохотали, со скрежетом поворачивали первые трамваи. Они вошли в один и доехали до последней остановки. Пока ехали — заморосил дождь.

— Чай у нас есть?

— Магазины все равно закрыты, не ждать же.

Они шли по скользкой глинистой тропинке через Питомник. Слева показалось небольшое озеро, ртутно-серое, с деревянными грибками на берегах и железными кабинками для переодевания. В кустах уныло посвистывали редкие птицы. Они перешли ручей по грубо сколоченному из ольховых жердей мостку и поднялись по косогору. Здесь начинались причудливые заборчики дачного поселка, составленные из спинок и сеток кроватей, из кусков ржавого железа, проволоки, досок; в одном месте в заборной конструкции голубел облупленный фрагмент кладбищенской ограды. Дачные домики были похожи на собачьи будки. Город неумолимо напирал бетон-

ными стенами, бесстрастно глядел поверх залатанных железных, шиферных, толевых крыш ночными огнями. Но сейчас было утро.

Они приблизились к цистернам с водой, высоким, ржавым, испещренным ругательствами и рисунками. Летом здесь бродили шайки подростков, работая разводи́ли костерки в кустах и выпивали. Охлопков еще в школьные времена бывал здесь, на даче Зимборова, к ним присоединялся Сева; они пили ночь напролет бутылку каберне, курили до отупения «Ту-134» или «Опал», слушали «ВЭФ», объедались еще не зрелой клубникой, спорили, на рассвете отправлялись купаться, по пути пробуя чужие вишни, малину.

Теперь Охлопков поселился здесь с девушкой, которая должна была скоро стать его женой: они подали заявление в загс.

Домик, выкрашенный в светло-зеленый цвет, с желтыми наличниками и синим фронтоном, стоял в глубине сада, за картофельным полем. Вдоль тропинки, ведущей к нему, тянулась водопроводная труба, но воду еще не включили, и Охлопков ходил с канистрой на родник в овраге.

Они подходили к домику, оскальзываясь на тропинке, со слипшимися от дождя волосами. Охлопков сунул руку за железную бочку и достал ключ, отпер легкую дверь крошечной веранды со старой одеждой на стене, с лопатами и вилами по углам. Затем он открыл вторую дверь, более крепкую. И они оказались в маленькой комнате с двумя окнами, узким диваном, железной кроватью, столом и старинными обшарпанными самодельными табуретками. Стены были оклеены пожелтевшими газетами.

— Скорей включи газ!

Охлопков зажег обе конфорки портативной газовой плиты, стоявшей среди кастрюль, тарелок, банок с солью, сахаром. Ирма протянула руки к голубым луковичам, выкатившимся из горелок. Потом она взяла полотенце и вытерла волосы.

— Нагнись.

Охлопков подставил голову под полотенце.

— Не хватало нам еще заболеть, — сказала она деловито.

— Сейчас станет тепло, — расслабленно ответил Охлопков, не поднимая головы. Ему хотелось, чтобы волосы долго не высыхали, чтобы ее руки долго теребили их. Но она сказала: «Ну все, теперь горячего чаю. — Открыла крышку зеленого закопченного чайника. — Есть вода?» Охлопков поднял канистру, поболтал ее. «Надо идти...» Он посидел еще немного, глядя на горящий газ, слушая, как по крыше шелестит дождь, встал, надел брезентовый тяжелый плащ Толикова отца, сапоги, взял канистру и отправился на родник. На ходу закурил, пряча сигарету от дождя в кулаке.

Вдалеке серел город, похожий на распаханную раковину с темными жемчужинами окон. Над крышами в антеннах медленно двигались тучи с щупальцами дождя. В садах скромно зеленели крошечные листочки. Весна была холодной. Ну, зато дачники не докучали особенно, редко появлялись на своих участках.

Охлопков шел по склону оврага в толстом пастушьем — или это спецодежда сварщика? — плаще среди кустов со скрюченными листочками и берез, чуть показавших зеленые язычки. Косой дождь стучал по брезенту, по железной канистре. Капли сбегали по березовой коре, висели на ветвях.

Родник вытекал из небольшой бетонной трубы. Набирая воду, Охлопков встретился со взглядом маленьких глаз: из сплетения мокрых ветвей на него смотрела крошечная нахохлившаяся птица. Вода гулко падала в канистру. В железный мех. Глина в чаше родника была белой.

Эти чистые скромные краски навели на мысль об аскетичной палитре Нестерова.

Полная канистра была тяжела. Назад Охлопков шел медленней.

Ни на тропинке в овраге, ни на дачных улочках среди заборов и темных, серых садов он никого не встретил.

Где-то в стороне гудели машины на автостраде.

Вода, сбегая по ржавым желобам под крышами, со звоном падала в какие-то жестяные плошки.

Окно Зимборовой дачи запотело.

Он толкнул дверь. Заперто. Побарабанил по стеклу. Никто не отвечает. Разглядел силуэт девушки, лежащей на диване. Заснула. Охлопков поставил канистру, сел на мокрую скамейку, достал сигареты.

Покурив, снова постучал. Девушка пошевелилась, встала, подошла к окну. Он увидел ее бледное, хрупкое лицо с размытыми пятнами глаз. Вдруг подумал, что не знает ее. Но уже влечет за собой по чужим домам, к неизвестной цели.

Она открыла. В комнате было тепло. Ирма позевывала. Мне приснилось, что приехал отец, сонно проговорила она. Почему-то в военной форме, с забинтованным горлом. Он начал что-то писать, я села читать и ничего не поняла... Охлопков налил воды в чайник, поставил его на газ. Вторую горелку отключил. Сквозь сон я слышала, как на чердаке пищат мышата. Она замолчала, прислушиваясь. Нет, правда, тоненькими голосами... От этого запаха газет, мышей, укропа меня мутит.

Со стен на них смотрели люди в белых халатах и колпаках, суровые сталевары, пограничники, улыбающиеся дети, телята; в глазах рябило от газетных строчек: ХОЗРАСЧЕТ И БЕРЕЖЛИВОСТЬ НА ОЗИМОМ ПОЛЕ ПРЕСС-ЦЕНТР ПРИ ОБКОМЕ КПСС СОРЕВНОВАНИЯ КОМБАЙНЕРОВ Лидером социалистического соревнования комбайнеров района является Иван Николаевич Копельный. УБРАТЬ И СОХРАНИТЬ ЧЕМУ УЧАТ УРОКИ ЗИМЫ МАНАГУА ВАШИНГТОН ВОЗДАСТЯ СТОРИЦЕЙ ОТ РУК НАЕМНЫХ УБИЙЦ БОГОТА Два депутата муниципального колумбийского города ЭКОНОМИКА ВРЕМЯ МЫ Токио (ТАСС) «Не допустить повторения трагедии»...

Мы пьем чай в центре страны, сказала она. Ее глаза со сна были немного раскосыми, чистыми, яркими. И никто не знает, где мы, только Зимборов. Ирма, завернувшаяся в малиновое одеяло с зелеными полосами по краям, напоминала странную рыжеволосую скво. Волосы были заплетены в косы. Охлопков обнял ее, начал целовать в теплые сонные щеки.

Ой, мамочки, чиво это вы?.. ай! А притворялись приличным... приличным человеком, газировкой уго-ща-али.

III

Апофеоз пространства — свитки дальневосточной живописи. Живописцы как будто задалась целью создать параллельное пространство. Многометровые свитки шелка были горизонтальными и вертикальными. Эти пейзажи недаром называют космическими. Человеческие фигуры теряются среди громад гор и потоков воды. Пейзажное мышление отказывало человеку в праве считаться мерой всех вещей. «Читающий стелу»: асимметричная композиция, необъяснимые пустоты, — но это и есть «стела» самого мироздания, пространство, бесконечность, глубина, и именно эту загадку пытается разгадать всадник в соломенной шляпе, остановившийся перед каменной, окруженной корявыми деревьями плитой, у основания которой изваяна черепаха, а наверху дракон (интересно, что слуга смотрит не туда же, а прямо в лицо господину, повернувшись к стеле спиной, он читает стелу по его лицу; вообще здесь перекресток взглядов: сам в первую очередь обращаешь внимание на крупное лицо слуги, потом переводишь взгляд на лицо всадника, затем на стелу, с которой в упор всадника разглядывает дракон... мы слуги слуг, утратили уже способность к непосредственному мировосприятию и верим бесчисленным комментаторам, теряя себя среди тысяч отражений). «Ученый со слугой на горной террасе», полужелеза под деревом, спиной к зрителю, всматривается в туманную пустоту залива, занимающую половину картины.

Крошечный крестьянин ведет по снежному полю огромного буйвола; в центре высокие деревья, в глубине неясный берег то ли залива, то ли реки, растворяющейся в бесконечности.

«Весенние горы после дождя» словно зверь, положивший лапы на берег реки; зверь, окутанный туманами. Людей здесь вообще нет, но среди деревьев виден хрупкий мостик, контрастирующий с тяжелыми «лапами».

Во всем этом явственно слышится вопрошание, искание нитей и корней вечно живого начала. И все вопросы без ответов, путники-созерцатели кормятся намеками. И в этом-то, наверное, залог живучести древних путей: непрочных свитков, листов рисовой бумаги, уводящих куда-то мимо роши красных кленов, птицы, сидящей на коробочке отцветшего лотоса, печальной обезьяны с детенышем, хижины, собаки с выпирающими ребрами, горных ручьев, рыбаков, играющих на флейтах, мимо пагод и конюшен, пещерных росписей, монастырей в скалах, статуй, трав, бабочек, дерева и облака, случайно увиденных из окна гостиницы, наголо остриженного мальчика, заснувшего на краю пустоши под дикой грушей с крошечными плодами...

И где он проснется? В какой точке пространства окажется?

Он сидел за круглым столиком и видел не улицу с праздной толпой, текущей мимо лотков, заваленных дарами морей и садов со звездой, загоревшейся над крышами, словно вспышка зажигалки, которую так и не удосужились погасить, — как будто там некий курильщик тоже транжирит — но не свою жизнь, а целый мир, — нет, не этот город, благоухающий вином и чайной розой, под бесснежными небесами... хотя изморось здесь бывает, — утром серебрятся крыши и капоты авто; женщины утопают подбородками в шарфах, птицы молчат в каменных гнездах этого колоссального грубого цветка — до лучей, уже озаряющих черепичные крыши, черную стеклянную Башню (ночью мимо нее пролетают огни полицейских вертолетов, а рядом висит Ковш звезд, холода, тьмы), и в утреннем сизом воздухе зябко ежатся деревья, они еще зелены и желты, хотя на календаре самая глубокая и глухая осень. Осень всюду — это особенный лад, хрупкая архитектура, печально-яростные краски. Но не всюду ясна ее загадка. И уж тем более отгадка. Возможно, она в том, что осень воспел лучший голос гиперборейского эфира, и это всегда: Осень. Отрывок. 1833. В этот год, век очень легко проникнуть: стоит только попасть на мост, под который катит серо-свинцовые волны Дан Апри в берегах с облетевшими ивами, стоит только пройти вдоль выщербленных красно-кирпичных с седыми прожилками стен крепости, свернуть на грязную улочку Красный Ручей, зажатую черными заборами и садами, ждущими снега.

Да уже, наверное, и пошел снег.

А здесь на яблонях краснеют маленькие яблочки. И с плит набережной свисают зеленые бороды растений. И еще много всяких чудес. Розы на клумбах. В витринах уже белобородые куклы с мешками, искусственные елки, снег. У подъезда женщина с обнаженной смуглой грудью. У других дверей женщины одеты, но и они застыли в странном и отрешенном ожидании, высокомерно смотрят по сторонам.

Химеры в вечернем небе выразительны. Туристы запрокидывают головы, наводят фотоаппараты, блики вспышек, словно безмолвные возгласы восхищения.

Этот собор на одном полотне Альбера Марке покоится сфинксом, вытянувшим лапы-набережные вдоль песчаного цвета реки после дождя.

«Весенние горы после дождя» тоже напоминают какое-то животное, положившее лапы на берег реки.

И на ум приходят строки противоречивого Тютчева о том, что таинственность сфинкса — обман. И у француза это ясно чувствуется. Его сфинкс дряхл и уже мертв. Это какая-то дохлятина, мумия. А дальневос-

точный сфинкс еще окутан живыми туманами. И выманивает самонадеянных молодых людей из убежищ.

Хотя не все ему подчиняются...

Сева Миноров, например, воспротивился. Охлопков видел его однажды в Глинске — и не узнал. Уже порядочно отойдя от команды землекопов, по пояс стоявших в траншее и выбрасывавших лопатами блестящие под дождем тугие ломти глины, он вдруг вспомнил слухи о Севе — о том, что жена выставила его или он сам ушел, внезапно обнаружив, что делит ее с партнером по бизнесу — она занялась торговлей парфюмерией ведущих мировых фирм (на самом деле все польское), открыла ларек в центре Глинска; и ему пришлось искать место, не к родителям же возвращаться; он поселился где-то в пригороде и предался гиперборейскому забвению; дочь-красавица, топ-модель, присылала ему из Москвы деньги, но, наверное, не хватало, — и тут Охлопков понял, что сутулый малый с одутловатым сизым лицом, в детской вязаной шапочке и в замазленном бушлате — что это и есть, был птицелов, мастер воздушных змеев. Он приостановился, бросил издали взгляд на спины в потемневших от дождя брезентовых робах — и пошел дальше.

Но и сам Охлопков здорово переменялся. Малыш с пустоши отшатнулся бы, хе-хе, заглянув в это лицо с вспухшими веками, серое, усталое, с красной вязью прожилок в набрякших глазах, с бородой, как будто бы прожженной известью. Ну и что с того, что он зарабатывает по-другому и сидит здесь, бесконечно далеко... проделав долгий путь из одной точки живописного пространства до этой, конечной. (Или один шаг, один взгляд, переведенный с «Весенних гор после дождя» на «Дождливый день в Париже».) Несомненно конечной. Он заперт здесь. И никакой дервиш не вызовет его. Как это сделаешь ты?.. Хм, черт его знает. Мне нечего ответить.

Если только попытаться что-то изменить — в прошлом. Ведь оно на ладони, и ты его господин. Ну а коли расстояния здесь ничего не значат, то надо просто встать, расплатиться и выйти. Допить вино, дослушать мрачную песню... Раньше он любил Джо Дассена. И брат Вик не одобрял его пристрастий. Ну а что бы сказал об этом готическом парне с каким-то задушенным голосом?

Вот этому горбоносому кавказскому гостю в кожаном плаще явно нравится. А лицо его сумрачной подруги непроницаемо. Тинейджерам, ржущим над какими-то своими приколами, как говорится, по барабану, что за музыка, лишь бы было громко Громко ГРОМЧЕ! Вику тоже теперь все равно, даже если он жив в эту минуту, а если жив — значит, обдолбан, но если обдолбан, то жив ли? Приколоченному к доске гербария не до музыки, его песенка спета.

Вот его дружка с отпиленными пальцами хватило на большее. Он написал даже музыку и стихи для нескольких пьес молодежного театра. Потом уехал во Владивосток и там пытался создать группу, устроить музыкальную студию, — но еле ноги унес от тамошних бандитов. Вернувшись в Глинск, играл в лучшем ресторане. Даже, пожалуй, и сейчас подрабатывает?

Под конец готический певец сыпанул по головам и бутылкам горсть пуль. Горбоносый в кожаном плаще отер вспотевшие ладони. Охлопков закурил. Но тут же тинейджеры зашумели: эй! дядя! дедушка! хватит смолить!

Но разве здесь не курят всюду? в кафе? даже в кинотеатрах? «Если куришь и пьешь пиво, ты пособник Тель-Авива!» — проскандировали девчушки, топя толстыми черными башмаками в заклепках. Он загасил сигарету, радуясь за тинейджеров и печалась о себе: его-то легкие уже как траурные паруса — отец бросился бы со скалы, увидев. Впрочем, он не был таким сентиментальным. Сентиментальные охранники рано или поздно упускали сидельцев, падая с раскроенной головой или проткнутым заточкой горлом. Отец ни одного не упустил. Нет, он не был сентиментален. И не любил чрезмерных чувств, восторги пресекал; как-то в ответ на возглас сына о закате — это тропики! — заметил меланхолично: выдумываете вы все.

И Охлопкову потом не раз хотелось спросить: кто же все это выдумал, отец? Но отец давно скрылся в мире теней. И не его вина, что сын так долго предавался чрезмерным чувствам и пытался их сгустить в краски. Но настоящие краски так и остались, как некие чудесные рыбки, на глубине. Он так и не смог постичь «возвышенный смысл лесов и потоков». И даже выразить отчаяние отсутствия этого смысла.

Если бы Начальство железных дорог позволило еще раз проделать весь путь.

Все было бы по-другому?.. Теперь-то он знает, что, гоняясь за призрачным символом пространства, упустил последнее, что у всех осталось здесь.

Ну, если попробовать еще раз. Выстроить все иначе.

Оу! вау! — затараторила ведущая музыкальной программы, вы стали обладателем двенадцатипроцентной скидки на аппаратуру... поздравляю! Она была в эйфории, того и гляди, пустится в пляс по студии вместе с сотрудниками и счастливым обладателем двенадцатипроцентной скидки.

Нет, это была явно какая-то **зависимая** радиостанция.

В свое время Боря Чекусов мечтал открыть Независимую радиостанцию. И дела у него шли неплохо. Он даже слетал в Америку — за опытом делания денег вместе с другими глинскими предпринимателями. Потом мотался в Москву на старом «Москвиче», привозил товар, продавал его, отправлялся за новой партией — это были швейцарские перочинные ножи, американские сигары, фонарики, батарейки, корейские авторучки, диски, плееры. На трассе Москва — Минск его пытались перехватить ушкуйники — но им так и не удалось затереть «Москвич», только бока себе ободрали. Ушкуйники отстали. Впрочем, его все же нагрели — другие, московские, и без всяких гонок, скрежета, пыли, тихо, вежливо — на приличную сумму. Чекусов немного, как водится, попил... заправил «Москвич» с боевыми царапинами, без задних сидений — и покатил в столицу. В ларьке сам торговал, в том числе и мороженым, холодильник стоял на улице, если кто хотел — стучал монеткой по стеклу...

Очередное и окончательное крушение надежд на Независимую радиостанцию произошло в августе девяносто восьмого.

Оу! вау! всем дозвонившимся светит счастье двенадцатипроцентной скидки! Спешите!

Луна в старом городе, лошади, пасущиеся на дне Каньона; узкие каменные улочки студенческого квартала с ароматными кабачками; серый плац, штаб с красным флагом; заснеженный лес, галереи, мосты, улицы с захватывающими свето-воздушными перспективами гигантского города, школьный сад с четырехэтажной громадой здания, волнующий свет закатного солнца в его окнах.

Одно соседствует с другим, создавая причудливую фантастическую картину...

И на дне Каньона стоит почерневший дом с прогнившими половицами, растрескавшейся печкой, вещами в углу, железной койкой, устланной кедровыми плахами, — и там пахнет хлебом, подгоревшим в двух ржавых железных формах, — это первый хлеб, испеченный ими; он ставит на угли черный чайник, вдруг просит ее надеть платье, единственное ее платье; зачем? отметим новоселье; да?.. ну хорошо, она копается в дорожной сумке; чайник вскипает, засыпать заварки, на подоконнике — стола еще нет — кусковой сахар, свежая смородина, железные кружки; он поворачивается, она все еще сидит на корточках перед сумкой; он приближается, заглядывает ей в лицо: мутные слезы выкатывались из-под плотно сомкнутых мокрых, слипшихся ресниц, сыпались на щеки, на бледные руки, сжимающие праздничную ткань платья; она плакала беззвучно, как будто все оглохло от грохота водопада, хотя здесь, внизу, он был совсем не слышен...

Ну ладно, хватит.

Он встает, заправляет шарф, застегивает черное пальто и выходит, обрывая голоса и музыку.

Тут же на рукав падает белый лоскут. Еще один трепещет на фоне черной арки. Он в замешательстве оглядывается, поднимает голову, стоит, хрипло дыша, смотрит на ткущееся черно-белое полотнище.

Ночью крыши и улицы за его окном были чисто высланы.

Поля Средней России остались позади, — поля и тысяча городов (как называли Русь викинги). К вагонам подкатились гигантские мшистые валуны; всюду хмуро зеленели ельники, — иногда они расступались, обнажая серые закопченные стены и трубы, это был Урал, страна тысячи заводов. По высоковольтным линиям в просеках тек уже, наверное, азиатский ток. Как и во времена Демидовых, Строгановых, здесь что-то ковали и отливали, — трубы густо дымили.

Печальные места, Вергилий!

Караван вагонов, звеня ложечками в стаканах и грохоча чугунными колесами, пробирался дальше среди скал и елей, городов и поселков.

Пограничный столп: Европа — Азия.

Поезд спускался в Низменность.

Над болотами и степями, над чахлоберезовыми лесами колыхалось марево.

В поезде было душно, лица пассажиров лоснились. Слышны были обычные дорожные разговоры, смех, плач ребенка, кашель.

Трудно почувствовать себя в Азии, как ни воображай эту часть материка в наслоениях религий, культур.

Тщетные помыслы!.. они по миллиметру продвигаются гусеницей в траве где-то между речками Вагай и Емец. Отсюда еще четыреста верст до Омска, только до Омска, — и тысяча до Новосибирска...

Раньше Азия была еще больше, для путешествий на лодках, подводах, с зимовками в острожках ясачных государевых татар. Походы царских послов в Китай занимали многие месяцы. Посол Байков шел, шел, пришел и отказался слезть с лошади, чтобы по этикету поклониться кумирницам. То есть даже не кумирницам, а императору. Но сам император был в столице, а кланяться заставляли уже на подъезде. У нас так не принято. Потом им подали чай: с маслом и молоком. Байков снова свое: пост, по вере никак нельзя. Не хочешь нашего чаю? Ну и завернули посольство. Сходили в белый свет, год возвращались.

Так что тут нахоженные пути. На Байкал, на Дальний Восток, на Алтай.

И гусеница ползла, огибая стебли, сухие веточки, камни, клочья засохшего навоза, изъеденные кости лошадей, шлепки мазута, куски резины, груды железа. Ветер вылизывал ковыль.

В Новосибирске была пересадка. Вокзал переполнен, всюду очереди, запах тысяч тел, гомон, осоловевшие взгляды, непрекращающееся движение.

Сдали вещи в камеру хранения и вышли в город.

Ночью Новосибирск казался напоенным мощью всех сибирских рек, пропущенных сквозь турбины гидроэлектростанций. Она смотрела немного растерянно.

— Куда мы пойдем?

— В какой-нибудь сквер.

— А не опасно?

— Но ты же говоришь, на вокзале слишком душно. Хотя, по-моему, нигде не найти свежести.

— Такое впечатление, — сказала она, — что мы все-таки попали в Туркмению. Ну, или по крайней мере движемся по направлению к ней.

Мимо проезжали такси. В темноте белели рубашки, футболки, платья прогуливающихся.

Набредли на скверик, показавшийся укромным. Посидели на скамейке, потягивая теплую газировку; он курил.

— Просто невероятно, как мы далеко уже. Все так быстро. Кажется, еще мгновение назад были в Москве.

— Ну нет, — возразил он. — От движения сквозь эти просторы болят мышцы. И голова чугунная. Как вагонное колесо.

Она устало улыбнулась:

— Да. Я отлежала все ребра. И копчик отсидела.

— Мы пересекли несколько часовых поясов. Наше время с прежним уже не совпадает.

— На сколько?

— На четыре. У нас там еще светло.

— Значит, мы едем дальше в ночь.

— Чем дальше в ночь, тем больше снов. Поговорка сторожей-пожарников. Кстати, на другом краю уже рассвет. А мы где-то посередине. Так что давай спать.

— Где? где-есть?

— Ну да. Довольно тихо, листья шелестят. Вроде бы неплохо. Ляжем валетом. На, возьми под голову. А этим укройся.

— И так жарко.

— Ну как?..

— Жестковато.

— Вообще путешественники берут с собой надувные матрасы, но они тяжелые. Шьют сами коврики из кусочков пенопласта. Но это тоже не перина.

У фонаря толклись мотыльки, выветлялись и так-то хорошо видные бабочки. Где-то неподалеку изредка проезжали автомобили.

Послышались шаги. Кто-то направлялся сюда. Но остановился. Постоял и повернул обратно.

Утром по скверу шли и шли люди, взрослые и дети. Дети удивленно таращились на лежащих. Возле скамейки стояли босоножки. Она открыла глаза и в ужасе уставилась на прохожих. Он тоже проснулся, сел. Она зажмурилась.

— Проснись, уже утро.

Наносило запахи сигарет, одеколонов, духов. Она встала, принялась натягивать босоножки, стараясь не смотреть по сторонам.

— Немного заспались, — пробормотал он смущенно. Полез за сигаретами.

— Где можно умыться?

Он поскреб щеку в русых завитках, хмыкнул.

— Может, ты потом покуришь? — не поднимая глаз, спросила она.

— Да, пойдём.

Он курил на ходу. Они пристроились к шествию новосибирцев, вышли на широкий проспект с мчащимися машинами. Между домов над деревьями висело красное солнце.

— Ого.

— Ты думала, здесь ездят на собачьих упряжках?

Она взглянула на него:

— Просто я удивляюсь, неужели вчера мы не заметили, как перешли через эту дорогу?

— Нет, мы идем здесь впервые. Еще целый день впереди. Или лучше провести его на вокзале?

— Нет. Но где тут можно умыться? И... мне хочется.

— Здесь один из научных центров страны.

— Академгородок, — сказала она. — Ну и что?

— Ну, наверное, и туалеты есть.

— Ладно, пошли... Смотри, написано: Красный проспект.

Они шли сначала вдоль проспекта, потом углубились во дворы панельных и кирпичных домов. Он предлагал ей просто зайти за железные гаражи, но она отказывалась. Из домов выходили все новые новосибирцы, умытые и причесанные, кто-то закуривал; все спешили к Красному про-

спекту; из открытых форточек доносились голоса радиодикторов, бодря музыка. Все та же музыка, что и четыре часовых пояса назад. Автомобилисты выгоняли из гаражей «Москвичи», «Жигули», «Запорожцы», торопливо протирали тряпками лобовые стекла, заводили моторы; пахло бензином. Куда-то бежал задыхающийся толстый мужчина в мокрой футболке. Зевающий мальчишка выгуливал лохматую собачку неопределенной породы, он сомнамбулически безвольно следовал туда, куда его тянула собачка за поводок, и спотыкался.

Внезапно посреди асфальта, стекла, железа и кирпича блеснула вода. Или, может быть, какое-то химическое соединение? жидкое стекло, что-то еще в таком роде... бензиново-асфальтовый мираж.

Нет, это была настоящая вода.

— Вода!..

Они оказались на набережной. Он повел ее к мосту. Осторожно они прошли среди бутылочных осколков и всякой дряни. Она сказала, что умываться здесь ни за что не станет. Он ответил, что умыться можно подалее, а здесь — справиться нужду. Кто же виноват, что академики не удосужились нигде построить обычный сортир из досок.

Умывались они поодаль от моста. Вода пахла керосином. Она тщательно вытерлась носовым платком.

— Посмотри, чистое лицо?

Он посмотрел и кивнул.

— Поцелуй в подтверждение.

Он поцеловал ее в щеку.

— И в другую.

Он поцеловал в другую.

— Мог бы это сделать и без просьб, — заметила она.

Он полез за сигаретами.

По воде проплывали масляные пятна. Откуда-то доносились гудки.

— Как называется?

— Река?.. Не знаю.

— У тебя даже нет карты.

— Настоящие места не наносят на карты.

Из-за поворота выплыла моторная лодка, ею управлял человек в кепи с длинным солнцезащитным козырьком. И на миг шар солнца повис прямо над его головой, затем его повело в сторону... солнце? моториста?

Она сказала, что реки в Сибири нечистые. Он ответил, что чистые воды будут дальше. Это намек на легенду?

Моторка проплывала мимо.

— Нет, в самом деле, — ответил он. — Объективно чистые. Никаких намеков.

Они поднялись на набережную, пошли неторопливо.

В открывшемся магазине купили две бутылки яблочного сока, печенье. Полки там ломились от банок с зелеными маринованными помидорами, от макарон и рыбных консервов, больше ничего не было, новосибирцы жили аскетами, держали пост, как и прочие жители азиатско-европейской страны, изобилующей пастбищами и всяческими угожьями для птиц и одомашненных зверей... нет, даже в магазинах чувствовался этот особый, никому не понятный дух самости и таинственности.

Над Красным проспектом кадил жаркий и шумный день.

Они заметили древесный клочок с лавками прямо посреди проспекта и забрались туда, думая, что никто там не помешает.

Она взялась за булку из столовой, но тут же отложила, скривившись.

— Так невкусно?

Печенье ей тоже не понравилось, но надо же было что-то есть, и она откусывала от квадратиков с узорами и запивала соком. Им бы поучиться у бабушки, вот у нее было печенье. Такое вроде овсяного, но не овсяное,

а из ржаной черной муки, которую она замешивала с маслом, сметаной, жиром, делала кругляши, клала на сковородку и — в печь. Ну, это просто у нее такое сердце было. Я где-то читала, в «Крестьянке», что ли: готовьте с добрыми помыслами. Даже так: это и есть ваши помыслы. Вот глупость. Не люблю готовить. Всегда удивлялась бабушке: встать чуть свет, растопить печку, месить тесто, возиться часа два-три, чтоб потом мы все сразу смели.

— К нам кто-то идет?.. Или просто мимо.

Но мужик в грязно-белой футболке и синих спортивных штанах подошел к ним.

Был он морщинист, ушаст, шея заросла сивой шерстью, из-под густых бровей ярко синели маленькие глазки. Кого-то он напоминал.

Мужик оскалил прокуренные редкие зубы и сказал:

— А я видел вас. Как вы в парке кантовались. Еще удивился, что туфельки как у кровати стоят.

— Босоножки, — поправила его девушка.

— Ага. Не помешаю? — Он сел рядом. — Но кто ж так поступает. Не по уму. Тут у нас, конечно, можно сказать, всемирный перекресток, ко всему привыкли, народ отовсюду и по разным параллелям кочует, геологи, бичи, таежники. А у странника кто украдет?.. — Он почесал выпуклыми провяленными табачным дымом ногтями загривок, прокашлялся. — Но бывают казусы. — Он покосился на спутника девушки. — Дайте, пожалуйста, сигаретку, если есть, конечно.

Закурил.

— Сами-то, извиняюсь, откуда?.. Мм, и далече?

— На Алтай.

— А там?..

— В заповедник.

Лицо цветом в древесную кору скукожила улыбка.

— А я же так и понял, еще утречком. Почуял — свои, лесные. Только без сноровки: туфельки кто ж так аккуратненько ставит на ночь. Обувь под голову кладут. Народ разный. Один мой корешок, ну, друг, можно сказать, точнее, сообщник по экспедициям, на доверчивости своей сильно накололся, то есть в натуре погорел. Сезон провел в Алданских горах, вернулся, справил прикид, рассовал башли, то есть капусту, по карманам, — решил культурно отдохнуть, то есть подышать не комарами-гнузом-дымом, а, извиняюсь, дамским и вообще, ну, короче. Купил билет в театр. — Рассказчик в несколько затыжек истребил сигарету, посмотрел печально на окурки, отщелкнул его в траву. — Там некая постановка шла. Что-то Островского, например, или, короче, «Гамлет», — спектакль. Он первое действие чин чинарем все усидел, косяка давя, то есть шпаря по сторонам на, в общем, женский пол, так что ему не до Гамлета было. Но Гамлет возник в буфете, когда тайм-аут объявили. Пить или не пить. — Рассказчик выставил желтые зубы, хохотнул. — А этот вопрос всегда не в пользу решается, то есть жизни, здесь всегда ноль — один, вечный, короче, во всех смыслах ГОЛ! Ну, он заказал коньяку. Махнул, то есть слегка промочил горло, ста граммами-то. Пошел в туалет смолить, вытащил пачку дорогих сигарет, достал сигарету, попробовал, отломил фильтр, покурил — не закурился. Вторую начал. А уже звонят, всех вызывают. Он со всеми было намылился, но — сто грамм? а? это же что, издевка, — дал, короче, крюка в буфет, еще хватил сотку. Подумал — и еще одну. Уже стало по себе. Но в зале все потом курить хотелось... извини, сигаретку? — Он снова закурил, блаженно замолчал, пуская широкими коричневатými ноздрями дым. — Так что он еле вторую серию досидел — и сразу побежал курить. Потом в буфет. Начал озираться. Какую же ему бабочку закадрить. А они все в пудрах, духах, неприступные, как Алданские горы. Или пороги на Зее. Он что-то попытался одной вякнуть, ну, крючок слегка закинул. А та голым

плечиком вшить! — и все соскользнуло. А корефан почувствовал себя прямо-таки гнусом, гнусно, короче. Во всех смыслах. Он вроде бы к двум другим барышням в теле, с бусами. Так там выдвинулись хлыщи, дуэлянты, чуть ли не в этих колпаках, какие носили при царе, короче, шляпах. Ну что делать. Можно бы, конечно, пальцами в глаза, другому по... короче, устроить кадрилль с брызгами, но он думает, поведет себя культурно, хотя у меня и нет... этого... цилиндра и шашки. И он эдак с ампломбом во всех смыслах вытягивает двумя пальчиками ма-а-ленькую, гы-ы, пачечку капусты, берет коньяку фужер и пьет, смакуя, маленькими глотками, конфетой заедает. Шик! Приятно. Ну и еще. Короче, почти всю третью серию пропустил. В темноте ходил-ходил, искал-искал свой стул. Нету. Люди, то есть зрители, уже смотрят на него, а не на Гамлета. И дуэлянты с угрозой шипят. Или там змеи у них в цилиндрах. Вдруг кто-то мягонько так: цоп-цопэ его за пинжак, садитесь, мужчина, со мной свободно. Он и сел. Очнулся голый на берегу нашего моря — Обского водохранилища! — выпал рассказчик и засмеялся: смех его напоминал звук трескавшей коры. Он посмотрел, какое впечатление произвел его рассказ и неожиданное резкое перспективное сокращение, и попросил еще одну сигарету. Под третью сигарету он дорассказал историю своего друга, как он, очнувшись, добирался до ближайшего жилья с пляжа, где очутился со своей театралкой после спектакля, может, решил таким образом продолжить культурное времяпрепровождение, и с чьего-то забора стянул драный халат — натурально бабский — и заявился на станцию, как артист с погорелого цирка, милиционер так сразу на него и уставился, как будто это призрак на башне. А он, стараясь выглядеть солидно, спросил, который час. Голый мужик в бабском халате. Милиционер даже ничего не ответил, а только кивнул изумленно в сторону вокзальных часов. Но потом уже взялся за него. А мужик говорит: я и сам хотел поинтересоваться у вас, не проходила ли здесь такая... такая, короче, театралка во всех смыслах. Возможно, в мужском костюме для маскировки, у ней еще бородавочка на веке.

Замолчав, мужик вздохнул. Можно было подумать, глядя на его футболку и трико, что все это произошло с ним и совсем недавно, позавчера.

— А я в этом сезоне пас, — хрипло проговорил он, глядя куда-то в марево несущегося взад-вперед Красного проспекта. — Обстоятельства не допустили.

У него обнаружили язву, лечился. На маршруте как? То жрешь до отвала, если, короче, ну, рыба пошла или рогача завалили, а то сухарями с водичкой пробавляешься. Вот через это и болезни всякие. Организм выматывается. Паршиво, конечно, сидеть Ильей Муромцем, короче, во всех смыслах. По глотку бичевской жизни скучаешь. Она как будто даже какая-то воровская. Ну, вообще-то, короче, там с зоны много парней. Нет, я во всех смыслах имею в виду: отпахал, а потом пир горой, ширрокий народный загул. Как вор: пошерстил — и карусель-малина. Это сравнение ему на ум пришло вот теперь, когда врачи его повязали во всех смыслах, короче. И он додумался от тоски до философского обобщения: есть во всей нашей жизни что-то воровское. Но опять же так прикинешь, если с другой стороны, у кого ты крал? Ну там, может, по мелочам, по необходимости, чтобы выжить, вылечить душу и больную голову, ну там какую-нибудь, например, ерунду как бы ничейную, канистру керосина или запчасти от «Вихря», — речь не об этом. А вот: проснесся ночью, лежишь думаешь: вор. У тебя-то такого еще не бывает, сказал он, скашивая на него свои крошечные синие лесные глазки, по молодости. Он перевел взгляд на девушку. Снова взглянул на него, помолчал.

— Ладно... Пойду.

Но еще некоторое время сидел, не уходил, рассказывал, как он лечится и ждет осени, — осенью с Алданских гор придет друг, Вадя Турта, с золотишком... хрипло засмеялся он, и начнется культурное прование времени.

Наконец он решительно тряхнул авоськой, собрался с духом, встал, пожелал им удач во всех смыслах и пошел дальше — через вторую линию Красного проспекта.

— Я думала, будет просить денег, — призналась она, — на выпить.

— Даже закурить на прощанье не стрельнул, — ответил он. — У этих людей под шерстью сердца бессребреников.

Мужичок удалялся по сизому от чада Красному проспекту.

— У него же язва, — вспомнила девушка.

Время выпило всю тень, они вынуждены были оттуда уйти. Да и дышать там уже было нечем.

До отправления поезда еще оставалось несколько часов.

Красный проспект бесконечно тянулся куда-то.

— Так совпадают пространство и время, — сказал он, взглянув на часы, а потом на перспективу Красного проспекта. — Известная мысль, что даль — это будущее. Вон смотри, тот мрачный дом, вон, из бурого кирпича, видишь?

— Вижу, — нехотя взглянув туда, проговорила она.

— Это и есть будущее, если мы туда пойдем. Только нас там еще нет.

Она покосилась на него:

— И что это означает?

— То, что будущее можно не только предвидеть, но и видеть. В этом магия пространства.

— Но мы туда не пойдем, — сказала она.

— Значит, это не наше будущее.

— Может, мы никуда не пойдем, — раздражаясь, сказала она. — Остаемся на месте.

— У нас куплены билеты, — невозмутимо напомнил он.

— ...Надоел этот проспект.

— Что ты предлагаешь?

— Ничего. Где-нибудь скрыться от солнца.

— Пойдем к реке.

— Там грязно.

— Сядем в автобус и куда-нибудь заедем.

Они вошли в автобус.

— Белые воды — это тоже муть, — сказала она. — Почему именно белые?

— Цвет, в котором скрыта возможность всех цветов.

— Короче, во всех смыслах, — проговорила она, передразнивая бича.

— Кто-то сравнивал его с паузой в музыке.

— Они искали паузу?

— Нет. Хотя...

— Или хотели погрузиться в вечный траур.

— Почему? — растерянно спросил он.

— Я читала, что на Востоке это цвет траура. Мы на Востоке?

Пожилой пассажир с лысиной и бакенбардами внимательно слушал, хмуро разглядывая девушку и ее спутника.

— Нет.

— А где? — Она спрашивала нарочно громко.

— В Новосибирске, — тихо ответил он.

Соседка мужчины с лысиной изумленно улыбнулась, взглянула на соседа, тот мрачно отвернулся и уставился в окно.

— Но даже Польша Восток, — сказала она. — Не говоря уже о Москве и нашем...

— Это все относительно, — уклончиво ответил он.

— В какую сторону мы поехали? — спросила она. — В сторону «будущего»?

Мужчина подозрительно посмотрел на них. Его соседка забеспокоилась.

— Давай сойдем, — предложил он.

Они вышли, провожаемые почти злобными взглядами.

— Куда мы попали? — спросила она, озираясь.

Он тоже осмотрелся. Кажется, это был центр.

— Это центр, — сказал он.

— Ты всегда говорил, что центр где-то дальше.

— Ну... в другом смысле. А здесь, видишь, обком. А вон облизполком.

Центр Новосибирска.

Они прошли по площади.

— Какая скучотища, — пробормотала она. — Почему-то в центре всех городов площади. Пустое место.

— В центре России гроб.

— Здесь тоже какие-нибудь останки, — сказала она, указывая на вывеску «Краеведческий музей».

— Что ж, зайдем?

Но музей был закрыт.

Они прошли дальше и наткнулись на картинную галерею.

— Интуиция, — сказал он.

В залах было душно, но хотя бы не пекло солнце. Они рассматривали картины Репина и Сурикова, местных художников, большую рериховскую экспозицию, около полусотни работ.

— Нравится?

— Рерих?.. Ну да... красиво. Хотя как-то... — Она оглянулась среди пейзажей с синими, фиолетовыми, красными горами, пурпурными небесами, реками, странными фигурами, похожими на изваяния, и не нашла нужного определения.

— Как-то что?

— Не знаю. Фальшиво.

— Ну, это ерунда, — возмутился он. — Или одно, или другое. Красота может быть страшной, но не фальшивой. Прописные истины. Суриков, например, в детстве бегал смотреть казни в Красноярске и любовался на палачей в красных рубахах, широких портках: силачи. Черный эшафот, красная рубаха — красиво, сильно.

Она уставилась на него.

— Это Суриков говорил. Ну и что ж, он прав. Действительно, смелое сочетание жизнелюбия и ничто. Если бы кто-то осмелился написать «Последний день Хиросимы», это тоже было бы красиво и не фальшиво. Все, чего коснулась рука настоящего художника, не фальшиво и, следовательно, красиво.

Ее рыжие косы упрямо качнулись.

— А я била бы их по рукам!

Он усмехнулся:

— Линейкой?

— Чем придется.

Они вышли на улицу.

— Интересно, закончится когда-либо этот день.

Закончился.

Ночью поезд отчалил. Позади остались огни всех сибирских рек.

Поезд медленно набирал скорость, устремляясь куда-то дальше по лесным равнинам, среди невысоких гор, мерцающих заливов.

Окна были закупорены, проводников долго упрашивали, прежде чем они соблаговольили повернуть свои кривые ключи в рамах, отмыкая уста ночи, и вагон наполнился теплым, но все же движущимся, уносящим разнообразными запахами — одеял, еды, волос, табака — воздухом.

Измученная днем, проведенным на Красном проспекте, девушка тут же уснула. А он долго не спал, выходил курить в тамбур, видел в черных квадратах ночи свое отражение... Дорога пробуждает ощущение настоящего. Обычно человек живет либо в прошлом, либо нигде.

Он отражался с трепещущим угольком в губах. Всмотривался в ночь.

Возвращался по вагону, и ночь следовала за ним, приныкая к каждому окну, вдруг вспыхивая желтым зраком какого-нибудь полустанка.

Он слушал храп соседей, поглядывал на рыжую голову спящей девушки и чувствовал неясное беспокойство и неуверенность.

В Барнауле они увидели множество лунообразных, прокопченных раскосых людей в тюбетейках, полосатых халатах, с огромными баулами. Это был еще один перекресток, здесь можно свернуть на Турксиб и покатить к Каспию, Памиру — Крыше мира. Вспомнился вдруг Сева и «Язык птиц». Где-то потом попалась эта книжка, но уже с другим — английским — вариантом названия: «Парламент птиц». Это звучало странно, нелепо — какой парламент на Востоке в средние века? — но сейчас название показалось симпатичным, и мелькнула мысль, что как раз на Памире этот парламент и мог заседать.

Он сказал об этом девушке. Она подняла на него потемневшие глаза, пытливо посмотрела:

— Но мы едем на Алтай?

Вокруг гомонили черноглазые дети. Под потолком вокзала хлопали крыльями голуби. Сквозь пыльные окна светило солнце. У касс маялись очереди.

Да, на Алтай. В эту страну, горным хвостом уходящую в недра Азии, в Гоби, с Белухой в центре, царящей надо всем, принимающей ветры монгольских степей, задерживающей облака Поднебесной, ежемгновенно рождающей мощную Обь.

Что еще?

Здесь останавливался зачарованный офицер Генштаба Пржевальский, делая последние приготовления перед броском в географическую пустоту. Здесь бывал Рерих.

Поезд выехал из Барнаула, чтобы достичь крайней точки железных дорог СССР. Дальше начинается Чуйский тракт.

Бийск, крайняя точка железных дорог СССР. Преддверие Алтая. Когда-то казачья крепость на линии обороны Сибири от набегов Великой Степи. Глядя на разрытые улицы с грудями кирпича и хлама, обшарпанные и как будто испещренные пулями стены, можно было подумать, что набеги продолжаются.

Но от двух старинных пушек в центре пахло мирно — нагретым солнцем металлом.

И молодые женщины с колясками безбоязненно пробирались по колдобинам. Работали магазины. Общественный транспорт: автобусы, такси. По воздушным линиям курсировали самолеты. В киосках продавали газеты, ими удобно было гвоздить мух, настоящее бедствие города. Одна продавщица, сгоняя черно-мохнатых тварей с сыра, объяснила, что они летят за скотом по тракту из Монголии. В Бийске крупнейший мясокомбинат.

Все-таки не оставляло какое-то тревожное чувство. Даже после того, как купили билеты на самолет. Словно вот-вот нагрянут отряды Временного Сибирского правительства. Или маньчжуры на низкорослых лошадах. Да, дело-то в том, что самолет улетал только через трое суток.

Сразу им не удалось найти места в гостинице. Билеты они купили в городской кассе «Аэрофлота» и решили податься в аэропорт. Под вечер зальчик маленького деревянного здания уже опустел. Какой-то служащий аэропорта, с красным лицом, в очках, предупредил их, что сейчас последний автобус отойдет, так что торопитесь.

— Да нам некуда торопиться. Рейс через три дня. Мест в гостинице нет. Нельзя здесь переночевать? Хотя бы одну ночь? За плату.

Красное лицо человека в выцветшей форменной рубашке и синих летних штанах немного покривилось при хрусте бумажек.

— Лады, — сказал он. — А это спрячь.

— Видишь, — сказал он, когда то ли летчик, то ли кто ушел, — что значит попасть в иной хронотоп. Бичи и летчики — бессребреники.

Поздно вечером он снова появился и сказал, что на ночь дверь запрет, так что лучше прямо сейчас закончить все свои дела... он посмотрел на девушку. Туалет был на улице.

— Я не хочу, — тихо сказала она.

— Закрывайте! — перевел он.

Человек с красным лицом повернул ключ и ушел. Они остались одни. Девушка попросила расстегнуть на спине под футболкой застёжку, вытаскивала лифчик, спрятала его.

— Ну и жарыща... Мы ближе к Туркмении?.. Да, я никогда не любила географию... А здесь ничего. Как будто в кинотеатре. Какой будет фильм? или картина, говоря бабушкиным языком?

— Картина скучная. Три дня в Бийске... — Он достал сигарету.

— О, только не кури.

— Почему?

— И так душно.

— Что же мне, всю ночь терпеть?

— Наверное.

— Ну! Лучше бы я заночевал на лавке перед входом.

— Не злись.

— Ты боишься пожара?

— Да, кстати, мы заперты. Но... просто мне как-то неприятно.

— Раньше ты не обращала на это внимания.

— Хорошо, кури.

Он чиркнул спичкой, встал и отошел подальше.

— Табак убаготворяет, — сказал он. — И чувствуешь себя приобщившимся к культуре... Ты обиделась?

— Нет.

— Давай ужинать. Откроем тушенку. Хлеб есть. Сыр. Лимонад. Печенье забыли купить.

— Да ничего... Мм, не режь, пожалуйста, хлеб... вытри сначала жир. — Она поперхнулась, закашлялась. — Я не буду.

Он удивленно смотрел на нее:

— Вообще... странно все это. Ведь я, кажется, предупреждал.

— О чем?

— О том, что туда, куда... то есть там, где мы будем жить, нет ни магазинов, ни ресторанов. И нам придется вести жизнь простую. И здорово. Так?

Она кивнула.

— И что у тебя не будет шикарных нарядов, — продолжал он, — что твоими подругами будут птицы, ну, или какая-нибудь жена егеря, или дочь скотовода. — Он сглотнул. Запах свиной тушенки и хлеба мешал говорить.

— Я все помню, — сказала она, — давай есть.

Он хмуро взглянул на нее и принялся намазывать тушенку на хлеб. Ноздри девушки подрагивали. Она взяла бутылку.

— Откупорь, пожалуйста.

Она торопливо отпила из бутылки.

— Но там озеро, тайга, — говорил он, добрея от еды, — а это значит, что к столу можно подавать, например, копченого тайменя, пироги с оленьей печенкой...

Она приложила к бутылке.

— ...провяленное мясо кабана.

Она судорожно вздохнула. Он взглянул на нее, жуя. Она сморгнула слезы.

— Крепкая газировка? — добродушно спросил он, беря бутылку. Отпил, не вытерев жирных губ.

Она больше не притрагивалась к бутылке. Жевала хлеб.

Утром появился сторож и отпер дверь. Они умывались в струйке питьевой воды, бившей вверх из декоративной каменной вазы на лужайке перед входом. Первый автобус привез работников аэропорта в форменных рубашках, синих брюках и юбках. Сторож уехал.

Надо было отправляться на поиски гостиницы. Она не хотела оставаться одна. Он доказывал ей всю нелепость этой прихоти, — что же им, таскаться по Бийску с вещами? Камеры хранения там не было. Попытки с кем-нибудь договориться окончились безрезультатно. Никто не соглашался взять их вещи — а вдруг что-то исчезнет? кто будет отвечать? И девушка упорствовала, за ней этого раньше не замечалось — слепого упорства.

— Но мы же не будем еще одну ночь сидеть здесь? — спросила она.

Он подумал.

— Не знаю.

— Но как-то неудобно снова напрашиваться к тому дядьке, — сказала она.

— Может, дежурить будет другой.

— И неизвестно, разрешит ли ночевать здесь. Лучше уж перебраться на железнодорожный вокзал. По крайней мере там есть камера хранения, — торопливо проговорила она.

Он взялся за рюкзак, взвалил его на спину, подхватил сумки и молча пошел к остановке. Они уехали в город.

Сойдя на одной из остановок, устроились на лавке возле жилого дома; она купила в ларьке пирожков с повидлом, воды, спросила у продавщицы, где бы им отыскать гостиницу с местами, — та посоветовала одну гостиницу на окраине, объяснила, как добраться.

И только они взялись за пирожки — хлынул дождь. К этому шло, со вчерашнего дня парило. И вот рванул ливень, они мгновенно промокли, пока бежали к ближайшему подъезду. Спрятались под козырьком.

По тротуару неслись потоки воды с листвой, смятыми бумажками, окурками, стаканчиками из-под мороженого.

Из подъезда вышла толстощекая сивая бийчанка в нарядных белых туфлях, лимонной юбке и сиреневой блузке. Мгновенье она изумленно смотрела на безудержный ливень и коричневый поток, прижимая черную лакированную сумочку с блестящими застежками толстой рукой к бедру, потом взглянула на бледную рыжую девушку с синеватыми кругами под глазами, на ее спутника, на их вещи, снова возвела изучающие глаза на девушку — и в них появилось какое-то прискорбное выражение, губы слегка презрительно pokrивились. Девушка отвернулась. Он закурил. Дым не рассеивался сразу. Бийчанка смотрела. Девушка вдруг вышла из-под козырька, хотя ливень только начал ослабевать.

— Поймай, — сказал он, — куда ты...

Она не оглядывалась. На лице бийчанки появилась улыбка. Он бросил недокуренную сигарету в поток, взгромоздил на спину рюкзак, взял сумки.

— Объясни, в чем дело...

Она шла не отвечая, дождь обливал ее веснушчатое лицо, тусклые рыжие косы.

— Куда мы идем?.. Я чувствую себя вьючным животным... Тебе захотелось вымокнуть?.. Слышишь ты?

— Да.

— Хорошо... черт!

Их обдала брызгами проезжающая машина. Он выматерился. Она шла зажмурившись, ничего не видя. Он продолжал изобретательно ругаться, учитывая местные особенности: вшивые скотоводы, сибирские чурки, маньчжурские валенки... Она вдруг засмеялась, по ее щекам текли слезы.

— Ну подожди, — попросил он.

Они остановились возле сосен с красновато-желтыми, источавшими аромат стволами. Дождь перестал. Он достал сигарету. Она отвернулась.

— Все-таки... что произошло?

Она молчала.

— Рюкзак некуда поставить, — пробормотал он, оглядываясь. — Хорошо путешествовать с ослом... А? Нет, тогда в гостиницу не пустят... Смотри.

По мокрой солнечной дороге ехал всадник в синем спортивном костюме, высокая гнедая кобыла перебирала ногами в белых чулках, из-под копыт вырывался сочный цокот, но этот звук как-то не совпадал с грациозным движением ног. Всадника заслонил автобус. Пассажиры не выворачивали шеи, чтобы получше его рассмотреть. Автобус проехал, и снова стал слышен цокот. Всадник неспешно проехал мимо рыжей девушки и молодого мужчины, заросшего светлой курчавой бородой. Лошадь как бы танцевала на месте, и всадник, подчиняясь ее ритму, привставал и опускался, и странным образом они все-таки двигались вперед.

— А тут где-то вправду неподалеку Великая Степь, — проговорил он.

— Так, может, нам туда сразу и надо было? — спросила она. — Завербоваться в Монголию. Жить в юрте. Прямо... Там что? какая-то степь? пустыня?.. Ах, Гоби. Вот и Гоби... А что дальше?

Он покосился на нее.

— Можно считать, что за Алтаем ничего уже нет. Здесь географический и психологический порог.

Она провела рукой по животу и ничего не ответила. Но чуть позже — он уже докурил и нагнулся над рюкзаком — сказала негромко и внятно:

— Гена, я беременна.

Он взглянул на нее снизу.

— Да, — сказала она, как-то бессмысленно улыбаясь.

На окраине Бийска в двухэтажной кирпичной гостинице дежурный — черноглазый лысый, смуглый мужчина в невероятно белой рубашке — повел их по деревянной скрипучей лестнице на второй этаж, отомкнул дверь и, улыбаясь в подстриженные усики, скромно, но не без гордости сказал: «Вот номер».

Это была огромная комната на пять человек — пять кроватей стояли вдоль стен, одна у окна; стол, зеркало в деревянной раме, на полу ковровая дорожка, здесь же раковина с краном; и диван, обтянутый белой материей. Девушка устала на диван. Черненькие лаковые глазки дежурного заиграли.

— Конечно, нет горячей воды, и туалет направо по коридору, но... неплохо, мм?

Он кивнул.

Дежурный прикрыл дверь.

— Рассчитаемся сразу, — тихо и деловито сказал он.

— Сколько?

Дежурный на мгновение задумался.

— Двадцать пять рэ.

Взял деньги не глядя, улыбнулся девушке, сверкнул лысиной и исчез.

— Диван, — сказал он, — как у Ленина в Горках. Только здесь горки повыше.

Посреди обшарпанного номера с железными армейскими койками диван выглядел торжественно, как музейный экспонат.

— Мне он напоминает какой-то... саркофаг, — пробормотала девушка.

Он прошел к окну и распахнул его. Постоял, глядя на улицу. Девушка села на взвизгнувший стул. Он обернулся.

— На диване же мягче.

— Здесь удобнее.

— ...Что бы ты попросила у Ленина?

Она испуганно взглянула на него.

— Ну представь. Мы сюда входим, а он сидит за столом. Музыка слушает. «Аппассионату». — Он включил радио. И действительно, донеслась музыка: шелканье кастаньет, гитарные переборы.

Она улыбнулась, пожала плечами:

— Ничего.

Журналист-международник рассказывал об Испании. О маврах, Гранадском эмирате, Воротах Солнца в Толедо, о Франко и перекрестке улиц Алькала и Хосе Антонио в Мадриде.

— Ну как, представь, Ильич, любое желание может исполнить... Совсем ничего?

Она кивнула.

— А ты?

— Ну, мне тоже расхотелось... хотя...

Он подошел к умывальнику, открыл кран, набрал пригоршню, плеснул в лицо, потом сунул голову под струю.

— Нет, я бы много чего заказал, — сказал он, рассматривая отраженные в зеркале стену, спинки коек, шкаф, рыжую девушку с веснушчатым усталым, но светящимся лицом, пышную стеклянную люстру.

По радио передавали новости.

Он перевел взгляд на деревянную облупившуюся раму зеркала в петлистых ходах короедов.

— Странно это все слышать, — пробормотал он. — А? И знаешь, о чем это свидетельствует?

— О чем?

— О том, что восприятие уже изменяется.

Стул скрипнул.

— Неужели здесь нет душа? — спросила она.

— Умывайся прямо здесь.

— Но... надо хотя бы что-то постелить... Все залью.

— Пойду куплю газет.

Он вернулся с пачкой газет, развернул их и устелил пол возле умывальника.

— Ты можешь погулять, — сказала она. — Или поглядеть в окно.

— Это смешно.

— Прошу тебя.

Он уселся перед окном. Позади журчала вода, девушка пофыркивала. Он комментировал происходящее на улице:

— Бабка помой несет. Собака куда-то бежит. Язык высунула. Машина с бревнами. На карнизе галка с разинутой пастью... Жарко!

— Сколько тут мух!

Он обернулся. Она уже надела халат, вокруг головы завязала тюрбаном полотенце. Он свернул газету и принялся гвоздить мух.

Вечером в соседнем десятиместном номере командированные устроили загул от жары и скуки. Ор, звон, топанье продолжались всю ночь, кто-то бодал дверь.

Они лежали поверх одеял, истекая потом, глотая теплый воздух, иногда засыпали и снова пробуждались, он порывался пойти к дежурному, но она его удерживала, это бесполезно, ладно, ничего, сейчас они утихомятятся.

Утром они очнулись разбитые, помятые, словно сами участвовали в кутеже.

Окончательно их разбудил стук в дверь.

Думая, что это кто-нибудь из соседнего номера, он резко встал и не одеваясь направился к двери, распахнул ее.

На пороге стоял парень в темных брючках, белой рубашке с закатанными рукавами, с вместительной синей сумкой на длинном ремне.

— Здравствуйте, — сказал он. — Я ваш сосед. — Он переступил порог, но, увидев девушку, остановился. В недоумении поправил очки, оглянулся на него, спросил, какой это номер? шестнадцатый? Тогда правильно... Юноша снова посмотрел на девушку под простыней.

— Кто тебя сюда направил?

— Дежурная.

— Здесь мы. Это номер на двоих, — сказал он, подтягивая трусы.

Юноша окинул взглядом номер и начал краснеть. Как у всех рыжих, у него была тонкая кожа. Хотя, возможно, он и не рыжий был, в утреннем свете не разберешь.

— Мм, пойду уточню.

— Не забудь сумку.

— Да, конечно.

Он вышел.

— Явление... сына народу!

— Какое-то недоразумение, — отозвалась девушка.

Он шагнул к раковине в ржавых разводах, отвернул вентиль, кран зашипел, обдал растрескавшуюся раковину брызгами и умолк.

— Вот черт!..

Он ударил кулаком по трубе.

— Этого не хватало.

— ...Здесь заканчиваются не только железные дороги, — сказала она.

— Пойдем на реку? — предложил он. — Как обычно.

— Подождем.

— Но пора искать какую-нибудь харчевню, я проголодался. Ну давай, что ли, минералкой умоемся.

— Ты что?

— А что, полезно. Чем только люди не умываются. Бедуины — песком. Зороастрийцы — коровьей мочой. Цари принимают молочные ванны.

— Какие еще цари?

В это время дверь без стука открылась и в номер вошла приземистая женщина в светлой блузе, серой юбке, черных туфлях. Ее накрашенные брови резко выделялись на бледном напудренном лице, красная полоска узких губ не сулила ничего приятного. И точно, она начала с претензий. На каком основании выставляете за порог наших клиентов?

— Молодой человек! — позвала она.

И из коридора вошел давешний юноша, смотрел в сторону.

— Это ваш клиент, а не наш, — парировал он, стягивая с кровати простыню и закутываясь в нее, как в тогу. — Вот и разбирайтесь. А мы-то при чем? Женщина внимательно-тяжко посмотрела на него.

— Не разыгрывайте тут, — сказала она спокойно. — Молодой человек, занимайте любое свободное место, почувствуйте себя как дома. Здесь еще три свободных места.

— Как это — свободных? Этот номер заняли мы.

— Как это — заняли?

— Ну вот так, договорились. Заплатили.

— Платить вы будете потом, не надо лукавить.

— Стоп. Перед вами дежурил... такой коротышка, с усиками, чернявый?

— Что вы хотите этим сказать?

— Ничего. Вот с ним мы и условились.

Женщина усмехнулась:

— Вот с ним и разбирайтесь. А вы, молодой человек, располагайтесь, нечего стесняться!

Он чертыхнулся.

Она кивнула:

— Со мной этот номер не пройдет.

Повернулась и вышла, твердо стуча каблуками черных туфель.

Юноша топтался у двери, не знал, что делать.

— Неужели... да! похоже, нас надули. Пойти узнать его телефон? адрес?

— Это бесполезно, перестань.

— Но он обвел меня вокруг пальца как мальчишку. Что за свинство! Мы же договорились?! Номер наш. И вдруг приводят...

— Я этого не знал, — сказал юноша.

— Теперь-то знаешь.

— Вообще-то она утверждает, что больше свободных мест нет, — сказал юноша.

— Конечно нет. Пока не пошуршишь бумажками! — Он прищелкнул пальцами.

Юноша серьезно посмотрел на него. Его увеличенные стеклами очков зеленоватые глаза выражали недоумение.

— Бумажками, бумажками с дензнаками, водяными!

— В смысле... взятку?

— Приятно иметь дело со смышленным человеком.

— У меня нет лишних денег.

— А у кого они есть?

— Ты... студент? — спросила девушка.

— Нет, — ответил он. — Еду поступать.

— Куда, если не секрет?

— В смысле?

— В какой вуз?

— В консерваторию, — сказал он и начал краснеть.

— Пра-а-вда? На чем же играешь?

— На душевных струнах дежурных гостиниц, — сказал завернутый в простыню.

Юноша покосился на него, снова повесил сумку на плечо и повернул к двери.

— Куда же ты пойдешь? — спросила она.

— Попробую... договориться, — ответил юноша не оборачиваясь.

— Верное решение! Надо дерзать, а то так ничего и не добьешься в этой жизни, — с отеческой бодростью напутствовал его он.

Они остались одни. Он повернул в скважине ключ.

— Пусть ломают.

Она молчала. Он взглянул на нее, разгуливая по номеру в простыне.

— Ему проще. Один. Никаких проблем. Ночлег под любимым кустом.

Поел хлеба с сыром, запил, сумку под голову.

Он снова покосился на нее.

— И неизвестно, что у него там в сумке. Достал бы... литавры, может, у него специальность такая. Или скрипку. Начал бы музицировать. Мало нам шума. Под боком тихоокеанское лежбище сивучей, из коридора прет сивухой, ты не почувствовала?

— Нет.

— Тебе нездоровится?

— Все в порядке. Просто... ты же сам говорил.

— Что я говорил?

— Ну, что дорожное братство бессребреников, орден Иерихонской розы...

— Я это говорил? — спросил он, останавливаясь.

— Может быть, вот точно так когда-то пробирался Моцарт в Вену.

— Моцарт не пробирался. Его с четырех лет возил по столицам папаша.

— Я имела в виду не Моцарта, а Моцарта вообще.

— Он тебе так понравился?

— Моцарт?

— Да этот салага.

— Нет, но ты же сам говорил о каких-то неписанных законах дороги, мол, делись горбушкой...

— Но не подружкой? Этого я не говорил, случайно?

Она посмотрела на него.

— Уф! Ладно! — воскликнул он. — От жары все в голове расплавилось.

Она еще некоторое время разглядывала его, и он чувствовал себя подопытным кроликом, потом все так же молча отвернулась. Он подошел к столу, взял бутылку, открыл, из горлышка с шипением полезла пена.

— Хочешь?

Она не отвечала. Он выпил.

— Начинается денек, — пробормотал. — Воды нет, Моцарт, жара.

Его сентенция не произвела на нее никакого впечатления. Она все так же молчала, отвернувшись к стене. Из-под простыни выглядывало ее плечо в веснушках. Он хотел было дотронуться до него, но передумал. Подошел к умывальнику и налил в ладонь минеральной воды, отер лицо.

— Пойдем завтракать?

Оделся, причесался перед зеркалом в изъеденной раме.

В музее египетские медные угасшие зеркала, словно глаза, прикрытые веками.

Могли не изобрести зеркало?

Оно встроено в человека.

Планета зеркал: сколько отражающих поверхностей. Самый воздух здесь художествен: фрески над пустынями. У арабов даже легенда об иллюзорном городе, как у нас о Китеже.

— Ну, тогда я пошел.

Упрашивать ее не было ни малейшего желания. Он вышел и столкнулся с опухшим соседом в майке и трусах.

— Что надо?

Трудный мыслительный процесс, пот на багровой роже.

— Ф туалет, — выговорил разбитыми губами. И пошел дальше по стеночке.

Он вернулся в номер.

— Тебе лучше запереть за мной.

Молчит.

— Слышишь?

Ну, как хочешь. Значит, ей наплевать. Ждет Моцарта. Или соседей. Они тайне мечтают об этом. Как-нибудь спросить... Разве признается.

Внизу за столом дежурная холодно посмотрела — но ничего не сказала. А у него уже в горле бурлила целая речь. Но дежурная отчего-то смолчала. Куда она подевала музыканта? Пусть попробует вселить кого-то еще.

По дороге двигалась вереница грузовиков со скотом. Ленин с плакатов смотрел монголом.

Пусть к нам больше никого не подселяют!

Пива выпить бы.

Кирпичное одноэтажное строение с плоской крышей оказалось столовой. Он взял перловку с бараньей котлетой, оладьи с джемом и бутылку пива. Занял место, откупорил бутылку, налил в стакан, хлебнул мутного пива... Ел, отгоняя мух. Разве это пиво. Но пошел и прикупил еще бутылку и с бутылкой пива прогулялся по Бийску, вышел к драмтеатру, пединституту, потом на берегу быстрой довольно-таки Бии выпил пиво, закурил, хмелея. На другом, низменном берегу краснели сосновые боры. Он, прищуриваясь, затягивался сигаретой, остро разглядывал пейзаж. Послал окурок щелчком в воду.

Нет, это еще не то. Дальше. Осталась ночь в гостинице. Он усмехнулся. Все ерунда и глупости.

В номере она была одна. Уже одетая, причесавшаяся, умывшаяся, с подведенными глазами... Ну да, в номер могут подселить мужиков.

— Я принес булочек, сока, консервы. Будешь? Или пойдешь в столовую? Могу показать... Ладно, не говори, напиши вот на этом клочке. В молчании есть сила. Об этом все мудрецы толкуют. То есть пишут. Но это разные вещи: сказать или написать. Или нет. По-моему, одно и то же. А коли так, то что толку молчать? Ведь и думаем мы словами. Только произносим их быстрее. Они как свет, запах. То есть мысли. Значит, что? Запах цветов — это их мысли. Луч — мысль солнца. Человек топчется в гуще мыслей и ничего не может понять.

Она внимательно посмотрела на него поверх книжки.

— Что это ты читаешь? Анатомический атлас? Или... что за мура? Где это ты нашла?.. Вообще, у настоящего путешественника должна быть походная библиотека. Я однажды видел отличный вариант походной библиотеки. Некоторые названия на старых добротных переплетах помню до сих пор. Ну... например: ИЗ ЛИРИКИ МИЛАРЕЙБЫ. Или: ЗЕМНОЕ ЭХО СОЛНЕЧНЫХ БУРЬ. Еще: О ИСПРАВНОМ УСМАТРИВАНИИ ВЕТРОВ. ОКАГАМИ, ВЕЛИКОЕ ЗЕРЦАЛО; ОПИСЬ СТОЛБЦОВ СИБИРСКОГО АРХИВА; РЕДКИЕ МЕТАЛЛЫ; ГРАММАТИКА БУРЯТ-МОНГОЛЬСКОГО ПИСЬМЕННОГО ЯЗЫКА; МИНИАТЮРЫ КАШМИРСКИХ РУКОПИСЕЙ; СТИХИ НА ПАЛЬМОВЫХ ЛИСТЬЯХ; ОБРАЗОВАНИЕ ИМПЕРИИ ЧИНГИЗ-ХАНА. Хозяйка библиотеки была дочь известного в Глинске, да и за пределами ученого, Лина Георгиевна. По-девичьи стройная, узкая, с благородным лицом, с бирюзовыми бусами и серебряными кольцами на хрупких, прохладных пальцах... Ты ведь не читаешь, а слушаешь меня. И тебя так и подмывает спросить о Лине Георгиевне.

— Ты пьян? — осведомилась она, вздергивая золотистые брови.

— Кто автор-то, я не разглядел. Наверняка английская леди-домохозяйка.

Она нахмурилась, но уже где-то в глубине разразилась улыбка, и акустическая волна выплеснулась наружу. Он тут же, осмелев, наклонился и поцеловал ее.

— Точно, пьян, — сказала она. — Где в такую рань нашел выпивку?

— Какая выпивка.

— А что?

— Ослиная моча.

— Без подробностей.

— Ну, местное пиво, как его еще назвать? А кто тебе подарил, пока я ходил, книжку о любви?

— В тумбочке нашла. Надо же чем-то скрасить этот день.

— Поразительно. То тебе первоклассная живопись фальшива, то фальшивка красна.

— Я должна сказать что-нибудь такое умное?

— Можешь просто вздернуть брови. Или улыбнуться.

— Ты думаешь, приятна эта роль растения?

— Улыбкой, как музыкой, можно сказать больше... Ты вдруг навела на мысль написать улыбающийся цветок. Или поющее дерево... Но я не карикатурист. И не символист. Не могу насиловать природу. Но я боюсь превратиться в фотографа. Путь живописи сейчас узок.

— Как игольное ушко?

— Может быть.

— Ну, тогда походная библиотека только помешала бы.

Он улыбнулся:

— А! ты о дочке ученого в кольцах и бусах?

— О походной библиотеке. Знаешь, я уже это где-то слышала. Походное снаряжение, закопченный чайник, трубка, библиотека. Кого-то это напоминает... Печорина?

— Максима Максимыча. По крайней мере — что касается трубки и чайника.

— А походная библиотека?

— Ну, вообще-то это обычные вещи путешественников... Нет! библиотека, конечно, ни к чему. Ведь это своего рода эксперимент. Хочется все услышать, увидеть и почувствовать самому, а не через десятые руки. О чем только не говорят. Самый воздух в городе искажен всевозможной информацией. Надоели посредники. Я сам буду слушать. И видеть.

— Что ты хочешь увидеть?

— О некоторых вещах бесполезно говорить.

— Но... знаешь, все равно ты уже испорчен.

— Мм?

— Информацией, как ты говоришь. Искажен. Я не права?

— Но мне кажется, я еще не весь искалечен. Что-то неподдельное, изначальное еще где-то таится.

— В самом тебе?

— Ну... да.

— Тогда, — сказала она, — стоило ли ехать сюда, где кончаются железные дороги... Не смотри на меня как Шерлок Холмс!

— Да просто это подозрительно похоже на аргументы Зимборова.

— Иногда и мне свойственна логика.

— А этого мало!

Она подняла брови:

— Вот как?

— Да. И ты убедишься в этом, когда мы заживем там, в доме из сосен, — стены оставим бревенчатыми, сосна излучает свет, даже в пасмурную погоду светло. Вообще там выращивают яблоки и что-то такое еще, чуть ли не абрикосы. Это место считается исключительным. Недаром туда всегда тянулись калики.

— Калеки?

— Калики переходные, пилигримы, бегуны от царя и прогресса. А Зимборова мне жалко, он застрял на этой улочке. Гоняется за миражом. Сам рассказывал, как это с ним бывает. Ты знаешь эту улочку слева от собора? мощенную камнем, с садами и заборами с одной стороны и развалинами екатерининской кирпичной ограды с другой. Он туда вступает в полной уверенности, что наконец-то схватит то, что всегда там есть. Ему даже кажется, что его окутывает что-то, наэлектризованное облако — и сейчас от щелчков фотоаппарата молнии брызнут. И он проходит всю улочку насквозь и попадает на широкую и шумную Бэ Советскую — и ничего не происходит. И ничего не получается. И не получится. Он сетует на плохой аппарат. Ну да, аппарат не тот. И ничем его не заменишь. Если, конечно, не поймешь, в чем дело. Как понял я.

— Так в чем же дело? — спросила она устало.

Он удивленно посмотрел на нее:

— Да я же тебе уже объяснил, кажется, все.

— Да? Извини. Просто... очень жарко. Ты сам говорил, мозги плавятся. Может, объяснишь еще раз? Для дурочки, — попросила она с улыбкой.

— Что говорить. Скоро мы это увидим.

— Ох, еще ждать.

— Не так долго.

— Но Зимборов славный парень. Добрый и внимательный... Мне нравилась его дача, его родители.

— Газетный домик?

— Ага, там было неплохо.

— В основном доме на берегу озера будет не хуже.

После обеда дали воду, теперь уже они оба хорошо умылись и решили выйти на прогулку. Но на скрипящей, как трап корабля, лестнице ей вдруг сделалось дурно, она в бессилии села на ступеньку. Дежурная, разговаривавшая с каким-то мужчиной в полосатой тенниске и светлых брюках, замолчала, глядя поверх его макушки. Девушка была бледна.

— Ей плохо? — резко спросила она.

Мужчина обернулся.

Девушка прошептала: сейчас, сейчас. И встала. Лицо ее было искривлено. Наверх, пробормотала она и зажала рот ладонью. Но идти наверх и потом по коридору было далеко. Он покосился на дежурную. Она сама все поняла и сказала:

— Налево по коридору.

Он повел девушку туда, она выдернула руку, коленкой распахнула дверь туалета. Он прикрыл дверь, подошел к окну. Через некоторое время она вышла, ее волосы враз потускнели, под глазами резче обозначились полукружья, и глаза потемнели. Она попыталась улыбнуться. Он отвел взгляд. Дежурная, увидев их, хотела что-то сказать, но не стала перебивать все того же мужчину с обильно волосатыми руками и крепкой, сплюсненной как бы ударом сковороды лысиной. Они взошли по лестнице и вернулись в номер.

Вечером душевные сумерки вновь огласились хмельными выкриками и звоном, — как вдруг все перекрыл высокий и чистый звук, словно вверх взмыла и закачалась серебряная ракета. Девушка, заснувшая на кровати, открыла глаза, убрала с лица спутанные волосы, оглянулась.

— Что это?

Он досадливо усмехнулся:

— Моцарт по просьбам трудящихся.

Еще одна прозрачно-пронзительная ракета взвилась в небо и где-то высоко начала описывать круги и сложные пируэты. Гостиница как будто притихла.

— То нет воды, то трубят пионеры. Веселенькое местечко, — говорил он, не замечая, что пение трубы каким-то образом отражается в ее глазах, дробится и дрожит, сверкая.

Утром они уехали в аэропорт. К ним так никого и не подселили. Номер опустел. Зеркало в изъеденной жучками раме отражало стену, шкаф, спинки железных коек.

Приехав в аэропорт, они прошли контроль и вместе с остальными пассажирами, обвешанными сумками, направились, ведомые служащей в синей юбке и форменной рубашке с короткими рукавами, по летному полю к «кукурузнику» с закопченными бортами. Было пасмурно и душно. Хотелось быстрее отсюда улететь. Все заняли свои места. Завелись моторы, и самолет затрясло. Лица пассажиров казались черными, блестя от пота.

И вдруг самолет тронулся, потом остановился, мгновенно напрягся, содрался и покатил, тела очугунели, тряска прекратилась — земля ушла назад.

Он взглянул на нее. Ее лицо было спокойным. Самолет трудно набирал высоту. Иногда его потряхивало, словно на пути попадались колдобины и камни.

Он посмотрел в иллюминатор.

Крыши Бийска, деревья.

Самолет набрал высоту, лег на курс. Все шло хорошо, пока он вдруг попал в воздушную яму. Кто-то охнул, засмеялся. Девушка схватила целофановый пакет.

Весь полет ее рвало. И когда уже желудок был пуст, все равно выворачивало. На несколько секунд она потеряла сознание, но сосед в очках тут же передал ему пузырек с нашатырем. Она открыла покрасневшие выпученные лягушачьи глаза. Футболка на ней была мокрой. Волосы прилипли ко лбу и щекам. В салоне было все так же сумрачно, и внезапно сбоку ударило солнце.

Мужчина с мрачным морщинистым лбом в пигментных пятнах посоветовал смочить нашатырем виски. И дать ей воды. Но ее тут же вырвало. Она чувствовала себя распяленной на железном креслице, как лягушка в

руках мальчишек... однажды этих исследователей возле лужи за домом прогнал отец. Здесь никто не приходил. Руки спутника не могли избавить от скребушей изнутри боли. Это был какой-то эксперимент: боль на высоте. Ей хотелось стонать, но было стыдно. Летаящая лаборатория и не думала снижать высоту. И вихрь в чреве мучил ее. Казалось, ее вырвет сейчас кишками. И от страха у нее текли слезы.

Но самолет стукнулся колесами обо что-то твердое. Спасительное ощущение твердой поверхности с дрожью обшивки проникало в самые кости.

Все. Это кончилось. Пассажиры заговорили, зашевелились. Борттехник открыл дверь, спустил короткий трап. Пассажиры потянулись к выходу, мельком взглядывая на бледно-зеленое лицо девушки и на сосредоточенно-хмурое лицо ее спутника.

— Это токсикоз? — поинтересовался мужчина в очках, с мрачным, нависающим лбом в пигментных пятнах, когда они оказались рядом на летном поле. — Надо было, вероятно, выбирать другое средство передвижения.

— Неизвестно, — недовольно ответил он.

Тот кивнул.

— Да, уже все позади. Или вы еще дальше?

— Дальше.

Мужчина с мрачным лбом посмотрел на девушку, хотел что-то сказать, но передумал.

Они вышли за ограду, остановились передохнуть.

— О чем он толковал? — спросил он.

— Это отравление.

— Чем? — удивился он.

— Я хочу пить, — проговорила она, облизывая растрескавшиеся, припухшие губы.

Он достал бутылку.

— Чем ты могла отравиться?

Она вытерла губы.

— Ничем.

— Да, что такое съела?

— Ничего.

— Ты раньше летала?

— Нет.

До поселка было довольно далеко. По дороге к нему уходили все прилетевшие. Позади шла женщина в цветастой юбке, красной кофточке, она несла своего сына, которому в самолете тоже было плохо, он сидел у нее на руках, прислонившись головой к ее шее, и смотрел назад. Какой-то чужой человек тащил свои и ее сумки.

На дороге показалась пылящая машина, затормозила возле них и, забрав женщину с ребенком, поехала дальше.

— Ты как? — спросил он.

Она промолчала.

Он закурил, глядя на поселок.

Сразу за рекой лежали округлые горы в хвойных кронах, отливая желтизной стволов. Берега скалились белыми камнями и осыпями. А с другой стороны, за аэродромом с сине-оранжевым вертолетом, какими-то строениями, флажками и «кукурузником», — там в туманной жаркой синеве тянулись горные гряды.

— А мы, — сказал он, кося от затыжек, — уже пересекли границу. Это Алтай и есть.

Девушка погасшим взором обвела окрестности, сидя на рюкзаке; она отпила еще из бутылки.

— Дойдем до дороги? — предложил он.

Первая же машина остановилась, это была молоковозка, на желтой бочке синие буквы «МОЛОКО». Шофер с седыми лохматыми бровями и за-

горелыми руками кивнул им. «Садись». Но вместе уехать не удалось, рюкзак и сумки некуда было деть. Договорились, что он высадит девушку напротив гостиницы. Хлопнула дверца, и машина, пыля, покатила к поселку, а он пошел следом по горячей дороге сквозь воздух, солнечный и хвойный... Еще недавно все это было лишь чем-то воображаемым, значками на бумаге, фотографиями, — и вот линии и точки, пятна превратились в сухую пыльную землю с камнями, травой, деревьями, и дорога уводит вглубь. Солнце печет голову. По щеке катится капля пота. Запах пыли и хвои щекочет ноздри.

Ни напротив гостиницы, ни в самой гостинице ее не было. Но это единственная гостиница? Да, ответила дежурная, миловидная женщина, странно белокурая и в то же время кареглазая, с высокими скулами, немного сонная, с избытком женственности, сил. Номера у вас есть? свободные? Да, а как же. Вот это ответ!.. Мы остановимся у вас. Если появится рыжая девушка, моя жена, то пусть подождет меня в номере. Она показала влажные зубы в улыбке, поправила белокурую прядь. Рубенсовская спелая рука, нестриженная подмышка.

Он вышел из гостиницы, покурил, озираясь, и пошел в поселок.

В поселке были добротные дома с высокими заборами, лиственницами, кедрами, воротами: сибирские крепости. В Средней России не так, там хлипкие плетни: глядите, что тут скрывать — одна голь. На улице никого. Рабочий день. Лает собака. Возле дома трактор в пыли и копоти. Может, где-то также причален и «ГАЗ» с желтой бочкой и синей надписью.

Но нигде не было видно этой машины.

И спросить не у кого.

Вдруг откуда-то вырулили белоголовые смуглые пацаны вдвоем на одном велосипеде. Остановить их. Спросить.

— Чё-ё?... Молоковоз?

Посмотрели друг на друга.

— Дядь Сергей, — сказал один другому.

— А его дома нет. На работе.

— Может, приехал на обед?

Посмотрели друг на друга. Начали объяснять, перебивая друг друга.

— А что, если вы туда поедете, а я буду сзади идти?

Переглянулись. Один согласился, но второго его ткнул в бок:

— Ты чё-ё? забыл?

Второй почесал за ухом, нахмурился.

— Нет, — сказал он, — нам в другую сторону.

— Ладно, — вдруг сказал первый, — покажем.

Второй удивленно вытаращился на него:

— Чё зыришь? садись.

Они оседлали скрипящий велосипед и поехали, оглядываясь и виляя.

Он шел за ними.

— Во-он, — в конце концов показали они, остановившись.

— А, спасибо!

— Да чё. — Они развернули велосипед и поехали назад.

Возле указанного дома машины не было. Но, возможно, ее загнали во двор. Он подошел к серо-черным воротам, взялся за теплую от солнца скобу, потянул на себя. Дверь была заперта. Он постучал скобой. Тишина. Посмотрел в щель. Пустой двор. У дома возле будки лежит собака, лохматый бок вздымается и опускается, часто дышит, жарко. Так жарко, что лень лаять на стук.

Что делать? Здесь подождать? Или пойти... куда? В какую-нибудь контору.

Странно все.

У меня пропала жена.

Ее увезли.

Надо запомнить этот дом. Возможно, придется вернуться сюда.

Пошел по улице. Снова — ни души.

Может быть, она уже в гостинице?

Дежурная встретила его с улыбкой, но тут же свела темные брови: «Позвонили из больницы».

— Она в больнице?

— Да, там.

Несколько мгновений смотрели друг на друга.

— Не волнуйтесь, сказали, ничего уже страшного. Я узнала. Это обычное.

Больница: обширная территория с одноэтажными длинными деревянными домами среди пихт, сосен; в центре кирпичное двухэтажное здание. Всюду мелькают белые халаты, лиловеют-синеют пижамы и халаты больных. Немолодая женщина на скамейке кормит грудью ребенка; озирается, достает из застиранного халата сигарету, закуривает, энергично выдыхает, разгоняя дым, чтобы, наверное, не заметили; да, курит украдкой.

Медсестра или врач, у нее широкое смуглое лицо, узкие глаза, как будто полные нажженных углей.

— Придите вечером, — сказала она. — Или лучше завтра. Она спит. Нет, ничего страшного. Токсикоз. Пройдет небольшой курс терапии.

Вышел за ограду больницы, постоял. Нашел столовую. Перекусив, отправился к реке. Та же самая река, они поднялись вверх по течению на самолете. Здесь она была чище, напористее, громче: хлюпала и шипела, переливаясь на перекатах. Скалы с соснами отражались в воде, трещины змеились, уползали вверх к корням сосен. На реке сильнее был хвойный дух.

Искупаться?

Вода прохладная.

Нет, передумал. Вернулся в гостиницу. Мягкий оживленный взгляд дежурной. Протянула ему ключ.

Номер на втором этаже, деревянные две кровати, стол, над столом небольшой квадрат зеркала, удерживаемый блестящими зажимами. Водопровода нет. Умыться — в коридоре. Из окна вид на округлые горы в зеленой губке сосен.

Надо было спросить о вещах.

За стеной радио, из-за другой стены — чей-то кашель, смех.

Растянулся на кровати, глядя сквозь стекло в небо.

По коридору иногда кто-то проходил. Встал, открыл окно. Птичий свист. Треск трактора. Собачий лай. Детские голоса. Задремал.

Спустился в вестибюль. Вместо кареглазой белокурой дежурной пожилая алтайка в очках. Отдал ключ.

Пошел было в больницу, но приостановился, повернул в другую сторону. Раз врач или медсестра сказала. В столовой только два посетителя, что-то ели и втихаря выпивали. Он взял макароны, гуляш, стакан березового сока. Пил кисло-сладкую туманную водицу, думая, что берез здесь как-то не замечал, откуда-нибудь привозят. Мужики разлили остатки водки, подмигнули друг другу, выпили. В любую погоду, в любом уголке страны. Солнце косо лило лучи на окна столовой. По щекам скатывались капли. Утираясь платком, вышел. Еще не поздно пойти в больницу? Но, может быть, она уже спит.

Направился снова к реке, отошел к скале, разделся. Прозрачная вода охватила ноги холодком. Сквозь безостановочный поток воды видны были камни, серые, белые, зеленоватые; вошел еще глубже, окунулся, поплыл, ухая. На самом деле вода была не холодной. Сильное течение сносило, он подплыл к берегу. По не остывшим даже вечером камням вернулся к скале. Уже снова хотелось окунуться. Отлично! Они должны были сюда приехать.

Утром в окне — синее небо.

Завернул в столовую.

Потом дождался ее перед входом в одноэтажный деревянный корпус.

Она вышла в линиялом то ли фиолетовом, то ли лиловом халате; волосы собраны сзади хвостом, на осунувшемся лице улыбка. Потянулась к нему. Он поцеловал. Запах лекарств. Она предложила пойти на какую-нибудь скамейку.

— Ты завтракал?

— Да.

— По-дурацки получилось, — сказала она. — Что ты подумал?

Он пожал плечами.

— Меня так скрючило, что шофер перепугался и напрямик сюда, — продолжала она, опускаясь на скамейку под пихтами.

— А вещи?

Она растерянно взглянула на него:

— Ой, я как-то не подумала...

— В гостиницу он не привез. Ты не просила?

— Нет. Я... не подумала просто. Но вряд ли этот дядечка...

— Да ладно. Я знаю, где он живет.

— Нет, надо... — Она встала.

— Куда ты?

— Спрошу в приемном.

Вещи там и оказались — рюкзак, сумки.

— Ну вот видишь, — сказала она.

Он кивнул и ответил, что, видимо, у него будет много свободного времени.

— Да, наверное, еще дня три-четыре, — сказала она, — меня здесь продержат.

— Так что это?

— Токсикоз.

— Это я уже слышал. Нельзя без таинственности?

— Отравление, — ответила она, сбоку взглядывая на него.

— Чем? — терпеливо спрашивает он.

— Продуктами распада, — отвечает она тихо.

Он думает. Достает сигарету.

— Звучит... угрожающе.

— Ну, просто это результат... новой жизнедеятельности, — с усилием выговаривает она и улыбается.

— А? уже?..

Она кивает.

Мимо проходят больные с большим алюминиевым чаном, накрытым желтой крышкой, медсестра идет позади с эмалированным ведром, на котором небрежно намалевана цифра 5.

Он молчит. Она тоже. Чертит носком по земле в желтых хвоинках и выпотрошенных птицами шишках. Вспыхивает спичка. Она отворачивается.

— О, не кури, а?

Смял зажженную сигарету о коробок, сыпля искры, табак на колено.

— Вообще, конечно...

— Что?

— Что... что значит: не хотела стреноживать?.. Это нелепо... здесь.

— Почему? Я сказала не здесь, а в Бийске, — напомнила она.

— Какая разница. Все равно поздно. Мы могли бы остаться. Никуда не поехали бы. Или...

— Что?

— Да вот и все.

Она ничего не отвечала, чертила носком.

— Я сначала сама не знала. Думала, ну мало ли. У сестры была задержка однажды чуть ли не в два месяца. И у меня... иногда смещалось... ну. Вот. А потом уже, когда стало ясно, уже было поздно, мы собрались.

— Никогда не поздно.

— ...Что?

— Остановиться. Сдать билеты. Велика беда.

Он поддал ногой пустую шишку. Поднял голову. Перед ним остановилась женщина с ребенком. Немолодая. Переводит близко посаженные глаза с него на нее; откашливается.

— Сигаретки не найдется?

Протягивает сигарету. Та берет. Между пальцами левой руки, на которой восседает малыш, синее наколка.

— Можно присесть?

— Нет.

Мгновенье не моргая она смотрит на него, потом как ни в чем не бывало обращается к ней:

— Что, рыжая, чистишься?

Загребает рукой воздух, хрипло кашляет.

— Правильно, не спеши.

Понуднее перехватывает беззвучного мальчика — или это девочка? — и не спеша вперевалку уходит.

Молчат, он и она.

Потом говорят о лекарствах, о столовой, о гостинице, о реке, о поселке, о жаре... Умолкают.

— Может, ты пойдешь? — спрашивает она.

Они расстаются. Она уходит в свой корпус, он идет к выходу, таща рюкзак на спине, сумки. По дороге ему попадается та женщина в замурзанном халате, из-под которого выглядывает нечистое нижнее белье, — она ему подмигивает и вдруг широко улыбается, во весь рот с кривыми прокуренными зубами. Он отводит глаза. Женщина хрипло громко кашляет или смеется.

В гостинице он распаковывает сумки, достает этюдник, коробку с красками, кисти, стоит перед окном, смотрит, о чем-то раздумывая. Вытаскивает складной походный мольберт... Но, все оставив, выходит из гостиницы и направляется к реке. В такую жару невозможно чем-то заниматься.

Скорее в воду.

Сильное солнце сразу охватывает жаром, как только вылезает на берег ниже по течению. Долго добираться до места. И уже изнурен солнцем. Бросается в поток прохлады, и нагретая шкура как будто шипит, выбрасывая из пор фонтанчики. Мгновенное опьянение. Солнце в камнях, хвоинках, брызгах, и мысли им пропитываются, так начинаются солнечные радения...

О! о! А! Ра, ликующий...

Ра, ликующий на небосклоне... И что там?..

Он окунался в воду с играющими камнями и позволял течению сносить себя далеко вниз, потом долго шлепал босыми ногами по горячим камням.

В гостиницу он шел вечером, слегка пошатываясь. Голова мгновениями казалась чужой. Переохладился. Или перегрелся.

Прежняя дежурная была на месте. По ее полным губам, щекам скользили блики солнца. Или даже отсветы внутреннего тепла, здоровья, желанья. Он почувствовал, как вдруг подобралось, замерло это деревенское тело, задернутое сиреневой тканью с крупными розовыми узорами.

Если он сейчас что-то скажет, из его рта вырвется пламя.

И он молчит.

Но она здороваается.

Надо ответить.

Он приближается. Сочетание светлых волос и карих глаз, в которых мерцают золотинки, завораживает.

— Как ваша супруга? — спрашивает, старательно выговаривая «г».

— А вы купались? Смотрите, река очень... — подыскивает слово, — вероломная.

Спрашивает, хотя волосы у него уже как сноп лучей и борода дымит. Что это — дежурная доброжелательность или что-то еще? Поди пойми, если

у тебя гудит все иерихонскими трубами, кровь в голове. Он медлит. Что ей сказать. Попросить позировать. Написать ее плечи... Она ожидающе смотрит снизу. Или насмешливо-вопросительно. Но появляются два парня в брезентовых брюках, просоленных футболках, в кедах, обросшие туристы, сверкают зубами, говорят громко, она отвечает им улыбкой и все-таки успеваешь еще раз взглянуть на него.

Солнце напитало плоть протуберанцами, они переплетаются, рушатся.

Знобило сильней, в глазах вспыхивало и темнело. Разделся, накрылся двумя одеялами. Ра, ликующий...

на небосклоне. Выпивающий чашу росы.

Миродержец, диаметром около полутора миллионов километров. В нем утонут все эти острова.

...Дирижер жизни в жемчужной короне и плазменной мантии она развеивается, стекает огненным ветром в ночь. Лижет ночь.

Окно, зеркало, стены. Густеющее небо. Потолок, пластмассовый плафон. Мычание коров. Возвращается стадо. Отбросить одно одеяло. Выпить воды. Ерунда, сейчас все пройдет.

...На Красном проспекте всюду пылали огни, это солнце отражалось в окнах кусками золота. Конечно, было жарко. Асфальт горячил ступни сквозь подошвы башмаков. Запах асфальта, гари, словно тут только что потрудились дорожные бригады. Запах асфальта, свежего горячего асфальта. Плавающие окна. Надо было побежать, чтобы быстрее миновать Красный проспект. Побежал. Остановился, задыхаясь. Нет, лучше попытаться свернуть, и всего-то. Он свернул к какому-то зданию. Войдя в вестибюль, увидел билетершу. Значит, это был кинотеатр. Она положила ногу на ногу, оголив спелое колено. Необходимо было ответить на ее вопросы... Но зазвонил телефон. Билетерша взяла трубку. «Вас».

— Да?.. алло?

— ...

Птичий писк в ответ, звуки царапающей лапки. Гудки.

Он хотел опустить руку на ее колено. Она засмеялась, и он увидел, что у нее прокуренные косые зубы.

Выскочил вон. В руке оказался билет. Или что?

ПАМЯТКА: Ночуя на чердаках,

утром тщательно осмотри одежду, волосы — не прилипли ли перья или голубиный помет, это сразу выдаст;

изучай лестницы, запасные выходы;

поведение кошек;

детей.

Наибольшую опасность представляют помещения без окон, зеркала,

солнце: уже через 8 мин. после вспышки наносится удар по компасу в твоей ключице, и стрелка может указывать неверное направление.

Но и ночь обманчива:

летающая звезда может обернуться техническим агрегатом,

созвездия — россыпью светляков среди трав и корней

или огнями Красного проспекта —

Он оглянулся: все то же: горящие окна, духота; надо отыскать другое место и там свернуть. Вот здесь

Он пошел между домами. Дома уже были какие-то другие, старинные, с колоннами, обветшавшие; костлявые деревья, фонтаны — без воды, скульптуры — без голов, растрескавшиеся; звенящее

стекло под ногами, солнечный свет извивался между домами, колоннами, деревьями; на зубах песок. Доносился какой-то однообразный звук. Подняв голову, увидел на углу дома железную покореженную табличку на ржавом гвозде, горячий воздух шевелил ее, и она скребла по стене. Удалось прочитывать: Кр... с... кт. Черт! Ему же был дан шанс пройти все заново.

Крскт, звук таблички.

Крскт.

...Увидел в стекле звезды. Приподнял голову. Соседняя пустая кровать. Стол. На столе графин. Крскт, скрежетнула стеклянная пробка в горле. Ни капли воды. Стеклянная иерихонская роза. Нечем смочить губы, распухший язык. Если только встать и выйти, там в конце коридора, — ведь это-то не метафора из стекла или чего-нибудь другого? Быть жестче, зорче, не верить метафорам, этим восходящим потокам, которые могут быть обусловлены различными причинами: препятствиями, отклоняющими воздушную струю вверх, такими, как океанская волна, берег, склон холма или нагретое солнцем поле, отдающее свое тепло воздуху, который в результате расширяется и поднимается вверх; а если поле окружено более прохладным лесом, нагретый воздух будет подниматься в виде большого пузыря или столба; над океаном же образуются целые группы воздушных столбов, при сильном ветре они наклоняются так, что лежат горизонтально над поверхностью воды, выталкивая вверх поток воздуха в виде гребня, и вдоль него можно скользить!

...Опустил ноги, встал, подошел к двери, дверь скрипнула, едва успел отпрянуть: мчались автомобили, сияя лобовыми стеклами, по Красному дымящемуся проспекту.

— Что с вами?

— Не знаю. Я хотел спросить, нет ли чего-нибудь. Каких-нибудь таблеток. Голова раскалывается.

— Я же говорила — это коварная речка-то.

— Это от солнца. Плынешь как будто по проспекту солнц. В Новосибирске есть...

— Так и называется?.. Проспект солнц?

— А-а, нет. Красный проспект. У меня даже мелькнула мысль такая — написать его. Но было очень жарко.

— Как «написать»?..

— То есть нарисовать, намалевать.

— А вы художник?.. У нас здесь бывают. Места-то, да? Но это еще что. Вот дальше. Там прямо живая живопись.

— Мне и здесь понравилось. Скалы как зубы. Сопки. Выразительные лица. Хотя, конечно, не полезешь же: остановитесь, попозировать. Скажут — а, бездельники.

— Ну почему. Уж не такие мы тут непонимающие. У каждого свое дело.

— Звучит обнадеживающе. А вы?

— Чё?

— Любите живопись?..

— Да, само собой. Красиво, все как-то лучше, чище.

— Ни жары, ни мух... Мух никто почему-то не изображает. Птичек, бабочек, стрекозок. А мухи бывают красивые, перламутровые, изумрудные.

— Это вы юморите?

— Не до шуток. Когда голова полна мух. А начиналось все... гимнически.

— А ваша жена?

— Жена?

— Супруга.

— У нее отравление.

— Понимаю.

Ну так что же? Придешь ты? Я нарисую тебя Алтайской Венерой а-ля Веласкес, только зеркало маловато и может рассыпаться, если начнешь вынимать. Но его-то Венера тощеватая. А у этой представляю, какие бедра, душистые плечи.

— Вы знаете, нет ничего такого. Тут только бинт, вата, йод, ну, на всякий случай. Вот еще валидол. Сердце не болит?

— В порядке.

— А больше ничего. К жалости. Надо будет пополнить аптечку.

— Тогда пойду отлеживаться... Спокойной ночи?

— Спасибо, и вам.

Идет мимо номера: храп.

Лег. За стеклом снова звезды, то есть солнца, гимнические. Плотно закрыл глаза. Красные круги, пятна медленно превращались в огни фар, из серого пепла выростали дома, черные линии ветвились деревьями, — вдаль уходил нескончаемый пышущий окнами Красный проспект. Он что-то не так делал. Он чего-то не знал. Или не был способен узнать. Возможно, ошибка заключалась в том, что он не взял с собой «Путеводные указатели для странников» из библиотеки с гипсовыми бюстами, высохшими веточками в вазах, пыльными разнокалиберными глобусами, — но как он мог взять? если в процессе чаепития вдруг обнаружил, что неприятный запах источают именно его носки, а не кусок застаревшего сыра, завалившегося куда-нибудь за батарею или под полку, — и пока Лина Георгиевна отсутствовала, может быть, приходила в себя, дыша у открытой форточки, тихо, по-английски выскользнул в коридор, схватил обувь, выскочил на площадку и кинулся головой вниз, проклиная опрометчивую поспешность, с которой он собирался и, не найдя свежих носков, надел старые.

Там должна быть схема Красного проспекта, где он начинается и когда заканчивается. И куда можно свернуть. Схема в виде красного свитка.

Стук?

— Можно?.. у вас открыто?

— Да!

— Тшш! Я вас разбудила?

— Нет.

— Тшш, извиняюсь. Но вы просили какое-нибудь средство.

— Средство?.. А, да.

— Я принесла.

— Входите, входите.

Перекрещенные нити, срезанные под углом стержни перьев или тростника — они равномерно двигались вверх-вниз, вверх-вниз, сплетая влажные нити, и по мягкому валику медленно набегала ткань, грубая, неокрашенная, она неясно серела в душной тьме, свисая и тяжело покачиваясь.

С кружащейся головой очнулся на смятой постели, разодрал заплывшие глаза. Сел, осмотрелся.

Солнечное похмелье.

Уже рассвело.

Воды ни капли.

Снова лег.

Все путалось. Был ли он у нее в больнице вчера?

А откуда этот обрывок какого-то предписания, что-де никто из цеха не должен начинать работу раньше восхода солнца под угрозой — чего? штрафа, смерти?

И еще вот это: если за день не выработает он достаточно тканья, он связан, как лотос в болоте.

Какое-то время лежал, потом встал, натянул штаны и полуголый подошел к двери, опасно приоткрыл, но за порогом был крепкий деревян-

ный пол, и он направился в умывальную комнату, приник к крану, сунул голову под струю. На обратном пути столкнулся с семейством, выходящим из соседнего номера: тучным мужчиной и оплывшей женщиной в спортивных синих костюмах и разноцветных шапочках с длинными козырьками, бросавшими оранжевые отсветы на их лица; с ними были дети, мальчик и девочка; они удивленно — а взрослые недружелюбно — уставились на него, полуголого, со спутанными волосами, мокрой бородой; впрочем, во взгляде главы семейства мелькнуло что-то цеховое. Да, ведь нельзя начинать до восхода... Откуда это предписание. Но черт возьми, все бред.

Он зашел в номер и лег.

Начал припоминать. Ночной кошмар с Красным проспектом. Ходил ли он вниз? Кажется, да. Но поднималась ли дежурная Венера?

Притронулся к чреслам.

Путеводные указатели, это из перуанской пустыни Наски. Наска. Наско? Гигантские рисунки на камнях, неизвестно для чего выполненные.

Провалился весь день. Снова вышел и набрал в графин воды. Попробовал есть хлеб со шпротами, не смог. Напилился воды. Уснул.

Утром уже было лучше.

В окне небо, на склонах гор леса, белеют скальные выступы, похожие на грубо вылепленные облака, вызревающие из земли. В небесной синеве тоже появлялись скалы, меняя очертания, они катились, и, если заслоняли солнце на каком-нибудь склоне, внизу загустевал провал почти черного цвета. Земля отражала небо, как карту с островами и заливами. Дул ветер, но из окна гостиной нельзя было заметить движения крон на склонах.

Он наблюдал за этой изменчивой картой, в голове вертелось что-то ночное.

Путеводные указатели для странников, это из перуанской пустыни Наски. Наска. Наско?

Гигантские указатели для странников или просто масштабная живопись, гигантомания.

Внезапно что-то произошло, вдруг вспыхнуло мощное дерево, далекая сосна — или это был кедр — с соломинками ветвей и кроной цвета морской волны, вцепившаяся в серый лоб каменного облака.

Он замер, всматриваясь, потом достал папку, лист, карандаш, поглядел, сразу нашел это дерево. Грифель с шуршанием побежал по бумаге... Но здесь надо было схватить цвет кроны, необычайно насыщенный, высоко звучащий, словно бы кто-то дул в морскую раковину, и медно-спелый, золотистый, тугой цвет ствола, вызревающий из глыбы белого камня.

Он раздвинул мольберт, прикрепил к нему холст, взял палитру, разложил тюбики.

Первое движение, вот что.

Единая черта сквозь запястье и кисть.

Только тогда возможен первый вздох пейзажа.

Точка касания, мгновенно превращающаяся в линию. Точка пространственна и вневременна, в линии уже бьется пульс, она уходит куда-то вглубь, вглубь, словно кисть взламывает паузу, вскрывает вену, из которой исходит цвет, лазурь, цвет и звук — основа всего, форма обманчива, смотри, смотри хищно, холодно, шершавые наслаения солнца — ствол, спрессованная плазма, окунуть кисть в змеящиеся протуберанцы желтой, годовые кольца — загустевшее время, в вещах сковано оно... он скосил глаза на жужжание, взглянул снова в окно... взгляд зигзагами заметался по склонам, пересек всю плоскость, вернулся к центру, опустил до подоконника, затем поднялся к верхней перекладине рамы, еще и еще раз, многожды обегал склоны, облака, заслонившие солнце, — деревья, вспыхнувшего словно факел, нигде не было видно, оно как будто вправду сгорело, он напряженно глядел, пытаясь отыскать его среди тысяч зеленых крон и тонких стволов, не понимая, как он

мог так хорошо его видеть... ведь он видел или ощущал его шершавость, корявость сучьев, грубость и мощь корней... где-то в углу настырно жужжала муха, он распахнул окно, слышнее стали чьи-то голоса, звуки работающей техники, свист птиц, лай, шум ветра. Он ждал, что подует ветер и дерево снова появится. Древесное море с глубинами теней от облаков, яркими заливами, пенящееся, гудящее — если оказаться там, услышишь, — эта ассоциация неизбежна.

Солнце осветило большую часть пейзажа, но это дерево не выступило нигде с той же необыкновенной выразительностью.

Ну что ж, это можно было оставить: пустое место. И писать все остальное: небо, склоны. В крайнем случае дерево написать по памяти. Оно выросло в мозгу. И погрузилось в него, утонуло с изумрудно-синей кроной. Надо лишь вызволить его.

Стабильность и тайна коричневого. Игла красного. Кромешное молчание черного. Ошеломительные просверки белого. Уравновешивающая умбра. Этот запах. Податливая ткань. Невидимые нити набухают красками. Рука проникает глубже, горсть пальцев, превратившаяся в мягкую персть, ищущую скрытые источники, льющиеся чистые глубинные линии, чтобы вывести их на поверхность, ты, как рудокоп или радист, проламывающий немоту, или рыбак с эхолотом, грек, высматривающий тени Геркулесовых Столпов, астроном, ловящий отблески мгновения, когда пространство стало временем, археолог, собирающий пыль чьих-то одежд, цветов, слов, толкователь дремотной земли, ее обширных, многокрасочных снов с водами, птицами, небесными знаками, камнями в траве, излучинами дорог, звоном кузнечика, со следами на песке — с цепочкой следов, уводящих куда-то...

Был уже вечер. Длинные провалы пролегли по пейзажу подлинника. Солнце садилось где-то за аэродромом.

Хотелось есть. Он нарезал черствого хлеба, отогнул крышку банки со шпротами, ел, рассматривая холст. Напился воды. Потер лоб. Подумал, что вообще-то надо самому растирать — как кто? Кончаловский? — краски. Эти слишком тусклы, серы, сыры, словно на всем тень облака, провал. И в линиях нет силы. В силовых линиях пейзажа. В магнитных линиях земли и солнца. Единая черта молнией ушла в пробел в центре пейзажа. Не в твоих силах ее удержать. Для этого мало знать технику древних.

Сгорбившись, он рассматривал, что получилось.

А что еще?

Что еще надо знать? уметь? чувствовать?

Он огляделся. Что он делает здесь, на склоне дня, в гостинице, освещаемой косыми лучами?

На каком языке он думает.

Солнце на западе. Где-то за Уралом. Низко над городом с растрескавшимися башнями, над кинотеатром, над садами и газетным домиком.

Пойти к ней?

А уже поздно.

Заметил муху, испачкавшуюся в лазурном озерце палитры и теперь оставляющую след на подоконнике.

Еще выпил воды, оделся, привел себя в порядок и пошел в больницу. Вечером слышнее была река. Свистели птицы. Все понемногу очухивалось после жаркого дня. Доносились детские крики, мычанье коров. По улице зигзагами шел пьяный. Две пожилые женщины в платках следили за ним. Он взмахивал руками, как канатоходец, балансировал, перебирал ногами, стоял, покачиваясь и хмуро озираясь, шел дальше. В окнах голубели отсветы телевизоров. Пахло навозом, пылью, каким-то варевом.

По территории больницы еще прогуливались люди в пижамах и халатах, смуглыми лунами проплывали алтайки в белых одеждах и колпаках.

Ее не позвали, сказали, как и в первый день, что она спит. Он удивился и попросил разбудить. Женщина, с которой он разговаривал, внимательно посмотрела на него.

— Ничего страшного, — сказал он.

Нехотя она ушла, шаркая по половицам шлепанцами. И не вернулась. Девушка тоже не появлялась. Что это значит? Он обратился с просьбой к какой-то другой больной. Та кивнула в ответ. Вскоре появилась и сказала, что его попросили прийти завтра.

— Кто?

— Она сама.

Он вышел из корпуса. Вспомнил, что не курил со вчерашнего дня, достал сигарету. Вспыхнула спичка. Обиделась?.. После первой же затяжки ударило в голову, пришлось загасить сигарету.

Когда шел к выходу, показалось, что в беседке среди косынок и халатов, лиц смуглых и бледных мелькнула чья-то рожа, ощерившаяся улыбкой — ему.

На следующий день утром ему велели прийти после обеда, сказав, что она на «процедуре». Он уже не сомневался, что его дурачат. Объяснения тяготили. До вечера проторчал на реке, но уже в тенистом месте.

Вечером наконец появилась она. Он ждал ее на скамейке под пихтами. На ней был все тот же халат, только, может быть, слишком туго подпоясанный. Тусклая рыжая прядь покачивалась у щеки. Лицо, осыпанное веснушками, казалось чрезмерно бледным из-за потемневших — или густо подведенных? — глаз.

Она как будто с преувеличенной осторожностью опустила на скамейку. Поколебавшись, он поцеловал ее в щеку, пахнущую лекарствами.

— Ты, — сказал он со вздохом, — обиделась. Но я еще ничего не объяснил.

Она мельком взглянула на него. Это был какой-то новый взгляд.

Он сказал, что получил солнечный удар на реке, с ним это впервые, никогда бы не подумал. Довольно неприятная вещь. Что-то вроде лихорадки. Не тропической — солнечной. Озноб, тошнота, наверное, температура, кусок не лезет в рот. Ночью кошмары, всякая дрянь, нелепости, например ткацкий станок, Красный проспект, фильм о чьей-то тени... Он поймал ее внимательный взгляд.

— Даже курить не мог. Хотел клин клином: в табаке тоже солнце.

— Голова не болит?

— Нет, прошло. А ты? ты как?

— Тоже прошло.

— То есть... все?

— Да. Наверное, завтра отпустят.

— А это может повториться? Дальше-то больниц нет, учти.

— Не повторится, — ответила она, качая головой. — Я решила продолжать это путешествие налегке, думаю, ты не обидишься? — с едва заметной улыбкой спросила она, взглядывая на него.

Он заморгал, полез за сигаретами. «А, да», — вспомнил и спрятал пачку.

— Кури, — разрешила она.

Назавтра ее отпустили.

Придя в гостиницу, она оглядела номер и сказала, что он неплохо устроился, это, конечно, не бийская богадельня. Она потянула носом воздух. После больницы приятно пахнет. Даже чем-то таким... душистым.

— Это красками, — поспешил объяснить он.

— На чем их замешивают? на розовом масле?

— Что ты будешь есть?

— Все, что угодно.

— Тут шпроты, тушенка, повидло, хлеб, сок.

— Сойдет, — сказала она, все еще не садясь никуда, стоя посреди номера. — Почему тут пятно?

— А? — вздрогнул он, оторвавшись от стола, на котором вскрывал консервы. — Пока не получилось. Дерево. Потом допишу. Ну, готово, садись!

Она продолжала стоять. Он оглянулся. Шагнул к ней, взял за руку, но она как будто истаяла в его руке, выскользнула. Девушка откинула волосы, посмотрела на него с полуулыбкой.

Он предлагал ехать завтра, но она настояла на своем, ей почему-то не хотелось здесь оставаться. И, собрав вещи, под вечер они спустились в вестибюль. Его руки были заняты, и она сама вернула ключ от номера белокурой темноглазой дежурной, почему-то не удивившейся, что они так внезапно съезжают. И дежурная вообще ничего не говорила, только глядела и мягко улыбалась. Девушка прохладно улыбнулась в ответ. Он хмурился, глядел в сторону.

На прощанье он все-таки сказал «до свиданья», и дежурная ответила «всего хорошего». Он был уверен, что она не поднималась к нему ночью. То есть поднималась лишь в его воображении. А за лихорадочное воображение никто не отвечает.

Они дотащились до деревянной автобусной остановки на дороге; ожидающие, замолчав, осмотрели их с ног до головы — во взглядах женщин в цветных платках и пестрых платьях можно было прочесть... но он не стал читать, — и затем неторопливые разговоры возобновились.

— Дай и мне сигаретку, — попросила она и, сев на рюкзак, выпрямилась и с дерзким, надменным видом закурила.

Автобус, заглывая пыль на остановках, довез их до устья реки, вытекающей из огромного, изогнутого бумерангом озера; здесь им пришлось ночевать в беседке переполненной турбазы, постелив спальники прямо на пол; было тепло, только мешали смех, разговоры, песни под гитару; а рано утром пришла парочка, увидев, что место занято, удалилась — но не настолько, чтобы не слышны были последовавшие через некоторое время вздохи и стоны и отрывистые порывиванья.

Утром они умылись в реке — или это уже было озеро? — позавтракали и вышли на пристань. Здесь собирались туристы и местные, возвращающиеся в свои медвежьи углы с покупками и, конечно, всяческими новостями. Озеро, горы немного туманились. Но уже всходило над вершинами солнце, прорезая молочную мгlistость лучами. У причала стоял речной, точнее, озерный трамвайчик, это была посуда с вымытыми палубами, иллюминаторами, скамейками. Через некоторое время стали продавать билеты и пускать на корабль.

Наконец все разместились на палубах и в салонах, матросы убрали трап, нутро железного трамвая сильнее загрохотало, и посуда отвалила.

Отвесные кедровые стены раздвигались, словно бы по чьему-то мановению. «Это изумруд, а не золотой алтын», — заметил кто-то восторженно.

Со скал срывались ручьи и маленькие водопады.

Краски были мягкие, влажные, будто артель изографов только что смыла празлень и голубец в водах и небесах со своих кистей.

Они стояли на носу, и ему вдруг пришло в голову, что это напоминает вещь Каспара Давида Фридриха «На паруснике». Он покосился на свою спутницу и побыстрее отвернулся, снова уставился на воды и горы, слегка покачивающиеся перед ним.

Каспар Давид Фридрих сновидец, ведь только во сне местность мира не безразлична, а отзывчива и исполнена значения. Это художник, рассеченный временем. Его пространство двойственно: пространство-чувствилище и пространство-вместилище. Отчего немца, в конце концов бросившего живопись,

и назвали отцом трагического и даже катастрофического пейзажа. Хваля его дотошность и зоркость, современники писали, что, увидев нарисованную им милю песка да ворону на кусте, волки взвоят. И зрители, тихо, про себя. Причем зрители зрителей, почти все его персонажи созерцатели: монах на берегу моря, сестры, кельтские жрецы в экстазе, влюбленные, женщина у окна, супружеская пара, — и им еще дано что-то чувствовать в созерцаемом, а нам уже почти ничего. Между нами пролегал вопль другого Фридриха, возвестивший о кончине того мира.

Двигатели глухо рокотали, из-под днища вырывались буруны. Озеро было спокойным. Но сомневаться не приходилось, что этот «изумруд», по замечанию накрашенной женщины в солнцезащитных очках, — но таковым озеро казалось и без очков — изумруд с вписанными в него прозрачными пейзажами вмиг сломается и превратится — если в эту причудливую чашу или, скорее, раковину со множеством отверстий дунет ветер, — превратится в крошево.

Щелкали фотоаппараты; низкорослый пузатый бородач передвигался вдоль бортов со стрекочущей кинокамерой. Его сопровождала высокая тощая женщина в шортах, изрекавшая про изумруд. От усердия у бородача лоб покрылся капельками. Но мог ли он своей совершенной хитроумной штуковиной с циклопическим глазом снять трагический пейзаж?

А кто его здесь знает? кто его помнит? Кому, в конце концов, это нужно: пространство опыта тысячелетних исканий? слезшее, как старая шкура. Так что взгляду открылся скелет пространства: геометрия и алгебра. Что в нем трагического?

После недолгого плавания посудина причалила осторожно к зеленому кедровому песчано-белому берегу.

Ему вдруг показалось, что она так и останется на палубе, не сойдет по трапу.

Кричали чайки.

Вода мягко набегала на берег.

Среди деревьев на высокой террасе берега виднелись крыши, дальше возвышалась еще одна терраса, вся поросшая травами, и сразу за ней вверх ушли зеленые обильные линии склонов.

Поселок между озером и горами.

Чайка кричит в зрачок.

Зрение вонзается в звук.

Звук и цвет сплетаются.

Поскрипывание досок. Шорох песка. Всплеск насыщенной небом воды.

Дыхание.

Голос.

Голоса.

Трамвай уже катил по невидимым линиям дальше. Приезжие поднимались на береговую террасу. Девушка была с ним. Точнее, рядом. Но как будто видимая с другой точки зрения. Эта точка зрения порой совпадала с его.

Поднявшихся на береговую террасу встретило недружелюбное гоготанье и шипенье гусей. Полуголые парни, обтесывавшие поодаль бревна, сидели среди ворохов коры и щепы, курили, воткнув топоры в смолистые тела деревьев, лыбились.

— Пошли! кыш! — воскликнул, взмахивая плащом, один из приезжих.

Но гуси еще яростнее пошли, красноклювые, белолобые, с черными немигающими глазками. Какая-то женщина взвизгнула. Парни на бревнах заржали. Но тут вдруг кто-то ответил нападающим натуральным гоготом. Правда, слишком громким. Гуси тут же прекратили свое шествие, подняли головы, тревожно-хитро заозирались. У человека-гуся была пышная рыжая шевелюра, вьющиеся волосы ниспадали на плечи, глаза навывкат голубели; через крутое плечо перекинут был ремень громадной сумки. Он хлопнул ладонью по туго обтянутой выцветшей джинсой толстой ляжке и снова изобразил голос гусака. Гусак с надменным лбом посмотрел на него прямо. А человек-гусь затянул нежно-хрипло: те-э-э-ги, те-э-э-ги. И гусак вдруг всхлопнул крыльями и повернул в сторону, что-то склонил с земли. За ним потопали и остальные.

— Богдан! — приветственно махали парни с лоснящимися плечами.

Человек-гусь свернул к ним, чтобы поздороваться.

Прием у директора был недолог. Плечистый крупноголовый высокий мужчина с загорелой и похожей на скальный выступ лысиной, обрамленной густыми курчавыми волосами, в очках круглых и небольших, как у Леннона, слегка улыбнулся, раскрыв трудовую книжку и прочтя:

— Кинотеатр «Партизанский», пожарник.

У девушки трудовой еще не было. Директор велел секретарше — женщине средних лет с милovidными чертами лица, немного искаженными, правда, флюсом, — выписать трудовую. Вовремя, сказал он, пожарники нам нужны, пожароопасный период в разгаре. На кордон согласны? Да, конечно, на это и надеялись. Ну вот и хорошо. Когда хоть что-то совпадает, заметил директор и тяжело, философски вздохнул, давая понять, что это действительно редкость и что в этом вся суть его деятельности: устранять несоответствия. Женщина с флюсом, постанывая, рассказала по дороге в общежитие, что они попадут в хорошее место, там, в каньоне, когда-то жили китайцы, выращивали виноград и чуть ли не персики, от них осталась система ручьев, бери воду, мм-аа, прямо с крыльца, в речке много рыбы, почти напротив водопада, между прочим, остатки первой церкви на Алтае, мм-аа, ну, или одной из первых... Пришли. Здесь переночуете. Свободных комнат нет. Но тут живет хороший мальчик, биолог, хотя его все, мм, и зовут Лгуном. Просто он из университета ленинградского, ЛГУ.

Общежитие находилось в обширном деревянном доме с несколькими комнатами, двумя или даже тремя печками. Пахло табаком, грязной посудой. К стенкам были приклеены вырезки из журналов, засиженные мухами. Девушка брезгливо озиралась. Так и будешь стоять? — спросил он. Она взглянула на него и ничего не ответила. Он устало вздохнул. Путешествие налегке...

Путешественник, будь монахом.

Вспомнил алтайскую Венеру и криво усмехнулся. От ее блузки пахло потом и дешевыми духами.

— Схожу в магазин, что-нибудь куплю. Ты здесь подождешь?

Она кивнула, но вышла следом и дожидалась его на улице.

Они вернулись в дом и столкнулись с невысоким коренастым парнем в брезентовых штанах и расстегнутой незаправленной рубашке. Он им улыбнулся, спросил, новенькие они или чё? На кордон? А. Уф. Откашлялся. Утер испарину. Это хорошо. Зовут меня Саня, я с Перми. Это мой уже третий заповедник. А их у нас в стране сто пятнадцать. Или даже больше. Способ все увидеть, да? Живой «Клуб путешественников» и «В мире животных» и бичей, ха-ха. Тут всякие экземпляры. Сами увидите. А сейчас... ну, в общем, не выручите? до зарплаты? Буквально три рубля. Справиться с лихоманкой. Толчок дать. А то... ну, сами понимаете.

В озере он выкупался, вода была чистой и теплой; нырнув, открыл глаза, увидел светлые живые пятна камней, золотую пелену солнца.

Она сняла футболку, закатала штанины, вошла в воду, распустила волосы, наклонилась. Из-под пальцев поплыла густая молочная пена.

Струйки воды, как продолжение волос, тонко звенели.

Может быть, это и не она, а ее зеркальное отражение.

Да, словно бы он видел ее отражение, даже тень, а сама она как-то странно отдалилась.

Почему? что ей известно? На селе все сразу становится известно. Но ему самому еще неизвестно.

Она решила выкупаться вся, отошла подальше. Он смотрел на чаек, на зеленые склоны, сидя на теплом камне. Покосился, увидел ее белые маленькие груди с янтарными сосцами, трусики в кровавых цветах...

Отвернулся.

Хм, это еще не кончено.

Подобрал камень, бросил в воду.

Вдруг она завизжала. Обернулся. Перекошенное бледное лицо, руки прижаты к груди, глаза огромные.

Быстро подошел.

— К-караул, — прошептала она, — там что-то поползло.

На крик вышел человек-гусь, Богдан, он тоже купался, волосы стали темно-красными; он с любопытством смотрел.

— Что случилось?

Она торопливо одевалась.

— Да змея, что ли, — ответил он.

— Ж-жирная... ч-черная, — подтвердила она.

— Наверное, полоз, — сказал Богдан. — Не ядовит. Но кусается.

— М-мерзость.

— Вытри волосы.

Он протянул полотенце. Их пальцы соприкоснулись. И в это мгновение все совместилось. Как будто два изображения склеили. Но где-то в воздухе остался след, рубец. Ее пальцы были ледяными.

Богдан пятерней расчесал волну густых волос, сел неподалеку. Разговорились. Оказалось, что он в прошлом киевский врач, но вот уже полтора года обретается здесь в качестве объездчика, то бишь лесника, на высокогорном кордоне.

— Мы тоже на кордон.

— А, у вас другое место. У нас высокогорье... Ветерок сносит недобрые мысли. Ты не учитель? Нет? Жаль. Детей не хочется отдавать в интернат, чему их там научат. Ну, кое-что мы сами можем преподавать. Я биологию, ну, химию — с натугой. Варламов, инженер, — физику, математику. Петр — философию? Это еще рано... Ни одного профессионального учителя. А ты? — Богдан устремил на нее голубые спокойные глаза, мягко охватывая ее всю.

— Только почтальоном и успела поработать, да и то нелегально, — сказала она, краснея.

— Здесь почта — радиостанция. Ну, может, раз в месяц и закинут корреспонденцию. Нет, летом чаще. Кстати, провиантом запаслись? Там, чай, не Крещатик.

— Говорят, рыбы много.

— Ну да, в реке водится рыба, а здесь — мы, — ответил он непонятно и слегка брюзгливо. — Купите муки, подсолнечного масла, все истратите, там деньги ни к чему. Туда бы закинуть корову. Тогда вообще ничего не нужно, почти полная автономия. У нас наверху им мало еды, трава жидкая, еле на лошадей набираем. А у вас неплохие уголья по реке. Заведите корову. Ты будешь маленькой рыжей гопи.

— Ке-эм?

— Доярочкой священной коровы.

— Не терплю молока!

— Как? — удивленно уставился на нее Богдан.

— Да-а, одна давняя нелепая история.

— Расскажи-ка, Расскажи, — попросил Богдан.

Она рассказывает. Родители держали корову. В заштатном городке многие держали всякую живность. Корову звали Зойка.

— Зорька?

— Зойка, — повторила она. — Сестра эр не выговаривала, и как-то так все и стали ее звать. Ну а потом ее куда-то увели. Или увезли. Что-то такое, не знаю, случилось. Какой-нибудь недуг. Завели новую. И я перестала пить молоко, насовсем. Вот и все.

Богдан смотрел на нее почти с нежностью.

— Наверное, рыжая, раз Зорька?

— Нет, черная. Только на лбу что-то как будто брезжило.

Богдан причмокнул толстыми губами.

— Я люблю лошадей, — сказал он.

Может, он был ветеринарным врачом, кто знает.

— Жаль, что приходится их эксплуатировать, — продолжал он. — Но я свою Голубку предпочитаю водить под уздцы. Да и на крутых тропах оно безопасней. Тут водятся хлопцы-шутники, дикие инородцы. Вымажут в самом опасном месте камушек медвежьим жиром — конек на дыбки — и куча-мала в пропасть. Вообще глаз да глаз за ними. В угасающий костерок пульнуть — весело. Раньше, конечно, диче были. Заставу — там у вас в каньоне, на другом берегу, — вырезали в тридцатые годы. На экскурсию сходите. Своеобразно, конечно: пустая казарма, офицерская, кухня. Речка на перекате бурчит, голосит... Но поток психической жизни неостановим, невозвратен, как и время. Все рассыпается на единицы и снова сплетается: вот вам корова, курица или... или собака. Ну что? что? Иди, — позвал он облезлую собаку с уродливо вздутыми, будто их набили камнями, отвисшими сосками. Полакав бархатно-синей воды, она снова посмотрела на них и, услышав голос Богдана, вильнула хвостом и приблизилась. Крупная пятерня в рыжих волосках примяла ей уши, и она легла, положив морду на его ступню в песке; глубокий вздох поднял и опустил ребра, она прикрыла нагноившиеся глаза, будто он ее накормил.

Девушка встала:

— Пойдем.

— Мы могли бы побыть еще на озере, — сказал он.

Она ничего не ответила.

— Кстати, а я не знал этой коровьей истории...

Она молчала, словно бы ничего и не слышала, словно воздух между ними вновь истончился, натянулся и кое-где лопнули переплетения одних и тех же цветов, запахов и звуков. Он вдруг почувствовал, что не имеет достаточно сил — да и желания — все соединять. И он, пожалуй, не стал бы возражать... Нет! Что нашло на него. Совсем не то, не так, все как было, так и есть. И они вместе продолжают путь. Он удержит ее, хоть она слишком хрупка.

...Но на окраину ойкумены надо бы иметь мужество отправляться в одиночку. Оставив дома предрассудки, помыслы о счастье и прочей дребедени. На каком там пункте закончилась горячечная Памятка? Или Пугеводные указатели для странников?

Вечером Лгун, светловолосый сутулый узкоплечий парень с синими усталыми глазами, любезно оставил комнату, прихватив с собой спальник. Но дверь в комнате отсутствовала, и все было хорошо слышно: хождения, кашель, стук — и разговоры, вдруг вспыхнувший спор о таинственном мумий:

что это? всеисцеляющая горная смола? окаменевший помет мышей или каких-нибудь неведомых зверюшек? или обыкновенная живица — сосновая смола, смешанная с чем-то?

Чей-то голос расценивал все как шарлатанство. Но другой возражал: у него тетка, то есть у его тетки что-то такое... нога перестала гнуться, и врач... Вот Богдан, он не даст сбрехать, скажет... Да-а, на этом... на этом можно... Богдан?.. а еще если прикапывать золотой корешок... Наверно, что-то с хрящами, да? Где? Ну, в теткинном колене. Колене? Колено. Богдан, там чё, ну, какая-то смазь, да? И я пошел к одному корейцу. Или китайцу. В общем, монгол. Алтаец? нет. И взял. Ну да. Обдирают. Ты послушай, а потом... Чё? Богдан, там ваш Варламов чё-то, а? конструирует, говорят? В Индию полетите?.. Ну, есть другие возможности, методы. Левитация, например. Это вы, Богдан, серьезно? Что?.. Ну. Так тетка после курса в пляс пошла. С мумия. А вот чё вещь: панты. Нет, без понтов, я сам же... Но я тебе говорю, заработать. Корешок, смола, панты. Илья, скажи. Ну, разумеется, золотой корень обладает... А, все не то. Вон Сонников кричит, летим, а в долинке, б..., поле, понял? Они еще облетели пару раз, зафиксировали. Белое-белое. Ну, там кое-где фиолетовая клякса, одна-две. Где? А, так он и сказал. Вот где тыщи нерезанные, б..., без всяких понтов! Не мышья наклала. А они заявили? Ну... я... просто. Заявили? А Серега Лычаков кричит, вот где полет. Китайцы торговали. Пометом? Полетом. Ух!.. ну, я готов к Миرونю. Он готов!.. Иди. Так?.. А ты так. Не даст, жлоба. Хуть бы на пюзречек... Стрельнуть у этих? Я уже закидывал, неудобно так сразу. Богдан? Митрич? Ты как врач пойми. Но, хлопцы, так вы, знаете что, никогда не прерветесь. Этот загрязняющий поток следует все-таки однажды взять и — прервать. Ну, это да. Но и ты же войди в положение как врач, доктор. Целый день, б..., бревна скоблишь, намахаешься... надо же какое-никакое послабление уму. А вы дышите глубже, оно расслабляет, очищает. Правильное дыхание, практика такая. Да когда махаешь, так надышился, чё... Вот если бы хотя бы опять же женщину. Но эти карабинеры бьют без промашки в спичечную головку, попробуй сунься. А за этим ты на турбазу. За тремя перьями, Пашк? Один друг на Тракте поймал, так лечился, как тетка... А у ней чё?.. Чё?! Ах ты сука!.. Э! Э! ребята! Хлопцы! ну! Тш! А он сам сказал. Я? Ты! Да перестаньте, ну. Вы как эти, пауки, попадаетесь в собственную паутину. Богдан, это, извините, несообразность. Это афоризм, а не несообразность, Ильюша, и ему больше двух тысяч лет. А, вы имеете в виду... Вот Лгун! забодал всех своей наукой. Сколько талдычит? да? Голова как в тумане, а он все... да, Витюш! Пошел ты!.. Э-э, не обижайся. Сейчас вон Митрич нам гривен ссудит. А, Богдан Дмитриевич? Ну, вы смешно выглядите. Кто? мы? Вы, вы. Как те хлопцы, что на берегу соленого океана утоляли жажду. Жажда жаждой не утоляется. Ну, хах, вон у нас озеро, полный ковш пресной воды. Мы о другом. Так и я о другом. Об чем? О ложных наполнителях сознания. А это суть: неведение, эгоизм, влечение, враждебность, жажда. Одним словом, аффекты. А их бы прокалить на огне. Семя после огня не даст всходов. Стойте, Богдан! Так это что, и есть ваш идеал? Уф! Витек... у меня свист в ушах. Слушай, а так чё? Мм? Ну, опередить вертолетчиков? вызнать у Сонникова где, подпойть. А думаешь, деляну другие не пасут? монголы с берданками? Я вообще уверенный атеист, но все же мне симпатичнее другой афоризм, из Достоевского... или это у Толстого? Про что? Про зерно. Короче, ясно, не видать нам гривен, эх, тоска существования! Зерно разлагается и дает росток. А у вас... Огонь — это метафора знания, вот и все, ничего такого страшного. А, это в смысле — если все узнаешь, то и не захочешь дальше?.. Просто прекратится искажающая подпитка. Митрич, а мне сейчас в голову пришло, у вас там высокогорная партиячка, в натуре. Но разве знание освобождает от жизни? Да кончайте вы эту бодягу!.. Ты нас, Митрич, избавишь или как? говори прямо!.. нет уже сил. Не кричите, люди спят. А мы? сарлыки? Витек,

ты похож, зуб, харя чумаза — вылитый як. Истребитель? Сарлык. Якши вы, хлопцы, то бишь злые духи... Ну, ты... не ругайся. А толком объясни свою доктрину, доктор. Куда стремишься ты таким путем? какого состояния достигнуть хочешь? презревши счастье царя? столь верное тебе? дающее так много наслаждений?

- Хорошо, хорошо. Ну, во-первых, длинна ночь для бодрствующего.
- Это уж так!
- Во-вторых, многие с червоточиной.
- Отсюда все остальное?
- Все дрожат.
- Человек, срывающий цветы, похищает смерть.
- На куче мусора может вырасти лотос.
- А тело подобно пене.
- Еще: приятны леса.
- Лебеди путешествуют тропой солнца.
- Ибо ты сам себе господин.
- Человек с просвечивающими венами.

Наблюдая пасмурным утром за вертолетами — один стрекотал в небе, другой беззвучно полз, как паук, по воде, Богдан заметил, что летательные аппараты, рыгающие огнем, описаны уже в «Махабхарате».

Они поднялись на террасу, где среди травы опускался вертолет. Ветер пластал травы, раздувал гриву Богдана.

Вдвоем они таскали мешки с луком, сахаром, мукой, крупами, бидон с подсолнечным маслом, ящики галет, два новеньких, пахнущих кожей седла, мешки с цементом, ящики гвоздей, моток проволоки, что-то еще — в вертолет.

Потом ждали. Вертолетчик прошел мимо с мешком, за ним повис крепкий шлейф аромата копченой рыбы.

Устроились среди мешков и ящиков на небольших сидушках у иллюминаторов.

Но не взлетали.

Наконец на поле показался человек. Он бежал, придерживая шляпу, полы плаща металась за спиной.

— О боги, ученая обезьяна с нами, — сказал Богдан с улыбкой. — Политагитатор. Лектор! — объяснил он и добавил: — А вы думали, забрались в глушь и свободны?

Лектор просунул в салон туго набитый портфель, затем влез сам. Вертолетчик втянул трап, закрыл борт.

— Он сказал: поехали? — спросил он у агитатора.

— Ага, ага, поехали! — крикнул тот в ответ, и его и без того узкие черные глазки с нависающими веками утонули в смуглой улыбке.

Машина с ревом начала приподниматься и вдруг косо пошла вверх вдоль склонов. Лектор обмахивался шляпой, простодушно разглядывая спутников.

Некоторое время видно было озеро. Затем нагорье: россыпи камней, красноватые марсианские скалы, заросли кустарников; правда, вскоре появились озера, но небольшие, как лужи, с унылыми голыми берегами.

Напоминает лунную карту. Моря и океаны бурь, кризисов, туманов, радуг, озеро снов. Но стаи птиц иногда вздымались с озер, а не сны.

Попытайся вообразить тишину этой страны. И железный клубок грохочущий, быстро перебирающий лапами нить воздуха.

Глухая боль не отпускает, тянет книзу.

Этот Илюша Васильев занятный хлопец, только ушиблен знаниями... Запах рыбы. Одна дивчина постилась, лобызнула священнику лапу и чуть сознания не лишилась, селедкой так и пахнуло... У трупоедов и священники смердят. Но — оставь все это. Это пестрая колесница, не более.

Шаманы на луну летали ловить дух больного. Этот лектор тоже своего рода шаман. Красный. О чем он будет читать? объездчикам и пастухам высокогорья.

База, база, шестой. Видимость нормальная, идем по нагорью... Готовьте пиво, бочку. А то как же! ха-ха.

Лектор полез в портфель, вертолет качнуло. Может, у него там все эти причиндалы, ну, птичья рубашка, рукавицы в рыбьей чешуе, каска с рогами и что там?..

Достал фляжку, походная, лекторская, глотнул. Огненной воды?

Нам — пять литров, Варламову пять, Петру... Надо бы два бидона. Это же основа основ — подсолнечное масло. Лепешки, с кашей, с квашеной капустой...

Марк Порций Катон Младший сказал однажды: «Предоставим оракулов женщинам, трусам и невеждам». Итак, поговорим, товарищи, о суевериях, о привычке связывать некоторые явления друг с другом — действительно ли эта связь существует? Например, связь числа тринадцать со всякого рода несчастьями. Или черной кошки. Или ласточки, залетевшей в форточку.

У врача со лбом в пигментных пятнах кличка Шахтер, Шахтер во всем белом, не дающий родине угля, идиотский юмор... Добрые, какие-то китовые глаза, мягкие руки. Ну-с, как вас звать?

Олады с красносморозинным вареньем. Капуста вся вышла. Ох-хо! мы живем очень счастливо, хотя у нас ничего нет, мы будем питаться радостью, как сияющие боги.

Что касается числа тринадцать: «Восток-3» и «Восток-4» совершили удачный полет тринадцатого августа шестьдесят второго года. Другие примеры. Вообще жизнь возникла три миллиарда лет назад... Жалко, что не тринадцать. И вселенной пятнадцать — шестнадцать. Ну, однако все равно: предрассудок есть мнение, не основанное на рассудке, как заметил французский писатель и философ-просветитель Вольтер Франсуа.

Картофельный пирог, грибная запеканка — без яиц, пончики, пельмени, вместо мяса — творог, да можно тот же картофель, но лучше просто зажарить до хруста, догадается Марго? Если еще есть подсолнечное масло.

А это место напоминает Колизей, однако. Колизей, самый большой и известный амфитеатр античной эпохи, вмещал девяносто тысяч зрителей, построен императорами Веспасианом и Титом. Его открытие сопровождалось столдневными торжествами.

Вода в римском водопроводе проходила тройную очистку: уголь, песок, трава.

Римляне гадали по внутренностям, печени, по полету птиц, — ауспиции, авис — птица, специо — смотрю. Смотрю на птицу.

Рим был основан... ну, это не имеет значения. Однако — э? Двадцать первого апреля семьсот пятьдесят третьего года до нашей эры, как гласит предание. Жаль, однако, что не тринадцатого.

Кто там еще? Менделеев, Гёте. Один специалист США по вопросам психологической войны. То есть это может быть оружием: суеверия.

Однако худая какая бабенка, синюшная. Курица рыжая.

Удар молота! ток! выстрел!.. О, трупоеды. Поросята. Многие люди порочны, и я буду терпеть оскорбления, как слон в битве — стрелу.

База, база, шестой.

База, база...

Каким бы написал Фридрих это нагорье? Но оно уже как будто написано... Здесь трудно что-либо прибавить. Красноватые скалы как столпы.

Раздвиньте шире, ну... Да не напрягайтесь так, спокойнее, тише.

Вошел ледяным металлом.

База, база...

В Португалии стоит памятник свинье, очень древний. Тотемизм был присущ... кому он только не был присущ, однако! Даже звезды считались животными. Опять же — козел, отпущения. Профессор Калифорнийского университета Ненд выпустил словарь четырехсот тысяч примет и поверий. Опять американцы, однако.

Сырная запеканка, с луком, с грибами, сухарями — тоже на подсолнечном масле.

Алё! эй, воздухоплаватель?

Очнулась. Мрачный лоб в капельках пота. Вы опять теряете сознание, как в самолете?..

Больно.

Ну да! Общий наркоз не положен. Терпение, голубушка... т-терпение.

Снова провернул свою кочергу.

Ладно, хватит.

Богдан прикрыл глаза. Счет на вдохе: вдох-раз, выдох, вдох-два, выдох, вдох-три, выдох, вдох-четыре, выдох... это стирает все мысли и образы, ибо мысли и образы человека нелепы, скверны.

Алё! воздухоплаватель? Запоминай все линии и изгибы, чтобы вернуться. Или не запоминай. И не возвращайся. И ничего не говори.

У бабенки глаза как подмороженная дурника, сквозь кожу жилки светятся. Зря, однако, так далеко едет.

Алё, воздухоплаватель?..

В этом пейзаже нечего убавить или прибавить, скалы краснеют, будто квазары, столпы на границе наблюдаемого мира, за которой уже ничего нет, там область сверхсветовых скоростей; и в туманной воде дрожит ртутный след, словно только что здесь скользила рыба — и ушла, дальше, сквозь град камней и взрывы сверхновых, в вихрях радиоизлучений и ветре солнц, туда, где грань режет взгляд, как алмаз стекло. И на хрусталиках остаются царпины, неровные и

серебристые
словно линия горизонта
утраченной любви

Счет на выдохе: вдох, выдох-раз, вдох, выдох-два... ничего не должно остаться, вдох, выдох-три, вдох, выдох-четыре, вдох, выдох-пять, вдох, выдох... Шестой патриарх, служивший в монастыре мукомолом, написал на стене южного павильона стихотворение, в котором сравнил сознание с деревом бодхи, а тело со светлым зеркалом, ну а я бы сравнил сознание со сковородкой и весь мир с деревом бодхи... которое надо вырвать и поджечь! Ибо ничего не должно остаться, ни времени, ни пространства, этих главных иллюзий, — десять.

Но... где мы все время пребывали? и сейчас летим.



АНАТОЛИЙ НАЙМАН

*

СВОЙ МИР

* *
*

Пока сохраняют грузины
эдемскую графику лиц,
германцы ссыпают в корзины
гончарную лепку яиц.
Но сметан на нитку живую
ковчег наш и с якоря снят.
В булыжную бить мостовую
копытцем нет сил у ягнят.
Колхида нищает. Европа
блестит роговицей глазищ
лошеного телециклопа...
Но нищий не беден — он нищ.
Он — он. Цель не в том, чтобы выжить,
а выжить таким. То есть в том,
чтоб лик, как морщинами, вышить
сухим виноградным крестом.

Черкешенка

Как быть, черкешенка-черешенка
из XIX в.,
когда ты нищенка и беженка
в проженной, как фундук, Москве?

К кому взывать, на что надеяться,
пока кремлевская попса
за деревцем корчует деревце
из гнезд Садового Кольца.

Ни Бог, ни мы тебя не выручим
с тех пор, как бес тебе шепнул
уйти за Михаилом Юрьичем
в сиротский гибельный загул.

Пустыми саклями и скалами
в огне вас провожал Кавказ:
пропала ты, Тримя Вокзалами
расташенная на заказ.

Люта война людей и демонов.
Их тел особенно, их тел.
Последняя, которой Лермонтов
затравку, юный, подглядел.

Из Беранже

Здравствуйте, дорогие. А где сестра?
В шапке кудрей, с антрацитовыми глазами.
Дома оставили, слишком стала стара.
Маска морщин с пепельными волосами.

Зря. Замысел, он как свет: всегда милосерд.
Вы, например, — не хотели, а ведь пришли же.
Белая ковка локонов, татуировка черт —
вот что в фокусе. И никого нет ближе.

Правда: ступайте за ней, будьте уж так добры.
Пусть увидит, что согнут, но что встречаю стоя.
И ничего, что не было никогда у меня сестры.
Нынче она единственная в точности знает, кто я.

Свой мир

Хотя и стоит этого-того
(пусть будет: этажерки и толкушки)
свой мир, нам остается только «сво»
от сводничества — ни души, ни тушки.
Сшить, сострочить — вот цель. Соединить.
Собой. Одним собою. Не надеясь
ни на кого. Ведь струйка крови — нить
и мысль-иголка никуда не делись.
И съест — как тот пророк — не своего
пера и почвы книжку и картошку.
Собой — и только — сделать вещество,
под кожуру проникнув и обложку.
Короче, опровергнуть пустоту.
И, плоть в конце концов на оболочку
пустив, обить небесную плиту
сафьяном атомарным. В одиночку.

Музей

Неведомого рода войск
мундир. Сукно тонов острожных.
Орлы на медных пряжках. Воск
церковных свечек и картежных.

Как он попал в стеклянный куб?
Ведь если он не нереальный,
чей в гроб не проводил он труп?
эпохи? кости ли игральной?

Тряпье? Да нет, тут что-то есть.
Согласье и противоречье
с режимом. Кое-кто и честь
небось спешил отдать при встрече.

Да кажется, что где-то вскользь
о нем Катулл... Или Гораций.
Нигде — я пролистал насквозь.
...В штаб одиночеств, изоляций

квартира превратилась. В тир
оптический — но без мишеней.
И, натурально, сшит мундир —
не сковывающий движений.

Широк, лишь обшлага тесны.
И, как сплетенным в кушах райских
повязкам, — нет ему цены,
в отличие от генеральских.

* *
*

Черная дудка диаметром 7.62,
клапан какой ни нажмешь, отвечает: да-да.
Нет — отвечает диаметром 9 кларнет.
Яблочко выбрав диаметром оба ранет.

Речь не о музыке — ставим на музыке крест.
Просто какие маэстро, таков и оркестр.
С мышку диаметром — вздоха последнего путь.
Есть инструменты, короче, — но некому дуть.

* *
*

Заключенный глядит на небо,
потому что оно свободно,
за любую выходит зону
и все целое, а не пайка.

А больной с него глаз не сводит,
потому что оно здорово,
кровью вен и аорт играет,
даже слезы льет не горя.

Взгляд вперяет в него ребенок,
потому что оно как царство —
все сверкает золотом в полдень
и в серебряных бусах ночью.

Сумасшедший смотрит на небо,
потому что оно нелепо,
как ломоть несъедобного хлеба,
Богом брошенный внутрь sklepa.

А поэт взирает на небо,
потому что оно бесцельно,
драгоценно, пусто, нетленно
и его рифмовать не надо.

* *
*

Облака как деревья, а небо само как дрова.
Речь идет о поверхностной химии, дорогая:
перескок электронов и прочие все дважды два.
Не угодно ли жить, Божьих замыслов не ругая?

Божьих числ, в изложении школьных программ,
оказавшихся сводом оценок и формул, голубка,
позитивной науки с горячим грехом пополам.
Юный мозг их впитал и, гляди-ка, не выжат как губка.

Что с того, что потерь — как летящей листвы в октябре.
Кровь, остыв до плюс тридцать, забудет их, астра седая.
И отцов и детей. И слезу то ли в ми, то ли в ре —
как их Моцарт писал в Лакримоза, заметь, не страдая.

Только б свет на коротких волнах подсинял H_2O
облаков, только б ел хлорофилл CO_2 , мое счастье,
а уж я различу в акварели лица твоего
краску Божьей свободы, под Божьей сложившейся властью.

* *
*

А. О.

Когда возницы колесниц,
пуская радиусом малым
в путь жеребцов и кобылиц,
искусно действуют стрекалом,

их по дистанции накал
схож с рыболовным у извива
заросшей речки, где стрекал
роль на себя берет крапива.

Клюет у всех, но как во сне.
Подсечь подсек, но нет, что вынешь,
гарантии. Что на блесне
не тина. Что не пройден финиш.

Песенка

Утром в октябре-ноябре
мир не столько наг, сколько мокр —
так же как на брачном одре
Рим не столько нагл, сколько мертв.

Там, где стык веществ и культур,
то, что пережил ржавый лист
и его не сбросивший дуб,
гипсу статуи ведомо лишь.

Сад Боргезе нес этот груз
всякий раз, как я выбирал
влажный, мимо Медичи, курс:
бар — пустой собор — телеграф,

ярусами запертых дач,
сенью ботанических рощ,
окуная выцветший плащ
в уличную мелкую дрожь.

Жизни смысл — не знать, не делить
дождь и то, на что он идет.
Жить и есть — подошвой скоблить
парков мытый гравий и дерн.

* *
*

Принесите мне юность, воздушные струи
с лукоморья, всегда мой студившие лоб,
принесите ветренность и поцелуи,
с губ сдуваемые, как обрывки слов.

Принеси мне, мой западный, мглу и запах
пляжных водорослей и сухого вина
под биенье плащей и под хлопанье флагов.
В общем, юность — ты знаешь, какая она.

Принеси мне, северный, мою зрелость,
не замеченную, когда была —
когда сердце к жженью так притерпелось,
что, оплавясь, едва не сгорело дотла.

А тебе, восточный, поклон за старость
незаслуженную, за неожиданный привар.
За отличный отмер — чтоб к концу не осталось
ничего. За глазунью как Божий дар.

И еще надышанного мне, южный,
пассажирами, вышедшими из такси,
я ни долгом с которыми не был, ни дружбой
прежде связан, тепла хоть на миг принеси.

Ну а если не врут, что тебя не упростишь,
что как щедр ты и зноен, так нищ и зловещ,
принеси-ка мне то, что без просьбы приносишь, —
без названья, без свойств, без подробностей вещь.



ОЛЕГ ЗОБЕРН

*

ДВА РАССКАЗА

ОНО НЕ КОНЕМ

Балкон его квартиры не зарешечен. Первый этаж. Я стою внизу, на травке, в подоконных кустах. Жду. Лева не разрешил заходить к нему, сказал, что там — сердитый старший брат. Лева двадцать шесть лет, он встретил меня сегодня на автобусной остановке — небритый, мятый, выветленные гидроперитом длинные волосы отросли, видны темные корни. Волосы испортились от химии, выпадают, пристают к плечам его черного пиджака, под которым — белая рубашка навывпуск. Скорее всего, у Левы нет никакого брата, он наврал. Он часто врет. И верит себе. По-настоящему. Однажды мы ехали в метро, было людно; Лева рассказывал, как недавно летал в Сирию на какую-то репетицию, а заодно подзаработал контрабандой попугаев. «Хватит, Левка, сколько можно», — сказал я. «Не веришь? — Он обиделся. — Ну и хрен с тобой... Может, ты думаешь, что про маму я тоже вру? Вру, что она в Америке живет?» — «Конечно». — «Гад!» И Лева не сильно, но больно ударил меня в нос. Я по инерции двинул ему в зубы, Лева — почему-то с очень удивленным лицом — повалился на сидящих граждан. Поезд в это время остановился, и какие-то мужики вытолкали нас из вагона — его в одну дверь, меня в другую... Да, у него нет старшего брата. И я стою под балконом, гадаю, почему он не пустил меня к себе, почему так долго возится, ища резиновую лодку.

Я позвонил Лева вчера, спросил, где можно надувную лодку достать. Для рыбалки.

— Не спишь?

— Что ты, некогда. Работаю. Черчу рельеф, скоро съемки, а ничего не готово. Оператором на четвертый канал устроился. Через пару дней — командировка в Липецк, там в молдавском общежитии назревает бунт. — Он говорил шепеляво, часто затягиваясь сигаретой. — Хорошая работа, по знакомству взяли. Потом меня на художественное отделение переведут, буду снимать серьезное кино... Лодка? У меня есть.

— Опять врешь?

— Честно.

— Одолжи до осени, а? — Я понадеялся, что это и впрямь правда. — Сейчас самый сезон, леши, щуки пошли, а моя вконец сгнила. Клеил, клеил, бесполезно.

— Забирай.

На следующий день, вечером, я приехал. Раньше я здесь не был. Окраинный район.

Из квартиры доносится истеричный женский голос:

— Куда лодку поволок? Опять к своим наркоманам?

Зоберн Олег Владимирович родился в 1980 году в Москве, студент Литературного института им. А. М. Горького. Рассказы публиковались в журналах «Новый мир», «Звезда», «Октябрь», «Знамя», «Литературная учеба» и др. Лауреат литературной премии «Дебют-2004». Живет в Москве.

Лева матерится в ответ.

Мне надоело ждать, — подтягиваюсь на перилах, заглядываю: дверь в комнату приоткрыта, на полу валяются книги и непонятный хлам; потрепанная мебель, в углу старый телевизор «Рубин». У дальней стены — некрасивая стареющая женщина в голубом халате.

— Точно наркоман! — увидев мою голову, говорит она.

Слезаю обратно. Рядом на полоску асфальта между стеной и грязной лестницей, ведущей в подвал, шлепается скомканная резиновая лодка «уфимка». Следом на газон летят весла и насос.

Лева прыгивает вниз, мы запиховаем все это в большой туристский рюкзак.

Голос сверху:

— Левка, скажи хоть, куда намьлился?

Это та женщина в халате.

— Не твоё собачье дело, сгинь, — огрызается Лева.

— Я-то сгину, а вот ты...

— Исчезни!

Женщина уходит. Скрипит балконная дверь.

— Твоя мама? — спрашиваю.

— Нет, тетка. Мама в Америке, забыл, что ли? Где будем лодку проверять? Ей давно не пользовались.

— Зачем?

— На всякий случай. Чтоб ты потом не потонул. Лет десять назад отец с нее бычков ловил и уклеек, с тех пор лежала под кроватью. Могла рассохнуться. Нужен контрольный заплыв. Где совершим? О, знаю, испытаем в отстойнике, тут рядом. Или можно на Пироговском водохранилище.

— Лучше в отстойнике, Пирогово далеко, — говорю я. — Ты бы переоделся, зачем пиджак пачкать? У тебя же стройотрядовская роба есть.

— Ее кот обоссал, — Лева уныло улыбнулся, — невозможно носить. Хорошая была роба, много с ней связано воспоминаний. Пришлось выбросить. Только ромбик с эмблемой отпорол, оставил.

Когда-то мы вместе устроились на работу, обходчиками линейной теплоцентрали в Реутове. Получили фонари, каски и спецодежду — стройотрядовские робы, хотя не строили ничего, а бродили по канализации, искали утечки.

— Перед испытанием надо в магазин, — говорит Лева.

Соглашаюсь.

В гастрономе душно, сломался кондиционер. Покупаем литр кагора и вафельный торт.

Направляемся к водоему. Длинный тихий проулок. Между типовыми девятиэтажными домами впереди — желтый закат. Лева несет рюкзак, я — бутылки с теплым вином. На обочине, рядом с котельной, стоит старый грузовик-фургон с надписью «ХЛЕБ» — белым по голубому борту.

— Раньше в таких людей увозили в застенки. — Лева указывает на грузовик.

За жилым массивом — большой овраг, целая долина, на той стороне ее — трубы, промышленные строения, бело-серая гряда новостроек, правее — за эстакадой, где город кончается, — лес.

Внизу в бетонных берегах большой прямоугольный пруд-отстойник.

Спускаемся по склону, по тропинке. Здесь уже сумерки.

Неподалеку, за забором, деревянная церковь. Недостроенная колокольня, рядом силуэт экскаватора с задраным в небо ковшом. По ту сторону забора появляются две большие овчарки, шумно дышат, высунув языки, смотрят на нас.

Лева велит им мрачно:

— На место!

Собаки уходят.

— Помнишь, Левка, — говорю я, — как ты месяц назад по пьяни звонил мне и Бога хулил?

— Да.

— Чего это тебя тогда понесло?

— Нервное, бывает. — Он запыхался, перекидывает рюкзак на другое плечо.

Располагаемся на маленьком пустыре между отстойником и церковным забором.

Пьем кагор, жуем торт, присыпанный кокосовой стружкой.

— Слышь, а если меня здесь нет? Совсем? — вдруг говорит Лева непривычно серьезно и зло, перестав вдруг шепелявить. — Если я кажусь, чтобы ты богохульно решил, что вообще все в муках пребывающие — страдают напрасно. А если мыслить дальше, то, в конце концов... тогда... У-у-у, да пропади оно пропадом!.. Скажи оно конем!!

— Ты же сам определил, что скакать некуда. — Я вспомнил, как после драки в вагоне мы, стоя у черного столба Кирова на «Чистых прудах», мирлись и осудили эстетику спонтанного всеперемещения по воле отдельно взятого человека. Лева это определение и придумал. — Забыл, что ли?

— Нет. — Он сразу сник, опустился на колени перед рюкзаком с лодкой и зашептал, подвывая: — Хорошо, пусть оно не скачет... То есть не конем. Никуда... Не кажусь... Ведь мы так просто не сладимся... пам-пара-рам... Ее забавные черты я не забыл... среди разграбленных могил... разгоним же этих вялых хиппи... Эх, зануда ты, зануда, мухи с тобой от скуки дохнут!

Помолчав, он продолжает, но уже по-прежнему шепеляво и сбивчиво наборматывая:

— Не укрощай меня словами, я все равно сниму кино. Я после Липецка поеду в Грузию на войну. Надо в ущельях кое-что... настоящая творческая работа...

Кагора еще много.

Лева взбодрился, выдумывает на ходу:

— Было дело, в Боливии высунулся я из траншеи с камерой и получил тяжелую контузию. Поэтому теперь картавлю.

— Может, тебе пора жениться? — Я хочу отвлечь Леву от тяжелых дум, а то он чересчур взбудоражится.

И мы долго говорим о женщинах. Лева доказывает, что искать их надо не здесь, а в Хабаровском крае или на войне.

— У тебя, ватще, была женщина? — спрашиваю, жуя торт.

— Ага, как собачка. Бегала за мной. Она из семьи алкоголиков. Мы поругались. Я еще расстроился тогда и поехал за город... Электричка остановилась на какой-то дачной станции... Ходил по лесу, о буйствах туристов думал, о тайге, о шахтах со стратегическими ракетами... Хочется погулять утром, рано-рано, чтоб земляника на полянке...

— Давай съездим к кому-нибудь на дачу, — предлагаю я. — На выходных, а?

— К кому?

— К Ленке... У нее дом под Подольском. В дачном поселке. Помнишь Ленку из медучилища?

Лева отвечает, что ни на какую дачу нас никто не возьмет, что не те времена, да и дачи тоже не те, что ненавистно ему злое огородничество, а вот если видеокамеру занять, то он бы поехал по давно задуманному маршруту, наснимал кина... Ему опять отчего-то томительно — сидит согнувшись, покачивается, волосы закрыли лицо.

Откупориваем вторую бутылку. Прикладываюсь первым: пряно, приторно.

Вспоминаю Левину тетку в комнате. Или — мать. Похоже, это все-таки его мать... Спрашиваю:

— Левка, а где твой батя?

— Помер. Он был зубным техником. Обычным техником. Понимаешь? Киваю. Мне представляется фигура в белом халате, но без лица, — такая покойная, семейная.

Лева уже заметно опьянел. Увлеченно рассказывает:

— В отстойнике водятся большущие бычки. Много. Отец их на удочку тягал. А вон справа в болоте, где кусты, живут гадюки. Теплое болото. Они зимой не засыпают, тоже ползают. Я там в детстве лазил... Ща, погоди. — Он встает и неторопливо идет к этим кустам.

— Куда ты?

Не отвечает. Удаляется.

Что-то ищет в темноте.

Вскоре вернулся — весь в грязи. Ботинки чавкают. Допивает вино. Некоторое время смотрит, наклонясь, на рюкзак, затем вытряхивает из него «уфимку».

Накачиваем ее. Он дует в один сосок, я в другой. У лодки две камеры, для безопасности. Надо надуть получше. От напряжения у меня кружится голова.

Лева несет «уфимку» к воде.

С бетонного берега осторожно, чтоб не перевернуться, залезаем в лодку, садимся лицом друг к другу, упираясь коленями.

Лева гребет маленькими алюминиевыми веслами.

Останавливаемся на середине водоема. Рядом в темноте — всплеск.

— Утки. Они тут зимуют даже, — тихо говорит Лева.

После кагора с тортом мне жарко.

На дно лодки натекла с Левы грязная жижа, и у меня намокли штаны. Он курит, часто затягиваясь, кашляет. Сбоку, из-за невидимой промзоны — отдаленный гул шоссе, с другой стороны — призрачно проглядывают сквозь испарения отстойника огни многоэтажек. Лодка медленно, почти незаметно плывет, поворачивается, — над косматой головой Левы и огоньком его сигареты — то край черного, беззвездного неба в стороне над пригородом, там лес, то розоватое свечение района. Сонно и незлобно облаивают кого-то на берегу, за оградой, храмовые собаки. Испытание проходит нормально.

КУКЛА ФУСУКЭ

Как долго мы идем через этот парк... Он огромен, и сейчас здесь безлюдно, один раз только — пожилой физкультурник пробежал по дорожке вдалеке.

Тут много животных. Под кольцевым шоссе для них вырыты тоннели, чтоб всякий зверь, когда захочет, мог вернуться в настоящий лес.

Где-то там, впереди, должна быть железная дорога.

С виду ты совсем девочка, но вот — везешь синюю коляску, в ней твой маленький сын. Сидит, машет березовой веткой, иногда запрокидывает неловко голову, смотрит в просвет аллеи, на косматые верхушки лиственниц, улыбается, и ты думаешь, наверно, что он видит там ангелов. Ты говорила мне как-то, что дети это умеют... Вряд ли. Ведь твой ребенок слишком близок к нашему миру, в котором он к тому же еще ни разу не видел своего отца.

Обычно вы гуляете здесь вдвоем.

— Мам, поем к поездам, — просит он сегодня.

— Хочет смотреть на поезда. — Ты останавливаешься и застегиваешь ему верхнюю пуговицу кофты. — Малыш, пойдем лучше к елочкам? Помнишь голубые елочки? Там песочница...

Но твоему сыну нужны поезда. Он выронил свою ветку и готов заплакать.

И мы идем к железной дороге.

Тонкие частые тени ветвей перебегают по коляске, по твоим рукам и лицу, под ногами шуршат камешки с песком и древесный сор. Аллея — в солнечных пятнах, узкая и длинная, не видно конца — посыпана рыжим речным песком, и я вспоминаю, что собирался этим летом съездить куда-нибудь на Волгу.

— Представь, — говорю я тебе, — что вон там, в конце дороги, прямо за деревьями, настоящее море. Теплое, как полагается.

— Знаешь, а я ведь на море не была. Надо в августе на Черное купить путевку, недорогую. Подруга недавно вернулась из Новороссийска, говорит, нормально там, какой-то пансионат недорогой. Позвоню ей, спрошу.

Отчего-то мне кажется: раз у тебя есть ребенок, ты уже все должна знать и уметь, везде побывать. И на море, конечно. И не на одном.

Твой сын повернулся и внимательно, как-то испытующе посмотрел на меня. Да, наверно, я сказал глупость, про море... Последний раз ты обиделась, когда гуляли вечером и я, подняв, поставил тебя на скамейку: «Я не игрушка, понял? Убери руки!»

Некоторое время идем молча. Неужели и сейчас что-то не так?

Но ты спросила:

— Помнишь, как мы познакомились? Ты меня тогда клубникой кормил. С рук. Вышел на улицу с горстью. Смешно.

— Да. Еще очень холодно было. На бульваре, вечером. И снег, — ответил я.

Ты достала из кармана коляски пластмассовую бутылку с молоком.

Ребенок пьет, неуклюже держа ее обеими руками. Ты стоишь рядом, смотришь, чтоб не облился, вытираешь платком белую струйку на его щеке.

Вы не похожи. Он русый, крупный для своего возраста, а ты невысокая и смуглая. Может быть, в тебе есть чуть восточной крови, — такие мягкие, но точные, будто рисованные черты.

Мы опять молчим.

Справа вдоль дороги — неглубокая канава, на дне ее лежит толстая черная труба. С этой же стороны, подалее, на пустыре — навалены бревна и стоит зеленая бытовка на колесах. И вдруг — лиса.

Ты нагнулась к сыну:

— Тихо, не шуми, малыш. Видишь лисичку?

Лиса рылась в оставленном строителями мусоре. Она больше походила на серую бродячую собаку с длинной шерстью и короткими ногами. Твой сын замер, посмотрел на зверя, приоткрыв рот. И сказал радостно и громко:

— Сеый войчок.

Лиса увидела нас и не спеша, опустив морду, ушла в высокую траву за бытовкой.

— Какой же это волчок? Это настоящая лиса, — объясняешь ты. — Волк другой. Помнишь книжку про зверей? Ту, с картинками? Нет? Еще раз покажу, когда вернемся.

Вы вдвоем живете на последнем, шестом, этаже старого кирпичного дома; в квартире затянулся ремонт: мебель накрыта газетами, паркет посерел от извести и влаги, со стен большой комнаты не содраны до конца обои, висят цветными слоями, как свидетельства разных десятилетий: вот — в голубую полоску — шестидесятые, а эти, пестрые, сверху, наклеены были, судя по всему, в середине восьмидесятых, когда ты родилась, а я учился в школе, в первом классе.

Аллея по-прежнему пуста; мы прошли сосновый бор, и где-то вдалеке послышался приглушенный, как из-под земли, гул поезда.

Это место оказалось небольшой поляной перед оврагом, за которым — насыпь, столбы железной дороги.

Ты ставишь коляску так, чтобы ребенку все было видно, говоришь:

— Сынок боится товарных поездов, они темные и громяхают. Особенно эти... цистерны.

Я сажусь на небольшой замшелый камень и осторожно, чтоб малыш не видел, курю.

Прошли два товарных состава, в разные стороны. И опять на поляне тихо.

— Нужно обязательно подождать новую электричку, — говоришь ты. — Не зеленую, а синюю... Ему такие очень нравятся.

Когда показалась наконец эта электричка, я прячу сигарету за спину и осторожно, сбоку смотрю на твоего сына, а он — на мелькающие вагоны, и в его глазах пробегают счастливые синие искры.

Должно быть, думаю я, уже многие дети побывали здесь, на этой поляне. Поездов долго нет. Ребенку скучно.

Ты просишь:

— Вытащи его из коляски, пусть погуляет. Вон там, на траве...

Но просто так гулять неинтересно, — он стоит рядом, держась за свою коляску.

— Мы любим складывать бумажки, да, сынок? — Чтобы развлечь его, ты достала книгу и несколько чистых листов. — Смотри, кораблик. Хочешь вот такой кораблик? Нет? А птичку?

— Дай-ка. — Он задумчиво, очень серьезно перелистнул несколько страниц: самолет, солдат, волшебный фонарь; и остановился, выбрав куклу. В книге было показано, как ее делать, и название внизу: «Фусукэ». Ты аккуратно сложила лист, и получился угловатый ангелок с крохотными крыльями.

— Плохая. — Малыш обиженно засопел, смял куклу и кинул в траву. — Длугую хосю.

— Капризничает, — вздохнула ты.

Я беру книгу и листок.

Сложенного мной ангела твой сын долго разглядывает, поворачивая так и сяк, решает: оставить ли себе.

Оставил. Но точно такой же получился и у тебя.

Мы проводили еще несколько поездов.

Идем дальше. В одной руке у ребенка — бутылка с молоком, а в другой — моя кукла, уже немного помятая.

Время от времени я смотрю на тебя, на твои маленькие руки, и думаю: как такими нежными руками можно удержать тяжелого ребенка?

Здесь дорога вьется рядом с черной, мазутной речкой Яузой.

Ты подвозишь коляску к воде, к ивам, на высокое утоптанное место. Малыш смотрит вниз и лепечет:

— Босать хосю.

— Опять будем бросать камешки? Ладно. — Ты поднимаешь и даешь ему маленький камень. Твой сын, довольный, кидает; недалеко, в метре от берега, камень булькает, и течение тут же сносит, сглаживает круги.

Ребенок бросает, просит еще. Кукла лежит у него на коленях.

— Наверно, надоело гулять с нами? — спрашиваешь ты меня и красиво, едва заметно улыбаешься. Ты всегда улыбаешься так, когда смущена или не знаешь, что сказать.

Я не отвечаю. Хожу по берегу, собираю камешки для твоего сына. Пахнет болотом, берег замусорен. Чернеют кострища. Завтра, в субботу, вечером тут появятся отдыхающие: будут новые костры, шум, выпивка, чья-то любовь в кустах, окрест рассеется шашлычный дым.



ЭЛЛА КРЫЛОВА

*

ОТОРВАВШИЕСЯ ОТ ВЕТКИ

Залив

Небогатое солнце балтийских болот
отраженье свое опускает как лот
в мутноглазье «маркизовой лужи».
Рыбаки, непечатно сердясь на улов,
серебристую плоть потрошат у костров,
предвкушая заслуженный ужин.

Горизонта ломают черту корабли.
Сосны доят набухшее вымя земли
и струю смоляную в солёный
бриз подмешивают, как в варяжскую кровь —
русский хмель. И стоит, как монашки любовь,
окоем круговой обороной.

Финских дач квадратура. Ряды ровных гряд.
Огородник в трусах принимает парад
сельдерея, редиски, петрушки.
На заборе ворона клюет, что послал
Бог. Однако бесчувственен неба оскал
над застенчивой грустью церквушки.

Жизнь идет, а вернее, течет, как вода,
невпопад проникая туда и сюда,
возносясь незаносчивым паром,
низвергаясь дождем. И ее я люблю
уж за то, что она — в назиданье рублю —
достается нам чудом и даром.

Небогатое солнце балтийских болот.
Истерических чаек капризный полет.
И шемящая свежесть свободы.
Все, что нужно для счастья: песок под стопой,
небо над головой, горизонт пред тобой
и залива свинцовые воды.

Последний блюз

Как фильм, назад прокрутим десять лет, —
гуляет время взад-вперед в России.

Зеркальный шкаф, ореховый буфет,
и печка чудная, и всполохи косые
ложатся на сверкающий паркет.

В жилище — некогда немецкого барона,
а ныне — в обителище беды
по чутким клавишам аккордеона
летают все еще проворные персты.

Больной старик для нас играет блюз.
В последний раз играет он и знает,
что он в последний раз сейчас играет,
и улыбается, и я боюсь

улыбки этой пред лицом Ничто.
Недавно с удивленьем мы узнали,
что две войны прошел он от и до,
ведь никогда к парадному пальто
не прицеплял он ни одной медали.

Джазист, смешливый циник и гордец,
не верил в Бога, не боялся ада
и близкий неминуемый конец
воспринимал с достоинством Сократа.

Ликующая музыка. Пришур
глаз меркнувших, но все еще лукавых.
И сыну — локтем в бок: «Налей еще!»
...И вот — глазниц незрячие провалы.

Гроб. Крематорий. Колумбарий. Бог,
по милости Своей, а не по нашей
суди нас вере и в пасхальный срок
не обдели его воскресной чашей!

Тридцать семь

Шум машин за окном моим или прибор?
И не вскрики ли чаек — клаксоны?
И в ночи упираюсь я в свод голубой
головую бессонной.

А сквозь полдень я вижу сияние звезд —
тихих ангелов синие очи.
И, сгибаясь в поклоне, стою в полный рост.
Жизнь моя не короче

бесконечного небытия Божества
и Его немоты многотомной.
Юных кленов стучится мне в сердце листва
или инок бездомный?

Или кошка бездомная? Жгучей тоски
двуединое жало вливает
в кровь багрец. Багрецом украшает виски
терн — трава полевая.

Я по миру иду, не привязана ни
к счастью быстрому, медленной боли.
Меня катят по волнам балтийские дни
от любви к любви.

Всем ветрам доверяя, привольный мой плот
знай плывет сквозь житейские клетки.
Что мне смерть? Созревая, так падает плод,
оторвавшись от ветки...

14 июля 2004.



АНАТОЛИЙ КУЗНЕЦОВ

*

Я ДОШЕЛ ДО ТОЧКИ...

Главы из книги

В конце 60-х Анатолий Кузнецов считался в СССР одним из самых ярких, талантливых и прогрессивных литераторов, одним из «отцов основателей» так называемой «исповедальной прозы». Его роман-документ «Бабий Яр» стал едва ли не самым крупным событием в советской литературе того времени. В основу романа легли записи, которые в детстве будущий писатель вел тайком, стараясь сохранить для будущего все, что происходило с ним в оккупированном Киеве. Его рассказ «Артист миманса», опубликованный в 1968 году в «Новом мире», сравнивали с гоголевской «Шинелью» и «Бедными людьми» Достоевского. Его книги выходили огромными тиражами, переводились на множество языков, по ним ставили спектакли и снимали фильмы.

И вдруг: «Я дошел до такой точки, после которой я уже не мог работать».

И вдруг — отчаянное, авантюрное бегство, клеймо «невозвращенца», глухое раздражение и показное непонимание коллег по писательскому цеху, шепот в коридорах Центрального Дома литераторов: «Ну чего ему не хватало?..» А затем — практически полное забвение, искоренение из истории, вытравливание памяти о нем. Тогда казалось — навеки.

Но вот пришли 80-е годы, грянула «перестройка», и постепенно в литературный обиход стали возвращаться запрещенные имена: Солженицын, Галич, Бродский, Некрасов, Аксенов, Войнович, Гладilin, Владимов... всех не перечислить.

В 1991-м, когда отмечалось 50-летие страшных событий в Бабьем Яре, мне удалось провести два творческих вечера памяти отца. И если в Киеве, на его и моей родине, вечер прошел с огромным вниманием прессы и общественности, то в Москве в ЦДЛ едва набралось ползала.

Тогда же, в 1991-м, «Бабий Яр» впервые был издан в СССР в полном виде — не в том изуродованном советской цензурой в середине 60-х, а таким, каким хотел видеть его отец и каким он издал его в 1970 году на Западе. И вновь — тишина в прессе, словно и не было стотысячного тиража в «Советском писателе».

Этот странный «заговор молчания», конечно, не был таким уж «непробиваемым». В нескольких журналах вышли воспоминания о нем, опубликованы некоторые его письма. Но по-настоящему частью литературного процесса и литературной истории страны творчество Анатолия Кузнецова еще назвать трудно.

В чем же причина этой непонятной на первый взгляд тенденции?

Мне представляется, таких причин три. По-человечески они вполне объяснимы.

Во-первых, совершенно очевидно, что Анатолий Кузнецов стал невольной жертвой своей творческой манеры — а именно «исповедальности». Предельная откровенность, честность не только перед самим собой, но и перед чита-

телями, разумеется, в советское время никак не приветствовалась. Ни одна из его книг — ни одна! — не дошла в СССР до читателя в том виде, в каком она была задумана и написана. Это, конечно, не было единичным явлением — в таких условиях жили и работали все советские писатели. Но кто-то вполне комфортно уживался с этим, принимая цензуру как неизбежное зло, кто-то уходил в так называемую «внутреннюю эмиграцию», лишаясь при этом возможности публиковать свои произведения. А кто-то — и Анатолий Кузнецов в их числе — счел для себя возможным эмигрировать по-настоящему.

Способ он избрал, надо сказать, неординарный. В командировку в Лондон отец был отправлен накануне 100-летия Ленина. Он заявил, что пишет роман о II съезде РСДРП (наверное, нынешняя молодежь и не подозревает, что была такая Российская социал-демократическая рабочая партия, предшественница КПСС, да и саму-то КПСС могут не вспомнить). Этот съезд частично проходил в Лондоне, и отец в творческой заявке написал, что ему необходимо побывать на месте событий, постоять на могиле Карла Маркса на Хайгейтском кладбище, поработать в библиотеке Британского музея, где в свое время трудился Ленин, словом — «прочувствовать атмосферу». Что ж, план его удался — прогрессивный писатель был командирован в британскую столицу, где он тут же ушел от своего «опекуна» и попросил политического убежища.

Отчаянная злоба обманутых советских чиновников выплеснулась на страницы печати с такой силой, что этот «мутный поток», как говорится, захлестнул тогда и тех отцовских друзей и коллег, которые внутренне готовы были ему посочувствовать и даже посмеяться втайне над околпаченными «большевиками». Имя отца было так старательно вычеркнуто из всех советских «анналов», что инерция этого вычеркивания сохранилась и тогда, когда советская власть приказала долго жить.

Это — первая формальная причина.

Вторая также связана с «исповедальностью» Анатолия Кузнецова. Вскоре после «невозвращения», летом 1969 года, в английской газете «Санди телеграф» было опубликовано интервью, данное им известному лондонскому журналисту и будущему своему коллеге по работе на радио Дэвиду Флойду. Желая избавиться от лжи, которая окружала его всю прошлую жизнь, наивно и немного по-детски веря, что, попав в нормальное общество, он может говорить правду без всяких ограничений, Анатолий Кузнецов подробно и обстоятельно рассказал о своих связях с КГБ, о том, как с ним работали, как его вербовали, как он дал формальное согласие на сотрудничество, лишь бы ему позволили выехать за границу.

История простая: не пойман — не вор. А признался — получи клеймо «доносчика», а заодно и «изменника».

От него отвернулись даже некоторые левые деятели Запада; в частности, в жесткую полемику с Анатолием Кузнецовым вступил Артур Миллер. Кроме того, резкие высказывания отца о либеральной интеллигенции в СССР также вызвали полемику и неприятие его взглядов и поступков. Наиболее известен заочный спор отца с Андреем Амальриком, спор, в котором пределы корректности преодолевались сторонами с легкостью — в полемическом запале, конечно.

Но и эта причина — еще не самая главная. Наверное, важнее все же другое. Все авторы-эмигранты, постепенно вернувшиеся в литературную жизнь страны, в эмиграции, как говорится, продолжали свое дело. То есть писали книги. Можно обсуждать их достоинства и сравнивать уровень литературы — но при наличии «объекта обсуждения». То есть собственно литературного творчества. Случай же с Анатолием Кузнецовым — особый. Почти уникальный. За неполные 10 лет в эмиграции он не написал ни одной новой книги. НИ ОДНОЙ.

И это — самая главная причина забвения.

Однако точку ставить рано.

Сам он в начале 70-х на вопрос, когда же будут новые произведения, отвечал бесшабашно и все так же по-детски: «А я теперь, слава Богу, свободен. Хочу — пишу, хочу — не пишу».

Но, разумеется, все было не так просто. Отказавшись раз и навсегда от «выдающегося» метода социалистического реализма, которому только и учили в Литературном институте имени Горького (а отец, между прочим, стал известным писателем еще до окончания этого знаменитого вуза), он решил сделать две вещи. Во-первых, прочесть побольше запрещенной в СССР литературы — Оруэлла, Кафку, Замятина, Бердяева... и много еще кого! — чтобы понять, как же надо и как можно писать в свободном мире. Во-вторых, написать что-нибудь «эдакое», в манере «потока сознания» или постимпрессионизма, отдаться свободному творчеству, не стесненному запретами и законами соцреализма.

Лучше всего сказал об этом он сам: «Социалистический реализм обязывает писать не столько так, как было, сколько так, как это должно было быть или, во всяком случае, могло быть. Ложный и лицемерный этот метод, собственно, и загубил великую в прошлом русскую литературу. Я отказываюсь от него навсегда».

И вот, проделав все запланированное, отец вдруг осознал, что писать, например, как Джойс он не в состоянии. Попросту не получается. Некоторые отрывки из его незавершенного романа «Тейч файв» были даже опубликованы, но реакция друзей, критиков и, что самое важное, самого автора была единодушной: слабое и формальное подражательство. А писать по-другому он попросту не умел — и, не умея лгать в первую очередь самому себе, честно признавался в этом. «Я теперь, почитав настоящих, понял, что мне марасть бумагу нечего. А ведь думал, что писатель». Это слова, услышанные его ближайшим лондонским другом Леонидом Владимировым, стали для Анатолия Кузнецова последней и самой беспощадной рецензией на собственное творчество.

Конечно, сейчас повторять эти слова всерьез не стоит. В конце концов, автор волен судить себя по самой высокой шкале, но ведь есть «Бабий Яр», есть «Артист миманса»... Однако творческое молчание говорит о многом. И именно поэтому Анатолий Кузнецов вынал из литературного процесса у себя на родине — поговорив, потирая руки, о творческом кризисе и духовном опустошении эмигранта, на родине о нем благополучно забыли.

И вот тут-то мы подходим к самому главному.

Не было творческого кризиса!

В этом легко убедиться, прочитав книгу, главы из которой предлагаются читателю «Нового мира».

Уникальность ситуации — все в той же творческой манере Анатолия Кузнецова. Недаром главный труд его жизни — «Бабий Яр» — имеет весьма красноречивый подзаголовок: «Роман-документ». Как это ни рискованно звучит, позволю себе предположить, что по складу своего дарования Анатолий Кузнецов был писателем, которому ближе всего прямые, а не беллетристические высказывания.

Вспомним, что он говорил тогда, в августе 1969 года, в эфире радио «Свобода»:

«Жить и писать — для меня это одно и то же... Я уходил из Советского Союза — как зверь инстинктивно спасается от стихийного бедствия. Я ни о чем не думал, это было спасение... Ой, ребята, ребята, это фантастично, это представить себе невозможно, какое это все-таки счастье: наконец говоришь то, что ты хочешь».

Вот и ключ к разгадке его ухода из литературы.

Леонид Владимиров, работавший в те годы в лондонском бюро радио «Свобода», предложил отцу работу — еженедельные беседы со слушателями в рубрике «Писатель у микрофона». Как оказалось, предложение это было не просто своевременным — оно определило на ближайшие годы творческую судьбу Анатолия Кузнецова. К сожалению, не долую: отец умер в 1979 году после третьего инфаркта, не дожив всего двух месяцев до пятидесятилетия.

11 ноября 1972 года. Беседа 1. Вступительная

Работая над романом «Бабий Яр», я подсчитал, что за два года немецкой оккупации Киева, к своим четырнадцати годам, я совершил столько преступлений, что меня надо было расстрелять двадцать раз. Об этом в романе есть глава «Сколько раз меня нужно расстрелять?».

По немецким приказам того времени, например, грозил расстрел за выход на улицу после шести часов вечера. Многих застрелили. И я выходил, но не попался на глаза патрулям, мне повезло.

Был другой приказ, процитирую его: «Все имеющиеся у штатского населения валяные сапоги, включая и детские валенки, подлежат немедленной реквизиции. Пользование валяными сапогами запрещается и должно караться так же, как недозволенное пользование оружием». То есть расстрелом. Но я валенок не сдал, иначе бы не в чем ходить, и две зимы носил, за какое пользование меня и теоретически, и практически надо было казнить, как и за невыдачу еврея, моего приятеля Шурки, помощь беглому пленному дядьке Василию, неявку на регистрацию в четырнадцать лет, побег от угона в Германию; наконец, просто за антигерманские настроения.

«При этом я не был еще членом партии, комсомольцем, подпольщиком, не был евреем, цыганом, не имел голубей или радиоприемника, не совершал открытых выступлений, не попался в заложники, а был ОБЫКНОВЕННЕЙШИЙ, рядовой, незаметный, маленький человечек в картузе. Но, если скрупулезно следовать установленным властями правилам, по принципу „соверши — получай“, то я уже двадцать раз НЕ ИМЕЛ ПРАВА ЖИТЬ».

Далее в романе следовало размышление, которое цензура почти целиком убрала, приведу его по полному изданию «Бабьего Яра», вышедшему теперь на Западе:

«Я живу упрямо дальше, а преступления катастрофически множатся, так что я перестал их считать, а просто знаю, что я — странный, но непойманый преступник.

Я живу почти по недоразумению, только потому, что в спешке и неразберихе правила и законы властей не совсем до конца, не идеально выполняются. Как-то я проскальзываю в оплошно не заштопанные ячейки сетей и ухожу по милости случая, как по той же милости мог бы и попасться. Каждый ходит по ниточке, никто не зависит от своей воли, а зависит от случая, ситуации, от чьего-то настроения, да еще в очень большой степени — от своих быстрых ног».

В книге «Воспоминания» вдова поэта Мандельштама, погибшего в стенах НКВД, пишет, что ее не постигла судьба мужа только потому, что ее выгнали из квартиры, она перестала мельтешить перед глазами и затерялась:

«Меня спасла случайность. Нашими судьбами слишком часто управляла случайность, но в большинстве случаев они были роковые и случайно приводили людей к гибели».

Поэт Мандельштам написал стихотворение, высмеивавшее Сталина. Нет, не опубликовал, просто написал. За это страшное преступление он и был убит.

При тоталитарном строе человек вообще не может прожить, не совершая преступлений в том или ином смысле. Или он сопротивляется этому строю, нарушает его свирепые предписания — и тогда он преступник перед строем, или он выполняет, служит строю — и тогда еще хуже, тогда он действительно преступник против человечности. Что делать старому доброму служаке, если ему приказано травить детей в душегубке? Не травить — сам туда пойдешь. Травить — встает призрак Нюрнбергского процесса...

Все без исключения граждане тоталитарной страны неизбежно должны выбрать из дилеммы одно. Третьего — не участвовать, уйти, отгородиться —

не дано; это третье является преступлением, и серьезным, с точки зрения строя, по знаменитому большевистскому принципу: кто не с нами, тот против нас.

Поняв все это, я потому и перестал считать свои преступления и только возношу благодарность Небу, что живой.

В 1948 году мне шел девятнадцатый год. Я написал гротескную пьесу — сатиру на сталинский строй. Там действовали железные Феликсы, они ходили монолитной когортой по идеально прямой линии, состоявшей из сплошных зигзагов, Ленин вертелся в гробу, Сталин хлопал крыльями, народ безмолвствовал и тому подобное.

Стихотворение Мандельштама было обнаружено. Мою пьесу не обнаружил никто. Но интересно, что бы со мной было, случись тогда в нашей квартире обыск по какому-нибудь поводу, был бы приговор к расстрелу или всего лишь на 25 лет? Пьеса была злая, написанная в упоении, одним духом. Позже я ее сжег.

В комсомол я был принят «скопом», когда учился в балетной студии при Киевском оперном театре. Нас, пятнадцатилетних балетных мальчиков и девочек, привели в райком на бульваре Шевченко и в каких-нибудь полчаса пропустили через приемный конвейер. В 1949 году, на двадцатом году жизни, я, кипя яростью, решил, что не буду участвовать в комедии, творящейся вокруг. Снял с учета в райкоме, сказал, что уезжаю в Хабаровск, получил на руки учетную карточку — и уничтожил ее вместе с комсомольским билетом. Легко решить — не участвовать. Но как?

В 1952 году я работал на строительстве Каховской ГЭС, там проводили стопроцентную комсомолизацию, и я вторично «скопом» оказался в комсомоле. Мы все под диктовку написали заявления: «прошу», «обещаю быть», «выполнять заветы», потому что если все это делают, а ты один нет, то изволь объяснить, а ну объясни, что ты имеешь против...

Это теперь, бывает, и объясняются. Но в 1952 году не объяснялись.

Со всей трезвостью я увидел тогда, что обречен жить в обществе, где не погибают те, и только те, кто глубоко в себе погребет свое искреннее лицо. Бывает, так глубоко погребет, что уже и сам потом откопать не может...

Конечно, я УТАИЛ от родного комсомола, что уже был в нем, как утаил и дальше, вступая в партию, поступая в институт, в Союз писателей. Иначе студентом не быть, ни одно мое произведение никогда бы не увидело света; наконец, и за границу бы не пустили, и никогда бы я не убежал от этого невероятного строя.

Но уже на Каховской ГЭС я узнал от комсорга стройки, что, оказывается, не один я такой «изобретатель», что по стране разыскиваются СОТНИ ТЫСЯЧ беглых комсомольцев, «мертвых душ», их вылавливанием занимается целый аппарат. Угроза быть пойманным нависла надо мной, с нею я жил семнадцать лет.

Шансы, что меня выловят, увеличились, когда я стал писателем, оказался на виду. Достаточно было какой-нибудь балерине в Киеве вспомнить, как мы вместе вступали в комсомол, тогда как во всех биографических справках на моих книгах и вплоть до «Литературной энциклопедии» значится, что я вступил в ВЛКСМ на Каховской ГЭС. К счастью, балерины меньше всего думают о ВЛКСМ.

Мне повезло, хотя многих ловят. Правда, с годами суровость наказания по данному делу уменьшилась до малого: кроме скандала, объяснений на собраниях и бюро, может быть, исключения из партии и испорченной карьеры, мне в шестидесятых годах ничего худшего не грозило.

Худшее грозило, если бы в яснополянском лесу вдруг начались без моего ведома земляные работы в том месте, где я хранил закопанными некоторые свои рукописи. Я писал в них все, что думал, вынашивая смутные планы размножения их фотоспособом. Это уже не были грешки комсомольской

молодости, даже без натяжки их можно было бы квалифицировать как зрелые, обдуманые действия во вред существующему государственному строю. Но земляных работ не было, канав не рыли, деревья не сажали, — пронесло.

Сколько сейчас сидит людей в лагерях Мордовии за попытки бежать! Ленинградский поэт, член Союза писателей Анатолий Родыгин пытался переплыть границу в Черном море. Мой однофамилец Кузнецов Эдуард и вся группа, пытавшаяся захватить самолет. Матрос Кудирка, перепрыгнувший на американское судно и возвращенный... Не повезло людям, фатально не повезло.

А двум парням-художникам удалось переплыть Черное море на надувной лодке, сейчас они живут в Нью-Йорке. Про себя могу сказать, что рассматриваю как большую удачу то, что никто из пограничников в Шереметьевском аэропорту не обратил внимания на отдувающийся карман моего пиджака, когда я шел на посадку в самолет, отлетающий в Лондон. Карман был полон фотопленок с переснятым архивом всей моей жизни, в том числе и рукописей, зарытых в яснополянском лесу.

Другое дело: чем закон, предусматривающий заключение в концлагерь за желание жить не в СССР, а в другом месте, — чем этот закон принципиально отличается от запрета выходить на улицу после шести часов? А вот при Сталине отправляли в Сибирь за опоздание на работу, за сбор колосков. Сейчас, кажется, не отправляют? Нелогично, однако. За пение песен под гитару — нужно отправлять, за рассказанный анекдот — обязательно. Было это, все было...

Прочитаю еще одно размышление из «Бабьего Яра».

«Сегодня одна двуногая сволочь произвольно устанавливает одно правило, завтра приходит другой мерзавец и добавляет другое правило, пятое и десятое, и Бог весть сколько их еще родится во мгле нацистских, энкавдистских, роялистских, марксистских, китайских, марсианских мозгов, непрощенных благодетелей наших, имя им легион.

Но я хочу жить! Жить, сколько мне отпущено матерью-жизнью, а не двуногими дегенератами. Как вы смеете, какое вы имеете право брать на себя решение вопроса о МОЕЙ жизни: СКОЛЬКО МНЕ ЖИТЬ, КАК МНЕ ЧУВСТВОВАТЬ, КОГДА МНЕ УМИРАТЬ?

Я хочу жить долго, пока не останется самых следов ваших».

В самом деле, если жить достаточно долго, то можно видеть, как законы меняются. И пугала перестают пугать. Кажется, страшнее кошки зверя нет, а кошка возьми да и умри. Вот дожили же мы — о, чудо! — до того, что за ношение валенок уже не расстреливают. Также после шести часов выходить на улицу МОЖНО. Даже в полночь можно, это не преступление. Более того, хоть и не рекомендуется, но МОЖНО опоздать на работу, собирать колоски, а антигерманские-антифашистские настроения не только можно, но ПОХВАЛЬНО иметь.

Но! антисоветских — нельзя. Проживать без прописки — нельзя. Бежать в Австралию очень нельзя. Иметь мнение, что американцы обогнали советских в космосе, — категорически нельзя. Иметь вообще любые взгляды, отличные от взглядов газеты «Правда», — преступление.

За это преступление генерал Григоренко сегодня медленно умирает в сумасшедшем доме. Андрей Амальрик находится в магаданском концлагере. Судьба тысяч подобных «преступников» угнетает меня...

Но все же искра оптимизма зреет. Как видим, за давностью лет, а главное, за полным исчезновением некоторых законодателей многие преступления уже не рассматриваются как преступления, приговоры по некоторым полностью аннулированы, как с теми валенками или колосками...

И так, грешным делом, думаешь иногда: а вдруг мы доживем до такого дня и привалит такое невиданное счастье, когда вообще все подобные приговоры... аннулируются?

24 февраля 1973 года. Беседа 15. Серпастый, молоткастый

Верить ли Маяковскому, когда он описывает, какое впечатление производил за границей его советский «серпастый, молоткастый» паспорт: «Я достаю из широких штанин / дубликатом бесценного груза. / Читайте, завидуйте: я гражданин / Советского Союза». Он принадлежал буквально к считанным единицам, выезжавшим из извовавшей, изголодавшей, потрясаемой террором ЧК страны, и для таможенных чиновников серпастый, молоткастый, кровавого цвета паспорт был, безусловно, настораживающей редкостью. Такой настораживающей редкостью сегодня для советских таможенников является, я полагаю, паспорт китайский. Если человек из мао-цзедуновского Китая въезжает в Советский Союз, к тому же не дипломат, к тому же один, то?.. Знак вопроса.

Я могу хорошо себе представить сегодняшнего молодого китайского поэта, из хунвейбинов, который по возвращении написал стихи о китайском паспорте: как ошалело брали его в руки насмерть перепуганные «советские ревизионисты», как змею, как бомбу, с концовкой вполне по Маяковскому: «Читайте, завидуйте, я гражданин Китайской Республики Мао Цзедун».

Советский внутренний паспорт — темного, землистого цвета, с отпечатанным черной краской гербом, и поскольку абсолютное большинство населения за границу не выезжает ни разу в течение всей жизни, а стихи о советском паспорте все изучают в школе, то описанная Маяковским красочная книжка представляется чем-то вроде художественного образа, существовавшего в прошлом, давно, как залпы «Авроры», если они вообще были. Так по крайней мере представлялось мне, пока где-то к годам тридцати своим я не получил в дрогнувшие руки это полуреальное чудо, оказавшееся, к моему потрясению, и красным, и серпастым, и молоткастым!

Ах, как же он сделан, советский заграничный паспорт! Землистый внутренний паспорт выглядит перед ним как задрипанный профсоюзный билет. Нежно-салатные бесчисленные страницы для виз, с водяными знаками, как банковские денежные знаки. Большая твоя, прямо художественная фотография, которую, когда я сказал, для чего она мне нужна, охотно-рядский фотограф делал как ювелир, и сдавать-то этих фотографий для заграничного паспорта надо было ни больше ни меньше — двенадцать штук. Оказалась приклеенной одна. Где одиннадцать остальных — значит, понимаю. Драгоценность выдается за несколько часов до отъезда и тотчас по возвращении подлежит сдаче, погружаясь в таинственные секретные сейфы. Получаешь обратно унылый, как наша жизнь, внутренний паспорт, и конец сказке. Причастился — будя.

Лично я не замечал в глазах заграничных чиновников, бравших мой паспорт, ни ужаса, ни озабоченности, а скорее какую-то смесь сожаления, досады, может, холодноватого сочувствия. В гостиницах его брали официально-неприятно: бедность советских, поселяемых в самых дешевых каморках, известна. В бухгалтериях издательств стран народной демократии, где я получал гонорары за переводы моих книг, листали паспорт и отслюнивали купюры с той же подхалимской внутренней ненавистью, как и в советском Управлении по охране авторских прав отсчитывают Софронову сто тысяч проспектачных, сами имея девяносто рублей месячного оклада.

Повсюду за границей советский человек узнается без паспорта — по провинциальному виду, как колхозник в Эрмитаже, по ошалелому выражению лица — и постоянному подозрительному ожиданию провокаций. «Кто это такие? ах, это русские? а-а!» Все понятно. Серпастые. Молоткастые.

Но настоящую горечь, боль и стыд я, как русский серпастый, испытал в Будапеште. О, этого я не забуду. После 1956 года, за исключением официальных лиц, венгерский народ русских игнорирует. Вы ходите как бес-телесная тень, сквозь вас смотрят, вас не слышат, вы не существуете.

Вечером мы с коллегой заплутались и принялись спрашивать дорогу. Люди проходили так, словно бы и не к ним обращались. Коллега, к счастью, знал немецкий и всюду, в магазинах, в музее, обращался по-немецки, а я рта не открывал, это помогало, к нам относились нормально. «Скажите, пожалуйста, где улица Ленина?» — спросил он и теперь по-немецки. Венгр окинул нас взглядом и раздельно ответил по-русски: «НЭ ПАНИМАЮ». Безнадежно мы прошли несколько шагов и прочли на углу табличку «Улица Ленина».

Когда я осторожно стал интересоваться следами пуль на зданиях и где похоронены убитые 1956 года, за официальной вежливостью чиновников проглянуло что-то человеческое. Недельку я просил одного венгра назвать мне хотя бы кладбище. Он поверил в мою искренность и согласился туда провести. Словно прорвало плотину: стал совершенно другой человек. Рассказал мне о восстании такие вещи, о которых я понятия не имел. Что Будапешт в 1956 году был разрушен больше, чем в войну. Что советские танки шли по телам не останавливаясь: дети ли, женщины. Что, если из дома раздавался выстрел, артобстрелом прямой наводкой уничтожался этот дом, соседний с ним слева и соседний с ним справа. На кладбище, он сказал, будем ходить молча. Ни одного русского слова, иначе женщины могут растерзать.

И мы пришли на огромное кладбище, ровные ряды могил, и на всех до единой памятники, на всех до единой цветы, и часто — фотографии юных интеллигентных лиц, и надписи: «Такой-то, 18 лет, студент консерватории. Пал за Отчизну такого-то числа 1956 года», «Такая-то, 20 лет, детский врач. Пала за Отчизну...». Горели свечи, и множество женщин действительно сидели у могил, подсаживали цветы, поливали деревца... За воротами мой спутник сказал, что это лишь часть, что власти пытаются освободить кладбища от таких могил, массово вырывают и перевозят за город. «Как позволяют это „Пал за Отчизну“?» — спросил я. Это был целый бунт. Категорически запрещено, и тем не менее НА ВСЕХ до единой могилах люди вырезали эти слова. И власти замолчали.

Я побывал и на центральном кладбище «Керепеши темето», где похоронены Бела Кун и другие коммунисты. Помпезные безвкусные памятники, неухоженные, среди сора, который никто не подметал. Неподалеку демонстрировали памятники «Пал за Отчизну» и разрывали могилы, перенося останки жертв за черту города.

Советских военнослужащих в Будапеште не видно. Если им нужно по служебным делам — одеваются в штатское. Мощные военные силы стоят кольцом вокруг Будапешта, всегда в боевой готовности, но в казармах, невидимые, почти не выходя в увольнительные, чтобы не мозолить глаза. Но когда мы потом ехали по стране, я увидел на горизонте много столбов дыма, и когда приблизились, оказалось, что это не дым, а пыль, поднятая гусеницами танков. Видимо, маневры, — и они шли прямо по полям, посадкам, картошке, оставляя развороченные трассы. Наши краснозвездные, серпастые, молоткастые танки, топчущие поля чужой страны. Я сказал: «Прости меня. Я русский, но это не я, это не мои танки». — «Народ не делает разницы, — сказал он. — Русские — значит, оккупанты».

Я сам жил под оккупантами в Киеве, знаю, что это такое, и знаю, что для нас не было разницы между «немец» и «оккупант». Я бывал в Риге и Таллине, где чувствовал себя представителем оккупантов, и милостивые эстонские девушки-продавщицы не отвечали в магазине на мои вопросы, смотрели сквозь меня, а жители «не знали», где улица Ленина, улица Советская, улица Коминтерна...

Единственное место, где я чувствовал себя хорошо, была Чехословакия. Я побывал там дважды и второй раз жил долго, продлевая, сколько можно, срок, влюбленный в Прагу и пражан. Это было накануне событий 1968 года. Единственно в Чехословакии меня, русского, встречали улыбками, открывали двери домов и души, просили расписаться на стенке, на память. Пресса

писала сногшибательно смелые и умные статьи, в кино шли прекрасные, полные правды жизни, фильмы. Из театров, экспериментирующих на все лады, я не вылезал и бродил по Вацлавской площади до четырех часов утра. Другьям-чехам я говорил: «Это у вас временно. Это кончится, и скоро». Они смеялись.

Своим предсказанием этим гордиться мне нечего. Я был советский человек, рожденный и выросший в СССР (а в таком случае много ума не нужно, чтобы знать, чем кончатся проявления вольного духа.) Услышав, что советские танки пошли по Чехословакии, я увидел моментально столбы пыли на горизонте, и картошку, летящую с траков танков на полях Венгрии, и свечи на могилах «Пал за Отчизну». Знаю, что сегодня ходил бы по Праге как оккупант, сквозь меня смотрели бы как сквозь пустое место и на вопрос, где Вацлавске наместе, заданный хоть по-французски, оглядев меня, ответили бы: «Нэ панимаю».

В блаженную Болгарию русские «братушки» едут отдыхать не по заграничным паспортам, а по туристским каким-то гибридам и питают иллюзии, что это единственная страна, где их еще любят, до сих пор помня Шипку. Я жил в Болгарии три месяца. Я видел, какими прищуренными глазами болгары наблюдают нашествие жадных советских туристов на магазины, как эти массы, подобно саранче, приезжают отъедаться, упиваться, роскошествовать по льготным для СССР, но отнюдь не для Болгарии тарифам. На Золотых Песках ночью я однажды брел один, среди отелей, в одних из которых было нормально — значит, здесь иностранцы с Запада, а в других внизу в ресторанах орали, визжали за длинными столами «организованные группы» советского провинциального парт- и профактива, с бочкообразными женами, на которых платье спереди висит на шесть пальцев выше, чем сзади. «Пусть всегда будет мама!» — орали, упившись. Потом выскочили на стол и принялись гарцевать «барыню». У себя дома этого не позволено, чтоб «барыню» на столах, а в оккупированной стране можно. Я смотрел с улицы сквозь стекла на это, и, честное слово, хотелось провалиться.

Смуглый болгарин быстро вошел в ресторан, не знаю, может, он был служащий его. С ненавистью ткнул пальцем в топчущихся на столе: «Сойди!» — «Ну, чаво, чаво?» — «Сойди!» Нехотя, злясь, они слезли с затоптанной скатерти.

— Это не я, — говорил я себе слишком часто. — Я русский, но это не я, и это не русские. Это серпастые, молоткастые.

В войну весь мир изумленно спрашивал: «Как могло случиться, что народ, давший миру Гёте, Шиллера, стал угрозой цивилизации?» Неужели всерьез разгорается борьба за сомнительную честь, какой изумленный вопрос правильнее сейчас: «Как могло случиться, что страна, давшая миру Достоевского, Толстого...» — или: «Как могло случиться, что страна с тысячелетней культурой, давшая миру Конфуция...» и так далее?

И раньше, а сегодня уж и подавно, вернее было бы написать в стихах о советском паспорте: «Смотрите и НЕ завидуйте...» Так — будет соответствовать действительности, до которой мы дожили.

17 марта 1973 года. Беседа 18. Страх

На днях один мой знакомый в Лондоне рассказал, что к нему обратился молодой актер с просьбой довольно неожиданной. Этому молодому актеру досталась роль в пьесе из советской жизни — роль простого, обыкновенного человека, придавленного страхом. Он не может войти в образ и просит консультацию.

Нет, он понимает, конечно, страх такого типа, как во время стихийного бедствия, землетрясения, например; страх человека под дулом револьвера, который направил на него бандит в темном переулке; страх преступника-

убийцы или ограбившего банк, который прячется, зная, что за ним охотится полиция.

С одной стороны, страх перед опасными несчастными случайностями в жизни; с другой стороны, страх перед поимкой и наказанием за явное совершенное преступление.

Но он не может понять и прочувствовать то, по-видимому, чисто вос точное состояние, когда человек, не убив, не украв и так далее, тем не менее не может позволить себе быть естественным, должен всю жизнь очень обдуманно, осторожно высказываться, скован вечно, хронически, до гроба — и бледнеет от страха уже при одной мысли, что в любой момент, в любую секунду жизни он не гарантирован от того, что «придут», «будут проверять», «чистить», «обыскивать», засекут, что он сболтнул лишнее, заподозрят его в непозволительных убеждениях и мыслях. Вот ЭТОТ страх.

«То есть я умом как-то это осмысливаю, — говорил молодой актер. — Но сам этого никогда не чувствовал, я как-то с детства — рос, учился, жил НЕ БОЯСЬ и не могу вообразить, наверное, как живущий на экваторе не может вообразить, как это: замерзнуть от мороза. То есть он может заглянуть в холодильник, подержать в руках кусок льда, и все же это не то. Я не боялся в жизни, как вы, меня не арестовывали, не сидел в лагере... Просто отчаяние берет, до чего благополучная, бедная опытом жизнь».

Слушая эту историю, я ощутил какую-то горечь или безнадежное чувство зависти. Имея по самые уши этого самого «опыта», о котором он тоскует, я бы охотно отдал его именно за самую «бедную», благополучную, рядовую жизнь БЕЗ СТРАХА. Как пораженный на всю жизнь полиомиелитом не задумываясь променял бы свои костыли и весь свой опыт калеки на возможность быть просто здоровым.

Именно такими глазами калеки от рождения я смотрю на живых, естественных детей и молодежь в Англии — какие они свободные, раскованные, не пуганые — и думаю: «Везет некоторым!» А они, конечно, недовольны, имеют претензии к жизни, недостаточно осыпавшей их испытаниями.

Это у Гоголя Собакевич сокрушается, что имеет железное здоровье: ни разу в жизни не болел, ни малейшей простуды хотя бы. А Чичиков думает: эх его, нашел, на что жаловаться...

Да, попробуй такому, никогда не болевшему, объяснить, что такое болезнь. Ты, пролежавший всю жизнь в больнице. Да, если хотите, все наше общество в СССР больно. Страхом. Да так, что уже и забывается, и не представляется: как же иначе можно и вообще бывает ли? Именно поэтому молодые советские актеры, играя дерзких персонажей в пьесе западного автора, изображают их как нарушителей-вольнодумцев, которых вот-вот арестуют. Это очень смешно. Вольнодумцем на Западе вольно быть. Каждому. Если хочет, пусть себе вольнодумствует, а мы послушаем: кто знает, может, и дельное что-то скажет, — но это же естественно, безобидно, нормально и банально. Никому в голову не приходит, что это СТРАШНО.

В первые времена моей жизни вне Советского Союза я ловил себя на мысли: «Боже, что это я говорю, разве можно такое вслух говорить?!» И тут же потрясенно вспоминал: «Можно. Можно все».

Как изголодавшийся, я накинусь на эту дивную, невероятную возможность, так сказать, пировал, объедался, пробовал на все лады — ничего, кроме перспективы, что за тобой установится репутация невыносимо говорливого, да и только. Я бы не боясь сравнил это с бегом на длинную дистанцию после сорокалетнего лежания в постели с парализованными ногами.

Все без исключения люди, оставившие СССР, с которыми я говорил на эту тему, подтверждают, что с ними было то же самое: они, так сказать, поначалу слишком много, в кавычках, «бегали», «прыгали», удивляясь, что это возможно, что это получается, — и тогда спрашивается, зачем и как же это было можно жить до сих пор прикованным, так сказать, к «постели».

Я чувствую, что должен подкрепить это примерами, потому что, помню, вольнодумные герои западных пьес казались мне ужасно смелыми, значит, и я сам все-таки не понимал, что значит полная естественность и свобода самовыражения. Ну вот сегодня я напишу плакат: «Премьера Великобритании Хита надо утопить в Темзе, парламент разогнать, министров судить. Да здравствует коммунизм! Да здравствует анархия! Да здравствует рабовладельческий строй! Ввести в Англию пять миллионов хунвейбинов!» — ну, я не знаю, ВСЕ, ЧТО УГОДНО. Пойду по улицам, пойду и буду две недели стоять у входа в парламент и говорить в пользу своих тезисов непрерывно. Возможно, в конце концов меня уже будут показывать туристам находчивые гиды как достопримечательность: «А тут стоит человек, который считает, что Хита нужно утопить в Темзе. Послушаем, у него очень любопытные аргументы».

Англичане любят серьезную классическую музыку. Перед началом концерта с Бетховеном или Чайковским в программе билет достать невозможно. Тем не менее время от времени устраиваются разные концерты, как мы бы в СССР сказали, экспериментальные, и множество слушателей подходят именно с принципом: «Послушаем этого автора концерта для мотоцикла с оркестром консервных банок, возможно, у него какие-то любопытные аргументы». На днях такой концерт передавался по телевизору, и надо сказать, в самом деле любопытно. По телевизору устраивается интервью с коммунистом на тему, почему он считает, что в Англии должен быть коммунизм. Устраиваются открытые дискуссии на любую тему, где каждый говорит что ему в голову взбредет, бывает спор, крик, бывает хохот. Еще я видел как-то интервью с гомосексуалистом и лесбиянкой, на полном серьезе, они очень спокойно, без страха, конечно, с достоинством высказывали перед всеми телезрителями страны свои ЛЮБОПЫТНЫЕ АРГУМЕНТЫ. И так далее, без границ. Неинтересно — переключите телевизор на другой канал. Ничего не случится, мир не рухнет, земля вертится, никто премьер-министра в Темзе не топит, кто хочет быть коммунистом — тот им является, а кто хочет быть гомосексуалистом — тоже. «Каждый развлекается по-своему», — сказал черт, садясь на сковороду голой задницей. Или, более прозаически, — известный принцип: «Живи сам, как считаешь нужным, и дай такое же право другим».

Нет, в 1917 году некая группа в России сказала: «Живите все так, как мы считаем нужным. А несогласных — уничтожим». И этот странный, на мой взгляд, дукий принцип, неумный принцип повлек за собой неисчислимые, ненужные беды, жертвы, кровь, садизм — вот что самое худое. Я говорю о самом принципе: «Живи только так». КАК? — это уже следующее. Возможно, что это красиво, лихо выглядит. Но ведь мы же люди, такие разные. Один любит маршировать в компании — другой отшельник-индивидуалист. Мне говорят: «Электрифицируем весь твой быт», — а по мне, ну ее к лешему, эту электрификацию, а вдруг я люблю жить в лесной или горной жизни со свечкой и сверчком? Нет, не имеешь права, не понимаешь, что счастье — есть наша власть плюс электрификация всей страны и всех. В расход тебя, к стенке. Так, пойдя по дорогам, полным благих намерений, общество, конечно, пришло в ад насилия.

Террор революции, террор после революции, террор коллективизации, террор тридцатых годов, террор военных и послевоенных лет — жизнь поколений и поколений в непрерывном страхе. При достаточно долгом сроке он может превратиться во врожденный. Я думаю, что как, например, заяц, вынужденный постоянно спасаться, со страхом рождается, так, в принципе, можно выработать в течение ряда поколений инстинкт общественного страха не благоприобретенный, а уже врожденный. Думаю также, что этого не случится. Но упорные опыты продолжаются. Как сам бывший подопытным сорок лет моей жизни, могу сказать, что избавление от рефлексов страха благоприобретенных — не врожденных еще! — не приходит сразу, быстро и безболез-

ненно. Это длинный, трудный процесс. Сохраняются остаточные явления. «Пуганая ворона и куста боится». Медленно она привыкает не бояться куста, но стоит случайно хрустнуть ветке — и страх на месте. Всегда ложный, странный и непонятный для глядящих со стороны ворон непуганых.

Я уже сказал, что ловил себя на страхе: «Боже, что это я говорю? Как меня сейчас не сцапают?» Около года у меня проходил страх проживания без прописки. То есть, пока я думал и понимал, что живу теперь в обществе, где самого понятия прописки не существует, все было вроде нормально, но я не мог понять, что меня подспудно беспокоит. Оказывается: что именно живу вот просто так, без штампа о прописке.

По сегодняшний день еще не могу безразлично пройти мимо полисмента. Это нужно, во-первых, знать, что такое британский полисмен, — это верх симпатичности, корректности, помощи, авторитета, и, кстати, они не вооружены. Ничем. В Англии детей не пугают полицией. Но я, с детства милицией пуганный, вечно подлежавший ни с того ни с сего «проверке документов», столько раз хватавшийся и отпускавшийся опять-таки ни с того ни с сего для проверки, — я сегодня прохожу мимо английского «бобби» внутренне дрогнув, приняв независимый, «не виноватый» вид, и это происходит прежде, чем головой успею сообразить: С ЧЕГО??? Это рефлексивно во мне происходит. С годами слабеет, но медленно. Так, после войны с отчаянными бомбежками я не мог спокойно слышать грозный вой пассажирского самолета в небе. Прошло лет, пожалуй, через пятнадцать — двадцать.

«Испытание страхом, — пишет вдова Мандельштама в книге воспоминаний, — одна из самых страшных пыток, и после нее люди оправиться уже не могут». Это очень обидно, неумно, что над такой деликатной, уязвимой, тонкой организацией, как человек, кто-то находит нужным проделывать пытки. Не среди нас уже, но среди детей наших детей будут ли молодые актеры, которым окажется трудно вжиться в образ странного, подавленного хроническим страхом, скованного и вечно настороженного советского человека XX столетия?

22 сентября 1973 года. Беседа 30. Удивление

Прошлую беседу я закончил советом одного моего московского знакомого: «Удивляйтесь! Когда вы перестанете удивляться — это будет значить, что вы состарились» — и своим замечанием, что изучающий советскую действительность в таком случае имеет шансы никогда не состариться.

Я старательно удивляюсь всю мою жизнь, но как-то всегда задним числом. Когда что-то происходит, не удивляюсь, а потом, когда оно в прошлом, — смотришь в изумлении: неужели это было? Да не приснилось ли?

Может, то, о чем дальше скажу, кому-то покажется мелким. Видите ли... корка хлеба — это мелко или нет? Моя бабушка, пережившая на своем веку голоды, нужды, войны и терроры, приходила в ужас, если видела на земле валяющийся, выброшенный кем-то кусок хлеба. Она считала это святотатством. Я с ней согласен. В свое время, сам голодный до бреда, обыскивая казармы после постоя солдат, взвизгивал от счастья, находя заплесневелую корку. Почему же на этой земле, сегодня переполненной недоедающими, голодающими, где-то умирающими в прямом смысле голодной смертью, вы, которому так повезло, просто повезло, что у вас мусорное ведро полно выброшенными черствыми кусками, будете считать мелочью разговор просто о хлебе?

...То не была война или революция, когда все летит вверх тормашками, то было стабильное мирное время, год 1938-й. Мы с дедом занимали очередь часов с пяти-шести вечера. Я очень любил быть в очереди первым. Если мы приходили и у окна подсобки нашего куреневского гастронома уже стоял какой-нибудь человек, я просто горевал, я ненавидел его, и уж

очередь тогда теряла единственную свою прелесть, превращаясь в полную каторгу.

К наступлению темноты в очереди уж было человек сорок — пятьдесят, и ладно, если ночь была не холодная, а если мороз, то уж танцевали-танцевали, ну и, конечно, закутывались, как чучела, и с ватными одеялами, бывало, приходили. Ближе к рассвету косяком тянулись чудачки, воображающие, что это и есть самое время оказаться в голове. Оказывались они в добром хвосте. Но к восьми утра получалось, что и они мудрецы, потому что подлинный хвост очереди ушел к концу квартала и за его угол, в невидимую даль. А мы с дедом стоим первыми, крепко уцепившись за подоконник. Потому что вокруг набралось столько жмущихся, виснувших нахалов, плотная толпа у окна. Вот приходит милиционер, наша надежда, кое-как разуплотняет, хотя всех отогнать не может: все, оказывается, «стояли».

Блаженный миг, когда за окном начинаются постукивания, шорох. Снимается изнутри дубовая ставня. Продавец открывает окно. Наши судорожно протянутые руки со смятыми рублями и давно приготовленными, чтоб без сдачи, копейками. Сзади жмут, изо всех сил цепляюсь за подоконник, милиционер орет, осаждают, я, зажатый, оказываюсь приподнятым от земли, вишу, не касаясь ее ногами, все внимание сконцентрировано на протянутой руке. Вот продавец берет у меня деньги. Хлоп! — стограммовая пачка масла у меня в кулаке. Барахтаясь изо всех сил, вырываюсь из давки. О, великий момент!

Если бы существовал какой-нибудь прибор — показатель человеческой радости, то, подсоединенный в тот момент ко мне, он остановился бы на делении, на котором он в другие времена останавливался, скажем, в момент публикации моего первого рассказа, в момент получения квартиры, в момент прихода телеграммы о рождении сына или в момент первой самостоятельной поездки за рулем собственного автомобиля, но также — абсолютно сравнимо — в момент съедения мною первого после войны пирожного в 1946 году, покупки новых калош год спустя или — в какой-то степени — добычи литра молока в городе Туле, на рассвете одного из январских дней 1961 года, у бабки с бидончиком, перехваченной на подступах к Центральному тульскому рынку.

Да, бесстрастный прибор показал бы степень моей радости во все перечисленные моменты примерно одинаковую, и я не шучу, а отмечаю факт, перед которым сам в изумлении останавливаюсь. Это надо объяснить.

Голод был не только во время войны, но — на Украине — долго еще после войны. Лето 1946-го мы с матерью, помню, спасались редиской, которой щедро засадили каждый клочок земли у хаты, и ели ее мисками на завтрак, обед и ужин. Я писал короткие рассказы и вдруг получил стипендию от Министерства просвещения — «для одаренных школьников», сто пятьдесят рублей. Сегодня это было бы эквивалентно рублям пяти, наверное. Но когда я получил их в кассе министерства, вход с бульвара Шевченко, и прошел один квартал до Оперного театра, я чувствовал себя фантастически богатым. На углу у Оперного театра, в киоске с газированной водой и папиросами, были выставлены в окне пирожные — жалкие военные пирожные на маргарине и сахарине. И тут я купил одно, на что ушла, если не ошибаюсь, чуть не половина стипендии, и тут же осторожно откусил, и оно стало расходиться во рту, и я чуть не потерял сознание от вкуса, стоял, пошатываясь, и держал эту кашку во рту, слегка пошевеливая и помешивая языком, долго-долго не проглатывая. Я, счастливейший, ел его, наверное, час, это пирожное, и буду помнить его до смерти.

Калоши. Ходил я тогда в немыслимых дырявых бусах, сделанных из какой-то дряни, твердой, как фанера, и такой же промокавшей. Вдруг разнесся слух, что в универмаге на углу Крешатика и Ленина будут давать калоши. Так как все детство и отрочество мои прошли в очередях, то я уж знал, что делать. Пришел в шесть вечера, но оказался уже где-то десятке в пятом. Это

было в марте примерно, ночь не морозная, но сильно слякотная, мокрый снег так и лепил, а я из глупого пижонства одеяла не взял. К утру в очереди было более тысячи. Но самое трудное: универмаг открывался в десять часов. К этому времени я посинел, позеленел, побелел и был едва жив. Был пятидесятым, а как начали пускать десятками, то дай Бог, чтобы вошел сто пятидесятым.

Но часам к одиннадцати милиция отсчитала-таки и меня в десятке, и повели нас, сердешных, счастливых, крепко державшихся друг за друга, таких возбужденных, через двор, заднюю дверь — и внутрь универмага. Боже, как там было тепло — в раю и то, должно быть, не так тепло. И резиновый райский запах калошного отдела. У прилавка оказалось, что моего номера уже нет, остались на два номера больше, схватил, естественно, не задумываясь, Господи, новенькие, блестящие, как черное зеркало, с красной подкладкой, калоши, да набить в носки газет, да надеть на бутсы — и любая слякоть не страшна, живи счастливо, живи, обеспеченный на много лет. Нет, это все-таки был подлинный, великий у меня в жизни момент. Не преувеличиваю, здесь все точно.

А с литром молока в Туле — вероятно, не все точно. Там тоже была радость, но — испорченная злобой, горьким сарказмом. То тоже не была война или революция, тогда мы мирно перегоняли Америку по мясу и молоку. В Тульской области вырезали коров и лосей в лесах. Моему сыну, грудному ребенку меньше года, нужно было молоко. У жены грудного молока не оказалось, он вырос на искусственном питании, на этих всяких кашках, которые варятся три часа. Гречневая крупа нужна была — невероятный дефицит. Гречку нам достала в селе и прислала мать. А за молоком я на рассвете ездил на базар, когда же был по делам в Москве, то вез из Москвы и молоко, и другие продукты, сколько мог поднять на две руки. И вот несколько дней не доставал молока. Бабулек с бидончиками ловил на подходах к базару. Шестьдесят — семьдесят копеек литр. Плевать, я готов был дать любые деньги, но чтобы оно было. Но его нет, вот нет в природе. И когда на какой-то четвертый рассвет, безрезультатно потолкавшись, в одной кучке — опоздал, другую — проворонил, больше никто не несет, больше нет, я уже не знал, что и делать, рыскал уже безнадежно час или больше — и вдруг еще одна запоздалая бабка с бидончиком! У меня руки дрожали, когда она кружкой наливала мне литр в мой бидончик. Больше не дала, справедливая: «Литр в одни руки, всем надо, родненькие».

Нес это молоко домой, летел как на крыльях, я, член Союза писателей, тогда уже автор миллионных тиражей «Продолжения легенды», Анатолий Кузнецов, и был счастлив, как в юности тогда, купив калоши. Но при том уже и зол был, и враг же советской власти вызревал — это тоже.

Постоянно курсируя из Москвы в Тулу, я мог всегда сравнивать. Москва и еще несколько городов — это, конечно, баснословные очаги изобилия в сравнении с остальной огромной и необъятной провинцией, из которой и состоит-то, в общем, страна. Были в Туле многосотенные очереди за пачкой маргарина в одни руки, нет, не масла, как в 1938 году в Киеве, а маргарина — это году в 1965-м. Одну зиму развозили и распределяли по спискам хлеб. Несколько лет из мясных продуктов в продаже была только «китовая колбаса», из кита, значит, нечто очень странное, ни рыба, ни мясо...

И вот об удивлении. Иногда теперь в лондонском магазине, в каком-нибудь неотразимом продовольственном продмаркете, меня охватывает грусть, которая прямо душит, от которой нечем становится дышать: Россию вспоминаю, бедную. Или вот: уж четвертый год, каждое утро находя под дверью две бутылки молока — здесь молоко не ходят покупать, его развозят по утрам под все двери, — я хоть чуть-чуть, но удивляюсь всякий раз, опять и опять находя эти две бутылки молока. Открываешь дверь — стоят. С ума сойти.

К моей знакомой приехала в Лондон из СССР сестра-еврейка, выпустили. Невозможно было поверить, что они сестры. Одна — нормальный человек, другая — убогая, забитая, испуганная, нищенски одетая, с каким-то судорожным, специфически советским взглядом. Конечно, в первый же день пошли смотреть город. Дошли до первой витрины — и стоп. Нет, то не были тряпки, то была витрина мясного магазина. Сестра из Советского Союза говорит: «Это не настоящее, это на картоне». Сестра лондонская: «Нет, это мясо настоящее». Я сам до Лондона и вообразить бы не смог, какие чудеса искусства можно создать из витрин мясных магазинов, это неопишимо, не хватит слов и сравнений. В конце концов они зашли в магазин, чтобы убедиться, что мясо настоящее. Сестра лондонская извинилась перед продавцом и попросила разрешения потрогать, объяснила, что эта дама только что из СССР, не верит и тому подобное. Продавец решительно ничего не понял.

Это самое знаменитое: на вопрос дочери: «Ваше представление о счастье?» — Маркс ответил: «Борьба». Да, и я, и я свидетель: советский человек переживает столько радостных моментов, добывая в борьбе калоши. Чем еще недовольны? Всюду, приходя к власти, коммунисты открывают такую лавину возможностей для борьбы и радостей побед, — казалось бы, на пустом месте, казалось бы, там, где ну уж ничего не выжмешь, скажем, в мужских галстуках, — что поводов для удивления, вероятно, хватит и нам, и внукам, и правнукам нашим — последним особенно удивительно будет, зачем это все было нужно?

27 октября 1973 года. Беседа 36. Рождение одного анекдота. Часть 1

Кто выдумывает анекдоты? Я всегда усиленно пытался выяснить это, но до сих пор не встретил лично ни одного человека, который бы, положа руку на сердце, доказал, что такой-то известный анекдот придумал он.

И все же рождение одного анекдота, получившего широкую, даже мировую известность, кажется, я могу проследить уверенно, потому что хотя и не выдумал его, но, как говорится, был при сем.

Возможно, вы знаете этот анекдот. Тульский секретарь Союза писателей в докладе гордо сообщает о бурном росте писательских сил за годы советской власти: теперь в Туле и области насчитывается двадцать восемь писателей, тогда как до революции был только один, Лев Толстой.

Последние девять лет моей жизни в Советском Союзе я был прописан в городе Туле и состоял как раз одним из членов ее грандиозного Союза писателей, а началось все с того, что у меня не было прописки.

В 1960 году я закончил Литературный институт, и в паспорте автоматически кончилась временная студенческая московская прописка. Выпускники Литинститута обладают такой роскошью, как освобождение от принудительного распределения, там, скажем, на Сахалин или в Коми АССР. Некоторые женятся, другие дают крупную взятку (что, кстати, очень опасно и сложно), чтобы получить постоянную прописку в Москве, третьи уезжают туда, откуда приехали, — домой.

Я к тому времени стал членом Союза писателей, моя повесть «Продолжение легенды» оказалась популярной, издавалась миллионными тиражами, была переведена примерно на тридцать пять языков, и редакция журнала «Юность» с Валентином Катаевым (тогда) во главе решила ходатайствовать, чтобы мне дали постоянную прописку в Москве.

Официально не москвичу добыть такую-то столь же трудно, как верблюду пройти сквозь игольное ушко. Тем не менее многие тысячи ежегодно ухитряются пройти через это ушко, кроме взяток, еще по следующим каналам: по вызову, подписанному не ниже чем союзным министром, далее, если человек имеет престарелых, нетрудоспособных родителей или близких в Москве, нуждающихся в его помощи, и, в-третьих, если вступил в законный брак с москвичом или москвичкой.

Родных или близких в Москве я не имел. Моя мать жила в Киеве на Куреневке, в комнате шестнадцать квадратных метров, в полуразваливающейся хате, и вернуться туда мне было трудно хотя бы потому, что я уже был женат на студентке (не москвичке), такой же бесприютной, как и я, и мы со дня на день ожидали ребенка. По скольким клетушкам и подвалам, разным нелегально сдаваемым комнатам мы поочередно переезжали, платя иногда пятьдесят рублей в месяц, — рассказать, это была бы целая эпопея.

Валентин Катаев избрал главный официальный путь и вошел в Министерство культуры с письмом, чтобы оно исходатайствовало в ЦК КПСС позволение на московскую прописку мне, ну как специалисту, что ли. Как я убеждался потом много раз, самые высокие начальники в СССР, вплоть до членов Политбюро, львиную долю своего времени решают подобные частные вопросы: кому дать квартиру, а кому дачу, кому дать пропуск в закрытые спецмагазины, кого пустить в заграничную командировку, вплоть до устройства элитных детей вне конкурса в институт. Собственно, вещи, которые мог бы решить самый последний писарь в канцелярии, они почему-то вершат сами, и я подозреваю, что им импонирует быть такими всемогущими распорядителями даров.

Однажды киносьемочная группа, в которой был и я, увидев в кинобудке гавка коробки с фильмом Феллини «Сладкая жизнь», попросила разрешения посмотреть. Уйму времени этим занималась масса высокопоставленных чиновников, и выяснилось, что это невозможно без позволения министра культуры Фурцевой. Только она в каждом отдельном случае решает, какое заграничное кино и какой аудитории демонстрировать. Был затребован список, и она лично утвердила группу в шесть человек. Нас по списку пропустили в просмотровый залчик, заперли за нами дверь на замок — и показали «Сладкую жизнь». Прошу прощения за отступление, но мне кажется, что все это — довольно любопытно. Причем это не анекдот.

Те, кто читал книгу Светланы Аллилуевой «Только один год», узнали, например, что вопрос о том, может ли жена отвезти прах умершего мужа в Индию, решал не кто иной, как член Политбюро ЦК КПСС Суслов, а когда запретил, то потом — чуть ли не все Политбюро. Тот же Суслов корпел над чтением моей рукописи «Бабьего Яра», чтобы решить, может это журнал «Юность» напечатать или нет. Однажды ради минутного дела я сидел в кабинете секретаря Тульского обкома более часа, потому что он постоянно отвлекался на телефон, по очереди выбивал номер в гостинице приехавшему чиновнику, устраивал в ясли ребенка местного художника, трезвонил в прокуратуру, чтобы замяли дело нашкодившего сына директора комбината, просил выписать кому-то для дачи оцинкованное кровельное железо, выделить обкомовский грузовик для перевозки кому-то мебели из квартиры в квартиру. Подумать только, какие самоотверженные государственные мужи, если при этом они ухитряются принимать еще решительные меры по крутому подъему сельского хозяйства, либерализации общественной жизни или вводу танков в Чехословакию. Ведь денно и нощно только и делают, что раздают «блага» или отбирают.

Итак, я вдруг получил по моему делу с пропиской вызов ни больше ни меньше как в сам Центральный Комитет Коммунистической партии Советского Союза — на аудиенцию к самому начальнику Отдела культуры Центрального Комитета товарищу Поликарпову. А ведь, так подумать, могут ноги подкоситься от мысли, что на время этой аудиенции по вопросу, разрешить ли прописку в Москве некоему студенту-выпускнику, вся культура государства должна была, так сказать, отодвинуться и подождать.

Знаменитый пятый подъезд ЦК на Старой площади. Вооруженная охрана при входе, при лифте, по этажам. Тщательная проверка документов, пристальная сверка фотографии с лицом, выписка разового пропуска после про-

верки по книге, точный маршрут по молчаливым пустым коридорам, ни шагу в сторону, напряженное ожидание на краешке стула в гробовой тишине приемной — и наконец секретарша торжественно пропускает за дубовой дверной тамбур в необъятный кабинет.

В том кабинете можно было бы свободно устроить спортивный зал для игры в баскетбол. Далеко на другом конце его, у противоположной стены сидел за столом человек, и пока я долго шел по ковровой дорожке от дверей к нему, он что-то кричал. Постепенно до меня дошло, что это он кричит на меня. И стал разбирать некоторые слова: что писателей в Москве как нерезанных собак. Что всем, видите ли, подавай только Москву. Что товарищ Екатерина Алексеевна Фурцева правильно недавно привела в пример товарища Шолохова, который живет в гуще народа, на Дону. (Пример, мягко говоря, сомнительный, потому что в своем роскошном имении, окруженный поварами, горничными, садовниками и прочими холуями, Шолохов живет «в гуще народа» лишь в таком смысле, как некогда, скажем, граф Шереметьев, и в Москву прилетает, когда ему вздумается, как говорят, персональным самолетом.) Но возразить бы я не мог, потому что Поликарпов, все больше самовоспламеняясь, орал, не давая мне открыть рта.

Кто знает, может, его возбудил кто-то передо мной, может, он был уже готов сделать мне благодеяние, но тут, разозлившись, обрушился на меня, и то, что меня угораздило подвернуться в такой момент, сразу диаметрально изменило мою судьбу.

Накричавшись вдоволь, как наставник на нашкодившего ученика, он буркнул: «Садитесь, — и вынес приговор: — Сейчас у меня в Москве ни одной свободной квартиры нет. И не предвидится. Я вас отправляю на периферию».

Я получил наконец возможность говорить — и сказал, что, вероятно, это какое-то недоразумение, потому что я просил не квартиру, а только позволение на прописку. Жилье я найду себе сам, буду снимать и на квартиру не претендую, более того, и в будущем обязуюсь не просить.

«Прописка без наличия жилплощади не дается, — наставительно сказал он. — Если вам дать прописку, значит, надо давать и квартиру. А частным образом сдача квартир в Москве не разрешена». (Уж мне-то лучше знать, подумал я.) И сказал, что у меня есть друзья, которые поделятся со мной жилплощадью; наконец, я недавний строительный рабочий, подыщу, скажем, какой-нибудь пустующий чердак и сам себе выстрою в нем отличную мансарду, только бы позволили.

Это его вдруг рассмешило: «Вы с ума сошли. Вы писатель, вас могут посетить иностранцы и потом напишут, как в СССР писатель ютится на чердаке! И не думайте даже. Не позволим».

«Я построю себе домик в пригороде», — ухватился я за последнюю возможность.

«Нет, — отрезал он. — Вот из разных мест секретари обкомов просят прислать писателей. В Рязани мало, в Ставрополе мало, в Туле нет ни одного. Тула, Рязань или Ставрополь, выбирайте».

Ни в одном из этих городов я прежде не бывал, не представлял их. «Тогда мне все равно. Пусть будет Тула», — пробормотал я.

Как я потом жалел, что мой безразличный язык не сказал: «Пусть будет Рязань». В Рязани в те времена жил не известный никому учитель Александр Солженицын, что-то ночами писал. Кто знает, как бы иначе повернулось в моей жизни, окажись я с ним в одном литературном кругу. А так я был настолько уже сыт общением с так называемыми советскими писателями, что подумал: «А может быть, даже к лучшему, что не позволили остаться в Москве». Может, потому и сказал «Тула», что там их — ни одного.

Поликарпов велел секретарше дать телефонограмму в Тульский обком и отметил на моем разовом пропуске время ухода. Так я отправился на постоянное местожительство в город Тулу.

3 ноября 1973 года. Беседа 37. Рождение одного анекдота. Часть 2

Я прибыл в Тулу в промозглый, туманный зимний день, и когда поехал с вокзала в город каким-то совершенно допотопным трамваем, сердце у меня упало. Город был грязный, унылый, ободранный, косые разваливающиеся дома на кривых улочках, дымный промышленный воздух. Люди казались болезненными, забитыми, ужасно одетыми, все сплошь почему-то в черном. Часто попадавшие на улице солдаты среди них казались вырядившимися франтами.

Мне вспомнился лесковский Левша, подковывавший «аглицкую» блоху в своей тульской хибаре, вросшей по окна в землю, и город, казалось, на восемьдесят процентов состоял из таких хибарок. За каждым подслеповатым окошком виднелись занавесочки или гераньки — жили люди, и уму непостижимо, где в этом скоплении развалюх могли разместиться четыреста тысяч человек — столько населения насчитывает Тула.

Заглянул в один-другой продовольственный магазин — и охнул. По сравнению с Москвой пусто, шаром покати. В отделе молочном — одни закамневшие кубы сыра. В отделе мясном — ржавая, распадающаяся «сельдь тихоокеанская». В магазине под названием «Колбасы, копчености» стояла ужасающая очередь человек на тысячу, с давкой, свистками милиции. И поперек улиц единственные яркие пятна — кумачовые транспаранты: «Перегоним США по производству мяса и молока!»

Обком помещался в одном из двух лучших зданий на центральной улице — бывшем губернском правлении. Напротив — бывшее дворянское собрание, теперь Дом офицера. При входе в обком — охрана, но только одна, на лестнице, люди шли чередой, проверялся лишь партийный билет, но тщательно, со сверкой фотокарточки и оборотом страницы с отметками об уплате членских взносов. Вопрос «К кому идете?» не последовал. В обком может входить всегда и любой, обладающий партийным билетом, это уже как бы постоянный пропуск. Что чрезвычайно существенно, как я понял в следующий же час.

Прежде всего тут же в гардеробе киоск с газетами и книгами. Сборник стихов Вознесенского — в Москве с огнем не найдешь, купишь только из-под полы. Тут — лежит свободно. «Неделя» опять же стопкой, «За рубежом», а в киосках «Союзпечати» их расхватывают в какие-нибудь десять минут.

В приемной мне сказали, что секретарь еще не приехал, и посоветовали пока пойти в столовую. Столовая помещалась в просторном полуподвальном помещении, меню скромное, но все поразительно дешево. Никогда не встречал таких дешевых. Людей было много, все довольно жадно ели, но я обратил внимание, что здесь не только едят, но главным образом набирают с собой в авоськи, кошелки. Даме рядом со мной официантка принесла пять десятков сырых яиц, и та их старательно запаковала в сумку. Другие брали по нескольку бутылок молока, кефира, сардельки килограммами, по две-три сырых курицы. Все это так судорожно-жадно.

Я понял, почему не закрываются двери обкома, так популярного среди широких масс тульских коммунистов. Зачем-то про себя дал слово, что, если буду жить в Туле, ноги моей в этом полуподвале обкома больше не будет. И надо сказать, сдержал слово в течение следующих девяти лет, но руки надорвал, возя из Москвы все — от риса и пшена до булок «Городских» и ветчинно-рубленой колбасы. Мне-то хорошо, я не служил, что давало возможность таких поездок. Всякий раз, приезжая потом из Тулы в Москву, я чувствовал себя так, словно попадал в сказочный рай изобилия. Невероятно: в Москве яблоки продаются прямо в магазине, рубль сорок кило, яйца — бывают по девяносто копеек. В Туле яблоко можно было увидеть только на базаре, где грузины привозили, — по три — пять рублей кило. Яйца только у бабок, и то не всегда, бывало, поднимались до трех руб-

лей десяток. И я сколько раз видел, как обыкновенные тульские люди покупали одно яблоко, два яйца — не для себя, для больного. Сам вставал в пять часов утра и бежал с бидончиком к базару, чтобы уже на подходах перехватить бабку с молоком — для ребенка каждый день надо было.

Первым секретарем Тульского обкома был тогда Хворостухин, пожилой, простоватый на вид человек, казавшийся несколько флегматичным, что не вязалось с его положением единовластного владыки области, по размерам и населению равной доброй европейской стране.

Не думаю, чтобы он читал хоть одну строку, написанную мной, или вообще когда-нибудь слышал мою фамилию, но он принял меня как живого классика. В Советском Союзе великий писатель не тот, кто пишет гениально, а тот, кого одобрил ЦК, в моем же случае поступил звонок от самого начальника всесоюзной культуры.

Усадив в мягкое кресло, часа два Хворостухин рассказывал мне о делах в области; я узнал, что жилищный кризис в Туле сейчас в десятки раз больше, чем до революции, но план предусматривает крупное жилищное строительство. Есть масса недостатков, но сейчас все силы коммунистов и актива области, а также его лично брошены на то, чтобы догнать и перегнать Америку. Может быть, он думал, что я тут же начну писать новый роман «Секретарь обкома» — как некогда Кочетов?

Потом перешел к делам литературным. На тульской земле всегда были большие литературные традиции, были писатели. Всего в одиннадцати километрах — Ясная Поляна. Лев Толстой. «Но после Толстого, — сказал печально секретарь, — писателей в Туле больше нет, так что поселяйтесь, милости просим, нужна будет помощь — поможем, нужен совет — приходите в областной комитет запросто. Хотите — завалим вас приглашениями на все заседания, собрания, слеты. Хотите — забудем о вашем существовании, сидите работайте, пишите».

Я робко сказал, что писание, в общем-то, требует сосредоточенности и что меня бы больше устраивало последнее. Он едва заметно поморщился, но поднял трубку и велел соединить его с председателем горисполкома.

«Хворостухин говорит. Слушай, к нам приехал писатель, поселяется у нас. Хороший писатель. Надо дать квартиру, из фонда. Какую двухкомнатную, ты с ума сошел? Три комнаты, не меньше. — Он оторвался от трубки: — Три комнаты вас устроит?» Я ошалело моргал глазами. «Нет, ты уж сам с ним поезди, посмотрите, подберите. Так давай подъезжай». Через несколько минут я сидел в машине с председателем горисполкома, и мы ехали выбирать квартиру в лопающемся от жилищного кризиса городе Туле. Тульский мэр извинился, что в настоящий момент нет ни одной свободной квартиры в старых, еще дореволюционных, отличных барских домах, с высокими потолками. К сожалению, всё сплошь современные клетушки-малогабаритки, но осталась одна в облторготделовском жилдome, торговцы — дошлый народ, отгрохали себе еще в прежнем, сталинском размере и окружились магазинами — «Хлеб» в самом доме, «Гастроном» напротив, «Овощи» во дворе.

Я был молодой, начинающий, это был мой первый робкий шаг в ряды мощной когорты советской элиты. Переступив порог этой первой же квартиры, не стал больше смотреть. В ней меня и прописали. Никогда, однако, не забуду момента получения ордера. Огромная очередь и толпа в темных коридорах горисполкома. Люди отстаивали годами. В двухкомнатные квартиры вселяются по две семьи. В давке у стола, где выдают эти сказочные ордера, крик и плач: вот многодетной семье после восьми лет ожидания в очереди дают однокомнатную квартиру. Толпа раздвинулась при появлении мэра со мной. Небрежное: «Оформите товарищу номер тридцать пять в облторготделовском» — и все оттеснены от стола. Я даже не вижу ни одного недоброжелательного взгляда. Это ведь нормально, в порядке вещей. Дело-производитель угодливо, чуть не виляя хвостом, каллиграфически выписыв-

вает мне ордер. До сих пор никто не спросил у меня даже о количестве членов семьи. Мне не нужно было даже формально иметь бумажное заявление. Я да жена и еще не родившийся ребенок. В две минуты мне выписали ордер. Вручили ключ.

Нет, я, конечно, не швырнул этот ключ им в лицо, не сжег ордер на спичке. Я даже нетерпеливо поехал, отпер пустую, казавшуюся необъятной мою теперь квартиру, бессильно сел на пол прямо в прихожей — и всплакнул, припоминая все трущобы и общежития, по которым с женой ютились легально и нелегально, боясь всех комендантов, прячась от милиции.

О, за всем этим, что я рассказываю, кроется огромная и интересная гамма чувств, логических зигзагов, и самобичевания, и принятия, и философии типа «Так было, так будет во все времена».

Вот весь мир удивляется, что случилось с великим бунтовщиком Евтушенко или как мог Шостакович подписать письмо, клеймящее академика Сахарова. Я-то знаю... хорошо.

А вот человека, который бы, исходя из побуждений совести или идейных соображений, отказался в Советском Союзе от трех- или четырехкомнатной квартиры вне очереди, — я такого лично не встречал, не знаю.

Когда я поехал в Москву укладывать чемоданы и кому-то похвастался квартирой, среди бесквартирных, детных писателей разнесся сенсационный слух, что в Туле писателям по три комнаты дают. Немедленно в Тулу ринулись желающие. И секретарь обкома действительно самым первым успевшим дал по малогабаритной, но трехкомнатной (ничего не поделаешь, сам установил стандарт) квартире, а потом, вероятно, сообщил в Центральный Комитет, что все, литература у него укомплектована, хватит. Вместо одного члена Союза писателей в Туле оказалось пять.

Пять перьев, по Маяковскому — пять штыков, это уже Союз. И состоялась торжественная организация Тульского отделения Союза писателей. О ней я расскажу в следующей передаче.

10 ноября 1973 года. Беседа 38. Рождение одного анекдота. Часть 3

На торжества по случаю организации новой и великой тульской советской литературы из Москвы прибыла большая группа руководителей Союза писателей РСФСР, с Леонидом Соболевым во главе. Писателей в Туле было пять, а организовывать их приехало, если не ошибаюсь, человек пятнадцать.

Почему нет? Проезд за казенный счет, гостиница люкс, вкусные обеды, прогулка в Ясную Поляну плюс немалые суточные. Руководители Союза писателей получают колоссальные деньги по различным графам. Любая поездка на курорт или в гости к теще называется «творческая командировка» или «встречи с читателями». Бездельничай, загорай, пьянствуй — все расходы оплачены, суточные капают. Отчет примитивен, должен включать слова «собран большой материал для романа или поэмы». Будут ли роман или поэма потом написаны, никого не интересует; несмотря на богатый собранный материал, он может ведь и не получиться — творческая неудача.

За право ездить на различные «декады литературы» в Якутии, Грузии или Эстонии с житьем по люкс-классу, с банкетами, приемами, чемоданами привезенных подарков и покупок идет борьба не хуже, чем между детьми лейтенанта Шмидта: в Якутию ехать никто не хочет, зато Грузия — непрерывный пир, Эстония — прибахалиться, и так далее.

Деньги можно получить просто так, ни за что. Достаточно написать: «Прошу безвозмездную ссуду на творческий период». Это значит, писатель пишет эпопею. Написал ли он хоть первую строку, не спрашивается. С эпопеями тоже бывают творческие неудачи.

Творческие поездки в народ для знакомства с жизнью перемежаются для разнообразия эпикурейским житьем в санаториях, то бишь «домах творчества»: «Прошу бесплатную путевку на два месяца в кокетбельский Дом творчества для работы над собранным материалом...» Одни предпочитают Дубул-

ты на Рижском взморье, другие Гагру (окна прямо на пляж). В Малеевке под Москвой отличный лесной воздух, летом грибы, зимой лыжи, пинг-понг опять же, чтоб сбросить жир. Для делового сочетания санатория с посещением редакций в Москве идеально подходит Дом творчества в Переделкине — двадцать минут на электричке.

Если советский писатель занял подходящий пост, а этих постов великое множество, капает большая зарплата, и далее он может прожить жизнь, не написав более ни строки (за исключением разве своей подписи под бухгалтерскими ведомостями или письмами, клеймящими Солженицына), как богатый барин, даже на тот свет его проводят по первому или второму разряду, на казенный счет, по графе «похоронные расходы».

Делегация во главе с Соболевым истратила какой-то пустяк, несколько тысяч, по графе «организационная работа». Сперва собрались в обкоме в узком кругу для распределения постов в тульской организации. Мне предложили быть главой — ответственным секретарем, ставка 170 рублей в месяц и полное распоряжение по своему усмотрению всеми творческими командировками, всеми графами — до подарков на елку и похоронных расходов включительно.

Я уже говорил прошлый раз, как на предложение секретаря обкома завалить приглашениями или, наоборот, дать спокойно работать и как бы забыть о моем существовании огорчил его своим осторожным пожеланием второго. Поэтому здесь я тоже наотрез отказался от какого-либо хотя бы микроскопического поста. Это вызвало несказанную радость остальных, у них разругались лица, и они меня полюбили на много лет.

Обком утвердил расположение пяти писателей в новорожденном отделении Союза в следующей иерархии: Александр Лаврик — ответственный секретарь. Наталья Парыгина — заместитель ответсекретаря. Иван Панькин — уполномоченный Литфонда, то есть распорядитель материальных благ и кассир. Валентин Булгаков — ревизионная комиссия, проверяющая кассира. И Анатолий Кузнецов — я, член, то есть масса.

Был собран так называемый литературный актив Тулы и области, разные начинающие, пописывающие, газетчики и трудолюбивые графоманы, некоторые даже авторы книг о повышении надоев или исторических революционных событиях в Туле, выпускавшихся довольно обильно местным тульским издательством вперемешку с плакатами-призывами перегнуть Америку.

Обком предоставил просторный зал заседаний, который до отказа забиты эти литературные силы, и на общем собрании единогласно избрали руководящий состав союза, в точном соответствии с градацией, составленной накануне в обкоме. Все местные улыбались, заискивали и поздравляли новоизбранных, но про себя ненавидели их и за приезжими прочно и навсегда укрепили кличку «варяги».

Они не без основания опасались, что новый союз теперь безраздельно наложит лапу на тульское издательство, заберет на свои книги все лимиты бумаги и гонораров, а их писания отодвинет в перспективный план. Никогда не забуду глаза главного редактора тульского издательства Юдкевича, когда, еще в самый первый день, я зашел представиться, из вежливости, и сказал, что меня вот прислали жить в Туле. Его лицо побледнело и вытянулось, в глазах появился холод смерти. Уходя, я трижды поклялся себе ни строки никогда не предложить для печати в Туле.

На историческом собрании, однако, вдруг выяснилось, что забыли еще один пост. А стенгазета? Кто будет выпускать стенгазету в новом Союзе? И тогда все начальники посмотрели на меня, и я, к своему отчаянию, был единогласно избран редактором стенгазеты.

Вы знаете, какое это приятное занятие. Я подумал, что если молниеносно выпущу первый номер, то это зачтется, и я смогу не выпускать следующего аж до Первого мая. Тут же в перерыве между заседаниями взял ватман, размашисто написал заголовок, то ли «Творчество», то ли «Тульский литера-

тор», убейте, не помню, проставил номер один — и заполнил все место просто шаржами и цитатами из произнесенных только что речей. Центральное место занимала карикатура следующего содержания.

Помня, как секретарь обкома жаловался, что до революции в Туле была большая литература, был Лев Толстой, а после Толстого писателей нет, — я нарисовал грандиозную диаграмму. Слева очень низкий пункт, дата — 1910 год, количество писателей в Туле — один. Крутая головокружительная стрела вверх, дата — 1960 год, количество писателей — пять. Глава Союза Лаврик с указкой в руке демонстрирует рост за пятьдесят лет.

Карикатура имела успех. Леонид Соболев увез свою делегацию в Москву, где они рассказали, как родился славный тульский Союз.

Пока история, с разными вариациями, шлифуясь от рассказчика к рассказчику, дошла до Михаила Шолохова, в ней вместо не такой эффектной цифры фигурировало уже, кажется, двадцать восемь.

На съездах партии во все времена, при всех генсеках Шолохов выступает от имени советской литературы с речью, пересыпаемой его так называемым «сочным» юмором и прибаутками. Это вносит разнообразие в свирепую казенщину, и осовелые делегаты ждут его речи, оживляются, охотно смеются и аплодируют, подмигивая друг другу: «Вот дает! Михаил Александрыч, этот уж покритикует, этот не пощадит...»

На XXIII съезде КПСС в числе прочего Шолохов использовал для своего конферанса и анекдот о росте числа писателей в Туле. Он выдал, «Правда» его речь напечатала.

Приехав в Лондон, я был удивлен: здесь этот анекдот знают. Встречаю людей из других стран, из Франции, из Америки, — тоже знают. В руки далось это ускользающее и неуловимое: процесс рождения анекдота от самой первой искры благодаря удачной случайности, что эту искру я-то сам, собственно, высек.

О нет, я не считаю себя автором анекдота. То была просто карикатура, из тех, над которыми улыбаются и которые забываются. Я нарисовал в своей жизни тысячи карикатур, это было, так сказать, мое хобби. Ни я их не помню, ни кто-либо другой. Здесь нужно было, чтобы соль превратилась в законченный кристалл. Над шуткой, пусть не без яда, больше всех смеялся сам Лаврик, тульский ответсекретарь. В анекдоте же он хвастается бурным ростом числа писателей совершенно серьезно. Без необходимого увеличения цифры с пяти до двадцати с чем-то — анекдот еще не был бы готов. Это сделала шлифовка при пересказываниях, это то, что называют народным коллективным творчеством. Или в данном случае лучше сказать — «массовым», потому что несколько кощунственным было бы назвать литературные круги, шлифовавшие данный анекдот, народными.

Сплошным, перманентным анекдотом было не только рождение в Туле филиала СП, а и все его дальнейшее существование, как анекдотом вообще можно назвать весь Союз советских писателей. По отношению к подлинной литературе это даже не муха из крыловской басни: «Мы пахали», это значительно хуже.

17 ноября 1973 года. Беседа 39. Растоптанные судьбы

Я уже давно убедился, что никакая писательская фантазия действительно не может соревноваться с жизнью по части выдумки. Когда-то я полагал, что это говорят для красного словца. В своих литературных ранних пробах старался изо всех сил выдумывать, иногда, может, получалось и оригинально, но подлинный успех у читателей всегда и, пожалуй, даже без исключения имело не то, что я выдумал, а то, что прямо, ни в чем не изменяя, описывал так, как оно произошло в жизни. Лучшие работы или куски из них у меня получались тогда, когда моя роль сводилась к двум простым вещам: увидеть и как можно ярче описать.

Впрочем, и то и другое не так легко, как может показаться, особенно второе — то есть ярко описать. У меня лично все мои профессиональные проблемы и трудности сводятся на девяносто процентов именно к этому — к «обработке сырья», потому что это самое сырое жизнь непрерывно сыплет как из рога изобилия.

Шла однажды как-то моя мать с базара, устала нести корзину и присела на скамью в скверике отдохнуть. На той же скамье сидела старая женщина с узелком, по-видимому, ей было нехорошо, мать с ней заговорила, выяснила, что та простужена, что у нее нет ни жилья, ни близких, — привела к нам домой, накормила, и эта женщина жила у нас несколько дней.

Судьба ее весьма ординарна для советской действительности, но я тогда был буквально потрясен тем, что у нее нет паспорта и вообще ни единого документа — и никогда не было. Что она существует на этом свете НЕЗАРЕГИСТРИРОВАННАЯ, не учтенная среди нас, миллионов учтенных, формально не существующая.

Я был молод, а мать и эта женщина удивились, в свою очередь, моему удивлению: существует много, еще как много таких, неужели для меня это новость?

Я думал тогда, что, может, где-то в Индии еще такие вещи возможны, но чтобы в Советском Союзе... Фантастика, прямо какие-то современные мертвые души.

Давно, давно уже, во времена коллективизации и великого голода, эта душа была девушкой, дочкой в семье, объявленной кулацкой, посаженной в поезд и везомой куда-то на Север. На каком-то полустанке ей одной удалось из вагона сбежать. Больше она о своих не знает, хотя гораздо позже потом тайно бывала в родном селе, надеялась, что кто-нибудь вернется, дал весть. Ничего.

Всю жизнь она кочует по людям — прислужгой, нянкой, и ни разу милиция ее не засекла и люди не выдали ее. Это же только подумать: и НКВД прочесывал, и война прошла, немцы приходили и уходили, и после войны четверть века — сколько на этой земле было проверок, облав, КПП, переписей — казалось бы, такими мелкими сетями сто раз была открыта и перекрыта жизнь, а оказывается, абсолютно перекрыть нельзя. Выходит, так.

Не выдают ее, потому что она выгодна: денег не берет, служит только за кров и еду. С годами лишь все больше стали мучить болезни, а вот здесь без паспорта уже проблема: в поликлинику ведь не запишешься. Она лечится травами. Сперва люди охотно ее берут: как же, такая выгодная и дешевая домработница. Потом начинают нервничать, опасаться, а пуще всего, что она у них в доме умрет. Тогда она ищет следующих.

Действительно, побыв у нас несколько дней, она через наших знакомых нашла себе новое пристанище и исчезла. А я тогда как-то не задумался, и только сейчас, вспоминая ее, думаю: но ведь она таки где-то умрет. И что тогда делать с ее телом? Ведь и похоронить-то без сдачи паспорта или иных справок-документов невозможно. Или потихоньку зароят где-нибудь в огороде? Наниматели ее недаром нервничали: возня с трупом, прямо уголовщина какая-то, еще такое может из этого получиться!..

Впрочем, почему я думаю? Ведь я же сам, своими глазами видел смерть подобной души. И как все это было просто, Бог ты мой.

Мой покойный дед, Семерик Федор Власович, дожил до девяноста пяти лет, но в последние годы сознание у него было как у ребенка, и остались только спутанные обрывки наиболее ярких, ведущих черт характера. Так, он всю жизнь отчаянно бился за кусок хлеба, и его последние годы были отравлены ужасом, что он может умереть от голода. Он собирал корки, куски сахара, картошки, хранил в постели и под кроватью, временами делая ревизию, рассчитывая и деля. Потом пришла, ему казалось, совершенно спасительная мысль, и он заделался в нищие.

Дело в том, что целыми днями он сидел один: мать на работе, я на учебе, а он брал суму и отправлялся на базар или в церковь собирать милостыню. Из-за этого в доме были скандалы, мать кричала, что он ее позорит, люди подумают, что она не кормит несчастного старика. Давала ему деньги. Денежки-то дед хватал и прятал, а наутро, едва мать за калитку, он опасливо, проворно так семенит опять на промысел. Так он где-то нашел и привел в дом нищего старичка, которого мы прозвали Дедушка Слава Богу.

Это был совершенно уж бездомный и одинокий нищий дедушка, которого в жизни интересовало только одно: чекушечка. Если говорил правду, то тоже был кулаком и богато жил. Но ведь и наш дед ему тоже врал, что когда-то был очень богат. Говорил дедушка, что полжизни на Соловках просидел и выжил, слава Богу. И что он ничего у Бога не просит, живет, и слава Богу. Через каждые два-три слова у него было это несколько радостно-изумленное: «Слава Богу». Хлебца добрые люди подали — слава Богу! Лето пришло — слава Богу! Медячков насобирали, на чекушечку в гастрономе хватило — слава Богу! Они с дедом подолгу рассуждали, спорили.

Дед считал, что все в мире плохо и идет к концу, как он выражался: «Ты посмотри, все рушится, все гниет и воняет!» На что старичок говорил: «Нет, Федор Власович, все еще хорошо, слава Богу!» Дед выходил из себя, кричал: «Ты дурак, ты ничего не понимаешь». На что у старичка было всегда: «И слава Богу». И поскольку старичку совсем негде было ночевать, дед милостиво позволил ему спать на деревянном сундучке, коротком, но старичок где-то подобрал доску, клал ее одним концом на сундук, другим на приступочку у печки и на нее вытягивал ноги. Он недолго так роскошествовал. После одного спора дед так разозлился, что доску зловредно отобрал. Гость спал на сундуке скрючившись, ни капли не обидевшись: все слава Богу. Я так думал, что ведь это был, пожалуй, самый большой оптимист, какого только я видел в своей жизни.

На сундуке так, скрючившись, он умер. Утром я услышал, как дед его тормошит: «Ну, ты, вставай. Ты что, умер? А то я заявлю в милицию. Тьфу ты, умер!» Кряхтел, ворчал, взял клюку и пошел, по-видимому, действительно в милицию. Я быстро оделся, выглянул: старичок уже закоченел. Мать тогда всегда уходила на работу очень рано, затемно, ее не было. Я как-то растерялся. Совершенно не хотел иметь дела с милицией, пусть они сами разбираются — и вышмыгнул из дома.

Дальше было так. Дед заявил, ему сказали, что придут, он вернулся первый, один. А за стенкой наши соседи, оказывается, слышали, как дед говорил: «Ты что, умер?» — и сосед тем временем пришел и снял со старичка ветхую шинель, в которой тот, перепоясавшись веревочкой, и ходил, и спал. Дед явился и застал его на месте преступления, схватился за шинель, чтобы забрать себе, и они стали драться. Показался милиционер, сосед убежал, и шинель досталась деду. Дед показал об умершем: «Откуда я его знаю? Он пришел, он нищий, переночевать». Этого оказалось вполне достаточно. Через полчаса милиционеры погрузили труп на телегу и увезли. Не думаю, чтобы они нашли на нем какие-нибудь документы. Так и я его помню: «Дедушка Слава Богу» — ни имени, ни фамилии.

Можете мне верить, можете нет, но посудите сами, можно ли это выдумать? Выдумать похлеще, чем выдумала действительность? Вот еще одна судьба, с которой я столкнулся случайно, сняв по объявлению комнату на Петровском бульваре в Москве. Платить надо было, по-моему, сорок пять рублей в месяц и вперед. Квартира была двухкомнатная, хозяйка жила в одной, другую славала. Я прожил недели две, пока не обнаружил удивленно, что в квартире проживает еще третье существо. Между ванной и кухней была крохотная кладовка, всегда закрытая. Однажды из нее послышался шорох, дверь открылась, и изможденная бледная какая-то женщина испуганно отшатнулась обратно, увидев меня. В кладовке, оказывается, помещался куций топчан, книги, горела слабенькая лампочка. Оторопело я сказал

«Здрасьте», но, пожалуй, еще неделя прошла, пока эта женщина перестала от меня прятаться. Нет, она жила законно и прописанная — более того, она была хозяйкина дочь. Год назад вернулась из заключения. Сидела за то, что была женой иностранца. Одно время, сразу после войны, были разрешены без всяких препятствий браки с иностранцами. Ей было восемнадцать лет, бегали с друзьями на открытые вечера с кино и танцами в американское посольство (а американцы тогда были еще союзники по войне, великие друзья), влюбилась там в паренька — шофера посольства, и поженились. Он собирался увезти ее в Америку. Вдруг в одну ночь арестовывают всех русских жен иностранцев — и в лагеря. Мужья-иностранцы подняли шум, их немедленно повысылали, они протестовали, устраивали демонстрации перед советскими посольствами, потом понемногу все утихло. Только когда пришла пора хрущевских реабилитаций, этих несчастных женщин, кто, конечно, остался жив, выпустили, старых, с поломанными жизнями — этак ни за что ни про что. И реабилитировали.

Но в данном случае меня потрясла еще больше мать. Она, оказывается, была идейной коммунисткой и считала, что правительство правильно наказало ее дочь, даже не ожидая, что ее выпустят, и была ужасно недовольна, когда та явилась и пришлось восстановить ее прописку в квартире. Не верите? Повторяю: идейная и плюс еще жадная. Она же привыкла отдавать вторую комнату и от крупных денег не намерена была отказываться, поэтому позволила дочери жить только в кладовке — не то что без окошка, но хотя бы какой-нибудь дырки для вентиляции, так метра полтора в длину. Причем каждый день на нее шипела: «Чтоб ты сдохла! Когда ты сдохнешь!»

Я тогда, сам студент, уйдя из общежития, снял эту комнату, чтобы писать повесть «Продолжение легенды». Сначала хорошо работалось, потом увидел, что живу среди какого-то кошмара. В четыре часа утра побросал рукописи и носки в чемодан и, хотя вперед было заплачено, высочил из этой квартиры: сидел, ожидая первого троллейбуса, на скамеечке, на Трубной площади, и думал: вот о чем, должно быть, надо писать повести.

15 декабря 1973 года. Беседа 41. Сколько раз я умер?

Время от времени до меня доходят сведения, что я умер. Приехавшего в Советский Союз туриста из Англии вдруг кто-то из советских людей спрашивает шепотом, как и при каких обстоятельствах Анатолия Кузнецова убили агенты КГБ в Лондоне.

Находившиеся «в загранке» советские моряки спрашивали у одного моего приятеля, зачем американской разведке понадобилось убить Кузнецова. Он описал мне этот разговор во всех подробностях, они были поражены, что я, оказывается, жив, и тогда обрадованно передали мне горячий привет.

Выезжающие из СССР евреи тоже довольно часто спрашивают, при каких обстоятельствах я погиб; и я имею, если можно так выразиться, уже довольно внушительную коллекцию слухов, циркулировавших в самых разных городах Советского Союза, о моей смерти.

Довольно стереотипные, они раскладываются на следующие версии. Первая: агенты КГБ, как уже сказано, убили Кузнецова в Лондоне. Вторая: нет, наоборот, его убили американцы. Третья: убили сами англичане по политическим соображениям. Четвертая: убили просто бандиты, несчастная случайность. Пятая, кажется, самая количественно большая: погиб в автомобильной катастрофе. (Вероятно, здесь работают смутные отголоски автомобильной катастрофы, в которую попал в Италии Аркадий Белинков четыре года тому назад и вскоре после которой он действительно умер.) Ну и, наконец, самая кристальная, логичная, кому-то страстно желанная, по чьему-то мнению прямо-таки неотвратимая: Анатолий Кузнецов покончил с собой.

Иногда я так думаю, что среди массы сюрпризов, которыми щедро, как из рога изобилия, осыпала меня судьба, данный сюрприз (которого, кстати, я уж никак не ожидал и оказался к нему абсолютно неподготовленным), — данный сюрприз, пожалуй, особенно замечательный, утонченно-рафинированный, прямо-таки гурманский. Если бы это было раз-два, то можно было бы улыбнуться да и забыть. Но это повторяется с упорной систематической последовательностью чуть ли не с первого дня от моего выезда в Англию, вот уже пятый год. Знакомые и незнакомые люди считают долгом сообщать мне кажущиеся кому смешными, кому нелепыми, кому подозрительными слухи о моей смерти, так что, естественно, у меня накопилась и все растет эта оригинальная коллекция.

Это сегодня первый случай, что я решил немного о ней наконец поговорить, потому что, в конце концов, это довольно интересно. Вы поставьте себя на мое место: представьте, что вы все время узнаете, что вас убили или что вы покончили с собой, причем узнаете из месяца в месяц, из года в год, без конца. Что бы вы делали? Посмеивались? Игнорировали? Выступали с опровержениями? Коллекционировали?

Это несколько похоже на то, как если бы вы присутствовали на своих собственных похоронах, можете подглядеть реакцию близких и далеких, ревниво посчитать количество венков и восхищенно почитать надписи на них. Потрясенно увидите, как те, кого вы считали неприятными и недоброжелательными к вам, вдруг с искренним горем кладут на вашу могилу цветы, а те, кого считали лучшими друзьями, торжествующе забивают осиновый кол, и так далее.

Случай, по-моему, мне представился редкий, я сам по крайней мере наблюдаю его с интересом. При этом возникают естественные вопросы, на которые я не могу найти ответа. Почему именно я должен непременно умереть или покончить с собой? О других более или менее известных беглецах из СССР такие слухи, насколько мне известно, не циркулировали. О Тарсисе утвердилась версия, что он психически больной (в скобках: это неправда). О Светлане Аллилуевой — тоже что она психически больная (тоже в скобках: абсолютная неправда). Об ученом Федосееве, об артистах Нуриеве, Макаровой или Ашкенази даже и таких слухов не циркулировало, тем более о том, что их якобы убили или что они покончили с собой. Беря гораздо дальше, случаи, когда советская агентура действительно убивала политических противников, как, например, Троцкого, Бандеру, или когда кто-то действительно кончал с собой, как, например, Виктор Кравченко, я совершенно не могу припомнить, чтобы предварительно ходили какие-нибудь пророческие слухи об их смерти. Есть, однако, единственное исключение: Аркадий Белинков. Под конец 1969 года в Советском Союзе о нем пошли упорные слухи, что его убили. Они доходили до него самого, он их, так сказать, коллекционировал, как я сейчас свои, а потом вдруг нелепейшая и так и оставшаяся до конца непонятной автомобильная катастрофа, из которой он вышел хотя и весь переломанный, но живой, и все же последствия ее сыграли не последнюю роль, когда он вскоре умер в больнице от сердечного удара.

Что это — случайное совпадение, когда нелепые слухи вдруг взяли и оправдались? Вполне возможно. Очень может быть возможно. Но, согласитесь, какой-то крючочек сомнения все же зацепляется в сознании: почему упорные слухи о гибели циркулировали только об одном человеке, и, как на грех, именно о том, который вскоре действительно погиб?

Теперь, повторяю еще раз, поставьте себя на мое место. Вообразите, что эстафета нелепых слухов о смерти перешла аккуратно на вас. При слабых нервах и некоторой вольности воображения можно, наверное, почувствовать себя персонажем детектива а-ля Агата Кристи. (Чтобы не оставить неясности, уточню, что я им себя не чувствую.) Свою коллекцию я собираю скорее с заинтересованностью филателиста или исследователя.

Но иногда при этом случаются такие обжигающие экспонаты, что — ой-ой-ой. В качестве примера позволю себе описать только один из них.

В городке Киеве по-прежнему живет моя старенькая, наполовину ослепшая мать. Она совершенно одна. Конечно, посылаю ей посылки, письма, разные сувениры, но главное, postanовил отправлять ей по одной цветной открытке ежедневно, хотя бы с парой слов «Жив-здоров». Скрупулезно выполняю эту обязанность вот уж более четырех лет, так что у нее там скопились уже горы этих открыток, и к тому же еще все разные. Потому что на Западе к вашим услугам такое обилие открыток с видами, сценками из жизни, цветами, стерео и так далее, что не хватит пяти жизней, чтобы их исчерпать. Читать мать почти не может, картинки же смотреть может, и ей интересно. Особенно она любит рассматривать британскую королеву в разных нарядах, детей и пейзажи с видом на океан. Уверяю вас, посылать по открытке в день совершенно ничего не стоит, это становится просто рефлексом, открытки продаются на всех углах, почтовых ящиков — множество. А маме — все же веселее. Понимаю, что здесь поневоле я выгляжу как хвастающийся: мол, какой-де заботливый сын. На это замечу, что подлинно заботливый сын был бы сейчас при матери, присматривая ее старость, жалкие же посылки и открытки хоть каждый день — это крохи, к сожалению, единственные, которые в моих силах.

Так что я все это объясняю лишь затем, чтоб было понятно дальнейшее. Однажды моя мать перестала получать открытки. Сначала ждала спокойно, потом начала волноваться. Вдруг к ней приходит домой совершенно незнакомая женщина и говорит примерно следующее: «Мария Федоровна, я пришла к вам с тяжелым известием, крепитесь, держитесь, бедненькая. Мой племянник работает в советском торгпредстве, приехал сейчас из Лондона и привез известие: ваш Толя покончил самоубийством, выстрелив в себя из револьвера».

Можете представить, что было с матерью. Через несколько дней она послала письмо в Англию, как в никуда, «в самое главное министерство», и я сейчас вам его процитирую, оно короткое:

«Уже больше месяца нет от сына открыток. Ко мне приходила женщина и сказала, якобы ее племянник был в Лондоне и узнал, что мой сын застрелился... Известий от него нет, это верно... Кто мне скажет, что с моим сыном? Мать». Письмо это, естественно, переслали — мне.

Тут мать получила открытки, сразу за весь месяц. Похороненный, я для нее воскрес. Но довольно похожие визиты каких-то незнакомых дам, с другими невероятными и жуткими известиями обо мне, потом повторялись, не буду я уж их разбирать, но скажите только: как все это объяснить? Самодетельная инициатива каких-то досужих идиотских баб? Или концевая часть, как это в СССР называется, идеологической РАБОТЫ чьей-то?..

Если на миг предположить, что последнее, то это не делает ему чести. Ну ладно, я ваш враг, называйте меня любыми нехорошими словами, делайте не знаю что, на то ваша служба, я понимаю. Но пасть до такой степени, придумать такой утонченный садизм — для кого? полуслепой, одинокой, несчастной старушки, решительно ни в чем не виноватой, — это выходит за пределы моего понимания. Пока у меня нет неотразимых доказательств, что случаи с моей матерью не были случаями, а именно плановой акцией, я отказываюсь в это верить, как и не хочу верить в то, что вообще слухи о моей гибели или самоубийстве инспирируются, а не являются просто забавным зигзагом путей людской молвы...

Единственная посылка, единственно логичная: может быть, кто-то, какой-то бездарный философ в ведомстве товарища Андропова полагает, что подобными акциями враг будет нервирован, впадет в истерическое состояние, а там, гляди, враг и споткнется. Это неплохой метод, но — Остапу Бендеру, как он держал Корейко в постоянном напряжении: то нищий при-

стает: «Дай миллион!», то телеграмма «Грузите апельсины бочками». Но я, во-первых, не Корейко, а во-вторых, просто не решаюсь приписать себе такую честь: что, я до сих пор так важен и страшен?

Не верю. И лишь только на всякий случай могу напомнить, что в романе «Бабий Яр», в главе «Сколько раз меня нужно расстрелять?» я подсчитал, что к четырнадцати годам меня уже следовало расстрелять, по существовавшим тогда законам, минимум двадцать раз. После такой школы я уже как-то привык жить на этой земле преступником. При Сталине, по существовавшим при нем законам, меня тоже следовало расстрелять (я, например, написал тайно на него сатиру, порвал комсомольский билет и прочее). Сейчас на мне висят минимум десять лет концлагеря по ныне существующим законам — за «измену родине» или как там вы это квалифицируете? Из всего изложенного выше я, как писатель, могу извлечь довольно любопытный сюжет для новой главы «Сколько раз я умер?». Гм... может быть, и напишу.

25 мая 1974 года. Беседа 61. Опасная власть

В годы жизни Сталина, примерно в 1949 году, мне случайно довелось быть свидетелем одной довольно парадоксальной сцены.

Жил человек — ученый, большой специалист в своей области, но совершенно, как говорится, не пробивной, характером мягкий, деликатный, тихий. Обремененный семьей, работал как вол, но семья едва сводила концы с концами. Много лет они стояли в очереди на квартиру, но с каждым годом эта очередь парадоксальным образом не продвигалась, а даже как бы отодвигалась, так что квартира стала для них идеей-фикс, чуть ли не конечной целью и смыслом существования.

Они скитались по углам — снимали комнату в разных частных домах, причем семейным, с детьми, это сделать обычно очень трудно. В описываемый период их семья жила в проходной, сырой и полутемной комнате, в полуразваливающемся домике; пищу жена готовила в сенях на примусе, дети непрерывно болели. Разговоры жены с хозяйкой сопровождались рефреном: «Вот когда нам дадут квартиру...»

Она ушла на базар, дети где-то гуляли, когда однажды муж вернулся со службы необычно рано. В доме была хозяйка, и я случайно оказался при этом.

Он вошел походкой тяжело больного, бледный, явно не в себе. Вошел и остановился на пороге. «Боже, что с вами? — воскликнула хозяйка. — На вас лица нет». — «Да? — пробормотал он. — Нет-нет, ничего, благодарю вас, ничего». — «Да у вас что-то случилось?» — «Нет-нет, у меня ничего. Просто сегодня объявили, что образуется новое министерство». — «А вас увольняют?» — «Нет, наоборот! — Он испуганно оглянулся и, вдруг решившись, полупшепотом сообщил как великую тайну: — Мне предложили быть заместителем министра».

Сказал, и в глазах у него появился ледяной ужас приговоренного к смерти. Хозяйка молчала добрую минуту, как громом пораженная, проникаясь, как и он, ужасом. «Но вот, — пробормотала она в слабой попытке утешить, — квартиру будете иметь». — «Да, пятикомнатная квартира в центре, в совминовском доме, и все прочее... Что я говорю? Всю дорогу домой я брал себя в руки, чтобы по мне ничего не было заметно. Слушайте, я прошу вас, я умоляю вас, — он обращался к хозяйке и ко мне, — не выносите это дальше и не скажите моей жене. Она ведь с ума сойдет. Не губите меня...»

Озабоченно, серьезно мы заверили, что не скажем никому ни слова. Я, например, сдержал обещание и говорю сегодня об этом впервые, через двадцать пять лет, да и то только потому, что дошли до меня слухи, что человек этот умер. А тогда, в минуту слабости, ему нужно было выложиться, и

надо сказать, это помогло. Через четверть часа, когда вернулась с базара жена, он уже держался как ни в чем не бывало, и полагаю, если она и узнала от него, что им грозило, то только много-много лет спустя.

А нам он сказал, что завтра будет отказываться. Назначение на такой руководящий пост — это, в общем, равносильно смертному приговору, с отсрочкой на несколько месяцев или лет. Услужливые сослуживцы моментально подсчитали, что в той квартире, пятикомнатной, пожили уже до десяти семей, поочередно сажавшихся замминистров — врагов народа. Теперь очередным предложили быть ему. Он еще не сообразил, как убедительно отказаться. Отказ — это тоже преступление. Пришла беда. Согласиться или отказаться — все равно враг. Он член партии. Партия не признает отказа: велят — значит, должен. Единственное, пожалуй, убедительное — это тяжело, по-настоящему заболеть, надолго, неизлечимо. Потом затеряться, перейти куда-нибудь, каким-нибудь неприметным лаборантом станции по защите зеленых насаждений. В общем, он сделает все, чтобы не сделаться заместителем министра. Но жена не должна знать, она этого может не пережить.

Действительно. Ему удалось мягко и без последствий уйти от высокого поста, от власти, — и от квартиры, конечно. Они еще много лет продолжали скитаться — и дождались очереди только при Хрущеве, получили типовую двухкомнатную малогабаритку на пятом этаже, без лифта, в новом микрорайоне, полтора часа езды от центра города, вода течет из крана только дватри дня в неделю, так что они спешили наполнить ванну, и так имели постоянный запас. Но счастливы были они неописуемо, хотя счастье пришло под конец жизни: он вскоре вышел на пенсию и умер. Своей собственной, однако, смертью.

Времена и нравы изменились. Для некоторых слушателей, в особенности, конечно, молодых, мне кажется, следует еще раз подчеркнуть, что это незаметное событие — когда человек в ужасе отказался от поста заместителя министра, с роскошной квартирой, огромной зарплатой, персональными машинами и прочих, прочих благ, — что это было в сталинскую эпоху, даже, точнее, под конец ее, когда она стабилизировалась, став ясной уже для всех.

По-видимому, до сих пор не создана точная научная статистика, какой была средняя продолжительность жизни руководящих лиц при Сталине. И вряд ли когда-нибудь будет сделан точный подсчет снимавшихся слоев за слоем, ликвидированных незначительных, неизвестных комиссаров, секретарей партии, заместителей министров, директоров заводов, офицеров и так далее. Выделяются и останутся в памяти наиболее яркие или одиозные имена — Якир или Постышев, Фрунзе или Тухачевский.

В первую очередь прослежена более или менее точно судьба так называемых «соратников Ленина», то есть именно той группы людей, того главного ядра, которое и совершило переворот в 1917 году, изобрело и установило новые законы и принципы жизни, действующие вот уж шестой десяток лет.

.....

Общая статистика группы соратников Ленина такова: 44 были ликвидированы, то есть казнены или умерли в заключении, 4 покончили с собой, 4 были убиты, 2 — официально погибли в катастрофах, двоих расстреляли англичане в 1918 году, 12 умерли по неизвестным причинам. Естественной смертью умерли — 31. Дожившие до глубокой старости Каганович и Молотов попали в опалу. Благополучен оказался один — Анастас Микоян.

Может, теперь еще яснее тот ужас моего знакомого, когда он узнал, что его назначают замминистра. В порядке фантазии я так думаю: что, если бы в том, 1917 году всем этим ста с лишним молодым, энергичным

и полным надежд людям вдруг каким-нибудь чудом открылось их будущее? Не объявили бы они почти все самоотводы от членства и от кандидатства в ЦК? Остались бы соратниками Ленина только Сталин да Микоян? А может быть, и Микоян не остался бы? Странную, прямо какую-то сюрреалистическую шутку сыграла жизнь с партией большевиков, и в шутке этой кроется, по-видимому, глубокий смысл или закон, над которым будет размышлять еще не одно поколение.

10 августа 1974 года. Беседа 71. Совесть

Раз тридцать, может быть, если не больше, я слышал, как мой дед Федор Власович рассказывал свою историю ухода из родительского дома. Рассказывал, когда приходили гости, рассказывал приятелям по второму и третьему разу. Особенно когда случалось выпить рюмочку, он возбуждался и, перебивая разговор, без всякой связи вдруг восклицал: «А вот послушай, как я в молодости ушел из дому!» Краткая эта история заключалась вот в чем.

Дед родился и вырос в селе Шендеровке, Каневского уезда, в какой-то отчаянной крестьянской семье с одиннадцатью детьми, отцом-пропойцей, жившей в полуразрушенном курене, и спасали их коровенка да две лошади. И дед рассказывал, что, когда ему исполнилось то ли шестнадцать, то ли семнадцать лет, послал его отец в ночное пасти коней. «А я взял этих коней, — говорил дед, — и погнал их, и погнал их в город, и продал на ярмарке. И с той поры домой больше не вернулся». Здесь дед умолкал и странным взглядом, с каким-то глубинным, большим вопросом, смотрел на собеседника, а тот, озадаченный, бормотал что-то вроде глубокомысленного «м-да...».

Никто не спрашивал, и я не спросил, да если бы и догадался спросить: а зачем, собственно, дед рассказывает ЭТО? — думаю, что он сам не нашел бы внятного объяснения. Из него это просто выпирало, и все. Жило в его естестве, давило, и естество делало попытки как бы изрыгнуть, выбросить это. Причем любопытно, что дед никогда не продолжал, не делал оценки, и невозможно было понять, что из этого следует: «Смотрите, какой я был удалой молодец» — или: «Какой я был подлец, какая шкура: семью зарезал ведь, зарезал отца-мать и детишек малых». Надо помнить, что значила лошадь для крестьянской, да еще такой нишей и многодетной семьи.

Нет, дед никаких оценок не делал; рассказывал просто факт. Может быть, подспудно, подсознательно ждал, что кто-нибудь оценку сделает? Именно подсознательно уже жаждал какого-нибудь суда, приговора, меры наказания и искупления. Может быть, тогда тяжелый, как камень, факт полегчал, растворился бы и забылся. Дед был, конечно, верующим, на исповеди ходил, но, по-видимому, и исповеди, и отпущения грехов не помогали. Доказательство тому: когда ему уже было под девяносто и он впал в старческое детство, уже почти ничего не помнил из своей жизни, факт об украденных у родителей конях выпятился у него в сознании вообще чуть не на первый план. Он постоянно рассказывал его таким же, как он, глубоким старикам, да так и умер с тем в доме для престарелых где-то под Полтавой.

В одной из прошлых бесед я уже говорил об одном пьянице газетчике на строительстве Каховской ГЭС по фамилии Бурыба, у которого на совести был свой, так сказать, «факт-фикс». В прошлом он был герой войны, фронтовик, танкист, что подтверждали и многочисленные жуткие шрамы, и целая гроздь медалей и орденов. Но, напиваясь, он из всех своих военных походов, как заведенная пластинка, рассказывал всегда только одно и единственное: как они, танкисты, насильовали немок в Пруссии.

Ворвавшись первыми в какой-нибудь городок, танкисты его «тридцатьчетверки» первым делом бросались по немецким домикам в поисках ценностей и женщин. Потом отводили танк метров на сто пятьдесят и прямой наводкой разносили в щепы домик вместе с ограбленными и изна-

силованными немками в нем. «Раз-дол-бали — и пошли дальше, во как, брат!» — заканчивал он, грохая кулаком по столу и сверкая дикими, пьяными глазами.

Поскольку он пил постоянно, то и рассказывал часто, и всякий раз повторялся с большой точностью, никогда не путал деталей. Это в нем клочкотало, жило неугасающим огненным сгустком, и он — совершенно точно так же, как мой дед, — испытывал, по-видимому, непонятную, невыразимую для него самого потребность это рассказывать, рассказывать, рассказывать, без всякой опять-таки оценки, и ошарашенные собутыльники не находились тоже ни на что другое, кроме глубокомысленного «м-да...».

...А скажите, вам не приходилось вдруг резко переворачиваться или садиться в постели от ни с того ни с сего вдруг явившегося воспоминания о чем-то скверном, нелестном в вашей жизни? В постели, потому что чаще всего такие образы являются в момент, когда засыпаешь, или во сне — когда сознание находится в состоянии расторможенном, предоставленное самому себе.

В это время оно иногда играет с нами шутку: выкладывает нам то, что мы хотели бы забыть, что мы приказывали себе забыть или ловко сплетенной сетью логических натяжек и софизмов давно уже покрыли, погребли, утоптали и утрамбовали. Кто бы мог подумать: а оно, оказывается, живет.

Если вы скажете, что с вами никогда ни разу ничего подобного не случается, то позвольте усомниться: не кривите ли вы душой? Разве что вы просто еще очень молоды. Молодая совесть довольно ленива и толстокожа; мучит она все больше с возрастом. К такому заключению я пришел, наблюдая других людей, наблюдая самого себя. У меня, кажется, нет одного такого ведущего «факта-фикс», как у деда Федора Власовича или у героя-танкиста Бурыбы, но не в меру служивое, все, оказывается, помнящее сознание время от времени вдруг ни с того ни с сего, казалось бы, преподносит мне какой-нибудь неблагоприятный факт из моей жизни — во всей его объемности, так сказать, в красках и запахах, потом другой, третий, и из них можно составить коллекцию.

Это что-то вроде архива, кладовой или склада в нас, с надписью — хотя бы вроде этого популярного: «Никто не забыт, ничто не забыто». Даже если нам самим кажется, что забыто накрепко и навсегда. В нужный момент или, вернее, в НЕнужный момент оно может выскочить и встать перед глазами живее живого.

Поясню, пожалуй, теперь собственным примером — только одним, да и то самым безобидным, отваги для изложения которого мне хватает главным образом, наверное, и потому, что дело очень давнее, случилось, когда мне было семнадцать лет. Я не помнил этого, совершенно не помнил, как будто его и не было, на протяжении лет двадцати эдак. Потом однажды — как выстрел, как удар в лицо, это полуприснилось-полупривиделось мне в момент, когда я засыпал, и я подскочил и сел с мучительным стоном. До микроскопических подробностей, до, действительно, воздуха, погоды, цвета, запаха, звуков — все память выдала в неприкосновенности.

То было в 1947 году, в эпоху, когда «архипелаг ГУЛАГ» достигал кульминационных вершин своего разбухания. Портниха шила и не глядя воткнула иголку в газету — случайно попала в глаз портрета Лазаря Моисеевича Кагановича — загремела в лагерь. Сторожу приказали перенести в клуб огромный гипсовый бюст Сталина, он обвязал его веревкой, взвалил на спину — и получил срок за то, что провокационно и контрреволюционно набросил петлю на вождя. И так далее.

Я, как всякий молодой человек, конечно, курил. Мама моя, как всякая мать, конечно, на меня за это кричала. Я курил, прячась от нее. Однажды, придя с работы раньше, она застучала меня в сенях с папиросой. Я, увертываясь, выскочил на крыльцо, она за мной с нотациями, да так громко, чтобы и соседи, и улица слышали и чтобы мне стало стыдно. «Курение

убивает здоровье, курят одни только лодыри, болваны и дураки!» — на что я, напыжась, торжествуя сверкнув очами, так же громко, на всю улицу, ответил: «А товарищ Сталин — курит!» Мама так и поперхнулась. Сегодня это смешно. Тогда это было — страшно. Побледнев, дрожащим голосом она забормотала, что товарищ Иосиф Виссарионович Сталин — человек уже в возрасте и он начал курить при старом царском режиме, это совсем другое дело, а я живу при советской власти, которая мне все дала... Это говорилось так жалко, так перепуганно, для людей, ДЛЯ УШЕЙ улицы, которые жадно слушали. Но победа была, конечно, моя. Обошлось это...

Но скажите, какая юная дрянь! Какой готовый, оформленный, кругленький Павлик Морозов! Какая во всем этом безграничная мерзость! Юная, розовощекая мерзость...

Так вот, именно только к примеру, эта сценка начисто выветрилась из моей молодой головы на срок в целых лет так двадцать — а потом вдруг из глубин памяти явилась как удар, да так, что я застонал. И с того началась ее вторая жизнь, нет, совсем не назойливая, наоборот, очень скромная, строго моей совестью осужденная, конечно, но объективно отпечатанная на страницах моей жизни краской несмываемой, несчищающейся. Было? Было. Не забыто? Оказывается, НЕТ.

...Да, в этой беседе я говорю о совести. В сегодняшнем практическом до абсурдов, материализованном порой до фарсов и свинства мире говорить о совести некоторым представляется безнадежно старомодным, или смешным, или наивным. Напрасно. Это они сами очень наивны.

Совесть — это нечто такое, что существует независимо от нашей воли. Это сильнее нас. Управлению не поддается. Временному искривлению, временному молчанию, временному подавлению — да. Но только временному. Зато с тем большей силой, как вышедшая из-под контроля пружина, расправляется потом, и мстит, и бьет. С совестью шутки плохи — это истина старая, как мир, но она и вечна, как мир, не стоит забывать об этом.

19 октября 1974 года. Беседа 81. Телескрин

В фантастическом романе Оруэлла «1984» описано общество, где у каждого человека в доме в принудительном порядке поставлено следящее-слушающее устройство «телескрин», и каждый в любую секунду ощущает себя в поле зрения госбезопасности. Но помилуйте, во многом это уже не фантастика. В Советском Союзе человек живет так, словно в любой момент некие уши, например, ловят все, что он говорит. А это очень много.

Я сам прожил так несколько лет в своей квартире в Туле, после того, как убедился, что за мной постоянно установлены слежка и подслушивание. Чувствуй вы себя хоть абсолютно ни в чем не виновным, хоть святым, — сам этот факт сильно отражается на вашем психическом равновесии, и именно эту сторону я бы хотел подчеркнуть. Образно говоря, вы живете как бы с кляпом во рту, в состоянии какого-то духовного удушья. Вы прямо-таки физически ощущаете, как в вас накаляется подавленная психическая энергия, она бродит, давит, ждет, требуя выхода. Я знаю нескольких людей, которые в разное время и независимо друг от друга открыли, что такой выход дает громкий безудержный крик. Один из них изложил мне целую теорию на этот счет. Он сам время от времени прибегает к крику вполне обдуманно и сознательно, как к лекарству, которое в какой-то мере и на какой-то срок снижает в нем психическое сверхдавление, позволяет ему дальше жить как бы нормально, с оптимистично-благонамеренным выражением лица, при непременно за ним наблюдении и подслушивании.

Все это здоровому, так сказать, «непуганому» человеку может казаться чем-то фантастическим. Но если сами условия существования личности не

располагают к здоровью? «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына или такие книги, как, например, «Мои показания» Марченко, полны описаний чудовищных, патологических условий существования — и того, как люди в этих условиях часто начинают вести себя тоже соответственно патологически или на грани патологического. Далеко не все располагают такой силой духа, чтобы в самых невыносимых условиях оставаться естественными и нормальными. Это скорее исключительность, подвиг. Обыкновенной же душе трудно. Она ищет спасения, какого-нибудь помогающего средства, выходки, действующей как лекарство.

Вот таким образом некоторые кричат. Но — при нашей скученности где безопасно хоть покричать-то? Дома — за тонкими стенками соседи со всех сторон. В лесу или поле — голос далеко разносится. Одно время я жил в старом толстостенном доме. Знакомая женщина — по профессии, между прочим, идеологический работник — вдруг озадачила меня просьбой: не могу ли я разрешить ей время от времени приходить и безудержно кричать, закрывшись в ванной? Этим она лечится, это позволяет ей переносить слезку и домашнее подслушивание и вообще необходимость постоянно быть в жизни как на сцене. Она потом приходила примерно раз в три недели — месяц, запиралась в ванной — а ванная была действительно как каменный мешок — и отчаянно там кричала, рыдала. Только это, ничего больше. Потом, подкрасив и подпудрив старое, опухшее от слез лицо, выходила спокойная, уравновешенная, готовая идти дальше «на сцену», играть. Вежливо благодарила и уходила.

Сперва я был ошарашен этим. Потом привык, спокойно на ее звонок: «Можно я завтра приду в ванную?» — отвечал: «Конечно, пожалуйста!» — как будто речь шла об обычной просьбе прийти искупаться. Нет, купаться ей не нужно было, у нее дома была своя ванная, но в ее квартире в новом микрорайоне стены были слишком уж тонкими — и никакой звукоизоляции.

Сейчас, когда я вспоминаю свою собственную жизнь, я вижу, что ее можно разбить на ярко выраженные периоды по принципу отсутствия или слабой слезки в ней — и слезки подавляющей. Внутренне, духовно я был в такие разные периоды совершенно разным. Я вообще-то, оказывается, родился и успел пожить в такое время, когда техника еще не была на грани фантастики. И какое же это было счастье; остерегаться надо было только элементарных, во плоти, с руками, глазами и ушами, стукачей — живых людей, которых всегда видишь, если они возле тебя присутствуют. Полным потрясением моей жизни было однажды наивное открытие, что их тоже не всегда видишь.

Это было еще до массового развития микрофонной техники, когда и аппаратуры не хватало, хотя и так недавно — в пятидесятых годах. Я жил в одной коммунальной квартире по соседству с очень милой интеллигентной семьей. Квартира была на верхнем этаже, причем общая кухня в ней была угловой — две стены наружные, третья стена была толстая и выходила на лестничную клетку, а со стороны квартиры, с четвертой стороны, кухня отделялась рядом кладовок с полками, забитыми разным хламом. Когда люди сидели и говорили на кухне, оставив открытой дверь, по узкому коридорчику никак никто не смог бы подобраться незамеченным.

И вот эта интеллигентная семья облюбовала для таких бесед кухню. В своей комнате они никогда ни о чем серьезном не говорили, лишь односложное: «Будешь спать?», «Заведи будильник», «Да», «Нет». Но на кухне просиживали часами, шушукались, шушукались, всегда держась лицами к двери. И выходили веселые, умиротворенные. Это были самые симпатичные и покладистые жильцы в целом доме. Я с ними дружил.

Однажды жена соседа несколько встревоженно сказала, что им показалось, будто кто-то ходит по чердаку. Не воры ли? Муж хочет полезть посмотреть — но она боится отпускать его одного. Я взял фонарик, и мы полезли на чердак, на чердаке никого не было, но мы обнаружили в углу подозрительное ложе из

настеленных досок, покрытое пластами стекловаты, причем прочно убитой телом человека, который должен был здесь давно и много полеживать. Какого-либо подголовья не было, а на его месте торчала вертикально обыкновенная жестяная воронка. Осмотрев, мы поняли, что это самодельная примитивная слушательная система. Слой шлака, насыпанный на чердаке, был здесь снят, в потолочном перекрытии просверлена дыра почти во всю его толщину, в дыру вставлена воронка, и когда мы приложили к ней ухо — услышали все звуки на кухне. Мы стали делать эксперименты: мы с женой соседа говорили шепотом на кухне, муж лежал на чердаке, приложив ухо к воронке, — он четко разобрал самый тихий шепот. Он и жена побледнели от ужаса.

О том, что это не было хитроумной самодеятельностью каких-нибудь детей или досужих сплетников-соседей, можно было судить по тому, что на следующий день домоуправ приделал замок к люку, ведущему на чердак, — и запер его навсегда. Но на чердак выходили люки с других лестничных площадок. Тот, кому это нужно, мог, вероятно, теперь без помех там полеживать. Может, он соорудил там еще не одну воронку.

Так-то было в добрые старые времена. Должен сказать, что с той поры мои интеллигентные соседи сильно изменились: стали мрачные, испуганные, нервные, куда девалось все веселье. Посиделки на кухне прекратили, как отрезали. Но и в комнате почти совсем перестали обмениваться даже односложными фразами. Два человека сидят дома — и гробовая тишина, лишь изредка стукнет чашка, скрипнет стул.

Если годы такой жизни, годы и годы — тут впору прийти желанию напроситься к кому-нибудь в глухую ванную, кричать.

С другой стороны, эта самоделка на чердаке — чепуха, пустяк, что-то личное, а не массовое; хоть, наверное, и не единичный, но все же происшедший всего каких-нибудь двадцать лет тому назад. Теперь подслушивание — типично, оно становится все более массовым, направляясь к идеалу, описанному у Оруэлла.

Один из выехавших из СССР евреев, Израиль Клейнер, в своих записках, опубликованных на Западе в журнале «Сучасність», описывает, как он обнаружил на чердаке нового девятиэтажного дома, в котором он жил, большое, сложное, похоже, электронное устройство для подслушивания, от которого шли провода, по-видимому, по всему дому. Оно было установлено в ящике из стальных плит, прочном, как сейф. Клейнер и его приятели устроили в квартире школу по изучению иврита — и не сомневались, что эта квартира прослушивается уж точно. Они решили испортить аппаратуру и несколько дней сверлили дрелью дырки в стенке ящика, чтобы выломать окошко. Тайнственным образом все было отремонтировано. Как пишет Клейнер: «Все отверстия были закрыты изнутри металлическими пластинками, каждая на четырех неподвижных винтах, дверца выровнена, а по краю ее приделан крепкий стальной косяк, так что нечего было и думать отогнуть край. КГБ работал оперативно и безупречно. В СССР на производстве так не работают». Куда там какая-то жестяная воронка по сравнению с этим сегодняшним ящиком!

И я думаю, не будет безудержной фантастикой предположить, что в скором будущем, возможно, комиссия не будет принимать нововыстроенные дома без таких ящиков, без четкого функционирования системы подслушивания. Будут приниматься, как и сейчас, дома, еще не подключенные к газовой сети, к отоплению, ожидающие подключения к телефонной сети по многу лет. Но к системе подслушивания они, можно не сомневаться, будут подключены в первую очередь.

Каковы последние достижения в советской подслушивающей технике, об этом можно только строить догадки. О достижениях в этой области можно, однако, судить только по достижениям так называемого западного индустриального и промышленного шпионажа. Так, например, существуют уже на-

правленные микрофоны с прицельным устройством, которые в состоянии четко слышать разговор на расстоянии в сотни метров, даже сквозь массу посторонних шумов, например, сквозь интенсивный уличный шум. Ведение разговора на открытом пространстве, в чем до сих пор находили отдушину множество советских людей, таким образом, становится опасным, как и разговор в квартире.

Оруэлловский инстинкт — жить так, словно тебя все время слышат и видят, — в Советском Союзе с каждым годом становится все более прочной реальностью. Я рассказал, как изменились, помрачнели и замкнулись мои соседи, обнаружив, что их подслушивали. Но мне кажется, что теперь под угрозой поставлено внутреннее, душевное, психическое состояние уже не отдельных людей — сегодня это уже угроза всеобщая.

15 марта 1975 года. Беседа 97. Двуличие

Хочу описать одну картинку из жизни, которую наблюдал, в которой участвовал, так что за достоверность ее могу поручиться. Но, впрочем, вы сами увидите, что тут, собственно, никаких поручательств в достоверности и не требуется: это бывает в жизни часто, многие, думаю, могли бы рассказать подобное, а то и похлеще. Случай же, который я наблюдал, был такой.

Праздновалось новоселье. Счастливые хозяева, после десятилетия ожидания получившие наконец квартиру, имели отношение к литературе, и гости поэтому почти сплошь были литераторами, в том числе и я. Главным гостем, «свадебным генералом», хозяевам удалось пригласить важную шишку, директора огромного издательства, человека очень неглупого, но ярко выраженного циничного советского приспособленца. О таких говорят: «О, он все понимает — потому тем более страшен и безжалостен».

Один из литераторов, из тех, кто упрямо пытается что-то человеческое в литературу протолкнуть, а ему всё режут и режут, — сидел за столом молча-угрюмо, хлестал, хлестал водку, а когда важный директор счел нужным произнести какой-то идейно выдержанный тост, этот писатель вскочил и выпалил десятиминутную речь. В ней он высказал присутствующим, а главное, почетному гостю-директору всю правду-матку в глаза. Примерно в таком духе, что в советской литературе — трусы, лжецы, шкурники, и каждый сам о себе это прекрасно знает, да находит своей совести лазейки и оправдания. Но это значит, что жизнь каждого — уродлива, искривлена. Одинаединственная жизнь. «Неужели это вам интересно? — кричал он, обрушиваясь на директора. — Вечно лгать, лгать самому и заставлять лгать других? Вы же всё понимаете — а сами из себя сделали моральное чудовище; вы — как сломанный пополам, горбатый урод, роющий носом землю, — и нас всех заставляете делать то же. Этому, вы считаете, стоит отдать одну-единственную жизнь? Или вы на что-то надеетесь? Но вы так и умрете — пугалом, и о вас искренне даже никто не пожалеет. Вы там все в цензурах, отделах пропаганды, вершители идеологии, сочинители директив — вы циники, гнущие в бараний рог всех, но прежде всего ведь самих себя! Что же это у вас за удовольствие — жить и умирать уродами?»

Он кричал в абсолютной тишине, потому что все маленькие, «униженные и оскорбленные», склонив головы, в душе согласны были с каждым его словом, и могущественный, пронзительно умный бюрократ понимал, что говорится правда. Он заметно побледнел, слушал с каменным лицом, потом поднялся вместе с такой же каменно-молчаливой супругой и отправился в переднюю надевать пальто. Хозяева кинулись за ними, перепуганно что-то бормотали, извинялись. Важный гость, вполне владея собой, за порогом, на лестничной площадке успокоил: «У меня к вам — никаких претензий. Но некоторые здесь НЕ УМЕЮТ пить».

После его ухода пьянка по инерции еще некоторое время продолжалась, но все чувствовали себя скорее не как на новоселье, а как на пепелище.

О случившемся, словно сговорились, — ни слова. А бедный литератор-правдолюбец молча, в одиночку, быстро выглушил еще водки и в бессознательном состоянии был погружен в такси и отвезен домой приятелями. Все гадали про себя, что теперь с ним будет. Гость-директор был очень важный тип, запросто вхож в ЦК, один из тех, кто там вершит судьбы идеологии и литературы.

Проснувшись рано на рассвете в муках похмелья, литератор, как он потом не раз рассказывал, с холодной ясностью увидел, что он кругом виноват. Добрых людей подвел, устроив скандал на чужом новоселье; правду-матку резал совершенно зря, потому что ее все знают и так прекрасно, — доказать ничего не доказал, а себя по меньшей мере погубил: теперь уж ему дорога в печать будет закрыта навсегда. «Куска хлеба лишил себя, — рассуждал он. — Вот единственный результат». Заслуженная кара, его частная, личная — за то, что нарушил правила. Правила игры, которая много десятилетий ведется в обществе громадной, многомиллионной страны, игры, которую можно определить, перефразировав поговорку: «Что на уме — то НЕ на языке».

Даже в бреду. Даже в пьяном виде. В советском обществе даже безобразно пить — нужно УМЕТЬ. Даже в стелку напившись, нужно уметь САМОЕ ГЛАВНОЕ все равно держать за замком. Известно много случаев безудержного пьянства, алкоголизма больших деятелей — но любопытно, что, даже вдребезги пьяные, они, плетя вздор, даже ссорясь, даже оскорбляя лично представителей режима, ограничивались этим «лично», никогда НЕ ОБОБЩАЯ. Критиковать, но НЕ ОБОБЩАТЬ. Тому, кто помнит это даже в пьяном бреду, рискованные выходки сходили и сходят с рук.

Литератор схватился за бумагу и — откуда только вдохновение взялось! — сочинил великолепное, благородное, убедительное письмо. Он по всей форме просил прощения у директора, глубоко горевал по поводу того, что не умеет пить, и просил учесть одно обстоятельство, которое хотя и не может служить оправданием, но в какой-то мере объясняет случившееся.

Дело в том, что накануне этого злополучного новоселья он много ночей, не сомкнув глаз, дорабатывал очередной роман, чтобы выдержать срок сдачи его в издательство. Один из главных отрицательных персонажей романа, злостный враг советской власти, произносит там в романе разные вражеские клеветнические фразы, и он, автор, так над ними мучился, что они колом ему засели в голове. После крайней усталости выпитая за столом водка его оглушила, и он автоматически выкрикивал реплики своего персонажа, врага из своего же романа. То есть это был просто бред.

Он просил, при желании, заглянуть в рукопись первого варианта романа, лежащую в издательстве, — и на страницах таких-то и таких-то убедиться, как отрицательный персонаж шипит: «Вы сломанные пополам, горбатые уроды, роющие носом землю», «Умрете пугалами, о вас никто не пожалеет» и тому подобное... Он спешил, письмо не переписывал, с первым трамваем помчался к дому высокопоставленных работников, где жил директор, подкрался на цыпочках к двери и опустил письмо в почтовый ящик. Вероятно, вовремя он это успел. Директор прочел письмо за утренним кофе, вместе с утренними газетами, — и ДЕЛО НЕ ПОЛУЧИЛО ХОДА.

Сотрудники издательства потом рассказывали, что директор не поленился, запрашивал указанную рукопись романа, пролистал, сверясь со всеми указанными в письме страницами. Усмехнулся, возможно, удивляясь литераторской ловкости и находчивости. Именно находчивости. Не искренности, конечно. Искренность вообще ни при чем, никому она не нужна. Нужно только соблюдение правил игры.

Каждый восставший против этих правил человек — ведь, собственно, в потенции очень силен. Он несет в себе искру правды. А ну из этой именно искры вспыхни вселенский пожар? Сгорая в нем, директор увидит, что действительно обидно и глупо сгибал он себя всю жизнь в бараний рог. Что

ошибся! И он молится, чтоб искры гасли. Сам их топчет. Он видит тогда, как он прав, мудр, силен со своим, по-видимому, единственно правильным принципом циничного отношения к действительности...

«А мне, — мог бы сказать он, — думаете, самому не жаль, что так душно приходится жить? Может, я вижу кошмарность такого положения в сотни раз лучше, чем вы. Может, глубокое горе мое куда больше вашего! Но — такова жизнь. Вы высекаете искры правды? — ну так и гибните. Я горбатый, рою носом землю? Ладно, но я живу, и даже, если судить по практическим общепринятым меркам, не так уж плохо живу».

Я думаю, директор был рад, пусть даже невесело, но рад посрамлению выскочки с его правдой, лишнему подтверждению своих циничных принципов, — и потом он даже как-то симпатизировал этому литератору, хотя тот роман и зарубил, но зарубить предполагалось и раньше, безотносительно к инциденту, зато следующие книжки у литератора брали. Стригли как хотели, в общем, всё как всегда. А директор много раз показывал покаянное письмо — особенно участникам того новоселья, и, невесело усмехаясь (отдадим должное: НЕВЕСЕЛО!), читал из него некоторые выдержки. Он долго носил его в левом боковом кармане, в бумажнике, вместе с деньгами и партийным билетом. Ценил, видимо, как документ двойного литераторского бытия.

17 декабря 1976 года. Беседа 161. Про Фому и сельское хозяйство

Хочу рассказать про Фому. Нет, не шутка, не про Фому да Ерему, а про реального человека, простого крестьянина, когда-то доброго знакомого нашей семьи по имени Фома, а фамилии я не помню, вернее, просто и не знал. Фома да и Фома.

Он был высокий, несмотря на то что ходил сгорбившись, глядя в землю перед собой — живая буква «Г»; очень тощий, с обветренным бурым лицом, заросшим седой щетиной. Малограмотный (расписываться умел), молчаливый-премолчаливый, словно апатичный; никаких эмоций на лице. И серый, серый, как все колхозники, — потому что одеты они всегда во все поношенное, выгоревшее, пропотевшее; на улице города сразу их видишь, сразу отличишь. Рассказ мой относится к временам еще моего детства, давно это было, и уже тогда Фома был стар, болен. Конечно, он уже в могиле, хотя когда он умер и как — я не знаю. Знаю лишь, как он жил. Это, значит, начало про Фому.

Теперь несколько слов про сельское хозяйство, один краткий эпизод, вставка, нужная для сюжетного плана.

Однажды, когда я уже считался известным писателем и где-то в годах шестидесятых по распоряжению самого Отдела культуры ЦК КПСС был поселен в городе Туле, так сказать, поближе к жизни, и Тульский обком партии счел своим долгом руководить моим идейным развитием, тульский секретарь обкома предложил мне поехать с ним в поездку по области, посмотреть, как сельское хозяйство поднимается на недосягаемую высоту в свете последних решений, и прочее. Надо сказать, что я потом не жалел, что поехал. Хотя мы ездили в обкомовской, конечно, самой настоящей черной «Волге», перед которой с дорог шаркались грузовики, тракторы и стада; хотя питались в задних комнатах ресторанов в обществе местных предисполкома и начальников КГБ, а ночевали в специальных, бронированных для партийных приезжих квартирах, осколки жизни все равно, непрошенные, сами лезли в глаза, — а главное, ездили-то мы, кроме шофера машины, лишь двое, общались, значит, и после этого пугательства я стал значительно лучше понимать внутренний мир этого типа людей — секретарей. Сейчас, однако, речь не об этом, а об одном эпизоде касательно сельского хозяйства. Ездили мы по колхозам, где секретарь собирал актив, говорил слова, давал указания и прочее.

Я много видел в жизни нищеты, но то, что увидел в глубине Тульской области через пятьдесят лет после Октябрьской революции, все же было потрясающе. Деревня: неприкаянно торчат на юру бурые, разваливающиеся избенки. Ни деревца, ни цветочка, ни заборчика — земля усыпана лишь мусором и залита помоями. Крыша в провалившихся дырах — не чинится. Дверь повисла на одной петле — пока не отвалится вторая. Внутри — не жилье, а какая-то пещера зловонная, ветхое тряпье, голые дети, мутный самогон в бутылке на столе. «Все губит у нас пьянство, вот где бич», — вздыхал секретарь. И вот он велел шоферу ехать в показательное хозяйство, чтоб хоть настроение поправить. На подъезде к лучшему, показательному колхозу он велел остановиться. Мы вышли. Время было колоситься, но рожь не поднялась еще выше колена. Редкие стебли можно было сосчитать пальцами на каждом квадратном метре. Кроме того, во время сева тракторист не то задремал, не то по какой иной причине, — был сделан огромный огрех, получилась такая вытянутая незасеянная плешь в несколько соток. Столько земли, как этот огрех, было когда-то у моей бабушки под грядками у нашей хаты в Киеве на Куреневке. Сперва она собирала с них редиску, потом помидоры, лук, капусту, картошку, щавель, а под забором — и кукурузы рядочки, подсолнухов несколько. Нашей семье хватало этого и на лето, и до конца зимы. Потому что то были СВОИ грядки, которые пестуются, удобряются, поливаются потом без меры и без призывов и указаний.

Секретарь долго смотрел на этот огрех, на это поле и вдруг так устало, прямо безнадежно сказал: «Столько лет бьемся! Колхозы, комбайны, тракторы, сажалки, копалки, вырывалки... А дореволюционный уровень урожайности — недостижим».

У Фомы была самая обыкновенная, но беленькая и опрятная хата — и с петухами по стенам, и с рушниками, и с мальвами под окнами, и с вишнями, и корова, и пара лошадей. Жена и дочь. Иногда в воскресенье они привозили продавать на нашем куреневском базаре то клубнику, то помидоры и огурцы, то картошку потом, к осени, мешками, — и, не продав за день, должны были оставаться ночевать, так они с моим дедом и бабушкой познакомились и ночевали иногда. Наша хата была близко от базара, и у нас часто кто-нибудь из села ночевал. И мы ездили в село; мое детство, можно сказать, проходило равно как в городской, так и в сельской атмосфере.

Грянула коллективизация. То был форменный ужас. Я, между прочим, за всю мою жизнь не встречал человека, который бы о коллективизации отзывался с восторгом, вообще нашел бы для нее хоть одно доброе слово. Конечно, если не считать писателя Михаила Шолохова с его «Поднятой целиной». Крестьян загоняли в колхозы револьверами, голодом. Как известно, на Украине, на Кубани, реквизируя подчистую все продукты до последней картошки и лепешки, создали искусственный голод, от которого в 1932 — 1933 годах умерло от шести до семи миллионов человек. Судьба Фомы, о котором рассказываю, была печальной — его раскулачили. Какой из него кулак? Сам работал, семья работала. Но известно, как это делалось. Пара лошадей — разве не кулак? У них забрали абсолютно все — вернее, просто выгнали из дому. И то еще было счастьем, что не отправили в ссылку. Почему? Может, потому, что все же не настоящий кулак, может, просто эшелонов на всех не хватило. Так — выгнали на все четыре стороны к зиме глядя, и все. Хоть в лес иди. Фома с семьей и пошел. Выкопал землянку при опушке. Желуди, грибы ели, потом зимой — кору и почки. Жена и дочь опухли и умерли. Фома чудом выжил, по весне ползал и ртом щипал дикий щавель, первые зеленые побеги.

Летом он плел корзины, приносил в город продавать и накопил денег, на которые купил курицу. Он носился с нею как с сокровищем, в деревню к петухам носил, она нанесла яиц и высидела цыплят. На опушке вокруг землянки он сровнял кочки, вскопал и засадил огород и так оказался с запа-

сом на зиму. А следующим летом у него, огороженная плетнями, с курятниками и навесами плетеными же, была уже, можно сказать, целая куриная ферма. Он постоянно привозил на базар корзины яиц. К зиме он построил себе вполне приличную хату-мазанку.

Тогда в один прекрасный день к нему нагрянули опять сельские активисты — и раскулачили вторично. То есть опять все забрали, и кур, и хату, а самого выгнали на все четыре стороны. И опять ему везло: опять никуда не отправили, оставили тут умирать.

Как передавали люди, куры на колхозной ферме, которых не успели съесть активисты, передохли, а Фома снова каким-то чудом выжил. На этот раз он ушел в другой район и уж в совсем глухие леса. Бобылем, дикарем жил неизвестно как. Только однажды встретила его бабушка на базаре — он продавал кроличье мясо. Он, оказывается, в лесу кроликов поймал — и кроличью ферму на этот раз развел. Они плодились, как саранча. Корм в лесу — под рукой. Фома и мясом торговал, и шкурками, и крольчат на продажу привозил. И опять где-то между болотами картошку посадил, пшеницы ухитрился засеять и гречки и уже строил новую хату.

Не дали ему достроить. Он чуял, к чему идет, потому что принялся по людям, по знакомым мешочки разносить: с картошкой, с морковкой, просил в погребе подержать — мол, у него погреба нет. Даже в город привез и моей бабушке отдал на сохранность торбу гречки. Действительно, пришли. И в третий раз «рас-ку-ла-чили!» Кроликов перебили, начатую хату разломали, самого Фому до полусмерти избили — и выкинули с угрозами, чтоб носа в район не показывал. Мало того, пошли по доносам по его знакомым, где он мешочки разносил, забирали и то, а кто укрыл или как-то сумел отбрехаться, получили предупреждение: узнаем, мол, что он от вас что-то получил, берегитесь!

Последний раз я видел Фому, когда он пришел к бабушке, робкий, несчастный, запуганный, и едва слышным голосом спросил про торбу с гречкой. Бабушка пошла и принесла. Он стоял и не брал, побледнел, потом грохнулся на колени и стал целовать бабушке руки: «Эта гречка — единственное, что мне отдали, вы единственная». Посидел, перекусил, рассказал, как его крольчатник раскулачивали, — и отправился куда-то да-алеко, с торбой гречки за плечами. С тех пор мы его уже не видели.

Простая история, как видите, простого крестьянского человека, из тех, кто умел и мог бы поднять сельское хозяйство на недостижимую высоту.

9 декабря 1977 года. Беседа 206. «Не было этого!»

О том, что было, — говорят «не было»... Хочу коснуться темы, которая сама по себе неисчерпаема, — и потому только коснуться, — которая в советской действительности выражается формулировкой: «Этого не было». Сталкиваясь с нею, я нервничал или прямо-таки ошалевал. Когда вам говорят: «При сталинском терроре уничтожали и сажали в лагеря тех, кто этого заслуживал», — тут можно спорить, доказывать, выяснять. Но когда вам говорят: «При Сталине террора не было и никаких лагерей не было. Откуда вы это взяли? Да вы что?..» — и смотрят при этом уверенными, невинными глазами, — что тут делать? Конечно, вы попытаетесь привести факты, а вам на это: «Так это ж клевета продажных империалистических агентов!» И рассказывайте, и доказывайте, хоть головой о стенку бейтесь, — на это одно невозмутимое: «Не было этого».

Сегодня поразительно думать, но данный пример — ведь не преувеличение, не фантазия. Когда на Западе, еще при жизни Сталина, оказывались люди, чудом спасшиеся из советских лагерей, западные коммунисты и вообще все, кто с симпатией глядел на Сталина и счастливейшую, первую в мире страну победившего социализма, — не то что не слушали таких беглецов, но возмущенно объявляли их негодьями-клеветниками, а их показания — вы-

мыслом от начала до конца, плодом в лучшем случае больной фантазии. Потому что между песней «Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек», которую поют все народы по всей стране — это же факт! — и пятнадцатью миллионами в лагерях смерти — слишком неправдоподобный разрыв, ножницы, один конец которых есть ложь.

Но! Семи миллионов, уморенных искусственным голодом на Украине в 1933 году, — не было. Государственного геноцида, когда целые народы исчезали с их земель, а названия их республик — с географических карт СССР, — не было. Чудовищных массовых могил, наподобие Винницкой, сравнимых с Бабьим Яром, но бывших делом рук не гитлеровцев, а НКВД, как и массового уничтожения ими польских военнопленных в Катыни, — этого ведь не было... А знаменитое, объявленное когда-то на весь мир заверение Хрущева, что в Советском Союзе политических заключенных нет! С какими чистыми, невинными глазами... Если бы тогда из Владимирской тюрьмы каким-то чудом вырвалась бы женщина, Галина Дидык, сидевшая с 1950 года за то, что руководила подпольной организацией Красного Креста в Тернопольской области, — и рассказала, сколько тысяч одних только «националистов», и украинских, и прибалтийских, и других, не коснулась и не коснется никогда никакая реабилитация, — разные коммунисты и их поклонники опять сказали бы: клевета.

Книга Оруэлла «1984» считается фантастической, но я не читал более реалистического описания Советского Союза. Называние вещей другими именами, гротескные приемы относятся ведь к чисто художественному арсеналу средств. Герой книги работает в отделе документации Минправа, то есть Министерства Правды, где занимается вот чем. Он следит за малейшими изменениями в государственной информации на сегодняшний день и новую версию должен вставить всюду, где была версия прежняя. Скажем, какая-то личность считалась героем. Теперь объявляется, что она враг. Армия служащих изымает упоминания о герое из старых подшивок газет, книг, журналов, брошюр, афиш, фильмов, звукозаписей — и вставляет туда новую версию о враге. Старые экземпляры газет набираются и перепечатываются заново, куски фильмов вырезаются и переснимаются. Если упоминание о чем-то нужно убрать — оно изымается так, что не остается следов. Будущий историк даже не заподозрит, что оно было. НЕ БЫЛО.

Этим как раз мы занимались, когда еще я учился во втором или третьем классе, перед войной. Нам велели вынимать учебники на парты и вырывать страницы с портретами Постышева, Косиора и других «врагов», это делалось по всей стране вплоть до Книжной палаты, далее их уже НЕ БЫЛО. Наводнявшая страну сталинская «История ВКП(б). Краткий курс» после его смерти вдруг исчезла бесследно, не было такой. Уж не говорим о том, что никогда НЕ БЫЛО процентов девяносто литературы первых лет революции, отражавших роль Троцкого, Бухарина и других «врагов», все это общеизвестно, я упоминаю только затем, чтобы акцентировать результаты этого. А результаты мне кажутся иногда пугающими.

Как-то однажды, когда я еще жил в СССР, у меня дома в Туле мы разговаривали с одним молодым человеком, студентом. Зашла речь о Зошенко, Ахматовой, как в 1946 году их предали анафеме партийным постановлением о журналах «Звезда» и «Ленинград». Молодой человек удивленно сказал, что я что-то путаю, этого не было. «Да как же, — воскликнул я, — в каждом учебнике. — об этом постановлении!» Он сказал, что ничего подобного, они не проходили, он сам читает уйму, но не встречал нигде. К счастью, у меня случайно на полках были учебники по советской литературе и для школы, и для вузов, я кинулся листать их и оторопел: действительно, о знаменитом постановлении ни слова. Молодой человек смотрел на меня с оттенком сожаления. «Это было! — закричал я. — Ведь без этого в литературе шагу нельзя было ступить!» Я кинулся листать тома по литературоведению, торжеству-

юще обнаружил недавно вышедший сборник Зощенко. В предисловии — о знаменитом постановлении ни слова. Уже буквально трясущимися руками я принялся листать «Литературную энциклопедию». Статья «Ахматова» — ни слова. Статья «Зощенко» — ни слова. НЕ БЫЛО. Это в моей домашней библиотеке, оказывается, не было ни следа, ни намека об этой ПОЗОРНОЙ ждановской расправе с литературой, музыкой, кино, как это случилось — я не мог понять, но я тогда почувствовал себя как в дурном сне, я бормотал: «Но, честное слово, это было»... Молодой человек, скорее из вежливости, сказал, что он верит моему честному слову, что, может, что-то такое и было, но...

Но в гораздо большей степени я был убит, когда некоторые умные, серьезные люди, прочтя в моей рукописи романа «Бабий Яр» главу-воспоминание «Людоеды», о голоде 1933 года, недоуменно сказали, что я что-то путаю. В войну было голодно, да, но о голоде времен коллективизации они не слышали. Этого не было.

Да, поначалу я в таких случаях очень нервничал. Но вот под категорию «Этого не было» попал и сам. Когда в 1969 году я остался в Лондоне, в Москве был задержан готовый двухмиллионный тираж «Юности», с него срывалась обложка, где в списке редколлегии была моя фамилия, и заменялась новой. С тех пор списки редколлегии «Юность» на обложке больше не печатают. В третьем — четвертом номерах «Юности» за тот же год печатался мой роман «Огонь», и я в Лондоне с любопытством развернул номер двенадцатый, где обычно дается содержание всего журнала за год. Под рубрикой «Проза» ни моей фамилии, ни романа «Огонь» не было. В библиотечных экземплярах страницы с «Огнем» в третьем — четвертом номерах, как я узнал, вырезаны.

Не было!

Из-за меня у служащих «министерства правды» было много работы: одних книжек «Родная речь» для первого класса, где лет пятнадцать печатался мой рассказик «Дерево», — сколько миллионов! Миллионы моих книг, журналы и сборники с рассказами и статьями, чтецы-декламаторы, календари, энциклопедии, учебные программы, кинофильмы, каталоги. Убрали, вычистили. Был? Нет. Не было.

Когда такое видишь со стороны — одно дело, но когда происходит с тобой самим — это особое ощущение. И не надо нервничать, есть от чего приходиться к философскому спокойствию. Словно внимательно, наморщив лоб, смотришь на какой-то сюрреалистический феномен: да, общество с постоянно изменяющейся историей, с фиктивной, иллюзорной историей, от древнейших времен до вчерашнего дня. Да, это действительно «небывалый исторический эксперимент». Будущим поколениям, по-видимому, нелегко будет поверить, что это не фантастика. Что это БЫЛО, зачем-то...

2 июня 1978 года. Беседа 228. Размышление о счастье

Однажды, будучи пареньком лет шестнадцати — семнадцати, ехал я на крыше поезда из Киева в Москву. В свое время я довольно много наездился на буферах да на крышах поездов, потому что носила меня куда-то нечистая сила, а денег на билет не было, да и тогда (то были первые послевоенные годы) сам-то билет достать было такой дикой проблемой! Много народу ездило на ступеньках, буферах, а на крышах вагонов бывало черным-черно, и милиция просто не справлялась с этим. Были лишь особые станции, где снимали с буферов и крыш. На линии Москва — Киев такой станцией был Бахмач, жуткая для зайцев станция, посидел и я там пару раз в отделении, а потом научился прыгивать на ходу за сто метров от перрона, обегать станцию и поджидать мой поезд метра в ста от нее.

В смысле комфортабельности я тогда даже считал, что на крыше куда приятнее ехать, чем в переполненном душном вагоне. Летом, конечно. Ле-

жишь себе на горячей крыше вагона под солнышком, привязавшись для верности веревочкой к выступающей трубе вентиляции; ветерок освежает, пейзажи вокруг; поезда тогда ходили медленно; тридцать часов тащился от Киева до Москвы. Одно плохо: сажа из трубы паровоза. Приезжаешь на конечный пункт черный, как трубочист. Ну, и еще лежать нужно, потому что бывают мосты такие коробчатые, низкие, и я два раза сам видел, как не успевавшему пригнуться «крышному» пассажиру вдребезги разбивало голову об этот мост.

Самым трудным участком были Брянские леса. Как-то всегда приходилось проезжать их ночью. А там всё леса да болота, туманы, холод собачий, и на крыше уже не усидишь: замерзнешь насмерть от ледяного пронзительного ветра. Одно спасение — на буфере, в промежутке между вагонами, но и туда все равно ветер задувает и режет тебя, как ножом. Уж дождешься какой-то остановки и бежишь окоченевший — руки-ноги не сгибаются — к крану с кипятком. Жестяная кружка всегда при себе, набрал кипятку — и пьешь его мелкими глоточками, греясь, набираясь тепла на следующий перегон.

И вот на каком-то перегоне я почувствовал, что все, вот конец мне приходит, еще четверть часа, и я просто свалюсь с поезда прямо в Брянский лес, как ледяная сосулька. В отчаянии я перебрался с буфера на ступеньку и толкнул дверь. Чудо из чудес: она открылась. Это было действительно чудо: проводники обычно наглухо закрывали все двери, и пытаться нечего, ну, а потом, если и войдешь, то зачем? Сразу тебя за шкурку и на первой же станции — в отделение. А тут — вот такое чудо: проводник, видимо, забыл запереть дверь. И я ввалился в тамбур и бессильно упал на полу.

Вы знаете эти холодные, с железным полом тамбуры вагонов, где стоит невероятный грохот во время хода, окна в инее и куда уединяются разве лишь парочки поцеловаться, но, замерзнув, быстро убегают. Но мне показалось, что я попал в печь — так мне показалось тепло по сравнению с тем, что снаружи. И самое поразительное — никогда этого не забуду! — пол. Пол в тамбуре был теплый, теплый, как плита. Я лежал и ладонями, боками, прижатый ухом ощущал такое тепло, словно я лежал на русской печке. На самом деле этот заплыванный железный пол тамбура был, видимо, холоден, как лед. Но мне-то он казался теплым, как печь! Я корчился на нем, прижимаясь то одним боком, то другим, то спиной, все греясь, греясь, как котенок на печи. И меня охватило такое счастье, что большего счастья уже, кажется, и невозможно испытать. Я вскоре заснул, и спал так крепко, так счастливо, так безгранично счастливо, и спал долго, потому что это был вообще глухой тамбур, не тот, которым пользуется на остановках проводник. Выскользнул из него, проснувшись, никем так и не замеченный, когда уже было светло, и опять был так счастлив от целой этой своей полосы удач...

Я потом не раз вспоминал этот случай, едучи и в купейном, и в мягком вагоне, и в международном, с постелью и даже душем в туалете при каждом купе. Ну да, удобно, хорошо, едешь, как фон-барон, как шишка какая-то, но подобного счастья, подобной лавины счастья я никогда не испытывал ни в каких люксах-перелюксах. Даже наоборот, однажды в ленинградской «Стреле» проклял с ненавистью мягкий диван, потому что на большой скорости вагон начинал так интересно вибрировать, что вас подкидывало на мягком диване мелко-мелко, так, что печенки перемешивались с селезенками, и после часа-другого такого подкидывания я сгреб постель и улегся на полу головой к дверям купе; на твердом полу трясло меньше, чем на пружинах дивана, и так кое-как до утра перемучился. Это в международном вагоне. Перемучился. Приехал в Ленинград разбитый и несчастный.

Несколько лет назад (довольно поздно, я считаю) мне пришел в голову оригинальный вопрос. Ну, хорошо, ну вот ты, сказал я себе, всю жизнь чего-то хочешь, борешься, предпринимаешь, добиваешься, — все потому, что хочешь, как и все, счастья, счастья. А посмотри трезво на свою жизнь: когда же оно бывало? Когда же бывали такие моменты, что ты мог бы закрыть, как Фауст: «Остановись, мгновенье»?

И я потрясенно обнаружил, что если эти моменты были, то это были совсем не те моменты, за которые я боролся, на достижение которых ухлупывал массу сил и достигал, — но вдруг оказывалось, что это достигнутое совсем не счастье, а скорее одно неудобство, как в том международном вагоне ленинградской «Красной стрелы»...

Я перебираю в памяти жизнь: когда я был так полон, так безмятежно, гармонично счастлив, без малейшей ноты диссонанса? Ну, в детстве много было таких моментов. Но не получение дорогого подарка или получение пятерки в школе, а, например, когда летом с ребятами ходили купаться на Днепр. Через заливные луга, на дикие песчаные пляжи между Киевом и Вышгородом, где было полно птиц, безлюдье, девственно нетронутый песок хрустит под пяткой, как сахар; песчаные косы Днепра, доплывешь чуть не до середины реки, а потом бежишь по косе, спугивая чаек, и кричишь просто так, неизвестно отчего, от счастья...

Став зрелым, я воображал свое счастье в том, чтобы сделаться знаменитым писателем, и иметь много денег, и путешествовать и прочее. И ужасно много старался, учился, работал и достиг в какой-то степени. После того как очень популярной стала моя повесть «Продолжение легенды», писали про меня, на выступления звали-разрывали, бывало, что я каждый день перед тысячными аудиториями читателей выступал, и денег было навалом, и в президиумы тебя ташат, и киностудии разрывают, и почтальон каждый день приносит сумки писем. Когда я вспоминаю это мое бурное время, о, даже сейчас кажется, что холодный пот выступает на лбу, шею стискивает, как обручем, а желудок корчится от кислоты язвенной болезни, которую я тогда получил. То было все, что угодно: суета, барахтанье, судорожная гонка, все, что угодно, только не счастье. Фальшь какая-то.

Но тогда что? Ну-ка, ну-ка, а что же было не фальшь? Не фальшь?..

А вот, например, когда мы с любимой женщиной сели в автобус и поехали в леса под Ясной Поляной. Такой был ослепительный летний день, и еще не было сенокоса, трава была густая, и на огромных полянах сплошь полевые суеты, причем преобладали желтый и лиловый оттенки, так он и остался в памяти, этот день, как «лиловый день». И просто лежа в траве и глядя в небо, я бы тогда, пожалуй, мог сказать: «Остановись, мгновенье!»...

А вот я уже почти девять лет живу в Лондоне. И сколько-таки всего было. Кажется, что за эти девять лет пережил целую вторую жизнь, ведь из Советского Союза переселиться на Запад — это, знаете, как на другую планету попасть. И однажды, остановившись, я задал себе опять тот же вопрос: постой, а на Западе за эти девять лет какой момент был самым-самым полным, момент номер один, «остановись, мгновенье»? Когда вышел наконец без цензурных сокращений мой роман-документ «Бабий Яр» — слово в слово, точка в точку, как я написал и как я хотел, чтобы он был? Да, это было хорошо, но, так сказать, по-деловому, что ли. Но только и всего. Когда мои фотографии пестрели в газетах, разрывали на интервью, сыпались сотни приглашений? О нет! Все, что угодно, только не это, это ужас, от этого только язвенные болезни наживать. Ну, тогда — когда смотрел, ездил, узнавал этот мир? Калейдоскоп, калейдоскоп всего, но... Но был, да, был момент куда выше, куда прекраснее, когда я действительно уж так себя полно и гармонично чувствовал, как тогда на Днепре в детстве, как в тот лиловый день под Ясной Поляной.

Это было в моем тихом, маленьком саду позади моего дома в Лондоне. Я вырастил чудную траву, цветы и задался честолюбивой мечтой еще построить и маленькую оранжерею. И строил ее месяца два. А когда закончил, и ввинтил в дверь последний крючок, и поставил внутри первые «орешки» с экзотическими растениями и простыми гераньками, там внутри стал такой запах, как в ботаническом саду. И был солнечный день, шмели жужжали в траве. Я был весь перемазан цементом, руки в ссадинах и занозах, а я ходил

вокруг своей оранжерейки, любовался ею, такой счастливый, что ноги подкашивались, и лег на теплую траву, заложил руки за голову и посмотрел в небо. Да, это был САМЫЙ ЛУЧШИЙ момент за мои последние девять лет. Все остальное, что было — а было же так много! — я поставлю после этого момента. Этот момент — на первом месте.

Я никогда не боролся за власть, за высокие посты, за богатство — и знаю, что не буду бороться. Я не верю, что те не очень многие, которые в этой области достигают того, за что боролись, — что они счастливы. Возможно, чего-то тут не понимаю. Вообще, все в жизни для меня получалось не так, как мне предлагали делать и чему меня учили. Учили меня в СССР.

Сами учителя боролись за власть, карьеру, благополучие, богатство, а меня учили бороться за идеи, за светлое будущее. Какое-то время я им даже верил и действительно поборолся и за идеи, и за светлое будущее. Вспоминаю об этом с омерзением. Как с омерзением вспоминаю и те случаи, когда доводилось сидеть в президиумах.

Не знаю вообще, как закончить эту беседу, а кончать пора. Прошу вас, примите все это просто: вот я что-то рассказал, какие-то штрихи мыслей, кусочки опыта, искренне, как это мне представляется. И что еще?

Вопросы, одни вопросы.

30 апреля 1978 года. Беседа 230. Приливы и отливы

Мама научила меня читать, когда мне было четыре года. Ни тогда, ни после я не был на нее в претензии за это. Когда я пошел в школу, в первый класс, у меня за плечами была уже целая библиотека прочитанных книг. Где-то лет в шесть я прочел «Труженики моря» Виктора Гюго и был просто потрясен картинами моря, вернее, пролива Ла-Манш, который там описан. Потрясен картинами величественных приливов и отливов. Герой кончает самоубийством, используя прилив, как и положено труженику моря: он просто сидит на уступе скалы, а море подымается и подымается, вот уже лишь голова его видна над поверхностью... вот уже не видно и головы.

И можно сказать, с шести лет во мне жила мечта увидеть приливы и отливы на Ла-Манше. Ну и вообще везде, но на Ла-Манше в особенности. Мечта волнующая, потом мучительная, потом тоскливая и почти безнадежная. Потому что кто разрешит тебе поехать на Ла-Манш, если ты скажешь правду: что вот хочешь посмотреть приливы и отливы, потому что это твоя мечта до слез еще с тех пор, как в шесть лет прочел «Труженики моря»? Никто не пустит, естественно, а гляди, еще направят на обследование к психиатру. После такового же, даже если бы и нашли тебя здоровым, все равно ты уже на учете, уж тогда тебе более прощай все заграничные поездки. И вообще, что тут говорить. Миллионы рождаются, проживают жизнь и умирают, никогда не увидев ни океана, ни даже кусочка Черноморского побережья, а ему, видите ли, чего захотелось — Ла-Манша между капиталистическими Францией и Англией!

Да, представьте, вещи вот такого рода, как желание увидеть океанские приливы и отливы, побывать где-нибудь на Канарских островах и в Британском музее, побродить по Нотр-Дам в Париже и тому подобное, — вещи такого рода столь, по-моему, естественные, но по воле властей столь недоступные для большинства людей Страны Советов, — сыграли очень большую роль в моем лично решении покинуть Советский Союз. А мне — да! представьте, что да, хочется, живя на этой земле, прежде чем умереть, увидеть то, о чем, может, с шести лет мечтаешь. Какое мне дело до ваших политических, стратегических, экономических и прочих «-ических» соображений, из-за которых вы обнесли землю, на которой я родился, колючей проволокой со всех сторон. А я живой человек, а я не хочу прожить, умереть и не увидеть того, что так хотел увидеть. Получается, что нет другого выхода для меня, как, вопреки вашим запретам, уходить прочь, за пределы вашей колючей проволоки.

И вот я уже девять лет живу поблизости от пролива Ла-Манш, правда, не со стороны французской, а со стороны английской. От моего дома в Лондоне до ближайшей точки на берегу — примерно час езды автомобилем; когда быстрее (однажды я доехал за 35 минут), когда дольше — в солнечный день, когда дороги забиты едущими на пляж.

И вот интересно: как еще тогда, в шесть моих лет, романтический ореол прочно окружил этот пролив в моем сознании, так это не проходит и по сей день. Это изменяется, да! Но, изменяясь, по-прежнему остается волнующим. В первый раз, когда я, уже свободным, уже не советским человеком, поехал впервые на побережье пролива в первые же дни моей жизни в Англии, так я вообще чуть не заплакал. Потом обрыскал каждый километр английского побережья пролива, когда уже стал водить машину, по всей южной Англии. Дувр, Портсмут, устье Темзы или, скажем, самый-самый юго-западный узкий хвостик Англии, глядящий в сторону Испании, называется Ландс-Энд, «Конец земли», тоже романтично, я считаю; там действительно скалистый мыс, первозданно-дикое нагромождение скал, океанские валы лупят в эти скалы, и дальше, кажется, действительно ничего уже нет, одна вода, конец земли, — все эти места для меня теперь знакомы, облажены, а все равно не надоедают, тянет и тянет, вплоть до того, что, бывает, когда в последней вечерней сводке погоды по телевизору сообщают, что разыгрался шторм, — я, вместо того чтобы ложиться спать, вскакиваю в машину и лечу сломя голову в ночь, на побережье, смотреть стихию. Не смейтесь, она того стоит, это то еще впечатление. Это не то что шторм на Черном море, на котором и приливов нет. Самый-то шторм — это когда он совпадает еще и с наивысшей точкой прилива.

Эта моя беседа навеяна впечатлением от вчерашней поездки в Саут-Энд. Это в том месте, где кончается широчайшее устье Темзы, сливаясь с каналом. Это туда я однажды доехал за 35 минут. Туда я еду ради приливов и отливов. Я накануне смотрю в газете время приливов. Я хочу приехать во время полного, наивысшего прилива.

Вчера он был в девять часов утра. Я выехал в восемь и вскоре был на берегу, в маленьком городке, со всеми курортными атрибутами-развлечениями, ресторанчиками, гостиничками, всякими устрицами и прочей морской снедью, которую покупаешь и ешь прямо на набережной. Вдоль набережной стоят сотни машин, под набережной полоска культурного пляжа. Это не для меня.

Я проезжаю вдоль моря до самой последней окраины городка и за нее. Там есть огромный луг с высокой травой на самом берегу. Ставишь в траве машину и окунаешься в тишину. Волны прибоя шуршат, и в небе жаворонок заливается. Необычное сочетание. Море искрящееся, какое-то полное-полное, словно вздутое. Вода здесь самая теплая в Англии, потому что здесь мелко. Идешь и идешь — пока зайдешь так, что можно плыть, но и плывя стоит вытянуть ногу или чуть окунуться, как чувствуешь дно. На три-четыре километра от берега тянется эта отмель с глубиной не больше двух метров в самый прилив.

Через час-другой начинается что-то странное. Вы сидите на берегу и с удивлением замечаете, что там, где недавно вы плавали, не касаясь дна, бегают собака и бегают дети, и воды им по косточки. Далеко-далеко видите кого-то едва различимого, кто ушел туда и бредет, кажется, по колено в воде.

Еще через час вода уходит совершенно. До самого горизонта — оголившийся мокрый песок дна. Моря не стало совершенно. Сколько видит глаз — мокрый песок с лужицами воды. И здесь начинается великий исход. Все, кто был на берегу, идут по этому дну. Людей мало. Редкие фигурки бродят там и сям; кто-то гоняется за крабами, ныряющими в лужи; многие собирают съедобные ракушки, которых тут миллионы: они очень вкусны, только возни с ними много: варить, выковыривать из раковин, долго промывать от песка, мариновать; проще купить в лавочке готовые, они тут как семечки. Тишь, мир, простор.

Но самое главное — это необычайный подъем настроения, который испытывают все, буквально все, кто идет вот так, шлепая ногами по теплым, как чай, соленым лужам, в этом просторе. Я много раз проверял это на себе и наблюдая других. Прямо магия какая-то. Солнце греет, ветерок обвеивает ласково, вокруг все искрится, а в воздухе марево, и если идти так час, полтора, то уже за маревом не видно берега, вы — в каком-то таком чудном пространстве, между небом и землей, и так хорошо, и хочется бегать, дурачиться, разбрызгивая ногами лужи, а которые поглубже — так шлепаться в них и лежать, как в ванне, болтая руками-ногами среди водорослей. Дети, те вообще с ума сходят; да и взрослые становятся как дети. Столько сил вдруг в теле, ноги пружинистые. Идешь километр за километром, дыша всей грудью, и никакой усталости, идти бы так и идти...

Кое-кто, однако, начинает сдаваться, поворачивает обратно. Я иду. Впереди, на горизонте, в дымке виден силуэт корабля, стоящего на рейде. Если он стоит, то должен же он в чем-то стоять? Должно же быть где-то там все-таки море? Я дохожу. Где-то в километре справа от меня, я вижу, тоже кто-то дошел. Пески кончаются, дно круто уходит вниз, и тут оно, море, катит валы, вода холодная, глубокая, бурная. Я бросаюсь в нее, плаваю быстро-быстро, обжигаемый холодом; вижу, что мой сосед в километре справа делает то же. Потом надо согреться, бегать. Крабы, куски дерева, выброшенные волнами обрывки сетей с поплавками. Сосед уже пошел обратно. Я теперь совсем один; кажется, неизвестно где; вокруг одно марево и блеск. Иррациональный мир.

Пора уходить, скоро начнется прилив. Медленный-медленный, совершенно безопасный прилив. Прошлый раз я был с моей собачкой. У меня такая маленькая шавка есть, размером с кота, очень отважная и верная. Она всю дорогу носилась и бесилась от счастья, язык волоча по земле. Когда я пошел купаться в глубокой воде, я положил на песке далеко от воды рубашку и велел собаке сидеть и стеречь. Когда через десять минут вышел, оказалось, что это место уже залила поднимающаяся вода, рубашка плавала в волнах, а собачка моя сидела, только голова торчала из воды, готовая утонуть, но с поста не уйти. Спокойным шагом мы пошли обратно, сперва среди волн, потом среди первых мутных струек прибывающей воды, потом совсем опередив прилив, оставили его далеко за собой, и когда где-то через час вышли к берегу, то там еще и признаков прилива не было видно, он подошел к берегу еще где-то через час. И опять бежали по щиколотку в воде дети с собакой, а потом вода все поднималась, опять стало море до горизонта, полное-полное, словно выпуклое. Цикл этот занимает одиннадцать с лишним часов. Такая симфония длиной в день, целая гамма изменений, состояний, а со всем этим и ваших чувств. В общем, едешь после этого домой переполненный, обгорелый, счастливый. С чего? Я не знаю. До сих пор мне кажется, что там, в этом месте, есть какая-то неразгаданная мистика. Вот — счастье, и все. И не объяснишь. Детское счастье, телячий восторг. У всех, повторяю, у всех без исключения. Я же вижу.

Ну и вот, пока ходишь так, в том мареве и блеске, между небом и землей, то чего только не передумаешь. И вспомнишь вдруг евпаторийский или сочинский пляж, где место надо занимать в пять часов утра, потому что, видите ли, львиная доля побережья отведена под «спец», под ведомственные санатории, а с заходом солнца — патрули, собаки, прожектора! Как же — граница!.. Вы знаете, тут, в Саут-Энде (где, кстати, тоже ведь граница Англии, но об этом никто не помнит), — вы знаете, тут, значит, когда так идешь и ощущаешь себя переполненным жизнью, как в детстве, то те осколки советских воспоминаний кажутся прямо невероятными, смешными, как те порядки в стране Лилипутии, на которые Гулливер даже не обижался, а с любопытством смотрел как на казус. «Да, — думаю, — хорошо тебе теперь отсюда вспоминать это как казус...»

Как все это обидно, что я не могу вам показать эти приливы и отливы. Вот, рассказываю. А это что — одна стомиллионная часть того, что есть на нашей красивой планете Земля. Жизни наши так коротки. Смотреть надо скорее, пользоваться этим богатством (всем хватит), — а не тарахтеть оружием, потеть в маневрах да обгораживаться стенами и колючей проволокой.

13 апреля 1979 года. Беседа 233. После болезни

Это моя уже 233-я беседа с тех пор, как я начал регулярно, раз в неделю, выступать с беседами перед микрофоном Лондонской студии радио «Свобода». Этой беседы, собственно говоря, могло уж и не быть: в сентябре прошлого года со мной случился инфаркт, причем очень тяжелый. По мнению врачей, я остался жить лишь чудом. Долго я лежал в больнице, потом долго отходил дома и отошел.

Но в смерти я побывал. Недолго, правда, но два раза. Один раз у меня сердце полностью остановилось на шесть секунд, через час-другой остановилось на пятнадцать секунд, и это на медицинском языке называется клинической смертью; оба раза врачам удалось пустить его снова — с помощью сложной современной медицинской техники и их собственной самоотверженности. Они бились со мной, не отходя, десять часов, но когда потом, валясь с ног, пошли поспать, то, как я позже узнал, звонили дежурной медсестре много раз среди ночи, потому что (опять-таки как потом они сами мне сказали) не были уверены, что я доживу до утра. Я дожил.

Лень мне сейчас рыться в старых рукописях, но год или два тому назад была у меня беседа о том, что чувствуют люди, побывавшие в клинической смерти, а затем вернувшиеся к жизни. Я рассказывал, что на эту тему написано в западной литературе: некоторые оживленные говорят, что в те секунды, когда они были клинически мертвы, они якобы парили в воздухе, видели сверху врачей, пытающихся оживить их тело, затем летели куда-то не то через подобие туннелей, не то через подобие долин, встречали близких, давно умерших, те им говорили: «Нет, еще не пора, возвращайся обратно»; но главное, все те, кто это рассказывает, переживали неопишемое счастье, такое, что нельзя выразить словами, до такой степени счастье, что некоторые даже потом, после оживления, были в претензии к врачам: «Зачем вы меня оживили?» На эту тему выпущены книги, причем некоторые написаны самими врачами, которые долго и кропотливо собирали подобные свидетельства по всему миру.

И многих людей эти книги, естественно, взбудоражили, меня в том числе. Я с самых юных лет, еще со времен войны, помню, был ужасно неудовлетворен, когда читал в газетах, что врачи оживляли тяжелораненых, у которых сердце остановилось, возвращали их из клинической смерти. Ну и что говорят эти ожившие люди? Ведь они могут рассказать нам, как выглядит смерть! Никогда ни строки, ни слова, ни полслова в советской печати об этом не было. А самому лично встретить человека, вернувшегося из смерти, мне все никак не удавалось.

Недомолвки печати заставляли невольно подозревать, что тут что-то кроется. У нас все тайна. Разбился самолет — тайна. А если там были иностранцы и тайну уж никак нельзя сохранить, то напишут две строки, что разбился, — а как разбился, почему, какие люди погибли или если кто-то спасся, то как? Тайна, черт возьми. Самое главное, самое важное — никому не положено знать, а это же ведь так естественно: нам хочется знать.

Ну, вот уже сколько тысяч и тысяч людей за последние десятилетия были оживлены после того, как пережили клиническую смерть, и на Западе не замедлили воспользоваться их показаниями, выпустили целые книги. Ваше дело верить им или нет, но по рассказам некоторых получается, что ТОТ свет, загробный свет — вроде есть... Может, по этой причине в СССР

УТАИВАЮТ показания оживленных: тогда же ведь все материалистическое учение окончательно рассыпается в прах.

И так я был зол тогда, в юности, что придумал вот что. Был тогда жив еще мой дед, Семерик Федор Власович. Иногда мы с ним вели такие богословские разговоры на уровне: «Есть Бог или нет? Есть тот свет или нет?» Дед, конечно, не сомневался, что есть, но я был уже весьма начитанный и ловкий спорщик, и деду приходилось признавать, что для такого спора ему явно не хватает аргументов. Тогда мы и договорились, что, когда дед умрет, он любой ценой даст мне знать: есть ли тот свет — и как там. Причем не раз, не два, а много раз я просил его, и он очень искренне обещал дать знать. То ли привидением явиться, то ли сообщить какими-нибудь знаками; наконец, во сне явиться. Так договорились.

Мало мне этого, боялся я, что дед все-таки забудет. Такой же точно договор заключили мы с отцом. Тут было вообще забавно, потому что мой отец, Кузнецов Василий Герасимович, был стопроцентным атеистом, член партии с восемнадцатого года, важная шишка. Я, правда, вырос без него: они с матерью развелись, когда я был еще ребенком. Но на старости лет они с матерью опять сошлись, и только тогда я узнал своего отца — уже в старости, на пенсии и отнюдь не того большевика-ортодокса, каким он был всю жизнь, а скорее наоборот... И мы с отцом тоже договорились: что если он умрет и окажется, что тот свет есть, то он даст мне весть оттуда любой ценой. Поскольку в те времена я сам был своего рода шишкой — известным советским писателем и членом партии, конечно, — то это должно было выглядеть забавно: такой договор между двумя коммунистами, из тех, кого называют элитой советского общества: дать, мол, друг другу знак с того света, если он есть.

Дед умер глубоким стариком в 1962 году, прожив девяносто два года. Он был 1870 года рождения, ровесник Ленина, только никто его юбилеев не справлял. Бурная и тяжелая жизнь большевика свела моего отца в могилу гораздо более молодым: он умер 65-ти лет от роду, через два года после деда. С тех пор НИ РАЗУ никакого знака, ни ползнака я от них не получал. Я говорил об этом близким и знакомым, разводя руками: ну уж какое там привидение, ну хотя бы уж просто приснился бы тот или другой! Снились все, кто угодно: Сталин мне снился, с Лениным я однажды в ложе театра сидел, Гитлер снился, Хрущев — тот вообще почему-то больше десятка раз снился, и все знакомые, и близкие, ну, все, кто угодно, снились. Отец же и дед — ни разу!.. Ни разу.

До прошлого, 1978 года. Это значит, со смерти деда прошло шестнадцать лет, со смерти отца — четырнадцать. И вдруг в прошлом году они мне приснились ОБА сразу, в одном сне. Приснились как-то прозаически, ничего особенного не говорили, не делали, просто мы все трое были в одной комнате. Обычное для снов нарушение реальности было в том, что каждый из нас выглядел в максимальном своем возрасте: дед как девяностодвухлетний, отец как шестидесятипятилетний (хотя такими они в жизни не встречались, последний раз дед и отец видели друг друга еще перед войной). И я с ними был не довоенный мальчик, не послевоенный спорщик, а я сегодняшней, взрослый человек под пятьдесят. Этот сон приснился мне в ночь на 4 сентября 1978 года. Я имею обыкновение записывать оригинальные сны — некоторые пригибаются при литературной работе, а кроме того, я давно исследую очень интересную разновидность снов: так называемые «эмигрантские сны», очень любопытная вещь. Так что я знаю точную дату, потому что сразу этот сон записал. К сожалению, проснувшись, я не помнил, о чем мы с дедом и отцом говорили, осталось лишь впечатление, что — ни о чем важном. Но поразительно все же было, что они так долго — четырнадцать и шестнадцать лет! — не снились, а тут вдруг взяли и приснились сразу оба! И я был разочарован, что ничего такого не случилось: ни тот, ни другой, в порядке выполнения договора, ничего из того, о чем я их так просил, не рас-

сказали. Ну, просто обычный сон, когда плетется все, что угодно, ну, вот наконец и дед приснился, и отец приснился, вынырнули наконец и они из глубин компьютерной памяти мозга. Лишь чуть-чуть странно было, что вот сразу — ОБА. Нет чтобы как-нибудь по очереди, а именно ОБА. В целом я был разочарован. Ну, записал для порядка — и тут же забыл. Итак, значит, этот сон был у меня в ночь на 4 сентября 1978 года. Следующую ночь, на 5 сентября, я не спал; признаться, я писал беседу для радио «Свобода» № 233. Она писалась плохо, долго, мучительно, а я уперся: вот кончу во что бы то ни стало, и все равно она получилась такая слабая, что я ее потом забраковал. Вместо нее 233-м номером идет теперь эта, что вы слушаете.

Утром 5 сентября, после бессонной ночи, я сел завтракать — и вдруг словно два ножа ударили в грудь и пошли разрезать грудную клетку на две части: это и был инфаркт. Ну, карета «скорой помощи», больница и так далее. Потом я лежал в палате и думал: так что же получается, дед и отец все-таки дали сигнал? С этим вопросом остаюсь и по сегодня. Примечание: и опять с тех пор они больше мне не снятся. Снились только раз, за двадцать с чем-то часов до инфаркта, в последний раз, когда я спал перед инфарктом. И я, знаете, как-то уже больше и не хочу, чтобы они снова приснились...

Ну вот, а теперь о самом главном: получилось так, что мне и спрашивать не надо у людей, переживших клиническую смерть, я сам прошел ее дважды, в больнице, в Лондоне.

Что я в это время видел?

НИ-ЧЕ-ГО.

Как жаль... Право, жаль. МОЯ смерть выглядела оба раза как самое обычное засыпание. Вот я еще вижу врача, вот что-то делают, я закрываю глаза — и как бы заснул, без сновидений. Просто ничего. Потом открываю глаза, вижу того же врача, думаю, что прошло пять минут. Оказывается, прошло несколько часов и за это время мое сердце останавливалось, подключали машины, вставляли в горло шланги, кололи, метались, боролись несколько часов, а у меня впечатление, что я всего лишь вздремнул, забылся на пять минут. Уснул. Без всяких снов. Проснулся — живой. Если бы не проснулся — то, значит, умер? И не знал бы, по-видимому, уже ничего об этом?

«По-видимому» — я осторожно оговариваюсь. Потому что как же быть с показаниями тех, кто что-то видел? Опять загадка. А вообще, пока я лежал в английской больнице, такого насмотрелся, что, право, стоит рассказать. Ей-богу, только ахнуть можно. Я попробую как-нибудь — в будущих беседах.



ДМИТРИЙ БОБЫШЕВ

*

ВОЛНОЙ О ПРИЧАЛ

«Боинг»

Высоко пепелится
белесый по синему след.
Летит неотмирная птица:
то ли есть она, то ль ее нет.

Вот и след разметало
по периметру бледных небес, —
сплав пластмасс и металла,
дух из бездн?

Не скажи, миллиардная штука, —
мы летали не раз.
Неужели ты кукла, ты шутка,
неужели не гулко и жутко
сердце бухало в нас?

Залетая
за оранжево-жаркий рубеж,
золотым залитая,
желто-рыжей ты делалась, беж...

И откуда выпрастывал силы? —
А землились мы с ней
мимо белых и синих,
чуть не черных огней.

Мимо темно-хвостатых
оперений наш плыл фюзеляж,
оставляя гигантку в остаток:
— Слазь, летатель, — земля ж!

Разорвала разлукою тело
на четыре огня
и в ядре громовом улетела
от меня.

Бобышев Дмитрий Васильевич родился в 1936 году. Окончил Ленинградский технологический институт. Принадлежал к плеяде молодых поэтов из ближайшего окружения Анны Ахматовой, посвятившей ему стихотворение «Пятая роза». С конца 70-х годов живет в США. Автор нескольких лирических книг, вышедших на Западе и в России, и получивших широкий резонанс мемуаров «Я здесь» (2003).

Душенька

1

...Она мне была нужна,
я тоже ей, для того же,
так как желала меня, нежна,
в жарких крапинах ее кожа,
что хотел я трогать и обонять,
касаясь губами, глядя ладонью,
обожая каждую пядь,
нежа ее и вдоль, и вспять
ложбиною молодою.

Жаль, но ее приходилось красть
(а небылицы внушались мужу),
чтобы нам отведать вдвоем и всласть
эту ловитву, приваду, страсть,
что цвела из нее наружу.

Я осуждал себя: плохо, грех...
Какой бы случай меня переделал?
А у самого на глазах у всех
счастье зашкаливало за пределы.

Но не о себе я. И, значит, не
о нежности нестерпимой, —
я о том, что роилось вокруг нее, вне,
неверной, нервной, нетерпеливой.

Из нее выпрыгивала душа,
словно из сумочки вдруг поклажа,
я же — любовался, едва дыша,
капризулей, цацей, да злоюй даже,
как она на публике хороша,
в на отпад наряде и макияже:
всех и вся закручивая на винте,
поправляя и поправляя пряди...

Тем, что: то ли я у нее, то ли те
на примете, что сзади?

Бесполезно было тут ревновать —
ведь она заведомо не моя же.
Мужнина, например? Наверяд...
Пеной выплеснутая из моря,
может быть, одна из наяд на пляже.

Или же из лазури блаженный жар
небожители на меня излили, —
я удачу таил и дллил, и дллил и
душу — ее — держал, как шар,
куст густой сирени, охапку лилий.

Пока объятия не разжал...

2

Те желанья, словно арктуры, веги,
казались несбыточно далеки.
Но вот недотрога смежала веки,
а я заставлял ее глядеть в зрачки.

И по обе стороны от астрала
душа на душу могла взглянуть:
как два лемура. При этом странно
крапивило шею у ней и грудь.

Кому-то увидеть, было б нам стыдно!
Но ведали мы да, пожалуй, лишь
те лемуры. Только никто не выдал.
Что же ты, душенька, вновь шалишь?

Эпизод

Из толпы ничевоков,
как не раз в старину,
взял девушку-Волгу
и увлек за волну.

Из тусовки славянской
и от вкусной халявы, увы,
от дыма слоями
на волю увел.

В евразийской столице
иноземцами стали мы с ней,
такой милолицей
в наряде «еще чтоб стройней».

Лепетала про тексты,
где что ни слово, то перл.
Я же думал простецки:
— Куда б нам теперь?

Вышло — некуда. Но не важно.
С Волгой разве сочтется Нева?
За бывшее не будет реванша
и за сегодня — едва.

Погляди хоть на юное фото:
вот с ним и водила б дела.
Где, в каких генофондах
тогда, не родясь, ты спала?

Ни за какие кадила
не отдал бы нежных наград,
лишь бы эта ходила
в мой вертоград.

Но, когда жизнь — финита,
вот такие и льнут
к старикам именитым
в кишмиш их поздних минут.

Ависага скорей, не Далила,
как волной о причал,
все ж одарила,
и — прощай!

На вырост

Били руками, ногами, палками. Сотруднику
МЧС Дмитрию Бобышеву, совершившему по-
пытку побега, отрезали голову двуручной пилой.

Из Интернета.

Вы умерли. А мы не умирали?

Стась Красовицкий.

Да с детских лет и многожды.

Недаром,

кто под бомбежкой побывал,
тому все бьет по темечку подвал:
и в подсознание, и под Краснодаром.
Хотя Люфтваффе в цель и не попал,
ты все живешь кадавром.

А это вот — за что тогда?

За то, что

ты с однокурсницей, едва
смеркалось, шел Сталиногорском-2,
и — в бок тебе бандитская заточка
(гуляла круто местная братва), —
ты в печень мечен был, почти что точно.

Почти, да не совсем.

И, вероятно,

то — хлястик, соскользнувши, спас.
Но просыпался ты потом 100 раз
в поту от этих вариантов:
останешься — убьют, сбежишь — ты трус и мразь.
Хоть посадили их тогда? Навряд ли.

А то вдруг за звонком звонок.

В запале

— Ты жив! — за свой вдруг в кои веки счет
Рейн любопытствует меня «почившего» насчет,
как «голоса» передавали.

...А то: ты — я. Однофамилец, тезка,
ну, Дима Бобышев на службе у Шойгу.
Чеченцы — люди. Брату, не врагу
постелят мягко, спится жестко.
Попался в рабство. Скручен был в дугу.
Рыл схроны. Жрал навоз, известку.

Был бит. Вскипел и — в ухо Зелимхую
Ахмадову. Но тут Ахмадов-брат
на козлы повалил тебя (меня) в обрат.
Двуручную пилу схватили ножевую
и, словно чурку, прочим на погляд
по шее распилили наживую...

Такое прочитаешь: ну, не слишком?
Не слишком ли? Пилить живого — чтоб?
Ахмадовы к тому же... Где мой гроб?
Обидно и до слез ведь жаль мальчишку.
Дождался мой на вырост гардероб:
сам лягу и захопну крышку.

2004,
Шампейн, Иллинойс.



О П Ы Т Ы

ГРИГОРИЙ ПОМЕРАНЦ

*

ОПЫТ МАЙКЕЛЬСОНА

В 1938 году я подружился с Агнессой Кун. Меня захватило достоинство, с которым она держалась у позорного столба при исключении из комсомола за потерю политической бдительности. У меня самого бдительность только притупилась: мой отец был пешкой, бухгалтером, когда-то с кем-то знакомый. Мне полагался выговор. Такие выговоры были примерно у третьей части студентов. Другое дело Агнесса. Ее бдительность была потеряна безвозвратно, в отношениях сразу с тремя: отцом, Белой Куном (имя которого тогда знал любой школьник), с матерью (заодно тоже посадили) и мужем, поэтом и прозаиком Анатодем Гидашом (имя у литераторов тоже на слуху). Дочь вождя венгерской революции держалась так, как только на сцене бывает, когда исключают идеального коммуниста, который и в этом качестве, как исключаемый из партии, держится как идеальный коммунист. На сцене кто-то должен был выступить в ее защиту, и я готов был поднять руку. Но выступили ее подруги, занявшие на бюро неправильную позицию. Они защищали Агнессу, а теперь, на общем собрании, — полностью отреклись и заклеили свою слабость. Я опустил руку, которую уже наполовину поднял. Мы с Агнессой только раскланивались. Я ни разу с ней ни о чем не говорил.

Оставалось познакомиться после исключения. Я зашел в комнату, оставшуюся неопечатанной, и мы с ходу проговорили несколько часов. Сталина я назвал трусом, готовым расстрелять сто невиновных, лишь бы не уцелел один, способный выстрелить в него (на большее у меня ума не хватило). Тема была смертельной, и мы побратались доверием. Когда я уходил, сердце мое пылало. Но между нами лежала, как меч Тристана, невозможность даже мысленно соперничать с человеком в тюрьме. Я выдержал шесть недель, пока пламя не стихло, и зашел второй раз. После этого опять не приходил дней двадцать. При третьем заходе симпатия улеглась в законное русло. Мы стали друзьями.

В комнате с мебелью красного дерева, избежавшей конфискации, собиралось несколько человек, чувствовавших обаяние Агнессы. Старше нас не намного (меня — на два года), она вышла замуж шестнадцати лет за человека, которого полюбила в двенадцать, и прожила с ним как с мужем шесть лет. Нечего говорить, что она намного превосходила нас опытом. «Как старший товарищ, неглупый и чуткий», Агнесса всех нас немного развивала. Из ее уст я расслышал интимную лирику Тютчева (а не только философскую, в которой тонул, как в омуте), потом принял и Блока. Однажды она спросила: «Мне любопытно, как такие мальчики, как ты и Нёма, влюбляются?» Я промолчал. Другой раз вопрос был сооружен тоньше: «Какие у тебя любимые слова?» Тут я сразу ответил: «холодное пламя». Агнесса кивнула головой и сказала: «А у меня — сдержанная страсть». Это прозвучало как синоним, как перевод моего туманного юношеского чувства на более конкретный язык.

Померанц Григорий Соломонович — философ, эссеист. Родился в 1918 году. Окончил ИФЛИ в 1940 году. В октябре 1941 года стал ополченцем на защиту Москвы; закончил войну гвардии лейтенантом, литсотрудником дивизионной газеты. В 1949 году арестован и пробыл в лагере до 1953 года. Начал писать в самиздат в 1962 году, стал печататься за рубежом с 1972 года, на родине — с 1990 года. Автор более десяти книг по востоковедению, философии истории, религиоведению, истории России и русской литературы.

Впоследствии мы с Агнессой раздружились, но я вспомнил ее слова, читая статью Дмитрия Комма «Горячая жажда вечности» («Искусство кино», 2004, № 5). Статья лаконично передавала развитие студенческой революции 1968 года, и я почувствовал аналогию с зигзагом истории XV — XVI веков. Студенты пытались осуществить Телемскую обитель, вынесенную в массу, на площадь. «Делай, что хочешь». Желания сердца, ума, желудка и чресел в массовом масштабе закрутились на одном уровне, и высшее, всегда хрупкое, стремительно пожиралось низшим. Безудерж исторического времени катится не к вечности, а к свинству. На горизонтали свинское всегда имеет больший рейтинг, чем божеское. И не случайно за разгулом Возрождения последовал XVII век с его пафосом Долга и старой лестницей мистического опыта, на которой горизонтальная площадка — только минута отдыха по пути вверх. Не ждет ли аналогичный зигзаг постмодернистский Запад? Мой старший пасынок, друг и наперсник Венедикта Ерофеева (к сожалению, оба уже умерли), был влюблен в XVII век. Может быть, Володя Муравьев что-то угадывал? Может быть, дух перехода к чему-то сходному можно угадать и в «Возвращении» — кинофильме Звягинцева?

Прямая аналогия с великанами Рабле почудилась мне в «творчестве Расса Мейера, с его феерическими актами совокупления в лесах и на горах, где женщина — всегда природная стихия и мистическая богиня плодородия с огромными, как у языческих идолов, грудями» (из той же статьи). Если отвлечься ото всего, кроме физического гигантизма, то Гаргантюа и Пантагрюэль так же воплощали идеи Пико делла Мирандолы о всемогуществе Человека, как творчество Расса Мейера — идеи молодого Георга Лукача и Герберта Маркузе (которых Патрик Бьюкенен считает виновниками смерти Запада). Но воплощение у Мейера было прямолинейным, как телеграфный столб.

Смотреть такие плакатные фильмы я бы просто не стал. Но (может быть, читатель удивится) мне скучна и картина сладкой жизни, явно ведущая к опустошенности и петле Ставрогина. Возникает взгляд с планеты Смешного человека на вселенски глупую Землю, не способную понять, что свобода структурна, иерархична и путь любви — это власть сердца над чреслами, это способность использовать давление гормонов, как флейтист — силу своего дыхания.

Признаюсь, что и «8½» вызвал у меня мучительную скуку. Проверая свое впечатление, я недавно еще раз просмотрел знаменитый фильм, с начала до конца. Очень скучно. Герой — импотент сердца. Он действительно очень плохой любовник (это верно заметила одна из актрис). Ему не приходит в голову, что вся проблема сексуальных связей с кучей женщин, не затрагивающих сердца, «достойна старых обезьян хваленов дедовых времен», и зритель, помнивший «Дорогу», «Ночи Кабирии», «Репетицию оркестра», с огорчением жалеет о потерянном времени. То, что в «8½» удалось, сцены детства, гораздо лучше получилось в «Амаркорде». А тема любви... лучше бы Феллини ее не трогал.

Наговорив столько ереси, противоречащей всем соборам постмодернистской церкви, я чувствую необходимость сослаться на классические примеры. Существует письмо Шопена Жорж Санд, что в ноктюрне, который он ей посылает, запечатлена музыка только что проведенной с ней ночи. И существуют «Рассказы русской странницы» Екатерины Федоровны Колышкиной¹.

Колышкина коротко описывает, как влюбился в нее журналист Дохерти, писавший книгу о ее подвижнической жизни. И как она ему отказала, потому что не могла оставить Дом дружбы в Гарлеме. А Дохерти через неделю пришел к ней снова и обещал, что распродаст все свое имущество, раздаст бедным и будет жить с ней с трущобах. Эту клятву он повторил перед архиепископом, и их повенчали, с медовым месяцем в три дня. Невесте было сорок семь, жениху

¹ Мировому читателю она известна под своей фамилией в первом браке — баронесса де Гук. Баронессе посвящено несколько ярких страниц в «Автобиографии веры» Томаса Мертона, разошедшейся более чем в двадцати миллионах экземпляров. Там есть биографические неточности, но обзор дан.

еще больше. До его смерти они счастливо прожили тридцать два года и за это время только один раз поссорились. Вдвоем они основали третью общину Колышкиной, в Канаде; там жили и монашествующие, и супружеские пары. Отголоски счастливого брака чувствуются во многих поучениях, рассыпанных в книгах Колышкиной о созерцании. Екатерина Федоровна умерла в канун перестройки, но сестры ее общины создали подворье в Магадане и издают ее книги по-русски. Я неоднократно цитировал «Пустыню». К сожалению, две другие книги ее трилогии — «Соборность» и «Странничество» — до меня не дошли. Религия Колышкиной (католицизм с элементами православия) так же нестандартна, как образ ее жизни. Мне она во многом близка.

После двух классических примеров я чувствую возможность поделиться своим собственным опытом. Но у меня об этом опыте десятки страниц, особенно в «Записках гадкого утенка», а кусками и в других: «Две широты» в книге «Сны земли», кое-что в книге о Достоевском. Много повторяется, и не хочется совершить еще повтор. Да и места для него нет в журнальной статье. Ограничусь двумя-тремя отрывками.

Когда началось у меня с Ирой, она предупредила меня: самое опасное препятствие для любви — когда не остается никаких препятствий. У Иры был очень большой опыт, но женский, а это задача мужчины. Выбравшись из-под глыб быта, оставшись вдвоем, я понял, что Ира права. Пришлось сосредоточить сердце, ум и волю на одной задаче. Меня называли люмпен-пролетарием умственного труда, я не написал ни одной пугной строчки, но я нашел стиль жизни, при котором любовь не растекалась, как кисель, а разгоралась. Потом Ира попыталась вырваться из назначенного ей врачами срока — жить не больше десяти лет — и умерла на операционном столе. Я несколько месяцев умирал вместе с ней.

Мне помогла забота о пасынках — и фронтовая, а потом тюремная привычка держать удар. Не знаю, что важнее. В сердце оставалась дыра. Смерть одной женщины разрушила весь мировой порядок. И вдруг меня восстановило стихотворение «Бог кричал», и я с утра до вечера впитывал стихи, перекликавшиеся с этим, главным.

Впечатление было огромное, но далекое от эротики, как небо от земли. Образ Бога, *самого* страдающего в каждой страдающей твари, не жертвующего сыном, как Авраам, а *собой* жертвующего, сразу вошел в мое сердце. Я принял Его как откровение: Бога, творящего мир из самого себя, присутствующего в каждой твари и полностью страдающего и живущего в каждой твари, перекрывая все страдания радостью творчества. И я, человек, мог сквозь страдания, сквозь все свои потери участвовать в Божьей радости.

Автор этих стихов казался мне одетым в бронзовые одежды. Только через несколько месяцев я разглядел за ними больную девушку, пленницу семьи, где ее не понимали, и скованную страхом грубого мужского прикосновения. Я написал эссе «Пух одуванчика», по мотивам записи в дневнике Иры: «Снилось прикосновение, легкое, как пух одуванчика». Эссе не было личным письмом, но какую-то атмосферу несло, и через месяц Зина прочла мне — тоже без прямого адреса — сказку «Фея Перели», с которой теперь начинаются все сборники ее сказок. Там разъяснялось, при каких условиях феи выходят замуж: надо поймать глазами живую изумрудину из ее глаз. Я уже поймал изумрудину 19 июня, слушаю стихи; и с 12 февраля 1961 года мы не расстаемся. Ни одно стихотворение не переписывается начисто без моего согласия. Ни одно мое эссе, затрагивающее духовные проблемы, не печатается без исправлений, на которых настаивает Зина. А одну книгу — «Великие религии мира» — мы написали вместе, и читатели не знают, кто какую главу написал.

Ира и Зина совершенно не похожи друг на друга. Когда Ира слушала музыку, можно было следить за партитурой по ее лицу, вплоть до финала, когда она с изнеможением откидывалась на спинку кресла. Зина собиралась в один

комок и вдруг поворачивалась ко мне глазами, в которых музыка слилась в плающий сгусток, и не дай Бог не прими этот сгусток из глаз в глаза.

Другой пол — это великая тайна, тайна другой эмоциональности, другой интуиции, других ходов мысли, других глубин. И эта другая глубина должна стать твоей «половинкой». Платоновская половинка, заранее заготовленная, со всеми необходимыми подробностями, — только миф. Можно угадать способность к большой любви и пойти ей навстречу, а дальше действует любовь. Это не притирка, не стирание острых углов (хотя есть и такое в супружестве), а рост, развитие, становление нового. И только через годы приходит чувство другого как части твоей собственной души.

Помню, как я сделал решительный шаг в Зинину вселенную: сел на пирс возле моря и просидел на корточках часа полтора, погружаясь в вечерний туман и всплески волн... Потом я стал гражданином этого царства. И с весны 1962 года, в Рублевском лесу, у меня вдруг стали складываться обрывки эссе, да так и складываются больше сорока лет подряд. Все мои книги — сборники таких эссе. От больших систем я решительно отказался, большие конструкции нельзя проверять сердцем, и неизвестно, где логика уводит в тьму внешнего. Мир, в котором мы живем, не делится на части. Вернее, неделим стержень этого мира, к которому все возвращается. Я не могу показать это без двух-трех стихотворений Зины. Только после них возможен мой комментарий:

Вот он звучит — тишайший в мире рог —
Беззвучный гром, что, мира не нарушив,
Вдруг отзывает ото всех дорог,
Из тела вон выманивает душу.

Когда сей гром, сей рог тебя настиг,
Он протрубил: «Готовься к предстоянью!
Сейчас наступит вождельный миг —
Века обетованного свиданья!»

Сейчас... сей час... все глубже внутрь. В упор.
И — собран дух. Аз есмь! И вот тогда-то
Выходишь ты в торжественный простор,
В великую расправленность заката.

И тянутся объятия зари,
И в этом нескончаемом полете —
Единый возглас: «Господи, бери!»
О, убыль мира! Истонченье плоти!..

И Он тебя поистине берет,
Тот, кто насушней воздуха и хлеба,
И длится нисхождение высот,
Земле на грудь проникнувшее небо...

И после полной близости, такой
Пронзительно мгновенной и бессрочной,
Приходит тот прозрачайший покой,
Который люди называют ночью.

Хрустальный час. Он бережно принес
Желанный отдых. В тишине высокой
Дрожат крупинки благодарных слез,
Непролитых из замершего ока.

Это очень точное описание вечера в Паланге. Близость начинается в общем созерцании стволов сосен, краснеющих в предзакатных лучах. Потом мы переходим через дюны — навстречу солнцу, садящемуся в море. Это пик космической литургии. Будет ли еще одна страстная вспышка, перед тем как заснуть, — не важно. Я не запомнил, была ли она или нет. Ночь — «желанный отдых» после огня, из которого вышло сердце.

Даже в стихотворении, написанном после ночи в пустой даче, нельзя отделить близость мужчины и женщины от космоса и Бога.

Нарастанье, обступанье тиши...
Нас с тобою только сосны слышат.

Прямо в небо, прямо в сердце вниди...
Нас с тобою только звезды видят,

Наклонившиеся к изголовью,
И остались мы втроем — с Любовью.

Для того лишь и замолкли звуки,
Чтоб Она смогла раскинуть руки.

Для того лишь мир и стал всецелым,
Чтоб Она смогла расправить тело.

Задрожали, растеклись границы,
Чтоб Она сумела распрямиться,

Каждый миг ушедший воскрешая...
Боже правый, до чего большая!

Боже святой, до чего огромна!
Кто сказал, что Ей довольно комнат?

Кто задумал поместить под крышу
Ту, которая созвездий выше?

Кто осмелился назвать мгновенной
Ту, которая под стать Вселенной?!

Любовные стихи в узком смысле слова Зинаида Миркина стала писать только на старости лет, из чувства тревоги, что я умру раньше и она останется в одиночестве.

1

Мы два глубоких старика.
В моей руке — твоя рука.
Мои глаза — в глазах твоих.
И так невозмутимо тих,
Так нескончаемо глубок
Безостановочный поток
Той нежности, что больше нас,
Но льется в мир из *наших* глаз,
Той нежности, что так полна,
Что все пройдет, но не она.

2

Мой сокровенный, тайный мой,
Какою бездною немой,
Каким безбрежьем тишины
С тобою мы соединены!
Я, в душу погрузясь твою,
До дальних далей достаю.

С минуты первой до сих пор
Из глаз в глаза течет простор.
Весь бесконечный небосвод
Из глаз моих в твои течет,
И нету ничего священной
Легчайшего прикосновенья.
Оно — как тихое моленье
И тайное богослуженье.

Глаза в глаза, ладонь в ладонь,
И — разгорается огонь,
Который все солнца зажег,
Который высекает Бог.

Я прилагаю эти стихи как документ опыта, подобного опыту Майкельсона. Допустим, что другого такого нет. Достаточно было одного опыта Майкельсона, чтобы пошатнуть здание физики Ньютона.

Студенческая революция 1968 года рванулась по архаическому пути, по затоптанной и опошленной дороге в Телем. Ей надо было повернуть из «ньютоновского» пространства в «эйнштейновское», коснуться «релятивистских скоростей», заложенных в самом естестве, к высокому напряжению духа. Вместо этого она рванулась к химическим стимуляторам, и нарастает угроза гибели.

Я разделяю чувство западных шестидесятников, что наша цивилизация оторвала человека от естества и от тайны, скрытой в естестве, от мистического чувства связи плоти с царствием, которое внутри нас. Я согласен, что в техногенном мире только порыв, связывающий женщину с мужчиной, не удалось полностью механизировать, и поэтому чуть ли не все естество, доступное в сутолоке дней, — это соприкосновение половых органов, все менее связанных с сердцем. В терминах кибернетики оно часто может быть описано как биологическая машина. Но из механической скуки нельзя вырваться никакой революцией, ни политической, ни сексуальной. Только через паузу созерцания, через тишину природы, через тишину и глубину, схваченную в музыке, поэзии, живописи великих эпох, через восстановление контакта с собственной глубиной и, наконец, через культуру сдержанной страсти, при постоянном духовном усилии — не терять власти сердца над нажимом гормонов (противоположный случай описан в письмах Цветаевой Бахраху).

Я считаю глубоко верной библейскую формулу: Адам познал Еву. Сближение мужчины и женщины — акт расширенного познания, акт выхода из абстрактной односторонности своего пола. Мужчина познает женщину, женщина познает мужчину. И вместе они познают целостный образ Бога, заложенный половинками в мужчину и женщину. Это задача, которую нельзя решить с ходу. Это задача на всю жизнь.



КОММЕНТАРИИ

АЛЛА ЛАТЫНИНА



ВАШИ КЛАССИКИ — УРОДЫ И КРЕТИНЫ, —

объясняет нам Маруся Климова

Марусю Климову в Москве знают мало. Зато в петербургской литературной тусовке она знаменитость. Правда, у кого ни спросишь о причинах такой популярности, никто не торопится назвать написанные ею романы. Куда чаще вспоминают переводы: Татьяна Кондратович, больше известная под своим лихим псевдонимом, перевела едва ли не всего Луи-Фердинанда Селина, «Кэреля» Жана Жене, скандальные романы Пьера Гийота «Эдем, Эдем, Эдем» и «Проституция» и много чего еще, подготовила сборник «Французская маргинальная проза» первой половины XX века, выдержавший два издания (СПб., «Гуманитарная академия») и неутомимо трудится на ниве популяризации этой самой прозы. Но вот парадокс: эта, в общем, культуртрегерская деятельность принесла ей куда меньше известности, чем многочисленные проекты на ниве контркультуры.

Отзвуки одного из них — фестиваля петербургского декаданса «Темные ночи», проведенного «Фабрикой Грез Маруси Климовой» совместно с другими столь же экзотичными организациями еще в феврале 1999 года, — быстро докатились до Москвы. Действо происходило в самом подходящем для этого месте — петербургском зоопарке. Помню красочный рассказ обычной невозмутимой Татьяны Вольтской, но чтобы не ссылаться на такой ненадежный источник, как устное слово, процитирую фрагмент ее же статьи: «...в здании бывшего змеюшника толклись какие-то раскрашенные мужики в коротких юбках и колготках, безголосые певцы с печатью всех возможных пороков на испитых лицах, столь же испитые поэты, произносящие на редкость убогие тексты, и необыкновенно „смелые” модельеры, один из которых нарядил свою модель в костюм из сырых яиц, которые тут же на глазах у изумленной публики и разбил»... Даже Капа Деловая из «Московского комсомольца» (которую, кажется, ничем не проймешь) и то была озадачена при виде «разношерстных трансвеститов», бледных прыщавых поэтов, декламировавших неизбыточно-тоскливые оды о «прекрасном Амстердаме, где мужчины могут любить мужчин, а женщины — женщин!», и крепких юношей в портупях из Национал-большевистской партии Лимонова, охранявших весь этот фестивальныи сбор, и лаконично определила происходящее: «богемно-гомосексуальный сейшн с нацистскими секьюрити и разговорами про декаданс» («Московский комсомолец», 1999, февраль).

Реакция прессы, однако, устроителей не только не смутила, но скорее ободрила, и в канун нового тысячелетия «Фабрика Грез Маруси Климовой» провела «фестиваль декаданса» с еще большим размахом, на сей раз совместно с движением «Аристократический выбор России», которое возглавляет опять-таки Маруся Климова. Что тут сказать про аристократию? Видно, она действительно в упадке.

Другая известная мне акция под предводительством Маруси Климовой и Вячеслава Кондратовича была приурочена к 200-летию Пушкина. Если б команде «знатоков» клуба «Что, где, когда?» задать вопрос, под каким девизом могут провести юбилей Пушкина деятели контркультуры, назвавшие свой фестиваль в противовес широко известным «Белым ночам» — «Черные ночи», они

бы за минуту вычислили ответ. Правильно — Дантес. Так и назвали клуб, в манифесте которого говорилось, что члены его «не скрывают своей субъективной ангажированности и внимания ко всему непривычному, не до конца понятному, вытесненному, пограничному, маргинальному в современной культуре». Так назывался и журнал, первый номер которого вышел как раз в то время, когда имя Пушкина так затрепало в преддверии юбилея, что нашлось немало желающих отправиться на презентацию «Дантеса» (ее устроили и в Питере, и в Москве). Я не пошла, но кто-то из моих коллег по «Литгазете» не поленился и притащил номер в редакцию. Он долго валялся на столе, вызывая разнообразные эмоции у посетителей; самым немногословным был один известный писатель, который, полистав журнал, коротко осведомился: «Где бы тут помыть руки?» Запомнилась программная статья «Поэт и денди» Вячеслава Кондратовича, мужа Маруси¹, как говорят, идеолога всей тусовки, удивившая своей густой окраской в голубые тона; Дантес там выступал символом вечно ненавидимой обывателем красоты (которая тесно связана с гомосексуальностью и дендизмом). Самым же характерным материалом был разухабистый стёб по поводу сравнительной длины... как бы это выразиться, не нарушая традиций толстого журнала? — ну, скажем, так: детородных органов у классиков русской литературы. Журнал, правда, скоро увял — вышло, кажется, три номера, но клуб «Дантес» вроде как заседает, и «Фабрика Грез» вроде тоже что-то там производит.

В том же году кто-то из питерцев занес в «ЛГ» роман Маруси Климовой «Домик в Буа-Коломб», изданный символическим тиражом. Подготовленная специфической известностью Маруси Климовой и ее переводческими литературными вкусами, я ожидала, что роман будет... ну, чем-то вроде русского варианта романа Пьера Гийота «Проституция», действие которого происходит в мужском борделе. Борделя, к счастью, не было, был просто русский бардак на французской почве. Там действовал какой-то французский аристократ, удалившийся в анархизм, который собрал в своем доме целый зоопарк из невменяемых русских эмигрантов; все это сборище гудело, говорило, спорило, пило, испражнялось, совокуплялось и, должно быть, осуществляло кредо журнала «Дантес» о слиянии аристократизма с «маргинализмом». Аристократизм присутствовал лишь в титуле героя. Маргинализма было сверх меры. Помню, один из героев там высказывал мысль, что, когда они победят, гимном России будет «Мурка», а на знамени — лицо Маруси.

Я дочитала до середины, а потом принялась пролистывать целые страницы, не потому, что читать было противно (бывают раздражители и похуже), а потому, что все про роман поняла и соскучилась... Домик в Буа-Коломб» считается связанным с более ранним романом «Голубая кровь» — он вышел в 1996 году тиражом в 100 экземпляров, однако этого оказалось достаточно для тусовочной раскрутки: издатель Дмитрий Волчек написал статью, муж Вячеслав Кондратович — другую, сравнив жену с Петронием и указав на явные «задатки гениальности» в ее романе, в противоположность «усредненной талантливости многочисленных ремесленников-профессионалов»; Сергей Юрьенен сделал передачу на «Свободе», и роман появился в номинации на премию «Северная Пальмира», но не был отмечен, что сильно способствовало нападкам Маруси Климовой на весь институт премий. С этим романом у меня произошла маленькая накладка: работая над настоящей статьей, я из филологической добросовестности решила его прочесть и скачала с какого-то из интернет-сайтов. А когда стала читать, выяснилось, что скачалась только половина. Там было про петербургскую тусовку времен перестройки и не-

¹ Не без некоторого колебания вывожу я имя «Маруся». Но как, в самом деле, сокращать подобный псевдоним? Не писать же Климова? Ведь никакой такой Климовой не существует, есть «Мурка, Маруса Климова». Всего правильнее было бы, следуя духу первоисточника, и употреблять для краткости это ласкательное имя «Мурка». Но — тогда уж не миновать упреков в фамильярности. Вот и остается одно — Маруся.

прикаянность бедных геев — часть из них отправится позже из маргинального Петербурга в маргинальный Париж и попадет в Буа-Коломб. Половины романа мне снова хватило.

Вообще-то я считаю, что выносить суждение о книгах, не прочитанных до конца, не совсем прилично. Но — Маруся Климова иное дело. «Не могу сказать, чтобы мне нравился фильм Говорухина „Россия, которую мы потеряли”, честно говоря, я вообще его не смотрела», — эта восхитительная фраза лаконично описывает модель формирования ее собственных оценок. Когда продаешь запах от шашлыка, надо быть готовым получить плату звоном монет. Роман «Белокурые бестии», вроде как завершающий трилогию, я совсем было решила прочесть, но тут мне попала рецензия Андрея Левкина, из которой я узнала, что текст романа принадлежит не автору, а ББМ, что расшифровывается как Белокурая Бестия Маруся, и я решила, что могу не мучиться.

Однако в меру своих сил я наблюдала за воплощением нового проекта Маруси Климовой, видимо, аккумулировавшим ее неукротимую энергию (отзвуки громких околотературных акций Маруси и компании в последние годы до Москвы не доносились). Я говорю о «Моей истории русской литературы». Перед тем как выйти отдельной книжкой (СПб., «Гуманитарная Академия», 2004, 352 стр.; иллюстрации Зои Черкасски), которая, собственно, и явилась поводом настоящих заметок, она печаталась на протяжении 2002 — 2003 годов небольшими порциями в сетевом журнале «Топос», куда я время от времени забредала. Помню, я не слишком удивилась, наткнувшись в одном из первых же выпусков на знакомые рассуждения о том, что нормальному человеку совершенно незачем читать такую «плоскую чушь», как «Я помню чудное мгновение», что разгадка непереводаемости Пушкина в том, что «переводить-то, собственно, нечего», да и вообще Пушкину Маруся предпочитает Дантеса (более того — он самый любимый ее герой во всей русской литературе). Правда, сам Дантес предпочитал мужчин, в чем для нее тоже нет ничего удивительного: «Дантес был слишком красив, а красота — это сугубо мужское дело».

Журналы вроде «Дантеса», быть может, даже и полезны как своего рода вакцина, с помощью которой вырабатывается иммунитет к загадочной мании, время от времени охватывающей левые слои интеллигенции: объявлять войну культуре. Уже не пугаешься при звуках бутафорских бомб, ведь заранее ясно, что маленькому потешному войску не захватить веками возводимую крепость. Тем более, что проверка на прочность стен, залапанных салными руками миллионов празднующихся туристов, время от времени необходима. Заметки Маруси Климовой поначалу мне казались такими легкими стрелами, прощупывающими слабые места кладки. К тому же никак не могу сказать, что намеренно эпатажные, провокативные, игровые, парадоксальные, деланно-простодушные дразнилки Маруси Климовой были лишены шутовского очарования. В особенности пока их дегустация не грозит передозировкой.

Я не педант-литературовед, испытывающий приступ стенокардии при виде бесцеремонного обращения с фактами, именами и датами и той веселой наглости, с которой образованность и знания объявляются никчемными: «У меня... есть некоторое искушение воскликнуть почти как тетушка Митрофанушки, что хронология мне совсем не нужна, так как существуют же для чего-то литературоведы, которым за их знание точных дат, в отличие от меня, еще и платят бабки... Знания должны утешать извозчиков и литературоведов, иначе они могут взбунтоваться». (Кстати, знаменитая фраза насчет извозчиков принадлежит не тетушке Митрофанушки, а его матушке.) Меня скорее рассмешит, чем возмутит то, что автор может поселить Тургенева на «старых заброшенных *дачах*» или в одном доме с «супружеской четой Виардо», видимо, распространяя обычаи и этические представления двадцатого века на девятнадцатый. (Мы-то с вами ездили на дачи, не в поместья, да и Маяковский в

сходной ситуации жил в одной квартире с Бриками, зачем же Тургеневу снимать виллу по соседству с Виардо, тратиться?) Зато ничто не мешает мне оценить остроумное определение «тургеневские юноши» (произошедшее от выворачивания наизнанку набивших оскомину «тургеневских девушек»), и я могу признать нетривиальность авторских соображений о тургеневских безвольных юношах, которые влюбляются в «фатальных женщин старше себя», как предтечах героев Захер-Мазоха и отрицательных персонажей советских фильмов.

Маруся Климова, разумеется, многое перепутает в хрестоматийной истории про то, как Некрасов и Григорович прибежали к Белинскому с рукописью «Бедных людей», мол, «новый Гоголь объявился», забыв вовсе про Григоровича, товарища Достоевского по Инженерному училищу, и вообразив, что таким товарищем был Некрасов (вовсе ему не знакомый). Но это не мешает ей высказать остроумную догадку, что «все дальнейшее творчество Достоевского (после дебюта, поддержанного Белинским. — А. Л.) и есть, собственно, не что иное, как борьба с Белинским, которому никакой Достоевский совсем был не нужен, а был нужен именно „новый Гоголь” и никто другой: „новый Гоголь”, которым управляет властитель дум Белинский». Меня всегда поражала эта непроницательность самого расхваленного критика в истории русской литературы, который брезгливо отвернулся от Достоевского именно тогда, когда тот стал нащупывать свой совершенно особенный путь, написав «Двойника». А Достоевский, как брошенная девушка, страдал — может, и к петрашевцам от этого подался? Тогда роль Белинского остается все равно позитивной: не подвергни он Достоевского немилости — не попал бы тот на плаху. А без плахи и каторги не было бы Достоевского, как Солженицына — без опыта ГУЛага.

Впрочем, я отвлеклась. Пора возвращаться к текстам Маруси Климовой. Натыкаясь на них в Сети, я была доброжелательным читателем, готовым принять и глумливый стёб, и демонстративное невежество, и откровенный эпатаж ради торжества самой идеи свободного самовыражения автора, ради священного права тащить в литературу все: детские впечатления от чтения Толстого и Достоевского, взрослые обиды от того, что переводчицу Селина не пригласили на торжественный обед в его честь, рассказы о друзьях и знакомых, о русских эмигрантах в Париже и французских литераторах, размышления о гомосексуализме и девиантном поведении как творческом начале, о просмотренных кинофильмах и о городе Петербурге.

Поскольку заметки в свободном жанре какого-то хлестаковского стёба (Хлестаков для Маруси — «наш русский Моцарт», так что сказано не в обиду) все же были связаны темой русской литературы, то я невольно акцентировала внимание не на плоских дерзостях, а на попадающихся то тут, то там остроумных замечаниях и удачных парадоксах. Некоторые из них мне даже запомнились. «Тургеневских юношей», о которых речь шла выше, стóбит «спящий красавец» — такое определение дано Блоку, которому, по мнению Маруси, удалось заснуть в ранней молодости, «и его сон длился ровно столько, сколько его жизнь, так как его пробуждение практически совпало со смертью».

Не откажешь в меткости и лаконичной аттестации Брюсова как «фальшивого декадента». «В то время как Блок „спал и видел сны”, находящийся рядом с ним Брюсов только прикидывался спящим». А разве не заслуживает интереса сравнение радикальной новизны романа Андрея Белого «Петербург» с «радикальностью разрушительного взрыва», после чего от романа как жанра остается «груда мусора, куча осколков»? «Что-то от Гоголя, что-то от Достоевского...», и вокруг этой груды осколков и сегодня снуют писатели, «перебирая их и перекладывая в свои маленькие кучки, совсем как бомжи вокруг помойки, куда состоятельный хозяин только что выбросил разлетевшееся на куски старинное зеркало в дорогой оправе...». «Наверное, Белый сделал с романом то же, что Кандинский с живописью», — добавляет Маруся, намеренно дразня тех, кто чтит основоположника абстракционизма среди главных идиологов культуры-XX.

Особенно меня позабавил тот артистизм, с которым Маруся Климова расправилась с Маяковским. Нельзя не улыбнуться, читая о детской влюбленности школьницы (тогда еще не Маруси Климовой и даже не Кондратович) в Маяковского и постигшем ее в десятом классе разочаровании. «Главным образом я не могла понять, зачем такой неотразимый и величественный поэт посвящал свои стихи и поэмы столь невзрачному и тщедушному существу, как Ленин... К тому же эта „поздняя любовь“ Маяковского... была без взаимности: Ленин всегда отзывался о Маяковском крайне сдержанно и явно предпочитал ему Пушкина... Нет, что ни говори, а Ленин с Крупской составляли куда более гармоничную пару!»

Наверное, я могла бы множить примеры эпатажных и парадоксальных, метких и остроумных замечаний Маруси Климовой. Однако, читая уже не коротенькие заметочки в сетевом журнале, а книгу в переплете, я испытываю все больше и больше затруднений в поисках таких примеров, словно описанный Марусей Климовой бомж перед грудой мусора, разыскивающий осколки зеркала. Зато в книге выступает то, что терялось и ускользало в отрывочных текстах: однообразие шуток, шаблонность парадоксов, повторяемость приемов. Когда автор выворачивает наизнанку общепринятое суждение и атакует его — возникает эффект неожиданности, парадокс работает. Когда автор противоречит общепринятой точке зрения всегда — эффект неожиданности пропадает. Стало общим местом сетовать, что на телевидении нет «никакого настоящего, последовательного, в высшей степени поучительного насилия... Все гоняются за маньяками, совсем затравили несчастных». Писатели публично сетуют, что люди перестали читать? Маруся скажет: «К счастью, в России есть люди, которые совсем не читают книг, — на них вся надежда, можно сказать, последняя». Стало аксиомой, что любовь, вера, смысл жизни — вечные темы русской литературы (и не только русской, конечно)? Маруся Климова отчеканит, что «здоровые и вечные чувства» — это «вовсе не любовь или же предрассудок вроде веры в бога, а... ненависть, презрение к людям и злость».

В результате вместо образа автора-интеллектуала, атакующего обывателя с набором окостеневших догм (как это постоянно декларируется), возникает образ озлобленного подростка, который выражает свое неприятие взрослого мира тем, что все делает наоборот. Взрослые требуют мыться — так буду ходить грязным, пугаются испорченного лифта — вот я кнопки и повыломаю, просят не шуметь — а вот я вам магнитофон врублю на полную мощность, твердят, что надо учиться, — так вот назло брошу школу. Маруся Климова признается, что сожгла свой университетский диплом назло родителям. Вот-вот: ценное признание для психоаналитика. Даже излюбленные слова Маруси Климовой — *урод*, *дебил*, *кретин* — отдают подростковостью. Кстати об *уродах*. В журнальном фрагменте выпады по поводу внешности какого-нибудь русского классика выглядят просто маленькой дерзостью. В книге выстраивается уже целая галерея портретов, заставляя задуматься над особенностью зрения автора.

Пушкин — «просто урод», Толстой — «злбный лохматый старикан с развевающейся седой бородой», с личностью которого связано ощущение «тесноты и тяжести», у Некрасова — унылая физиономия, козлиная бородка и красный алкоголический нос, а его портрет работы Перова отмечен «любовью к уродству». Еще большим «уродом» был Чернышевский: «близко посаженные близорукие глазки, огромный лошадиный нос, тяжелая челюсть и низкий лоб, как у питекантропа». Разочаровывает Марусю портрет Гаршина (даром что все современники на редкость дружно называли его лицо прекрасным): «дебильная физиономия в железнодорожной фуражке, блаженный взгляд вытарашенных глаз» (кстати, железнодорожником писатель никогда не был — а ведь какое темпераментное отступление о железных дорогах связала Маруся Климова с именем Гаршина). Надо сказать, особенность взгляда, описанная в свое время Андерсеном, формировалась у Маруси с годами. Так, в юности ей нра-

вился портрет Блока: «благородное измученное лицо, развевающиеся кудри, бант на шее». Потом постепенно он стал писательницу раздражать: «что-то дебилское все больше проглядывало в этом перекошенном лице, в брезгливо изогнутых губах», и теперь Блок представляется ей «чуть ли не уродом». А вот Горький удостаивается не самого злобного портрета: «Скошенный назад лоб, короткий нос, запавшие щеки, залезанные назад волосики, раскосые хитрые глазки — такие лица бывают у железнодорожников, электриков, токарей-плотников». Горькому повезло — он оказался похож на дедушку Маруси.

Озадаченная этой вереницей уродов, в которую превратилась портретная галерея русских литераторов, я попробовала вообразить облик писательницы, которая столь чувствительна к красоте. Статьи в «Топосе» фотографией не сопровождалась, что давало полный простор фантазии. Я почему-то представила себе худую женщину с рыжими волосами и породистым надменным лицом, ну как Зинаида Гиппиус на портрете Бакста... Или — гордый облик Ахматовой с портрета Альтмана. Не зря же Маруся Климова так любит аристократизм и декадентство. Правда, псевдоним — уж точно не аристократический. Но ведь Маруся Климова из воровской песни тоже, наверное, стильно выглядела. Красавица воровка в чекистской «кожаной тужурке», с наганом в руках. Ума Турман в фильме «Убить Билла». Но крупная фотография Маруси Климовой на обложке книги ставит предел фантазиям, рождая неудержимое желание применить к рассматриваемому портрету авторский метод... Такие лица бывают у ткачих, буфетчиц, продавщиц сельских магазинов, железнодорожниц в оранжевой униформе и прочих представительниц пролетариата.

Однако шутки в сторону. Тем более, что в книге обнаруживается вовсе не шуточная претензия. Задача автора, оказывается, — «тотальная переоценка существующих ценностей». Так написано в аннотации, над которыми обычно принято смеяться. А зря. Ибо в современной практике издания малотиражных книг подобные тексты обычно пишут авторы. К тому же в журнале «Топос» воспроизведен расширенный вариант аннотации, но без всякой ссылки на издательство, от которого, видимо, никак не ждут обвинений в плагиате. И если подобная аннотация не соответствует содержанию книги, то по крайней мере дает хорошее представление об амбициях писателя. Так вот, они состоят не в том, чтобы высунуть язык культурной традиции, и даже не в том, чтобы «достать обывателя», что иногда бывает полезно. Но в том, чтобы «заново переписать историю» русской литературы. А вот эти претензии юмором уже и не пахнут. Пахнут же комплексами и застарелой обидой на мир.

Новая концепция истории русской литературы оказалась проста как валенок. И для ее вербализации достаточно немногих слов — не зря же автор находит самой симпатичной фигурой советского периода литературы Эллочку-людоедку. Русскую литературу, как мы уже помним, создали уроды. А еще почти все они — дебилы, кретины и тупицы. И тексты их тоже дебилские и кретинские, и герои — дебилы и кретины. Пушкин был продолжателем графоманской традиции и писал чушь, Толстой в детстве был «закомплексованным уродом», от этого «становится понятно, почему в его романах все положительные герои тоже закомплексованные уроды...». Во всем романе «Война и мир» Марусе «нравится только Элен Безухова, холодная светская красавица, обращавшаяся со своим жирным дебилем мужем именно так, как он того заслуживал», Салтыков-Щедрин был «абсолютным отморозком», Хлебников — «полный и откровенный олигофрен с капающей изо рта слюной», «законченный дебил», Платонов — «его брат-близнец по разуму», «с такой же невнятицей в голове и книгах и откровенно дебильскими суждениями об окружающем мире», ну а уж Горький — тот просто «самый тупой в русской литературе». Основной же вопрос современной культуры — «откуда взялось это огромное количество кретинных, которых еще большее число людей вокруг называют гениями». Вопрос этот кажется Марусе столь важным, что он даже вынесен на обложку.

Однако в культуре редко разрушают что-то просто из страсти к разрушению, чаще всего ниспровергателям не хватает пьедесталов. Тут пора вернуться к переводческой деятельности Маруси Климовой и вспомнить, что среди возглавляемых ею обществ есть и «Общество друзей Фердинанда Селина» и что она является не только его переводчиком, но и неумоимым популяризатором. Правда, есть и те, кто полагают, что Селину с Марусей сильно не повезло. Сергей Солоух, например («Русский Журнал», 2003, 29 мая), разразился по поводу Марусиных переводов едким памфлетом. «Фанатка, лишенная поэтического чутья, но во всеоружии подлинного энтузиазма», Маруся Климова, по его мнению, со всей прямоотой дочери капитана бестрепетно переводящая сложные любовные сцены простым матросским языком, орудующая «молотком и рашпилем», соорудила текст, который представил Селина «третьесортным второгодником, напугал издателей и читателей и маргинализировал писателя». Надо сказать, что на реплику Солоуха Маруся Климова столь обиделась, что ей даже изменило ее обычное чувство юмора — иначе трудно объяснить появление в «Русском Журнале» занудного письма переводчицы, настаивающей на своем праве называть гениталии теми краткими и энергичными словами, которые приняты в матросском языке.

Имя Селина часто появляется на страницах книги Маруси Климовой: он не без оснований рассматривается как антипод русской классике. Другим любимым (и тоже популяризуемым писателем) является Жан Жене. Доброго упоминания заслуживает и Пьер Гийота.

Легко заметить, что актуальных для Маруси Климовой писателей объединяет мизантропия, маргинальность, сексуальные перверсии, презрение к норме, к «буржуазной» морали (которая всегда третируется как обывательская). Направление политического спектра особого значения не имеет — лишь бы это был самый его край. Фердинанд Селин, мизантроп и антисемит, автор «Безделиц для погрома» и статей, приветствовавших фашистскую оккупацию Франции, приговоренный к смерти участниками Соппротивления и отсидевший в тюрьме за коллаборационизм, занимает место на крайне правом фланге политического спектра. Жан Жене, вор, клептоман, изгой, занимавшийся в юности проституцией, садомазохист, описавший мир бродяг, воров и убийц, под конец жизни ударился в ультралевые движения, заделался защитником «Красных бригад» и «Черных пантер». Но оба они для Маруси Климовой одинаково привлекательны как маргиналы, бросившие вызов рабской господствующей морали, обывателям (главному врагу Маруси), ненавистным заповедям «не убий» и «не укради», глупым гуманистическим предрассудкам.

«Допускаю, что каким-нибудь замшелым критикам, находящимся под впечатлением русской литературы XIX века, персонаж Селина Бардамю и кажется антигероем, но самому автору он таковым не кажется: для Селина Бардамю — это герой, и более того, alter ego. И для Жана Жене матрос Кэрель, убивающий и предающий своих друзей, — это тоже предмет восхищения и герой. Во всяком случае, никаких положительных альтернатив авторы этим своим персонажам никогда не предлагают». Не то что русская литература, которая всегда суется с какими-то позитивными ценностями. Из чего для Маруси и следует, что «вся так называемая „русская классическая литература“... продукт обывательской культуры». И еще припечатано: «тут, по-моему, и двух мнений быть не может, настолько все очевидно».

Разумеется, все это густо присыпано перцем иронии и самоиронии, растворено в не лишенной забавности доверительной болтовне с читателем, подмаргивании и перемигивании с ним. Дескать, мы с тобой, читатель, против обывательской культуры, мы интеллектуалы, но презираем изъеденные молью обывательские ценности, дразним толстых буржуа, давай дразнить вместе? Особое качество текстов Маруси Климовой — неустойчивость смысла, когда любая интерпретация может быть оспорена.

В аудитории, где аплодируют дерзости, с которой автор крушит авторитеты, он легко подтвердит: да, всю нашу литературу надо на помойку, имен-

но это я и хотела сказать. (Вообще-то это было, было и было, и желтую кофту полагается годам к двадцати пяти снимать.) Там же, где требуется соблюдать некоторые литературные приличия, единомышленники и интерпретаторы будут объяснять: это удар не по самой культуре — это удар по обывателям, по стереотипу восприятия, по массовому сознанию, это «деконструкция классического канона», «борьба с коллективным безумием», «индустрией набивки чучел, в которую превратилась окружающая культура». (Цитаты взяты мной из статей Ольги Серебряной и Андрея Аствацатурова: щедрый «Топос» не жалеет места для дифирамбов собственному автору, демонстрируя новое понимание литературной этики, недоступное старым толстым журналам.) И вообще — Маруся Климова, мол, шутит, прикалывается, ёрничает, — кто ж не понимает шуток?

Это мне напоминает сцену из одного американского фильма, когда группа подонков ломится в автомобиль с явным намерением ограбить хозяина и угнать машину, осыпая его при этом грудой оскорблений, но тут из окна автомобиля высовывается дуло автомата, и предводитель шпаны деланно хохочет: «Но-но, парень, ты что, шуток не понимаешь?»



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ВАСИЛИНА ОРЛОВА



КАК АЙСБЕРГ В ОКЕАНЕ

Взгляд на современную молодую литературу

Определение «молодой» весьма условно: мало того что возраст литературной юности не ограничен, так это еще и весьма преходящий показатель. Впрочем, у двух «взрослых» ведомств, которые стремятся выпасать молодую литературу на просторах отечественной словесности, дабы она тучнела и была изобильна медом и молоком, есть свои представления о том, с какого возраста литератор уже необратимо не молод. «Дебют» имеет дело с литературным детсадом, по-другому не назовешь, — с писателями до двадцати пяти лет (включительно), и старается держать возрастной ценз жестко; Фонд социально-экономических и интеллектуальных программ Сергея Филатова определяет для Форума молодых писателей в Липках порог в тридцать пять, но не редкость встретить на семинарах и тех, кому, как говорится, «за».

Однако дело не в возрасте. Вряд ли в сегодняшнем изобильном разнообразии можно однозначно определить, какая литература «молода», да и вообще — хорошо ли это, если она молода? Ничего нового, собственно, в литературу сам факт молодости не привносит, так же как никаких достоинств априори ее не лишает.

А просто талантливых людей и разнообразных литературных находок — много.

Один из наиболее ярких «дебютов» за предыдущие пять лет, на мой взгляд, — Сергей Шаргунов. Можно по-разному относиться к этой весьма спорной фигуре современного уже, видимо, истеблишмента (переведем как «хозяйство»), но повесть «Малыш наказан» была по-настоящему вдохновенной вещью, в которой прорастала острая трава-осока отчаяния, сочилась какая-то совсем нездешняя тоска. Отблески тех прозрений встречаются и на страницах «Ура», когда, например, речь идет о стариках, которые «вылупляются куда-то», но изо всех сил привносимый автором политический трезвон и неумное «моралите» отличают эту вещь от первой самым невыгодным образом. Впрочем, посмотрим, почитаем в следующем номере «Нового мира» новое сочинение Сергея Шаргунова «Как меня зовут?». Что ни говори, он деятель, который известен нам по меньшей мере пять лет, хотя ему самому еще не исполнилось и двадцати пяти. Он уже поэтому в своем праве.

Навскидку другое звонкое имя — Василий Сигарев. Его пьесы с самого начала были отмечены совсем недетской зрелостью. «Черное молоко», «Божьи коровки возвращаются на землю», «Пластилин» известны и тем, кто вообще не следит за превратным течением литературного процесса, что бы мы под таковым ни подразумевали.

Орлова Василина Александровна — прозаик, эссеист. Родилась в 1979 году в селе Дунай Приморского края. Окончила философский факультет МГУ им. М. В. Ломоносова. Роман «Голос тонкой тишины» опубликован в журнале «Дружба народов» в 2001 году. Книги «Вчера» и «Стать женщиной не позднее понедельника» вышли в 2003 и 2005 годах соответственно. В «Новом мире» публикуется впервые.

Есть целая плеяда авторов, кто входит в современное пространство как бы плечом к плечу. Кто начинает сегодня и кому предстоит определять завтра идейную среду, в которой мы обитаем. Просто в одно примерно время родились. Впрочем, разброс все же довольно широк. Ну, скажем, конец шестидесятых — начало восьмидесятых.

Каждый, кто выступает сегодня, следует собственному маршруту, и поделить всех аккуратными порциями по направлениям можно только в порядке мелкого интеллектуального мошенничества, фокуса-покуса.

Впрочем, перечислить писателей через условную запятую можно по темам, которые их занимают. Скажем, Денис Гуцко, Аркадий Бабченко, Александр Карасев и Захар Прилепин нацелены на осмысление того трагического военного опыта, который получило наше поколение¹. Писать о таком — значит давать возможность воочию представить происходящее и тем, кто его не знал, не хотел знать. В произведениях этих писателей нет осмыслений социального, экономического, политического порядка — мы не узнаём, зачем так несправедливо, часто бессмысленно погибли в Чечне наши сверстники. И, возможно, не нашему поколению удастся дать ответ на этот вопрос. Может быть, его и вообще не удастся дать. С тех пор как в течение двух-трех лет, как раз пришедшихся на мое обучение в пятом — седьмом классах, простые и понятные схемы сражений в ясных учебниках истории, объясняющих события как по нотам, сменились многочисленными, чуть ли не от четверти к четверти меняющимися апокрифическими сказаниями под грифом «Одобрено к преподаванию в средней школе Министерством образования», я гораздо с большим скепсисом отношусь к самой возможности внятно изложить, не то что объяснить происходящие исторические события.

И произведения писателей о войне чаще всего очерковы. Серия выхваченных из жизни эпизодов, зарисовок — таков рассказ не рассказ, повесть не повесть «Запах сигареты» Александра Карасева. Менее прерывистое дыхание, бо́льшая цельность в его рассказах о мирной жизни — «Наташа», «Необыкновенный студент»... Ну так ведь мирная жизнь и течет иначе — плавнее, размеренней.

Денис Гуцко тоже пишет о войне короткими набросками, вспышками-миниатюрами, объединенными в циклы, — повести «Апсны Абуке» («Букет Абхазии») и «Там, при реках Вавилона». Его вещи напоены тонким философским дыханием.

Есть свои сложности в том, как эти авторы встраиваются в «мирную» жизнь. Каждый преодолевает их по-своему. Для Захара Прилепина этот барьер, возможно, окажется легче — чувствуется очень серьезная поступь в «Патологиях». Возможно, с трудностями столкнется Аркадий Бабченко, о котором непонятно почему заявляют, что он прекратил писать, тогда как нетрудно, набрав имя в поисковике, найти его новые рассказы. Казалось бы, те, у кого столь серьезный опыт выживания в условиях, о которых самое мягкое, что можно сказать, — экстремальные, должны воспринимать все последующее, «мирное», как увеселительную прогулку. Но опыт наших сверстников свидетельствует об обратном. Вот и молодые авторы перед распутием: о чем писать, если не о войне? Получится ли писать о гражданской жизни так же? Или надо как-то иначе? А может, не так плохо, если автор известен по одной своей теме, которую хорошо знает?

Прозе этих людей свойственна особенная сила, которую сообщает ей тематика. Чтобы писать о таком, надо иметь мужество. Удивительно, что эти четверо, получившие в личном опыте знание о войне, а значит, о подлости и низости человеческой природы, видевшие и трагический в своей безысходности высокий героизм, — у кого, как не у них, есть право на обвинение, — они как-то совсем по-особенному, тепло относятся к людям. А довольно не-

¹ Подробно об этих писателях можно будет прочесть в статье Валерии Пустовой о молодой «военной» прозе в № 5 «Нового мира» за этот год. (Примеч. ред.)

плохо устроенные с точки зрения обыденной жизни пестуют в себе мизантропию — не избегает искушения наивно-романтического высокомерия по отношению к «людям», скажем, Роман Сенчин.

Другая важная тема, которую осмысляют в своих произведениях молодые авторы, — «имперская», так сказать; она связана с событиями, свидетелями которых мы также все становились: Россия сдала рубежи и бастионы, которые укрепляла усилиями многих и многих поколений. Интеллигенция оказалась не слишком озабочена сохранением русской культуры, российского влияния, да и просто русского языка в республиках бывшего Союза, и проживающие на тех территориях русские также были оставлены на произвол — опять чего? Исторической закономерности или серии трагических случайностей?

Пожалуй, одна из самых ярких вещей такого плана — повесть Александра Грищенко «Вспясть». Повествование, наполненное звуками и запахами, едва выходит за пределы квартиры и уж точно не покидает границ восточного города. Рассказ нарочито аполитичен, нигде даже не встречается указания, что пишет это русский юноша, вынужденный вместе с семьей оставить Ташкент и перебраться в Подмоскovie. Биографическая сторона произведения, пожалуй, требует более зримой, рельефной прорисовки. Это усилило бы вещь.

Тоска по детству, описание аквариума, в котором сменялись виды жизни, словно планетарные эпохи, — сперва жили хомячки, потом рыбки, — приобретает символическое звучание. Все создает особенную атмосферу старинного города, который видел не одну смену вех — и увидит впредь.

Те, кто обладает осознанием, что живет не в безвоздушном пространстве, а в определенной стране, с ее особенностями, в некий конкретный исторический период, почему-то чаще приходят из регионов, из больших и малых провинциальных культурных центров. Слово-то какое — «провинциальные». Нет никакой провинциальности в Екатеринбурге и Владивостоке, нет и не может быть, а синонима не могу подобрать. «Региональный» — близко как-то, «глубинный» — напыщенно, «краевой» — не подходит...

Дмитрий Ермаков из Вологды, Олег Селедцов из Майкопа, совсем юный Николай Епихин из Воронежа и многие другие — остро и ясно чувствуют свою связь с землей. В произведениях этих писателей главное действующее лицо — наш современник, «обыденный человек», можно сказать, обыватель. Но без малейших обвинительных ноток говорится о нем. И застигнут-то он, этот герой, в «естественной среде обитания» — там, где встречен. А почему-то веет чистотой намерений и от цикла рассказов Дмитрия Ермакова «Такой день», и от стихотворений и рассказов о мореходке Олега Селедцова, и от первых пока, может, не слишком еще уверенных проб пера Николая Епихина. Хочется только большего своеобразия интонаций, большей жизненности, напористости, если угодно, свирепости. Смелости, короче говоря, — в изображении обыденного. И, кстати сказать, большего объема. Как ни крути, писателя делает не только качество, но и количество написанного.

Встречаются и иные провинциалы. Не желающие принимать бремя своей «провинциальности», тяготящиеся им. Полагающие, что только отринув свои корни (как бы ни было затерто это слово) прямоком попадаешь в контекст общеевропейской и — шире — мировой культуры. Конечно, это — старый спор славян между собою. Точнее, славянофилов и западников.

Евгений Ермолин в статье, опубликованной в сборнике «Новые писатели»², говоря о молодой литературе, производит следующее обобщение: «...в 90-е и в начале нового века в России появились люди без опыта госстраха, не прошедшие подлую школу рабства, не получившие уроков социального унижения

² Издание Фонда социально-экономических и интеллектуальных программ (М., «Книжный сад», 2004).

специфического, советского, стиля». И еще: «Русские социально, политически, государственно бездарны. Это не мое открытие». Сим объявляется, что новое поколение, приходящее в литературу, безоглядно поперет против ценностей, что веками нарабатывала наша страна, государственность которой объявляется бездарной. Я бы, может, не приводила цитат — мало ли пишут подобно-го? — если бы Ермолин не упоминал моей фамилии: «Экстраординарные усилия по укоренению в хоть какой-то почве предпринимает <...>. Некуда вращать, а хочется».

Ну, насчет некуда вращать... Раз человек не ощущает почвы под ногами — значит, висит в нигде. А что касается новой «свободы» — для каждого времени своя несвобода. Свое рабство — для тех, конечно, кто его принимает. Удобно сложить с себя ответственность, переложив ее на «период». Но нынешнее рабство не менее унижительно, чем любое другое. Быть ли рабом — всегда личный выбор. Конечно, с одной стороны, человек всегда несвободен. Онтологически. И вместе с тем — парадоксально свободен, только вот свобода эта не имеет ничего общего со «свободами». И в теперешнем, нашем времени несвобода — ничуть не менее жесткая, наоборот, гораздо более изощренная. Настолько, что Евгению Ермолину она кажется свободой.

«А те, что еще чуть-чуть моложе <...> уже не ищут социальной опоры». Ну, неизвестно, согласился бы с таким утверждением приведенный в качестве наглядного примера Шаргунов, в последнее время, как говорят, ставший функционером партии «Родина». Затрудняюсь сказать, в чем смысл словосочетания «социальная опора», однако знаю, что без социальной среды не может существовать ни одна литература. Даже принципиально «внесредовой» Паоло Коэльо, выразитель глобализационных тенденций и чаяний. В чем, по моему убеждению, и коренится его успех.

Из тех, чьи звезды зажглись совсем недавно и особенно ярко, можно назвать поэтессу Анну Логвинову. Аня Логвинова — под таким именем она публикуется; и впрямь ее хочется называть Аней, Анечкой, настолько искренни и непосредственны стихи. Цикл стихотворений «За пазухой советского пальто» был опубликован на сайте литературно-художественного журнала «Топос» и по праву награжден премией «Дебют». Бесхитростные вроде бы стихотворения, простота которых драгоценна.

Под простышкой не в полоску
и не в клетку, а в цветочек,
чистый хлопок, сто процентов,
спит мужчина, настоящий.
Очень странно, неужели
это правда, сяду рядом,
он глаза приоткрывает,
смотрит дико, пахнет медом.

Примечательно, что «чистая лирика» в стихах Ани Логвиновой обретается все же в среде, в контексте современного мира. Этот «хлопок сто процентов» приводит на память простыни с зеленым затейливым росчерком «Минздрав». В наполненной противоречивыми смыслами эпохе достаточно комического. Но это не значит, что мы должны отворачиваться от прошлого как от чего-то недостойного. Одно заглавие подборки Ани Логвиновой свидетельствует в пользу именно такого подхода. Знаменательно, что пресловутые «люди без опыта госстраха», столь милые сердцу Ермолина (кстати, само слово «госстрах» родом откуда-то из прежних времен), а попросту представители следующих поколений, — к своему октябратскому и пионерскому детству относятся с любовью — и как еще можно относиться к детству? Наша задача — разобраться, в конце концов, а не заклеить.

Сергей Шабуцкий, тоже уже получившее известность поэтическое имя (он печатается в «Дружбе народов» и «Топосе»), в своей новой поэме «Пере-

носимо» обращается к еще одной большой экзистенциальной теме — болезни. Действие происходит в онкостационаре, и врач-хирург, мечтавший в юности стать дирижером, и больничные собаки, и «вохры», и санитарки, и больные — все невзначай составляют цельный, всеобъемлющий мир.

И все, что в палаты несли на носилках,
И все, что стонало и голосило,
Блевало и мучилось перед глазами,
Переносимо. Но только не запах.
Тоскливый, как в тумбочке хлебные крошки,
Как корка бифидокефира на кружке,
Как миска соплей по второму столу.
Как чайник с компотом, забытый в углу.
Как чашки с компотом, как банки с компотом.
Так вот как ты пахнешь, мой жизненный опыт!

В этом, а не в чем другом картина современного мира. Мы ведь живем в мире, где, прямо скажем, не очень хочется держать глаза открытыми. Болезни, смерти, социальная незащищенность, как принято выражаться, «слоев населения». А на деле — людей, голодающих пенсионеров; беспризорных детей; приезжих рабочих без крова, куска хлеба, элементарного медицинского обслуживания. Скажете, мы знаем об этом? Знаем. Но почему-то не чувствуем. Не представляем воочию, за словами для нас — словно пустое поле. Мне однажды случайно открылось содержание словосочетания «голодающий пенсионер». В поезде, плацкарте, стихийно обсуждался вопрос, хорошо ли это — просить милостыню. (Вы же знаете, наверное, что в поездах дальнего следования сейчас тоже христарадничают нищие.) «Не люблю я, которые просят. Она, может, еще беднее живет, а не пойдет просить... — говорила, кутаясь в вязаную кофту, попутчица. — Ей три дня до пенсии осталось, она, может, чайком перебьется, чайку пустого попьет...» Представляем ли мы, что такое «перебиваться чайком»?

Стихи Сергея Шабуцкого, при высоком накале трагедийности, дышат мягким юмором. Вообще многие молодые даровитые поэты избегают в стихах тяжеловесной серьезности, надутой глубокомысленности. Роман Ромов написал цикл стихотворений в разнообразных «современенных» формах. Например, рэп.

Надену валенки на резине черной,
Из теплой овчины головной убор
И с песней неимоверно задорной
Пойду в сетевой универсам «Рамстор».

Туда, где снежок бесполезный выпал,
Где пар густой стоит поугру.
Туда, где к стене рифленой прибито
Ненасытное кенгуру.

Там сыр с чесноком, рядом — сыр с луком,
Кер-де-шэвр, валансэ, камамбер,
Сыр-идиот, сыр просто глупый,
Сыр-бедняк, сыр-миллионер.

Куплю голову темного сыра,
Вернусь домой, запрусь под арест,
Будем спорить с ним, два полярных мира,
Кто кого в результате съест.

Что ж, ненасытное кенгуру «Рамстора» — животное уже вполне привычное в наших широтах. Как-то мне довелось подслушать такие слова прохожего под рекламной вывеской «Share — уже пять лет в России!»: «Погодите-ка, что-то я не понял... Это кто в России уже пять лет?»

А действительно, кто?

К счастью, мы здесь уже значительно более долгий отрезок времени. И хотя само по себе это не гарантия того, что информационное поле битвы будет за нами, мы по крайней мере попробуем.

Ольга Елагина — еще одно зазвучавшее имя. Автор многих рассказов (новинка — «Цыкорий»), серии миниатюр «Маленькие вещи», ряда отличных стихотворений. Надо заметить, теперешние авторы с трудом поддаются удобным дефинициям вроде «поэт» или «прозаик». Многие представляют собой тип синкретического автора: пишут статьи, очерки, сценарии, обзоры, рецензии, пьесы, стихи и многое другое. Попросту — владеют речью, и, кстати, не только письменной.

Ольга Елагина работает в основном в жанре рассказа. Как и наиболее интересные из «военных писателей», она любит тех, о ком пишет. Сфера ее исследовательских интересов — опять-таки обыденность. Бесхитростные, простые истории из жизни современных людей. Почти бытописание. Но в каждой бытовой сценке проглядывает нечто нездешнее, трудно назвать: то ли метафизическая изнанка бытия, то ли призыв социального обобщения, которое, конечно, особенно ценно, когда его делает не автор, а читатель.

Ряд молодых авторов работает с фольклорной, сказовой, былинной основой. Получают новые воплощения традиционные русские плачи, былины. Летописный полуустав словно просвечивает сквозь давно ставший традиционным шрифт «Times New Roman». Мне представляются чрезвычайно важными именно такие углубления, практика внутренних путешествий. Самые заметные здесь, пожалуй, — сказочники Роман Волков и Сергей Чугунов. Их затейливое «плетение словес» просвечено юмором, они не забывают и о современности, которая все время вплетается в ткань повествования, а читать современные сказки увлекательно, будто детективы.

Кстати, на удивление мало среди молодых авторов тех, кто стремится с самого начала своей творческой деятельности работать в одном из признанных и узаконенных «структурой книжного рынка» жанров. Почти нет детективщиков, точно так же в любовном романе пробуют себя считанные единицы. Конечно, на отечественной почве под «любовным романом» подразумевается скорее реалистический размеренный роман, исполненный, как правило, описаний природы и интерьеров, сугубо бытовых проблем и попыток к рисованию постельных сцен. Однако образцов и этого срединного жанра встречается весьма и весьма немного. И естественно: начиная писать, человек еще надеется, что будет востребован с тем, что он делает «сам по себе», и что ему не придется «подстраиваться». Это правильно, и не только по мировоззренческим соображениям. Но и по сугубо практическим — в конце концов, занятия литературой не приносят сейчас настолько больших дивидендов, чтобы они оправдывали всевозможные попытки «встроиться» ценой отказа от чего-то, тебе самому интересного. Доход от конвейерного метода работы, когда каждые два-три месяца пишется книга, никак не превысит среднего офисного заработка — если, конечно, невзначай не окажешься Донцовой.

Вопрос в другом: почему, несмотря на всю вопиющую «нерентабельность» занятий литературой, на их категорическую неприбыльность, вообще на какой-то дух отчаяния, связанный с этим безнадежным делом, так много молодых людей стремятся реализовать именно в данной области человеческих занятий? Ведь есть телевидение, музыка, кино — именно эти виды деятельности сейчас «магистральны», в них и пробовать себя, казалось бы...

Вместе с тем пресловутое давление рынка не так страшно, как его малюют: сейчас, как показывает практика, шансы быть так или иначе опубликованным имеет почти всякое мало-мальски грамотное произведение. При этом не обязательно ему быть романом: стали издавать сборники и повестей, и рассказов. Конечно, тираж такой книги скорее всего будет не особенно велик, но если автор склонен к малым формам, две удачные повести все равно будут прочитаны с большим вниманием и большим числом людей, чем один плохой роман.

А вот что касается детектива (хотя и возможности любовного романа тоже нельзя назвать исследованными), попробовать себя в этом жанре, как мне кажется, никому не зазорно, а неизбежно большой объем такой книги мог бы дать молодому автору шанс на овладение крупной формой.

Из авторов любовного романа, пожалуй, можно назвать разве что Машу Королеву (еще выступающую под именем Маши Царевой). Она неплохо владеет сюжетом и обладает способностью к созданию романной атмосферы. Однако сверхъестественная работоспособность (Маша к своим двадцати пяти написала порядка пятнадцати романов) не может, понятное дело, не сказываться на свежести взгляда.

В русской литературе как-то так сложилось, что весьма часто именно бессюжетные повествования оказываются более насыщены всевозможными смыслами. Рассказ, в котором ничего не происходит — ничего такого, что можно было бы пересказать, — запоминается.

Еще о литературе регионов. К сожалению, мы в Москве ее знаем мало. Нет единого информационного пространства, когда сказанное на краю земли слово отзывается на другом. Это тоже наша потеря — ведь что ни говори, а в советское время такое пространство было. И толстые журналы играли здесь исключительно важную, действительно значимую роль. Наши знания о литературной жизни за пределами Москвы, безусловно, скудны. Но именно поэтому мне стоит сказать здесь о собственном небольшом опыте. В 2002 году я и писатель Павел Быков, автор книги прозы «Бокс», побывали в Ижевске — столице Удмуртской республики — и в Глазове, небольшом удмуртском городе, с выступлениями о современной молодой литературе. Против ожидания, эта «узкоспециальная» тема вызвала большой интерес общественности. Удмуртия славится своей насыщенной культурной жизнью — здесь издаются литературно-художественные журналы, один из самых известных — «Луч»; проходят встречи, фестивали, вечера... В «Луче» публиковались, например, чудесные подборки стихотворений совсем юного Марата Багаутдинова (псевдоним — Дмитрий Суворов). Известны за пределами региона и литераторы старших поколений — например, Александр Корамыслов. Не так давно трагически погиб еще слишком мало оцененный тридцатилетний поэт Денис Бесогонов... В память о нем проходят вечера, выпущена книга стихов — «В синих потоках звезд молчит чистота».

Из «литературных городов» в первую очередь должен быть назван Новосибирск, он породил целую плеяду молодых авторов, многие из них уже стали известны — например, Дмитрий Бирюков, пишущий рассказы, а в последнее время увлекшийся «непридуманными историями», почти документальными. Андрей Рудалев из Северодвинска пишет критику, и его спокойные, взвешенные аналитические статьи и обзоры радуют основательностью суждений. Яркой точкой на литературной карте России горит и Ярославль, группа экспериментаторов, архитекторов-стихотворцев, называющих себя ШтоРа-Маг, по первым буквам фамилий: Сергей Штокало, Семен Расторгуев, Алексей Магай, широко представлена в Интернете на ряде собственных сайтов (<<http://nmaxu.narod.ru>>, <<http://city-2.narod.ru>> и другие).

Показательно, что именно результаты личной инициативы, образа мысли и образа действия редакции, зачастую состоящей буквально из одного-двух человек, подчас бывают значимее, чем глобальные коллективные замыслы, начинаемые с помпой и тихонечко сдувающиеся через весьма короткий промежуток времени. В Интернете это особенно наглядно.

Так, одним из идеологов ярославской группы является Ольга Орлова, критик, исследователь и, так сказать, собиратель.

«Собирателем земель» можно назвать и Филиппа Филиппова, чей интернет-ресурс, Филград <<http://filgrad.narod.ru>>, вызывает закономерный интерес бумажных СМИ. Как видно уже по названиям сайтов (все они «хостятся» на бесплатном сервере «народ.ру»), не поддержанные никакими спонсорскими вливаниями и обеспеченные лишь личной инициативой, эти проекты — дело рук энтузиастов.

Чтобы авторы существовали за порогом своих комнат, а их рукописи — за пределами письменных столов, очень важна деятельность именно таких «собирателей», как Филипп Филиппов.

Что касается собственно критиков, то среди молодых их всегда было мало. В критике, в публицистике, в аналитике ты и вовсе виден как на ладони. Со своими пока недосформированными представлениями, категоричностью, склонностью объявлять банальные истины только что случившимися открытиями и так далее. Вряд ли кто-либо из молодых критиков вполне избегает этих действительно существенных недостатков. Однако нельзя отказывать их работам в свежести взгляда, которая неожиданно высвечивает по-новому вроде бы уже известное.

Один из самых профессиональных критиков в этом смысле — Полина Копылова, опять же пишущая и прозу, и стихи. Однако именно в критике, как мне представляется, ее дарование обретает более законченную, отточенную форму, хотя идеологически или, сказать крупнее, мировоззренчески она мне не близка. Знание общеевропейского контекста (Полина Копылова живет в Финляндии и свободно читает на нескольких европейских языках) позволяет ей делать выводы, которые порой удивляют своей необычностью. По-прежнему Полина Копылова публикуется в «Питерbook'e» с рецензиями, однако мы ждем от нее и обобщающей статьи о молодой литературе.

Валерия Пустовая — критик, удивляющий дотошностью анализа и парадоксальностью сопоставлений, она работает прежде всего в контексте толстых журналов, с авторами, которые в определенных кругах считаются широко известными; но пристальное анатомирование особенностей их прозы у нее настолько самобытно, что становится интересно и тем, кто «первоисточники», пожалуй что, не читал.

Ольга Рычкова — тоже заметный критик, и путь, который она проделала от публикаций в одном из первых номеров молодежного журнала «Пролог» к теперешним ее статьям в «Литературной газете», не может не воодушевлять: у Ольги Рычковой твердая рука, все более отчетливый и красивый литературный почерк.

Одна из главных задач критика все-таки, наверно, состоит в том, чтобы способствовать развитию писателя. Думаю, названные критики работают именно в таком духе, хотя антагонизм «критик — писатель», вероятнее всего, неизбежен. Полагаю, каждый писатель может вспомнить неприятные моменты, когда критик попросту самоутверждался за его счет. Критик, как мне кажется, всегда обязан принимать в расчет то обстоятельство, что теперешний контекст со временем рассеется, а высказывание останется и будет включено в контексты иных порядков: и как оно будет тогда смотреться? Впрочем, как известно, часто писателей, напротив, ободряют, заставляют работать дальше именно резкие критические замечания.

Не все так весело в датском королевстве — в современной молодой литературе. Например, представляются довольно пустыми, надуманными, часто вымученными и необязательными опыты круга авторов то ли прекратившего свое существование, то ли еще незримым привидением присутствующего «Вавилона». Опыты одних можно спутать с экспериментами других, и все это поражает ясным, как на просвет, желанием во что бы то ни стало быть не как все. Хорошо, но почему же надо быть не как все одинаковым образом (хотя жестко очерченного «круга авторов» нет)? Орган для восприятия экзерсисов всевозможных московских поэтических барышень и играющих в брутальность манерных клубных поэтов у меня так и не выработался. Старшие, кого так или иначе «придавил» «Вавилон» с «околовавилоньем» своей не то численностью, не то молодостью, порой признаются: «Я только недавно научился это есть». А может быть, и не надо было учиться есть столь несъедобное?..

Вообще всевозможные «группы», «клубы» и даже поэтические собрания — марафоны и фестивали — внутри профессиональной общности отдают какой-то гнильцой. Странно, что московские поэты этого не чувствуют, стремятся

сбиваться в стаи. Конечно, повторюсь, среда необходима. Но что понимать под средой?

Теперь о самых недавних. Владимир Лорченков, «Хора на выбывание». Действие происходит в Молдавии наших дней, коллизия закручивается вокруг выборов. Полуанекдотические персонажи, то и дело выплывающие элементы абсурда. Главный герой — журналист, беспринципный пиарщик, следящий за ходом событий, готовый к любому повороту, чтобы извлечь для себя максимальную выгоду, неожиданно — как-то так, по ходу дела — оказывается еще довольно-таки нравственным человеком, во всяком случае, по сравнению с теми, кто «стоит у власти». Вообще выборная смуга напоминает погодное явление: грозное, неуправляемое, подчиняющееся не вполне понятным законам. И куда в конечном счете занесет нас рок событий — от нас мало зависит.

Адриана Самаркандова написала повесть «Гепард и Львенок» — история Лолиты, рассказанная самой Лолитой. Соблазнение юной отдыхающей пляжным бонвиваном. Дневниковая проза, опять больше человеческий документ, чем произведение литературы. Читать, однако, — а впрочем, возможно, именно поэтому — интересно. Захватывает.

Большой урожаем крупной прозы «Дебют» собрал в 2004 году. Другой вопрос, что этим богатством надо еще распорядиться, а ведь в рамках издательской программы премии публикуются только финалисты... Тогда как именно в 2004 году (не знаю, как в других) наиболее явные претенденты на победу, за исключением, к счастью, все-таки повести «Вспять» Александра Грищенко, были отсеяны на втором этапе — при формировании короткого списка. Однако я убеждена, что, проявив в своих первых произведениях такой серьезный энергетический заряд, авторы будут продолжать писать, а значит, их первые вещи мы тоже когда-нибудь прочитаем. Просто обидно будет, если своего читателя не найдет удивительная, затейливая, фантазмагорическая повесть Сергея Красильникова «Скарабей». Сергей Красильников (ему девятнадцать) из Даугавпилса, Латвия. Симптоматично, что такие юные люди в республиках бывшего Союза пишут прозу по-русски. Перед глазами у меня письма Сергея Красильникова, исполненные непонимания: как быть дальше? Что делать? Среды для развития нет, не только профессиональной, но и просто здоровой языковой среды. Издательств, журналов, газет в Латвии, где мог бы печататься пишущий по-русски, — нет. Прийти за советом, с вопросом, за профессиональным разговором — не к кому. Если Россия еще хоть отчасти озабочена сохранением своего культурного, исторического, геополитического влияния, мы должны особое внимание обратить именно на таких талантливых людей.

Еще автор. Андрей Симонов, по образованию арабист. Действие его повести «Каирский интернационал» происходит в Египте. Начинается почти с водевиля: студент приезжает к приятелям в общежитие. Комедия положений постепенно приходит к серьезным философским обобщениям, созревает даже и до некой метафизики.

Студент едет из Петербурга в жаркие страны, ближе к пирамидам и прочим чудесам древней цивилизации, практиковаться в языке, работать и учиться. По собственной доверчивости он влипает в неприятную историю, полиция гонится за ним, подозревая в пособничестве контрабандистам, переправлявшим алмазы. Герой скрывается у араба, влюбляется в девушку-француженку, о которой ему почти ничего не известно.

Внезапно, с прямолинейной неотвратимостью ситуации, как это часто бывает и в реальной жизни, полицейский на рынке узнает разыскиваемого. Герой схвачен, и, пока ведется дознание, производится депортация из страны, пока он получает возможность на въезд обратно — вся его уже вроде бы устоявшаяся и счастливая жизнь с людьми, ставшими дорогими, разлетается как сон. Девушка, фамилии которой он толком не знал, куда-то делась, старый араб умер. Каирский интернационал распался.

Андрей Кузечкин. Автор повестей «Менделеев-рок» и «Абсолютное добро». «Менделеев-рок» представляет собой своего рода карту местности, в которой проживает герой. Быт небольшого нефтехимического городка, потаенная тяга куда-то в места более привлекательные, в столицы, попытки героя разобраться с самим собой, понять, что им движет.

Герой, по прозвищу Плакса, попал, как мы бы сказали, в тиски жизненных обстоятельств: он чувствует себя в своем городе одиноким, тоскует по тем временам, когда играл с друзьями в рок-группе «Аденома», — начинание не состоялось. Посещает собрания сектантов, чтобы подпитаться «положительной энергией». В городе появляется стайка отморожков, «докторов» — молодежная группа, не знающая, куда девать энергию. Девушка Плаксы — Кристина — все время «воспитывает» его, как говорят, «лечит» парня. Герой встречает Присциллу, на самом деле Таню, и влюбляется. Он решает расстаться с Кристиной. В родном учебном заведении встречают эту новость в штыки, но герой «троечник», то есть гибок и легко идет на понижение социального статуса. Однако наступает момент, когда Татьяна предает его... Повесть, по сути, — картина жизни современных молодых людей, тех, кто едва вышел из подросткового возраста... Автор рассматривает небольшие жизненные этапы, через которые проходит герой, как последовательно сменяющиеся стадии заболевания: заражение, инкубационный период, развитие болезни, кризис, агония, клиническая смерть.

Эпилог имеет подзаголовок «реинкарнация», и это звучит жизнеутверждающе. В повести — целая галерея портретов современных узнаваемых персонажей, начиная от однокурсника Плаксы, «барина», холеного юноши с белыми руками и курительной трубкой, и заканчивая приятельницей, вернувшейся после несостоявшегося покорения большого города. Прямой морали нет. Но нравственное содержание вещи неоспоримо.

Павел Костин. Автор повестей «Бегун» и «Анестезия крыш». С обеими вошел в длинный список «Дебюта», соответственно в 2003 и 2004 году. Повесть «Анестезия крыш» содержит любопытную историю обретения смысла жизни и последующего разочарования. От скуки герой, тот же молодой городской житель, что и у Кузечкина, придумывает себе экзотическое спортивное развлечение — спускаться по тросу с высотных заброшенных зданий. Чтобы проверить особо сложный трюк, ему нужны помощники. Первого соратника он обретает в девчонке, которая подошла завербовать его в организацию тоталитарного типа, формально пропагандирующую нравственные ценности. Лена мечтает создать свою собственную секту, она становится идеологом затеи. Второго спутника герой «вытаскивает» из интернет-форума. Они продумывают все, вплоть до нарядов-балахонов, и постепенно их увлечение само собой получает известность в городке, появляются последователи, называющие Лену «Верховный магистр», во всем подражающие героям.

Однако оказывается, что вместе с известностью приходят странные вещи. Спорт приходится «отдать на откуп» пиарщикам, отречься от странных положений своеобразной, но все же философии, озаботиться продажами маек с изображением бренда «Апостолы Сити». И с этим герой ничего не может поделать. «Веселая злость», которая так увлекала его вначале, уступает место расчетливости соратников и глупому изумлению последователей.

Татьяне Буковой девятнадцать. Ее повесть «Мама» представляет собой нечто исключительное в современном «дебютном» ландшафте, который, как заметил Александр Грищенко, тяготеет к тому, чтобы выглядеть скорее интерьером. Повесть Татьяны Буковой удивляет зоркостью автора к явлениям обыденной жизни, которые мы, повторю, стараемся не замечать, потому что так спокойнее. Важно, что этот взгляд, несмотря на то что падает на бомжей, на маргиналов, обитателей дома престарелых и тому подобных отверженных, всегда остается понимающим и сочувственным. Повествователь помнит, что перед ним такие же люди, как и он сам. И это позволяет ему смотреть без розового флера фальшивой жалости, прямо и точно фиксировать увиденное.

Героиню повести, Марину, из дому гонит собственная мать, но девушка продолжает любить ее, она относится к слабостям окружающих с поистине феноменальным запасом сердечного тепла. Она раздает бесплатную похлебку, касаясь рук тех, кто принимает ее, без перчаток, на что обратил внимание один из второстепенных героев повести, наблюдающий за этим со стороны, с недоумением и опаской.

Повесть полна острых социальных зарисовок, списанных с натуры, очень точных и не сентиментальных, особенно в контрасте со вставками — дневниковыми заметками подрастающей девочки, девушки, чью изначальную лиричность отношения к окружающему миру ничто не в состоянии исказить. Снова и снова героиня обновляет в глубине собственного сердца щедрый источник добра. Чем больше мерзости она видит вокруг и чем больше и дороже ей достаются ее доверчивость и открытость, тем победительнее звучит мотив воли к жизни и тем крепче способность Марины к сопротивлению скотским условиям бытования.

Завершая теперешний разговор, ощущаю множество противоречивых чувств. С одной стороны, хочется провозгласить что-нибудь громкое, дерзновенное вроде: эти люди уже на пороге. Они входят в литературу. Они уже здесь.

И ведь правда! Трудно сказать, как сложатся судьбы в дальнейшем, но если для того, чтобы нам состояться, эпоха должна быть сложной, противоречивой, кровавой, то мы родились как раз вовремя.

И с другой стороны, что-то мне говорит: поживем — увидим... Главное, каждому из нас написать нечто такое, что будет интересным и за пределами возрастной группы — эта общность все равно ведь истончится и поблекнет в самое ближайшее время. Если автор не станет ограничиваться игрой в литературу — он будет ориентироваться не на сверстников. Скорее на классические образцы, как бы банально это ни казалось. Но пока айсберг молодой литературы в каком-то смысле однороден, и кто находится «на пике» в настоящее время — вопрос довольно-таки праздный. Вполне возможно, что те, по чьим произведениям будут, как остается верить, знать Россию начала и середины XXI века, еще не явили себя.



Р Е Щ Е Н З И И . О Ь З О Р Ы

СЛИШКОМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ...

Анатолий Найман. Каблуков. Роман. — «Октябрь», 2004, № 8—9.

У Анатолия Наймана замечательное писательское (а может, и не писательское, а мировоззренческое? философическое?) свойство, не то Достоевское, не то христианское: ни на ком не ставить крест, ни из кого не делать кумира. Он всем верит — и никому не верит. В его мире любой способен на любое.

Найман великолепно понимает и мне (читателю) передает это понимание: мир, нравственный, человеческий, метафизический, совсем не то, что мир грубо-материальный, физический. Это в физическом мире разжали руку, отпустили камень, он и полетел по вычисляемой траектории вниз. В человеческом мире траектории движения — невычисляемы. Человеческий мир на то и человеческий мир, что он — свободен и непредсказуем. «Коготок увяз — всей птичке пропасть», «сказавши „а“, говори „б“» — это все максимумы не для человеческого мира.

Поэтому и «не судите», поэтому и «не сотворите кумира» — поскольку тот, кого считал светочем и «кусочком надежды в отчаявшемся, обезбоженном мире», таким окажется ханжой и занудой, что святых выносить не надо — сами уйдут; а тот, на ком и клейма негде было ставить, такую он источал стопроцентную тьму посреди белого-белого дня, в конце концов станет рыцарем, верным другом, веселым собеседником.

Не сказать, что это свойство обнадеживает и успокаивает. Скорее — наоборот... В мире, где можно положиться на всех, лучше ни на кого не полагаться — непонятно, что этот кто-то выкинет в следующую минуту: возьмет и сымитирует самоубийство, или бутылку с зажигательной смесью швырнет в подземном переходе «Садово-Кудринская», или еще что-нибудь судьбоносное выкинет... Нет, нет, этот мир — зыбок и ненадежен, как трясина; сомнителен и мерцающ, как экран компьютера, но он... человекен.

Итак, роман Наймана «Каблуков» прежде всего — неудача. Настоящая, неотменимая, неизбежная... Такой разгром, что кажется: это не главный герой, Каблуков, с горя от всеобщей несправедливости жизни взорвал себя бутылкой с зажигательной смесью, а сам автор изорвал более-менее связный текст романа и разнес клочки по закоулочкам. (Хотя благодаря самоубийству главного героя я вдруг уразумел, что это за история с Иовом; как это Иов смог разговорить самого главного начальника. Он просто покончил с собой и вломился в приемную без очереди, отпихнув секретаршу: мол, занят! Просили не беспокоить... Начальник выслушал резоны, принял к сведению и воскресил для новой игры... Но это — в скобках.)

Текст такой, что движешься с превеликим трудом, как по колеблющейся под ногами трясине. Путаешься в диалогах: это кто говорит? Каблуков? А это? Влюбленная в Каблукова топ-модель Ксения (хорошо, что не Петербургская, хотя вообще-то... сходство...)? Чем речь Каблукова отличается от речи отца Ксении Гурия Булгакова (Гарри Булгака), знаменитого врача (других не держим) и завязтого цинцера? Да ничем, хотя про речь Гурия специально сказано, какая она разособенная, ни на чью больше не похожая. Все герои романа, будь то жлоб Дрягин, или подполковник Советской Армии Сергей Каблуков, или его сын, фрондирующий киноинтеллектуал Коля Каблуков, говорят одинаково. Нервная, рваная Достоевская скоро-и-много-говорка. Вслух произнести невозможно, как настоящую фольклорную скороговорку.

Пример наудачу: «Это смотря что называть танго: бум, бум, бум, бум — тогда конечно. Но уже механика: темп четыре четвертых, позиционирование, постоянное заострение фигур, разнообразие шагов — не тустеп, попотеешь. А уж танжере, ласкать-и-трогать — на это вся жизнь уйдет. Ла востра мизерия, нон ми танге. Что мучит вас, не трогает меня... Ты где этого набралась?.. В кружке бальных танцев. Знаешь, сталинские грезы: чтобы страна шла по сибирскому тракту в котильоне...»

Отличный текст, но непроизносимый, попробуйте и убедитесь: на тустепе потеете, а вот некий уж по фамилии Танжере — здесь вы завязнете всерьез и надолго... Да и черт бы с ним, не декламировать же вслух прозу, верно? Но от огромного количества героев и событий, упомянутых, перечисленных или подробно описанных, рябит в глазах. Не то что в репликах, в героях путаешься — кто куда уехал, кто где остался, кто кого соблазнил, от кого чьи дети и кто с кем, в конце-то концов, живет.

«Например, племянник его (Юры Канавина по прозвищу Канарис. — *Н. Е.*), отслуживший три года на флоте, три года тренировал выстрел зубами половинки бритвенного лезвия и мог с пяти метров послать ее так, что она впивалась в стену и несколько времени еще дрожала: дзnnн. Он ему это показал, Канарис немедленно попробовал номер повторить, бритва воткнулась в небо, ездили в травмпункт накладывать швы. Племянник — сын сестры, старшей на двенадцать лет. Племянника я один раз видел, сестру ни разу. Оба абсолютно ни при чем, просто названия. Не хотите, чтобы они сюда влезали, — и правильно. (Нет-нет, пожалуйста, пожалуйста, располагайтесь. — *Н. Е.*) Но имейте в виду, что она по профессии — горноспасательница, работала на Эльбрусе. (То есть все равно влезет. — *Н. Е.*) Однажды доставала из трещины лыжника, которого видели, как он провалился, и сразу сообщили и показали где. Когда спустилась, там оказались двое: он и в этом же месте провалившаяся накануне женщина. У обоих по сломанной ноге, и ее немножко обморозило, зато в кармане куртки нашлась плитка шоколада. Что-то они успели сказать друг другу на дне трещины, отчего, поднятые, друг с другом не разговаривали». (Конечно, было бы еще смешнее, если бы, не разобравшись, они бы и спасательнице что-то успели сказать, дескать, ну вот здрастье — медом вам здесь, что ли, намазано? Двоим-то тесно, еще одна валится, блллин...)

Нет, порой текст «Каблукова» начинает напоминать не то монолог Молли Блум, не то рассказ Енты Куролапы. Ну, посудите сами, в одном абзаце: племянник, флот, бритва, травмпункт, мама племянника, Эльбрус, обморожение (легкое), плитка шоколада, спасение провалившихся в трещину, и они еще что-то очень важное друг другу успели сказать — бррр. Дрожишь, как бритва, вонзившаяся в стену: дзnnн.

При том что порой Найман на удивление точен; бытово, психологически точен: «Мужской голос по телефону сказал: „Узнаёшь?“ Немногие вещи вообще раздражали Каблукова, среди них ни одна так, как эта. Сам понимал, что сверх меры, и ничего не мог поделать. Уже звонок телефона никак ему не удавалось поставить в ряд удобств или бытовой обыденности, просто как электричество и водопровод... Когда же в трубке раздавалось „узнаёшь?“... Каблуков мрачно удивлялся смеси самоуверенности, отсутствия автоматизма и копеечной экономии времени...» Абсолютно точно, но самое замечательное, что действительно узнаёшь. У меня был и вовсе замечательный случай: телефонным трезвоном я был изгнан из кабинета задумчивости, кое-как домчал до раскалившегося аппарата и услышал вот то самое: «Узнаёшь?» Дда, узнал и теперь вовек не забуду.

Извините, это уже «Каблуков» на меня начинает оказывать вредное (а может, наоборот — благотворное?) воздействие. Потому как, добредя до последней страницы, волей-неволей задаешь себе вопрос: куда же мыло терли? для чего, спрашивается, вся эта уродливая громада двинулась и кое-как, со скрипом, стоном, увязая в грязи околичностей и отступлений, принялась рассекать трясины, да вот и доползла наконец до точки?

Не была ли неудача «Каблукова» — неудачей запланированной, рассчитанной и просчитанной? Не на это ли читательское раздражение и рассчитывал Найман? Как там было сказано у столь не любимого Анатолием Найманом Бориса Слуцкого: «Крепко надеясь на неудачу, на неуспех, на не как у всех...»? Стихотворение так именно и называлось «Запланированная неудача». В нем важные вещи сформулированы: «Крепко веря в послезавтра, твердо помню позавчера. Я не унижусь до азарта: это еще небольшая игра...»

Ни в коем случае. Азарта в «Каблукове» ни синь пороха, ни грана, ни грамма. По сравнению с бурлескным, эксцентричным «Б. Б. и др.» — беспросветная тяготина. Почему, спрашивается? И почему вспоминается «Б. Б. и др.» — именно он? Почему ощутимо, что «Каблуков» — эдакий анти-Б. Б.?

Ну, конечно, сразу усваивается, что перед читателем книга старости, книга усталости, поэтому так и сбивается картинка: то автор говорит от своего лица, то герой от своего; отсюда и невыносимая болтливость, многоречивость, как кровоточивость, в одном случае и странная немногословность в другом. Найман и сам объяснил, что он хотел «дать» в самом-самом начале длиннющего романа:

«...цель моя и есть этот великий сценарий, в котором сойдутся все, кого я когда-либо в жизни встретил, всё, что я в них заметил и запомнил, и, наконец, то, какую интригу сплели эти встречи в моей и их судьбах. Ни больше, ни меньше. Великий, надо ли делать оговорку, не от величия, а от величины. Сценарий, а не книгу — только из экономии. Чтобы свести все органы чувств, и все объяснения приносимых ими ощущений, и все, что приходит в голову по поводу этих ощущений, — к одному зрению. А что есть опасность перестать различать, где жизнь и где кино, то я за этим следил с девятнадцати лет и до сегодняшнего дня...»

Вот задачка — и вот очень близко помещенные средства решения этой задачки: «Аллея, медленно падающий снег, вдалеке очертания человека с детской коляской. Это на сетчатке глаза. А в мозгу или где там, в каких-то клетках, по которым пробегает, как огоньки, плазма случайных сведений и пониманий, — сминается снег у него под ногой, налипая на каблук, скривляя ступню. Стекают, неприятно морозя кожу и капая с носа и подбородка, струйки плавящихся хлопьев. Пахнет сырым, невидимым глазу, поднимающимся от рыхлой пороши паром. Этого в кадре нет, этого не сфотографировать — но ведь этого нет и в реальной аллее с реальным, намокшим, как воробей, папашей, а, однако же, присутствует, все это знают, все чувствуют».

Дескать, дело не в сюжетах историй, которые я вам излагаю, мало ли я напридумываю, навспоминаю, дело в том «закадровом» ощущении, которое должно у вас возникнуть, понимаете? Как не понять... Закадровое ощущение и впрямь остается: мир, то дробящийся на мелкие, ничем не соединяющиеся друг с другом осколки, то слипающийся в бесформенный огромный ком.

И то сказать, какова разница с ясным, энергичным, кратким Б. Б. Б. был сам по себе. Совершенно не важно было: есть у него реальный прототип или нет. Он — самодостаточен и самодовлеющ. При всей своей уникальности, своеобразности, эксцентричности он — такой же литературный тип, как Дон Кихот, Швейк, Остап Бендер. При том, что, как выяснилось, был и есть прототип у Б. Б. Не то в «Каблукове»...

Совершенно невозможно угадать, кто там за какой фамилией спрятан: кто такой Савва Раевский, кто — Валера Малышев, кто — сам Николай Каблуков, да и наверняка не было ни у кого точного прототипа, за исключением, может, Артема Никитича Калиты, но ведь зудится узнать, а кого автор все ж таки имел в виду? В случае с Б. Б. этого вовсе не хотелось. История была сама по себе, прототипы — сами по себе...

А может быть, и то: может быть, в случае с «Каблуковым» стоит вспомнить знаменитое тютчевское предупреждение Петру Вяземскому? Мол, когда дряхлеющие силы нам начинают изменять и мы должны, как старожилы, пришельцам новым место дать, спаси тогда нас, добрый гений, от малодушных укоризн... и тому подобное вплоть до «старческой любви позорней сварливый старческий задор...».

Тем паче, что и «старческого задора», и «старческой любви» в романе половина на половину. Нет, нет! Любви все же поболее будет. Задора на бутылку с зажигательной гранатой «Молотов-коктейль», а любви — на хороший такой «фаустпатрон». Если уж любят, то топ-модели, и именно так, как всем нам после сорока хочется. Никакой тебе «наездницы матраса» — и духовность, платонику всякую тоже в монастырь! — а вот именно такое со слабой, но осязаемой чувственностью, с преданностью любящей молодой красавицы, на которую все пялятся, а она тебе...

«Я просто вас люблю. Без этого. Могу же я любить вино. Или лето. Вот так я вас. Не грешнее. Но и не с меньшей преданностью. И желанием. А хоть и жаром... Она села на кровати в ночной рубашке, осмотрела себя от плеч вниз к коленям, проговорила: „Афродита в аттическом хитоне. Не воинственная. Не царственная. Не плодородная. Не разнuzданная. Просто богиня любви и красоты. На диете. Благодарная, что отравилась. В конце концов получила от мужчины ласку.

И смогла ему что-то сказать. Отвернитесь. Переоденусь и пойду вас провожу до пристани. Я оклемалась!»»

Нет, высмеять этот роман легче легкого! Автор подставился по всем статьям, открыл все фланги. Даже объяснил, как это у него получилось: «...назавтра Каблуков, непонятно почему смущаясь и недовольно пофыркивая, засветил экран. И железо потянуло из него, как фокусник тесьму изо рта, бесконечную цепочку слов. По ощущению — всего лишь из глаз, но каким-то образом сопряженную с освобождающейся из глубин нутра струйкой лимфатических или еще каких-то телец. Их мерцающее истечение — плавными слоями строчек — доставляло слегка гипнотическое удовольствие. Близкое, как ни с того ни с сего подумал Каблуков, тому, что испытывает вскрывший себе вены, лежа в теплой ванне».

Насчет самоубийства это, разумеется, чересчур, но в остальном — абсолютно верно описано развращающее влияние компьютера. Переписывать не надо. Бабахнул «delete» — уничтожил ошибку. Нажал на «enter» — впихнул исправление. И вперед! К новым свершениям! Если уж Гутенберг, по мнению Розанова, облизал всех писателей свинцовым языком, то компьютер нас просто переварил в своем пластмассовом желудке.

«Каблуков» — компьютерный текст. Расползающийся в разные стороны, предательски мерцающий, как экран, в отличие от (повторюсь) едва ли не кристаллического «Б. Б. ...». Прямо-таки какое-то «Взбаламученное море»... Попробую пересказать сюжет, чтобы вы на миг оценили «взбаламученность». Пересказываю в одно предложение, чтобы почувствовали интонацию. Поехали!

«Гениальный сценарист шестидесятых годов прошлого уже века, Николай Каблуков встречается на улице топ-модель, которая оказывается внучкой одного из его приятелей и дочкой другого; топ-модель влюбляется в старика, а ему чхать на топ-моделей всего мира — у него жена умирает от рака, а он свою жену любил больше жизни, был верным ей до гроба и будет верным после — и вот сценарист, покуда жена умирает, а топ-модель влюбляется, вспоминает всю свою жизнь, детство в военных городках (Ленобласть, Таймыр, Латвия, Туркмения), юность в ЛЭТИ, молодость на Высших сценарных курсах, зрелость на киностудии; вспоминает своих друзей: дедушка топ-модели имитировал самоубийство, но не самоубился, а поменял образ жизни, опустился и стал уголовником; отец топ-модели, наоборот, поднялся, стал знаменитым врачом, эмигрировал, хотел всю семью вывезти, да они не выехали; а сам гениальный сценарист однажды продал свой сценарий жлобу Дрягину, жлоб Дрягин прославился и удрал в США, а у Каблукова были из-за этого неприятности, поскольку в письменном столе Дрягина нашли расписку Каблукова в получении тысяч за какую-то непонятную консультацию и список действующих лиц, по первым буквам которых составилось К.А.Б.Л.У.К.О.В., мало того, что на допросы тягали, еще и слух распустили, что К.А.Б.Л.У.К.О.В. постукивает, но Каблукову на это плевать, поскольку что ему за дело до тех, кто „сделал из порядочности профессию“?»

Фууух, дай дух переведу. И половины не пересказал. А там еще гибель жены, признание в любви топ-модели, таинственная уголовщина и... да еще много чего, перемежаемого сценариями Каблукова, чтобы всякий мог удостовериться: Каблуков и впрямь... если не гений, то где-то близко...

Чем-то этот бред, напоминающий сценарий телесериала, притягивает. Интонацией? Узнаваемой интонацией? Отчаянным, на грани истерики, оправданием, самоутверждением? Найман и сам оставил ориентиры узнавания: «Что „Уленшпигеля“ перевел несчастный Горнфельд, а Осип Мандельштам им попользовался, ясно ежу. Опять же Мандельштам не четырехтомника, интеллигентского захлеба и тартуской школы, а „Ося“ той же заганности и задразненности, что и котюра Катулл. Горнфельд говорит на суде: вот моя фраза, вот его, мой абзац — его, сравните, я имею право на гонорар. Судья Мандельштаму: что скажете? Тот: „Я к смерти готов“...»

Да, именно так: «Четвертая проза», прикинувшаяся сюжетным повествованием, длинным романом про шестидесятые — семидесятые — восьмидесятые — современность. Это же бред, а не фабула, что ж вы, не видите, — будто сообщает кто-то за кадром повествования. Это ж у вас на глазах лепят кое-как телесериал

«Каблуков», словно бы автору неловко стало обрушивать на читателя фрагменты и фрагментики — уже были и «Опавшие листья», и «Уединенное», и (все та же) «Четвертая проза» — вот он и нанизал все на живую нитку какого-никакого сюжета.

А главное ощущение обок всей бредовой лавины событий и персонажей, обрушенных на читателя: главное ощущение проговаривается несколько раз, но почти не замечается читателем, ибо оно — мучительно для автора:

«Гурий, Валерий, родившись в середине 1930-х, произошли от неких Булгаковых и Малышевых, принадлежавших такому-то чину такого-то классу. К 1970-м этого различия не существовало. Были только: выжившие — и сделавшие советскую карьеру. Алину, а за ней Ксению зачинали уже Гарикбулгаков, Валерамалышев — сами по себе, ничьи. И дочери их, стало быть, рождались „не помнящими родства“: семьи, рода, манер, наработанных понятий. Например, об этикете — пусть самые приблизительных... Зато Ксения могла сказать: мой одноклассник индиец. Француз, венгр, югослав... В классе Каблукова они могли быть реальны ровно в ту же меру, что вторгшиеся инопланетяне...»

«Сейчас не может быть романа эпохи, как у Тургенева. Нет времени. Сейчас „Чапаев и Пустота“». «...Оно (время. — Н. Е.) кончилось, уперлось в увал нового порядка вещей, намытый за это время под обвалившейся трухой старой власти и успевший затвердеть. Надо было приноровиться не столько к его новизне, сколько к тому, что на ее вещество пошел тот же цемент... made in USSR...»

А вот это как раз и не так важно... Важна новизна. Вот был мир. Скверный. Очень, но — вечный. К нему притерпелись, стали играть по правилам этого мира — и вдруг он исчез. Рухнул. Не в том даже дело, хуже или лучше стали жить, а в том дело, что мир исчез. Дальше выяснилось, что те, кого считали созданными для этого мира и этим миром, великолепно вписались в предложенные новые обстоятельства, с пластичностью, вообще им свойственной, с артистизмом, вообще им присущим, улеглись на свои полочки:

«„Шурую, вхожу в совет директоров, плюсюю баксы... Вопрос к знатоку тонких материй: а останься — что было бы?“ — „Шуровал бы, входил в совет директоров, плюсовал баксы“. — „Правильно“». Не то чтобы обидно и не то чтобы даже верно, но... есть в «Каблукове» этом самом, нелепом и бредовом, особая тоска человека, оказавшегося вне игры. Обаятельная тоска.

Никита ЕЛИСЕЕВ.

С.-Петербург.



КОСТЕР В ОВРАГЕ

Генрих Сапгир. Стихотворения и поэмы. Вступительная статья, подготовка текста, составление, примечания Д. П. Шраера-Петрова и М. Д. Шраера. СПб., «Академический проект», 2004, 606 стр. («Новая библиотека поэта». Малая серия). Максим Д. Шраер, Давид П. Шраер-Петров. Генрих Сапгир — классик авангарда. СПб., «Дмитрий Буланин», 2004, 263 стр.

Сапгир надвигается. Он не остался в прошлом веке. Минувший год почтил поэта болотным лавром солидного академического томика в строгом формате «Новой библиотеки поэта», да еще и с почетным эскортом в виде первой посвященной новому классику литературоведческой книги. Вклад в это прогрессивное движение двух поколений даровитой питерско-американской семьи Шраер нельзя переоценить.

Тиражи обоих рецензируемых изданий одинаковы, по тысяче экземпляров. Почитателей у Сапгира, надеюсь, уже больше. Что бы ни говорили отдельные скептики о несвоевременности Сапгира, его стихи становятся не только необходимым фактом культурного опыта ближайшего окружения поэта, узкого круга профессионалов и поклонников, но и важной принадлежностью литературного багажа читателя, сохранившего интерес к русской поэзии. Быть может, скоро будет стыд-

но не знать Сапгира. Быть может, скоро придет время его любить (хотя пока что даже новейшие стихослагатели далеко не всегда, увы, слышали хотя бы его имя).

Статусная проблема Сапгира обозначена в подзаголовке книги Шраеров. «Классик авангарда». Что означает этот красивый титул? То, что недавний литературный отщепенец, искатель и экспериментатор, получил общественное признание? Или что его поиски стали некой нормой новой русской поэзии, вошли в ее состав как своего рода базисное основание? Или что-то еще?

Показателен давний заочный диспут о Сапгире Виктора Кривулина и Льва Аннинского. Кривулину однажды не понравилось, что Аннинский записывает Сапгира в маргиналы, пусть и в гениальные маргиналы. Он запальчиво возразил даже, что поэзия Сапгира «определяла литературный мейнстрим на протяжении последних сорока лет». По Кривулину, которого сочувственно цитируют Шраеры, выходит, что без всяких публикаций и выхода к читателю Сапгир стоял в центре литературного процесса и определял его течение.

Не знаю, что на это сказать. Едва ли это так. Вообще, данная Кривулиным формула поэта-лидера, поэта-вождя отчасти коварна, независимо от намерений автора. Она прописывает Сапгира в мире типовых литературных величин эпохи, сближая (или даже отождествляя) его стихи с тем, что Кривулин считает мейнстримом. И кажется уже, что именно за это его и называют великим (Кривулин), его и называют патриархом, вождем племени (Савицкий), как и Пушкин, поэтом-солнцем — непрекаемым лидером для всего, как минимум московского, поэтического сообщества (Тучков), центральной фигурой неофициальной культуры (Ахметьев)..

Сближают Сапгира с его окружением и Шраеры. Они, например, пишут, что Сапгир постоянно менялся, «впитывая в себя формальные веянья и литературные моды», «пропуская через себя — как кислород и как дым костра и сигарет — авангардные искания своих современников или последователей». Эта формула поэта-губки понравилась мне еще меньше. Я примирился с ее авторами, лишь прочитав у них далее, что каким-то образом все-таки «Сапгир оставался самим собой». Сам-то я на этом бы даже настаивал. Пожалуй, Сапгир до такой степени оставался собой, что почти и не менялся сущностно — лишь по-разному эту сущность выражая. Это поэт не столько пути, сколько ситуации.

Итак, о Сапгире вспоминают тепло и ласково, о нем красноречиво витийствуют, его описывают только что не с придыханием. Но проблема, кажется, есть. Звучат дифирамбы, но нет энергии резко выраженного несоответствия, несогласия. Градус полемики страшно низок (как почти везде у нас сегодня). Между тем еще не все понятно. Еще есть о чем спорить. О Сапгире сказаны точные слова. Но тут же, рядом — что за страсть прописывать поэта в литературной коммуналке, что за угрюмая сермяжность в жестких, как бесстыжий взгляд московского мента, характеристиках: постмодернист, рационалист, формалист! Не гибельно много написано о Сапгире. А сколько такого вот мусора.

Наступает золотая пора отделять зерна от плевел. Приближается момент для того, чтобы проявить и обозначить неповторимое лицо Сапгира, чтобы вывести его из ряда поэтов «неподцензурного русского литературного авангарда», коих Шраеры на первой странице своего исследования насчитали чертову дюжину. Пора и проложить границу между Сапгиром и его бледными эпигонами, обкушавшимися случайной славой в недавнюю литературную эпоху.

Да, фокус в том, что Сапгир сохранял редчайшую способность к творческому движению, к обновлению. Это знают все. Он был вечно свеж, вечно нов. Как вчера родился. Готов идти небывальными путями. Готов начать сызнова, от нуля. Кто еще в Москве являл столько свежести в те глухие времена? Не знаю. Всё вокруг него — локальнее и скупее. Все, кого можно любить. Патологической свободой, звериной грацией он напоминает другого москвича, Пастернака. Вам не кажется? На фоне очолевших современников и псевдопродолжателей он являет поэтический опыт фонтанирующей новизны.

Но это не следование моде, по поговорке «из моды в моду, остатки в воду». Это едва ли реакция «на подводные изменения вкусов и приоритетов интеллигенции».

Это не жонглирование рассудочными изобретениями и не произвольно-игровая смена ролей и масок. Точен в деталях и все-таки не прав в главном Кривулин,

пишущий, что «у Сапгира было много ролей, по крайней мере несколько различных литературных масок: официальный детский поэт и драматург, подпольный стихотворец-авангардист, впервые обратившийся к живой новомосковской речевой практике, сюрреалист, использовавший при создании поэтических текстов опыт современной живописи и киномонтажа, неоклассик, отбавившийся „перевелить“ черновики Пушкина, визионер-метафизик, озабоченный возвышенными поисками Бога путем поэзии, автор издевательских считалок, речевок, вошедших в фольклор (типа „Я хочу иметь детей / От коробки скоростей“). Все это Сапгир. Его словесные маски суть масленичные, праздничные личины...» То, что мы называем «ролью», то, что мы называем «маской», в нашем случае правильнее было бы именовать гранями романтической личности, не удовлетворенной тесными пределами существования. Мне кажется, нет оснований сомневаться в том, что в поэзии Сапгира есть единый, пусть и трудноопределимый, личностный центр.

Воля к обновлению — это не рассредоточение творческой личности, тем более не потеря ее. Комментируя сапгировскую книгу «Герцихи Генриха Буфарева», Шраеры угадали родство Сапгира с великим португальцем Фернандо Пессоа, создавшим несколько поэтов-гетеронимов. Правда, при этом они объяснили появление гетеронима у Сапгира не слишком оригинально — игрой «в классики и с классикой». Что означает эта формула — Бог весть. Но только не нужно, думаю, считать гетеронимию Сапгира выражением деперсонализации, клиническим случаем распада авторского «я» на манер персонажа Пиранделло. И в случае Пессоа, и в случае Сапгира здесь скорей имеет место попытка нащупать новые ресурсы самопознания, объективировать субъективно-личное начало.

Сапгир на самом деле замечательный и в высшей степени характерный для второй половины XX века поэт. Он ответил на чад и бред эпохи. В его стихах есть мощный резонанс на ее важнейшее содержание. Есть много близкого тому художественному поиску, который велся тогда в изобразительном искусстве. Но Сапгир все-таки вовсе не определял лицо тогдашней поэзии, и если влиял — то не на всех. Да и что нам до его последователей, которые оказались, как правило, содержательно беднее Сапгира.

Бесконечное разнообразие, предъявленная Сапгиром воля к обновлению — это прежде всего веяние свободного духа, не удовлетворяющегося ничем остановившимся. На угрюмом фоне застоя, при кажущемся отсутствии удобоваримой исторической перспективы, в барачно-казарменной паузе — веселый порыв к новому, к небывалому, к новым средствам выражения нового содержания, к тому, чтобы открыть что-то, что еще не было так названо, так определено. У Кривулина мне еще попало в приложении к Сапгиру слово «протеизм». Да! И так можно назвать свободное самообновление, приближение к сути себя и мира разными путями и средствами. Вот о чем может идти речь. Но не «культурный протеизм» (где определение намекает на эрудицию и на условность, искусственность протеизации), а — личное мифотворчество, по-разному черпающее из недр подлинного бытия.

Он на самом деле *классик*. «Классик авангарда», еще раз со значением поправят меня Шраеры. Нельзя в XX веке без авангарда. Никто не против. Но поэтический авангардизм Сапгира — это, пожалуй, явление, о котором нужно говорить не в жесткой связи с воспринятыми им традициями первой половины XX века. Его поэзия — вполне непринужденный творческий прорыв, усвоивший уроки революционеров первой половины столетия и, однако, свободный от революционного этого их задора, от бунтарской напряженности.

Он пел, как свободная птица. Он хотел петь свою песню, и петь по-своему. В его творчестве преломились художественные поиски эпохи. И в то же время он выходит своими стихами за пределы своего конкретно-жизненного времени. Он уникален. И в стихах его есть то, что делает их современными сегодня. Что будет, думаю, делать их современными завтра. А эти качества традиционно и определяются как *классичность*. И как положено современному классику, Сапгир — художник большого синтеза, неоклассически ориентированный не столько на моду, сколько на самые-рассамые вершины поэзии. Вершин таких на Руси немало, так что и творческий синтез Сапгира получился удивительно многогранным и — подчас — даже гармоническим. (Пушкинское, да.)

Главная посмертная (а может, и прижизненная?) драма Сапгира в том, что его слишком уж часто понимают и принимают в прикладном формате, ценят за приемы, за находки, за искусность и виртуозию. Все это (приемы, находки...) имеет свое место. Кто бы спорил. Беда, однако, что за деревьями теряется лес. Разговор о Сапгире часто увязает в этой сухомятке, характерной у нас для последней четверти минувшего века. Когда казалось, что поэт — и даже великий — может спокойно обойтись без мирозерцания, без глубинного проникновения в суть вещей, без ангельского пения и херувимских слез. Якобы не это в поэзии главное. А лишь виртуозное владение словом. И вовсе при этом не тем словом, о котором писал однажды Гумилев, следуя за Евангелием от Иоанна, а — звуковым конструктом, буквенным муляжом, пуговицей от тужурки, пряжкой от ремня. Эта болезнь духа извела саму себя. Но ее рецидивы еще случаются и сегодня.

И даже у самых тонких и умных ценителей творчества Сапгира отчего-то немел язык, когда они начинали говорить о духовной емкости сапгировских стихов. Тот же Виктор Кривулин (ценимый мной, оговорюсь на всякий случай, высоко). Разве можно понять, на что конкретно он намекает в таких невнятных выражениях: «И вот в чем отличие Генриха от других „лианозовцев“: эти приемы служили для Генриха построению некоего смыслового здания. И здесь он, конечно, ближе к классической модели поэта. И самооценка другая. Он относился к себе с некоторой долей романтизма. То есть в нем был романтизм, который другими преодолевался и который для московских поэтов вообще был явлением редким».

Или Юрий Орлицкий. Как бы мне поглубже постичь разбросанные там и сям в его умных статьях указания на оптимизм Сапгира, «мудреца и весельчака Генриха»?.. Что с чем, конечно, сравнивать. На фоне Бродского и Кушнер закоренелый оптимист. Но меня уже коробит, когда нас утешают: якобы знаменитое трагическое стихотворение «Голоса» («Вон там убили человека...»), с которого, кстати, начинается сборник в «НБП.МС», исполнено (и даже «слишком») витальной силы и ярмарочного разгула. (Так у Кривулина: «Книга Бахтина о Рабле вышла спустя семь лет после того, как было написано это стихотворение, но такое впечатление, будто Сапгир намеренно создавал поэтическую иллюстрацию к идеям карнавальской, веселой смерти в мире, где верх и низ на момент праздника поменялись местами».)

Иные профессиональные читатели и видят магнитное значение смерти в поэтическом мире Сапгира — и не хотят принимать эту аномалию всерьез. Он-де раблезианец, он-де бахтинствует и дионисийствует, зная все про порождающее и поглощающее чрево, и черт ему не брат. Или еще так, замысловато и витиевато, напишут: «Кто-то говорит, что большая часть стихов Сапгира — это стихи о смерти, но мне кажется, что это нельзя впрямую так транскрибировать, потому что это не стихи о смерти, а это, скорее, стихи о бытии, об ощущении себя человеком, который находится не в той астрономической Вселенной, изображенной на всех картинках, а в какой-то космической, необъятной Вселенной» (Анатолий Кудрявицкий). Или вот так, с намеком на парадокс, но едва ли в соответствии духу поэзии Сапгира: «...мысль о смерти не представлялась ему сферой чисто трагической. Если внимательно вчитаться в „Элегии“, можно уловить, что он видел в ней, пожалуй, желанную форму свободы» (Гавриил Заполянский).

В книге Шраеров главный акцент другой. Указующий перст, кажется, направлен на абсурдистскую подкладку сапгирской поэтической камилавки. Даются отсылки к обэриутам, с этим все корректно, все в порядке. Но откуда же самое абсурд там, где так много Бога? Там, где только Он порой и есть?.. Удивительно, но странно написал-таки про это присутствие Бога Кривулин: «...это коммуникация от автора к богу, от бога к автору. Там читатель — абсолютно лишняя или почти лишняя фигура». (Странность, замечу, — и в строчной зачем-то «б», и в выпроваживании читателя за порог. Но то и другое требует отдельного и очень конкретно-го комментария, которому сейчас не время.)

Святые угодники, а ведь так вообще-то прост и по большому счету так понятен Сапгир. Прост и понятен, как настоящий, всамделишный классик. Тайнственно сложен и непостижимо понятен. У него есть нечто от прекрасной ясности, провозглашенной некогда Кузминым. В его книге я что-то перечел, а что-то уви-

дел впервые и был заново, сильнее прежнего потрясен одухотворенной простотой этого поэтического мира.

Готов признать, что он отдал какую-то дань поветриям своего времени, декадентской литературной болезни. Мне видится эта ситуация так.

Сапгир, пожалуй, не русский юрод, и не пророк, и не шут. А кто? Кем еще может быть поэт? *Была ему звездная книга ясна, и с ним говорила морская волна...* Эхо! Вот кто он. Фонтанирующее звуками бытие. Но прежде всего — эхо не других каких-то поэтов, а эхо бытия. Откуда-то из глубин несутся к нему шумы и звуки. И музыка сфер. Редко кто умел это услышать, различить хоть кусочком. Хоть двумя словами. А Сапгир — целыми фразами, без инерции и рутины, за пределами готовых, спящих форм...

Но он был еще и общителен, демократичен, даже с привкусом неразборчивости, всему и всем давал слово. Ну как при всех этих обстоятельствах не подхватить насморк?!

Вообще, в XX веке мало уже оставалось родниковых ключей, мало места для *наивной поэзии*. У Сапгира найдется много культурных причуд, отделки и блеска, он творил фигурно и формалистично, и наивно, и искусенно. Иное дело, что для него и культура — как природа. Он берет ее как ничье. Как дождик в четверг¹.

При остром стремлении к совершенству и при отчетливо заявленном намерении соотносить себя с наиболее значительными современниками и отвечать на их вызов Сапгир недобирал в чувстве миссии, в вере в силу слова. Впрочем, это маловерие он разделил и с Бродским. Это обстоятельство кажется мне роковым для них обоих. Но для Сапгира, нужно думать, все-таки в меньшей мере. Его поздние стихи лишены могильной холодности, в них есть огромное количество внимания и нежности к человеку, доходящих иногда до сентиментального пароксизма. Да и в целом он меньше, чем кто бы то ни было, ироничен (как легко он отмахивался от этой хвори!). Он гораздо больше — искренен, возвышен, трогателен... И он потрясает этим соединением свободы и выси.

Собранный в новом избранном так подробно и так любовно, он потрясает вдвойне своим двуединством, синтезом метафизики и быта, вечности и мига, игры и глубины. То, что могло казаться случайным капризом вдохновения, встало на свое место и стало частью какой-то генеральной поэтической телеологии, непостижимого, но очевидного Замысла.

И если все-таки пытаться хоть кратко (длинно пока не получится) обозначить не вполне еще названное существо его авторской оригинальности, его мирозерцательно-смысловую особенность, то я бы для начала сказал еще о двух чертах.

Во-первых, это неупражняемая значимость личностного присутствия. Мне смешно и грустно, когда Сапгира называют постмодернистом. Промашка вышла, господа хорошие. Человек у Сапгира не просто *есть* как данность; он *незаменим* как уникальное *средоточие бытия*. И встреча с ним поэта часто дает острое экзистенциальное переживание, сопровождаемое душевным трепетом от опознания большой и важной правды о человеческом существовании. (И не такова ли также наша встреча с самим Сапгиром?)

Это у поэта почти везде, но нельзя именно в таком ключе не упомянуть о книге «Три жизни» его последнего года жизни (1999). Там это присутствие достигает пронзительной предсмертной остроты. С такой щемящей нежностью выпелись тогда эти лебединые песенки.

¹ Давно думаю вот о чем. Русская поэзия в XX веке была подхвачена более-менее ассимилированными евреями. Ситуация для имперской культуры почти банальная. Небанально, что с какого-то времени в поэзии стало мало крупных имен с «исконно-посконной», «славянской» родословной. Это свидетельство глубокого кризиса почвенно-патриархального мелоса и чувства. Поэзия — сейсмограф. Культура, опирающаяся на патриархально-крестьянскую основу, ушла. А что, нет русских в городе? Есть. Но редко пели. И не то пели... У северных славян кончаются песни. Русская культура все больше персонально складывалась из представителей разноразнонациональных окраин, которые сами выбирали себе культуру и потом ей верно служили. Сейчас-то все это вообще осталось в прошлом. Так что я прошу возможных оппонентов не сильно горячиться. Сегодня в сфере творчества без осмысленного культурного выбора не может обойтись вообще никто, независимо от своего происхождения. И, быть может, еще возможен и новый культурный синтез в диалоге с русской традицией. Где-нибудь. Скажем, в городе нашей надежды Киеве.

Но есть и второе. Острое переживание богооставленности. Пуст этот мир — брошенный, безбожный, одичавший, гулкий. И это так с самого начала; вот откуда «Голоса» и вот о чем уже ранняя «Бабыя деревня». «Жалок человек». Сапгир, однако, не судит, оставляя эту миссию Богу. Разве что по-свойски припечатает сомнительного собрата-письменника. Он не склонен сосредоточиваться на элегической меланхолии. Цитату из Бродского он походя вставляет в новый контекст: «Оглядываюсь: руины — веселые результаты». А ведь среди этих руин он всю жизнь и строил в основном свой поэтический дом. Разрывы и утраты, паузы и вздохи, перманентный *non finito* и парадоксы заплетающегося среди трех пушкинских сосен языка, — таков его строительный материал, ответственность за который несет не только он, но и его время.

Философ античного строя, праздный гуляка и бражник, шел себе мимо серой и скучной, выцветавшей на глазах эпохи. Но в поздних стихах и его собственное наличие кажется ему уже факультативным. «„Все обойдется” — думаю / И в самом деле терпимо / мир обошелся с нами / мир обойдется без нас». К концу века в одичавшем пространстве начинает проступать нечто кладбищенское. Как в стихотворении о «пустующем клубе»: «Зеркала / без актеров умерли / Тень / ночью скрадывает весь театр / складывает в чемодан / для декораций / и уносит в тень акаций»... Где начинал Сапгир, там теперь производят йогурты.

«Скажут: сентябрь не скажут: Господь». И тем не менее жизнь сворачивается в сторону Бога, к которому можно обратиться с надеждой быть услышанным. Вот так: «Верни нам наивных ангелов / Верни примитивных демонов / Верни нам Себя чтоб узрели / — и в Библии и в саду <...> Верни нам таких как видел / на деревенской северной / иконе — белой кистью / все перышки наперечет / И пусть нам будет художник — / не тот — подражатель прежних / „Хвала им и слава — в Вышних...” / а тот которого видел / в Софронцево на Мологе — костер еще жгли в овраге / — юродствующий дурачок». Это одна из кульминаций излюбленной темы Сапгира — о художнике и ангелах.

Не решаюсь комментировать научный аппарат изданий, но не могу не сказать, что в книге Сапгира, очевидно, есть опечатки. И их немало. А если перед нами авторские написания и неологизмы, то стоило бы, конечно, оговорить это в примечаниях. Иначе как понять, например, что в одной строфе одно и то же слово пишется то как «обериуты», то как «обэриуты»? И в той же строфе возникает некто «Броджий», в котором угадывается Бродский?

И наконец. Есть замечательные мемуарные свидетельства о Сапгире. Но очерк Давида Шраера «Возбуждение снов», занимающий почти треть монографии, относится к числу лучших.

Евгений ЕРМОЛИН.

Ярославль.



СУДЬБА БАРАБАНЩИКА

Владимир Тарасов. Трио. М., «Новое литературное обозрение», 2004, 254 стр.

На белом свете имеется не более десяти барабанщиков, способных в одиночку, используя исключительно арсенал инструментов без определенной высоты звука, записать целый альбом, который не скучно будет слушать от начала до конца. Впрочем, и цифра «десять» выбрана мною так, наобум, из абстрактного уважения к человечеству, — знаю-то я только троих. И Владимир Тарасов, конечно, из них лучший.

В знаменитом вильнюсском джазовом трио «Ганелин — Тарасов — Чекасин» (сокращенно его называли «ГТЧ») Владимир Тарасов был центром творческого притяжения, своего рода «атомным ядром». К «ГТЧ» хорошо подходит современный музыкальный термин «проект». Трио не выкристаллизовалось, как часто тогда бывало, из дружеской компании музыкантов (по признанию Тарасова, вне репетиций и концертов музыканты практически не общались друг с другом), не об-

разовалось внутри какого-то другого коллектива, — его породил именно резонанс музыкальных идей встретившихся однажды пианиста Вячеслава Ганелина и барабанщика Тарасова, которым некоторое время спустя удалось отыскать и третьего единомышленника, эксцентричного саксофониста Владимира Чекакина. Насколько эти идеи не были в то время общепотребительными, говорит тот факт, что, нуждаясь в контрабасисте, найти подходящего за полтора десятилетия существования «ГТЧ» музыканты так и не сумели. Однако двое коллег Тарасова числили участие в трио среди многих других, не менее важных для себя вещей и занятий — Ганелин, к примеру, был довольно востребованным композитором, — а вот сам он отождествлялся с трио почти полностью (и важно, что узнаем мы об этом не от самого барабанщика — он так благородно скромен и сдержан, что иногда хочется его буквально подтолкнуть: мол, давай расскажи наконец пару сплетен про известных людей или хоть себя похвали, — а из добавленного к основному тексту книги старого, не по-современному умного интервью, где куда больше Тарасова говорят как раз Ганелин и Чекакин).

Несомненно, «ГТЧ» было самым ярким музыкальным явлением позднего советского периода. Хочется осторожно добавить: по крайней мере в области нефилармонической музыки, — но выйдет парадокс, ведь чтобы стать официальным концертующим коллективом, музыкантам требовалось устроиться на работу именно в советскую филармонию. Во времена махрового застоя семидесятых и первой половины восьмидесятых его участники умудрялись исполнять совершенно актуальный по мировым меркам авангардный джаз, при этом не слишком конфликтуя с властями. В предисловии к книге Томас Венцлова признается, что даже на него, ничего в джазе не смыслящего и отдающего предпочтение высокой классике, музыка «ГТЧ» оказала определенное влияние. «Эта музыка подспудно воздействовала на все, что мы тогда делали, и в каком-то смысле определяла наше мышление». Правда, далее следует вывод с неожиданным сужением: «Трио... оказалось одним из магистральных явлений культуры своего времени в Литве». Вот уж дудки, не отдадим! А в Москве? А в Питере? Ни один из музыкантов трио не был связан с Литвой сколько-нибудь глубокими корнями. В сущности, в Вильнюсе все они оказались достаточно случайно. Конечно, в крупных советских центрах необычному, непонятному начальству, часто эпатазирующему ансамблю пробиться было бы сложнее, чем в относительно либеральной Литве. И все же творческая история «ГТЧ» разворачивалась на общесоветском культурном поле; и в России, и на фестивалях в республиках выступления трио смущали — и восхищали — умы ничуть не менее, чем в Прибалтике. «ГТЧ» стало музыкальной иконой для всего полуподпольного советского свободомыслия и нонконформизма (но существовали, разумеется, и люди, которым ансамбль, выступающий от официальной концертной организации, выезжающий за рубеж, выпускающий пластинки на фирме «Мелодия», виделся безнадежно продавшимся). Музыка трио была оригинальна, практически не похожа на западные образцы — с большой натяжкой можно провести сравнение разве что с американским джазовым авангардистом Энтони Брэкстоном — и современникам представлялась радикальной и сложной. Отечественным интеллектуалам той поры она обеспечивала больше поводов для размышлений, чем обеспечивает вся современная музыка, вместе взятая. Самиздатские музыкальные журналы, бывало, заполнялись статьями о «ГТЧ» чуть ли не наполовину.

Но в книге Тарасова никакого анализа этой музыки мы не находим. Жаль. Мне было бы интересно, например, найти подтверждение или опровержение собственным впечатлениям и соображениям по поводу того, что «ГТЧ» внесло в джаз новый импровизационный принцип: музыкальное «поведение» инструментов в ансамбле было подчинено своеобразным драматическим ролям. Даже не столько ролям, сколько характерам, общим очертаниям «личности», закреплявшимся за инструментом в рамках той или иной программы трио. И по ходу действия музыканты импровизировали прежде всего некий сюжет, а он уже музыкально иллюстрировался. В основе это как уличный театр: идет герой — трубит фанфара, крадется злодей — тревожно бумкает большой барабан, — зародыш вагнеровской системы лейтмотивов. Разумеется, у «ГТЧ» структурно все гораздо сложнее, прямых соответствий нет (и, кстати, барабаны Тарасова обычно ассоциировались со светлым

началом, с силами добра), но важно, что за звуком всегда мерещатся какие-то действующие фигуры, пускай и не очень четко очерченные. Несколько позже подобные вещи начнет делать в своих программах и Сергей Курехин («Война кошек и мышей» с Летовым и Бугаевым-Африкой). И немудрено, что программы трио порой незаметно и органично скатывались в настоящую концептуализму, причем концептуализм именно отечественного толка, а-ля Илья Кабаков (о прямом влиянии Кабакова, которого связывает с Тарасовым давняя дружба, на эти программы в книге свидетельств нет). Нужно помнить, что происходило это задолго до того, как концептуализм вошел в моду и стал общим местом, напротив, некоторые сценические жесты «ГТЧ» тогда даже у горячих поклонников вызывали откровенное недоумение и желание покрутить пальцем у виска: поклонник пришел слушать, как Тарасов бьет в барабаны, а тот полконцерта как бы спит на диване под торшером в углу сцены, а вторую половину уже не как бы пьет на сцене со товарищи чай и жует бутерброды (поклонник, между прочим, после рабочего дня у кульмана в КБ и бутерброд в буфете перед началом концерта купить не успел — большая очередь, или не смог — денег нет), а музыку играют они словно между делом, и невнятную какую-то, самбы-румбы, не свою музыку. Это еще годы понадобятся, чтобы объяснить самой просвещенной части публики, что в подобных действиях к чему и почему. Вот автор настоящих строк, несмотря на все разъяснения, так и не сумел этих тонких материй уразуметь.

Тарасов — не первый отечественный джазовый музыкант, отважившийся на литературный труд в жанре «о времени и о себе». Еще в девяносто восьмом вышла в серии «Вагриуса» «Мой 20-й век» книга также очень яркого джазового человека Алексея Козлова «Козел на саксе». Любопытно сравнить эти тексты, почувствовать разницу темпераментов. Для Козлова всякий разговор о музыке, своей или чужой, — всегда повод агрессивно расставить верные, с его точки зрения, акценты: кто чего стоит, — нарассказывать множество действительно интересных историй про свою юность, про стилияг, про хиппианские семидесятые и нововолновые восьмидесятые, свести с кем-нибудь счеты, научить читателя жизни и, наконец, объяснить, что именно он, Козлов, скovyрнул советскую власть. Если беречь себя и пролистывать «учительские» страницы, останется впечатление великолепных, емких мемуаров, написанных человеком по-своему очень цельным, жадным до жизни и способным наслаждаться собственной памятью. У Тарасова все наоборот. Практически отсутствует какая-либо личностная оценка своего или чужого музыкального творчества. Да и моментов биографии, не связанных с участием в трио, Тарасов практически не касается. Хотя изредка все-таки устает держать себя в узде, и тогда на свет выплывают удивительные и очень живые детали, ситуации. Я искренне растрогался, представив себе, как в конце шестидесятых в Архангельске совсем молодой Володя Тарасов разучивает дома сложное барабанное соло Джо Морелло из знаменитой «Take Five» Дэйва Брубека, а его мама, вряд ли особо очарованная джазом, но к увлечению сына барабанным делом относящаяся с уважением, следит за его исполнением и слышит по магнитофонной записи с оригиналом. Светится абажур. За окном ветер с моря, метель и коммунистическая беспробудность. В двух фразах целый сюжет уместился у Владимира Тарасова.

Единственное, о чем Тарасов говорит много и часто, — это о своих тесных контактах с героями андеграунда тех лет, прежде всего с художниками, сплошь нынешними знаменитостями. Тарасов прекрасно понимает, как важно для творческого человека быть включенным в круг знаковых фигур своей культурной эпохи, и не дает читателю забыть, что да, он действительно один из них. Что ж, имеет право. Основными потребителями джаза в Советском Союзе были «физики» из хрестоматийного противопоставления «физики — лирики». То есть ученые негуманитарных направлений, так называемая «техническая интеллигенция», врачи... А вот «ГТЧ» умудрилось подцепить совсем иную публику. И недаром имела хождение шутка, что, если подогнать «воронки» и арестовать публику на московском концерте трио, с неофициальным искусством в СССР будет покончено за один вечер. К чести Тарасова, он, хотя и осознает себя частью элиты, не кичится этим и не тянет одеяло на себя. Сообщает со спокойным достоинством: среди тех-то и тех-то я был и остаюсь своим. Отсюда, как оказалось, и обескураживавшее меня прежде

стремление позднего Тарасова называть свои программы и импровизации, многомерные, без однозначного послания, впускающие слушателя в удивительный выстроенный звуковой мир, — инсталляциями или перформансами; словно перевод их в другую культурную плоскость, дискриминация в них особого музыкального измерения (впрочем, это позволяет Тарасову некоторые из них представлять в престижных западных галереях). Отсюда и практика включения текстов в звуковую ткань, в чем-то подобно тому, как делают это в своих работах художники-концептуалисты: у Тарасова были совместные выступления с Приговым, с Андреем Битовым (в качестве пушкиниста!), он импровизировал вместе с композитором Владимиром Мартыновым на тексты египетской «Книги мертвых», — вообще много выступал в таком духе.

А в основном книга — подробная, погодная хроника трио: концерты, фестивали, гастроли, новые программы, встречи и коллаборации с различными музыкантами. Тарасов-мемуарист поставил перед собой задачу: рассказать об ансамбле, ставшем, без преувеличения, джазовой легендой советской ойкумены, и словно боится, что, стоит ему хоть чуть-чуть за рамки этой задачи выйти, повествование тут же растечется и цельность книги будет нарушена. В итоге остались за кадром годы после распада трио и сольное творчество Тарасова, ставшего великим и изобретательным мастером «одиноких» барабанов, — ничуть не менее значимое, чем то, что делало «ГТЧ». Сухая, почти документальная манера изложения выдает крайнюю сосредоточенность Тарасова (в которой вряд ли усомнится всякий, видевший музыканта на сцене или хотя бы слушавший его сольные пластинки). В голове у Тарасова остается не так уж много свободного пространства для чего-либо, кроме музыки, а место быта занимают сопутствующие музыкальной деятельности обстоятельства. В советских реалиях это главным образом препирательства с чиновниками от культуры, осторожные кошки-мышки с «домашними» кагэбэшниками и сопровождающими на гастролях, вынужденное участие в официальных мероприятиях вроде комсомольско-молодежных фестивалей, проблемы с инструментами, покупка инструментов на Западе, полуполегалка, поскольку на родине требуется отчитываться, откуда взял деньги... Есть смешные сценки и живые картины, но в целом и они работают на ощущение общей унылой абсурдности эпохи. (Вот совершенно гениальная сцена первой встречи с Чекасиным: тот играет в свердловском Доме офицеров на танцах замороченный неритмичный атональный джаз в духе позднего Колтрейна, а в зале танцуют друг с другом круглолицые уральские девушки в валенках, уверенные, видно, что такова и есть самая правильная и модная зарубежная музыка для танцев, — а может, просто привыкли пользоваться тем, что есть, раз не из чего выбирать; на дворе 1971 год.)

Музыкант и власть — тема, объединяющая Тарасова и Козлова. То, что оба они могут здесь поведать, уже не очень актуально, поскольку теперь эти отношения строятся на других основаниях, но для культурной археологии недавнего прошлого это, конечно, ценный материал. И если Козлов постоянно чувствует себя обманутым, обсчитанным, обведенным вокруг пальца, жалуется: вот, на Западе я за концерт получил бы столько, а в варварском СССР три рубля, на которые и проездной не купишь (а ведь артист, пускай и не обласканный властями, просто востребованный, в любом случае имел в советское время возможность зарабатывать много больше, чем, скажем, даже очень хороший профессионал-технар), то Тарасова угнетает прежде всего сама по себе необходимость испрашивать дозволения начальства на осуществление всякой своей творческой инициативы. Тарасов не чуждался общения с диссидентами, но его самого вряд ли можно причислить к последовательным политическим диссидентам. Здесь скорее органическое неприятие подлинно творческим человеком косности и убогости системы, перерастающее не в ненависть, а в брезгливое отвращение. Хотя и обид хватало. В семьдесят пятом Тарасов получил личное приглашение обучаться в Страсбургской консерватории у одного из лучших в мире перкуссионистов Жана Батиня — но, разумеется, разрешения на выезд ему не дали. Впоследствии советские чиновники неоднократно замалчивали приглашения, поступавшие в адрес трио от организаторов крупнейших мировых фестивалей и известных продюсеров. Все это, конечно, к власти располагало не слишком, и Тарасов откровенно злится, описывая такие моменты, —

но и трагедии из них не делает. В конце концов, участники трио выбрали, пожалуй, самую верную линию поведения: пресловутая внутренняя эмиграция при внешней лояльности. И в результате карьера их сложилась, пусть и не без препон, по советским меркам и по сравнению со многими другими музыкантами весьма успешно: уже с конца семидесятых жаловаться на недостаток зарубежных поездок им не приходится. Парадоксальным образом, мне кажется, именно их крайний авангардизм сыграл им на руку. Создается впечатление, что «разрешительные» советские инстанции при встрече с музыкой «ГТЧ» приходили в такую растерянность, что как-то не соображали сразу же ее запретить, а потом уже делалось поздно, потому что выяснялось: для репрезентации на Западе советской культуры авангардное джазовое трио подходит куда лучше, нежели официозная комсомольская эстрада или кокошечный псевдофольклор. И это позволяло музыкантам протискиваться в узкую щель между дозволенным и недозволенным, с артистизмом избегая ситуаций, где требовалось идти на компромисс со своей совестью или поступаться творческими принципами. Джазовых сюит на темы советских песен трио не играло никогда.

Михаил БУТОВ.



ПРИЗРАК ТРАДИЦИОНАЛИЗМА

Н. Вахтин, Е. Головкин, П. Швайтцер. Русские старожилы Сибири: социальные и символические аспекты самосознания. М., «Новое издательство», 2004, 292 стр.

Перед нами особая, не совсем традиционная этнография. Описание антропологического типа, хозяйства, языка, одежды, жилища, а также обычаев и верований сибирских старожилых никак не является главной задачей антропологов из Европейского университета в Санкт-Петербурге. Тех, кому это интересно, Николай Вахтин, Евгений Головкин и Петер Швайтцер отсылают к своим предшественникам. Объектом их собственного исследования становится самосознание современных русских старожилых Северо-Восточной Сибири, а точнее — жителей трех поселков: Русское Устье на Индигирке, Походск на Колыме и Марково на Анадыри, где авторы работали в 1993, 1996, 1998 и 1999 годах. Население этих поселков не превышает полутора тысяч человек, что по масштабам нашего Отечества не слишком много, а потому роль, которую эти люди играют в нынешней российской жизни, не назовешь уж очень значительной.

Тем не менее о проблеме, побудившей авторов к проведению исследования и написанию книги, этого никак не скажешь.

Еще этнографы начала XX века, оказавшись в Восточной Сибири, отмечали, что искать культуру коренного населения в чистом виде — затея в большинстве случаев обреченная на провал. Представители малых народов легко и с удовольствием отказываются от традиционной утвари и орудий труда, если их можно заменить на что-то более удобное и полезное, пришельцы, напротив, перенимают методы хозяйствования и вступают в браки с местным населением. Сказать однозначно, кто кого ассимилировал, в таких случаях весьма непросто, потому что в результате возникают новые смешанные разговорный язык и антропологический тип, а вместе с ними и особая форма самосознания.

К истории старожилых Восточной Сибири вышесказанное имеет самое прямое отношение. Эти люди происходят от русских промышленников, пришедших на Колыму и Индигирку сразу после присоединения Якутии к России. Почти полностью истребив в этих местах пушного зверя, к концу XVII столетия промышленники были вынуждены сменить род занятий и перейти к оседлой жизни, главным образом к оседлому рыболовству, и породниться с местными оседлыми рыбаками, то есть стали брать в жены юкагирок. В мировой истории сибирские старожилы не одиноки, почти так же возникли более известные этнографам и социологам смешанные группы в обеих Америках — канадские поселенцы, креолы, метисы.

Таким образом, можно назвать по крайней мере две причины для изучения самосознания старожилых Северо-Восточной Сибири. Во-первых, это вклад в разви-

тие науки о смешанных группах, во-вторых, возможность заглянуть в будущее таких народов, как буряты, якуты, ненцы или чукчи, — причем не столько в материальном, сколько в духовном отношении.

Книга открывается краткой историей поселений и соответствующей статистикой, затем рассматривается отношение властей и исследователей к старожилам и лишь потом — их представления о самих себе, признаки, по которым старожилы противопоставляют себя другим. В конце авторы помещают очерк о современном положении старожилов Восточной Сибири.

Отношение государства к старожилам, по мнению авторов, являет собой некий исторический парадокс. Как и всякая колониальная держава, Российская империя всегда нуждалась в создании особой группы населения, которое бы считала Сибирь своей родиной, Россию же — своим государством. Тем не менее практические распоряжения властей очевидным образом противоречили стратегическим интересам государства. С самого начала церковь не особенно поощряла сожителство русских с некрещеными туземками. Когда же в результате этих браков возникла целая группа населения, она оказалась вне официальных сословных классификаций. Например, русскоустинцы *de jure* были лишены прав на используемые ими *de facto* промысловые угодья.

Эта ситуация неизменно подталкивала старожилов к довольно своеобразным решениям. В XIX веке русскоустинцы записывались в верхоянские мещане, несмотря на то что от их села до Верхоянска добрая тысяча верст; походчане и марковцы, зачастую не умевшие держать в руках оружие, — в казаки.

Несмотря на то что с тех пор многое изменилось, ситуация конца XX столетия напоминала век XIX — высокооплачиваемая работа доставалась приезжим специалистам, а льготы — коренным народам, но не смешанному населению.

Помимо непростых отношений с властями, смешанное происхождение усложняло для этой группы взаимоотношения с русскими «с большой земли». Если для коренных этносов старожилы были русскими, то для приезжих они всегда оставались «местными», то есть недостаточно русскими. В результате к середине XX века возник довольно униженный термин «местнорусские», который часто употреблялся как самоназвание и даже проник в официальные документы.

Неудивительно, что возникшее в таких условиях самосознание не допускает окончательной национальной или групповой самоидентификации. По наблюдениям исследователей, современный житель поселка Марково в зависимости от контекста может называть себя то русским, то чуванцем (названия одной из ныне исчезнувших территориальных групп юкагирского народа, перешедшее к жителям села Марково), то камчадалом или же, наоборот, категорически отрицать свою принадлежность к какой-либо из этих групп.

За этим неустойчивым словоупотреблением стоит не только история старожилов, но и довольно специфичный набор признаков, используемый ими для того, чтобы отличать себя от аборигенов и русских с «большой земли».

Наиболее ярким и интересным для изучения оказался случай Русского Устья. Уже почти сто лет в распоряжении жителей этого поселка имеется особый комплекс представлений, который можно обозначить как «русскоустинская идея».

В начале XX века ее впервые сформулировал ссыльный этнограф Зензинов. Суть «русскоустинской идеи» в том, что русскоустинцы, или, как их называл Зензинов, «старинные люди у холодного Океана», не только не подверглись влиянию аборигенов, но и в неизменности сохранили культуру Древней Руси — православную веру, древнерусский язык и фольклор.

Тезис этот безусловно имеет под собой некоторые основания и потому на протяжении XX столетия не раз успешно доказывался путем акцентирования одних черт русскоустинской культуры и игнорирования других. В центре внимания неизменно оказывались архаические черты русскоустинских былин, песен и сказок, местный колорит оставался в тени или же получал довольно своеобразные объяснения. Например, перенятое русскоустинцами у местных народов бытовое шаманство Зензинов абсолютно некорректно уподоблял древнерусскому двоеверию.

Именно из контраста между «русскоустинской идеей» и современными русскоустинскими реалиями и возникает наиболее интересный сюжет книги, по-

скольку экспедиции конца XX века показали, что если «русскоустинская идея» живет и побеждает в умах, то русскоустинская культура по большей части ушла в прошлое.

К примеру, русскоустинцы уверяли исследователей и сами были уверены в том, что говорят на древнерусском языке и поют песни XVII века так, как они пелись тогда, однако при этом в быту изъяснялись на стандартном современном русском, а в ответ на просьбы «побаять по-досельному» или спеть заглядывали в книги или тетради.

Несмотря на религиозное возрождение, обнаружить в Русском Устье какую-либо активность вокруг церквей исследователям опять-таки не удалось. Зато выяснилось, что старожилы по-прежнему, так же как якуты и чукчи, «кормят» огонь и реку. Более того, некоторые обычаи аборигенов вошли в представление русскоустинцев о собственной традиции. Например, обычай делать дырки в одежде покойника, ломать вещи, которые потом кидают на могилу, — эти исконно русские, по заверениям старожилов, ритуальные действия прежде всего известны из описаний быта якутов и чукчей.

Ситуация, при которой «русскоустинская идея» не вполне соответствует жизненным реалиям, заставляет авторов прибегнуть к введенному британским антропологом Тимом Ингольдом различению между культурой «реализуемой» и культурой «заявленной» («culture as lived» и «culture as declared»).

В нашу эпоху та и другая не совпадают не только у русскоустинцев, специфика заключается лишь в степени расхождения. В культурной жизни остальной, «материковой» России наблюдается нечто похожее — контраст между стандартными, а потому общими для многих стран массовыми формами культуры и ее «исконными», «национальными» образцами, ретрансляцию которых современный человек бестрепетно передает в ведение телевидения, радио и газет.

В обоих случаях несоответствие между «реализуемой» и «заявленной» культурой можно увидеть лишь со стороны, но никак не изнутри.

Остается лишь поблагодарить авторов за прекрасное описание этого явления, а также за рассказ о нынешнем положении старожилов Восточной Сибири.

После прочтения заключительных глав жители прилегающих к Москве областей, которым приходится вставать в четыре утра, бежать на электричку, жаться в давке, мерзнуть и мокнуть под протекающими крышами, чтобы успеть на работу в столице, кажутся просто баловнями судьбы.

Василий КОСТЫРКО.

КНИЖНАЯ ПОЛКА МИХАИЛА ЭДЕЛЬШТЕЙНА

+8

Брюсовские чтения 2002 года. Редактор-составитель С. Т. Золян. Ереван, «Лингва», 2004, 414 стр.

Так сложилось, что в советское время основными центрами изучения литературы конца XIX — начала XX века стали Тарту и Ереван. Во многом благодаря усилиям эстонских и армянских русистов удалось вывести «серебряновечные» штудии на качественно новый уровень, разрушить заговор молчания вокруг многих «неблагонадежных» имен. В двух проектах было много общего, даже возникли они почти одновременно: традиция ереванских Брюсовских чтений была заложена в декабре 1962 года, первая блоковская конференция в Тарту прошла несколькими месяцами раньше, в мае того же года.

Отрадно, что, несмотря на все естественные трудности, интенсивная работа теперь уже зарубежных коллег продолжается и сегодня. Однако если деятельность сотрудников легендарной кафедры русской литературы Тартуского университета по-прежнему вызывает повышенный интерес российских коллег, то труды ереван-

ских брусоседов, к сожалению, оказались на периферии внимания филологов-«серебряновечников». Это тем более несправедливо, что только за последние годы в Ереванском государственном лингвистическом университете им. В. Я. Брюсова проведены очередные брусосские чтения, вышел содержательный сборник статей Эльмиры Даниелян «Валерий Брюсов. Проблемы творчества», наконец, появилось рецензируемое издание, состоящее по преимуществу из докладов, прозвучавших на XII Брюсовских чтениях 2002 года и на конференции 1998 года, посвященной 125-летию со дня рождения Брюсова.

Книга состоит из четырех разделов: «Проблемы творчества В. Я. Брюсова», «В. Я. Брюсов и мировая культура», «Сообщения» и «Публикации». Первые три части, несмотря на несколько реферативный характер отдельных работ, в целом весьма информативны; однако наибольший интерес все же представляют заключающие сборник архивные материалы. Особенно любопытны две публикации, подготовленные покойным Ремом Леонидовичем Щербаковым — одним из лучших знатоков брусосского наследия: «Открытое письмо к молодым поэтам», написанное Брюсовым в 1913 году, но в печать тогда не попавшее, и несколько брусосских стихотворений, ранее публиковавшихся под именами других поэтов.

В. Я. Брюсов и русский модернизм. Редактор-составитель О. А. Лекманов. М., ИМЛИ РАН, 2004, 352 стр.

В России между тем брусосведение находится в некотором упадке. В изданном ИМЛИ сборнике из 19 материалов только 7 посвящены собственно заглавному герою. Причины этого в предисловии к книге объясняет ее составитель Олег Лекманов: «На протяжении всей советской эпохи Брюсов, бывший одним из немногих символистов, безоговорочно принявших Октябрьскую революцию 1917 года и даже вступивший в коммунистическую партию, находился в центре внимания официальной науки. В последние годы ситуация кардинально поменялась — Брюсов в сознании отечественных любителей поэзии начала XX века оказался наглухо заслонен фигурами других до поры до времени не печатавшихся или почти не печатавшихся на Родине стихотворцев».

Впрочем, в данном случае качество возникает независимо от количества: практически все вошедшие в брусосскую часть сборника работы, от лингвистических штудий Натальи Кожевниковой и стиховедческих — Юрия Орлицкого до маргиналий Дины Магомедовой и историко-литературных заметок Николая Богомолова, выполнены на исключительно высоком уровне. То же касается и второго раздела книги, посвященного современникам Брюсова: статьи об Иерониме Ясинском, Владимире Нарбуте, Николае Евреинове или Вениамине Бабаджане не просто детально прописывают фон, на котором развивалось брусосское творчество, но и вводят в научный оборот неизвестный материал либо предлагают нетрадиционный взгляд на материал давно знакомый.

Вячеслав Иванов: между Святым Писанием и Поэзией. Редактор Андрей Шишкин. Рим, 2004. Т. 1 — 414 стр.; т. 2 — 398 стр. («Europa Orientalis», XXI, 2002, 1-2).

Научное книгоиздание сегодня одинаково неторопливо что в России, что на Западе. Восьмой международный ивановский симпозиум прошел в Риме осенью 2001 года. Выпущенный по итогам конференции двухтомник помечен 2002 годом, однако посвящен он памяти сына поэта, Дмитрия Вячеславовича Иванова, умершего в 2003 году, а предисловие редактора датировано и вовсе январем 2004 года.

Тематика симпозиума — «Между Библией и Поэзией» — определила богословско-философский уклон большинства материалов. Трактатам Иванова здесь уделено не меньше места, чем его стихам; Иванов — теолог и мистик занимает авторов, пожалуй, больше, нежели Иванов-лирик. Даже когда речь заходит о поэзии, для анализа используется язык скорее философии и философской эстетики, нежели чистой филологии.

Впрочем, редактор справедливо замечает, что нынешних исследователей привлекает цельный взгляд на творчество Иванова как на некий «синтез поэзии, философии и богословия». Не случайно открывается первый том статьей Сергея Аверинцева «Стратегия цитаты в поэзии Вячеслава Иванова», где, сопоставляя принципы отношения Иванова к проблеме интертекстуальности с «тысячелетними навыками старой гомилетической экзегезы Библии», автор на ряде конкретных примеров рассматривает особенности словоупотребления как в шуточных, так и в «серьезных» стихах поэта.

Не менее интересны и другие материалы первого тома. Католический богослов Иван Голуб и православный — отец Михаил Меерсон с разных точек зрения анализируют проблему диалогичности в творчестве Иванова. Андрей Архипов проследживает судьбу комментария Иванова к Новому Завету, над которым поэт работал в начале 40-х годов. Джон Мальмстад и Денис Мицкевич рассматривают отдельные стихотворные тексты Иванова, а Анджей Дудек, Василий Рудич и В. Устинова изучают, как преломлялись идеи блаженного Августина, Вергилия, Платона и Данте в его эстетическом сознании.

Работы, включенные во второй том, методологически более традиционны. Николай Богомолов реконструирует один малоизученный эпизод из жизни поэта, Андрей Шишкин публикует записи Фейги Коган, проливающие свет на деятельность ивановского «Кружка Поэзии» 1920 года, а Маргарита Павлова исследует творческие связи Иванова и Сологуба в 1905 — 1906 годы. Международным контактам Иванова посвящены сообщения Майкла Вахтеля и Марко Ронкалли. Заключают второй том фрагмент неоконченной ивановской трагедии «Антигона» (публикация Филиппа Вестбрёка), фундаментальная работа А. Топоркова «Фольклорные источники „Повести о Светомире царевиче“ В. И. Иванова» и «Материалы к описанию библиотеки Вяч. Иванова», подготовленные Геннадием Обатниным.

Алексей Скалдин. Стихи. Проза. Статьи. Материалы к биографии. Составление, подготовка текста, вступительная статья, комментарии Т. С. Царьковой. СПб., Издательство Ивана Лимбаха, 2004, 528 стр.

В пореволюционную эпоху Алексей Скалдин арестовывался трижды, в последний раз — в 1941 году. По официальным данным, он умер летом 1943 года в Карлаге. Вместе с писателем погиб и его архив, включавший восемь романов, малую прозу, переписку. Поэтому подготовленный Татьяной Царьковой том можно назвать полным собранием дошедших до нас сочинений Скалдина. В него вошли все художественные, публицистические и литературно-критические произведения писателя, издававшиеся при его жизни либо сохранившиеся в архивах, за исключением двух детских книжек и одной неоконченной статьи.

Стихи Скалдина (их уцелело около ста, включая и те, что вошли в единственную прижизненную книгу поэта — «Стихотворения» 1912 года) не вполне самостоятельны, их образные ходы и формальные решения свидетельствуют о зависимости автора от Вячеслава Иванова, которого Скалдин с момента их знакомства в 1909 году числил своим учителем. Николай Гумилев отзывался о Скалдине-поэте как о «бедном, захудалом двойнике» символистского мэтра — при всей несомненной детерминированности этой характеристики литературными спорами того времени, нельзя не признать за ней своеобразной справедливости. Можно выделить в античных и фольклорных стилизациях Скалдина и другие влияния — Юрия Верховского, Сергея Городецкого, Александра Кондратьева.

По-своему любопытно центральное прозаическое произведение Скалдина — роман «Странствия и приключения Никодима Старшего», хотя мнение Вадима Крейда о влиянии этой книги на «Мастера и Маргариту» представляется более чем спорным. Исключительно густонаселенный и перенасыщенный неожиданными сюжетными поворотами, построенный на смешении времен и пространств, перетекании снов в явь и наоборот, роман этот манит читателей своей непонятностью и заставляет историков литературы рассматривать Скалдина как предшественника литературы абсурда, перекинувшего мостик от символизма к авангарду.

Хотя, возможно, дело, как это часто бывает, обстоит несколько проще. Известно, что «Никодим Старший» задумывался автором как трилогия, по-видимому,

она даже была закончена, однако до нас дошла лишь первая ее часть. Рискуно предположить, что это до некоторой степени пошло произведению Скалдина на пользу — не отсюда ли загадочность романа и та причудливость, которая выделяет его даже на фоне многочисленных фантазмагорий серебряного века?

Федор Сологуб. Мелкий бес. Составление, статья, комментарий М. М. Павловой. СПб., «Наука», 2004, 892 стр. («Литературные памятники»).

Трудно сказать, какое еще из классических произведений русской литературы XX века издавалось у нас с таким тщанием. Сочинения Горького, удостоенного за заслуги перед соцреализмом академического собрания? «Петербург» Белого в тех же «Литпамятниках»? Ремизовский «Пруд» в недавнем десятитомнике «Русской книги»? Но даже на этом фоне нынешнее издание явно выделяется и полнотой материала, и уровнем текстологической подготовки, и объемом научно-справочного аппарата.

Кроме канонического варианта романа в том вошли авторская инсценировка «Мелкого беса», главы, исключенные писателем из окончательного текста, но напечатанные им в 1912 году в газете «Речь», а также ранняя редакция центрального произведения Сологуба. В приложении опубликована работа Маргариты Павловой «Творческая история романа „Мелкий бес“». Заключает книгу подробнейший комментарий.

Есть своего рода высшая справедливость в том, что подобным образом издали именно Сологуба, которому после 1917 года, когда появился отличный том «Неизданный Федор Сологуб», почему-то особенно не везло. Одновременный выход двух редкостной халтурности собраний сочинений (постарались московский «Интелвак» — это просто стихийное бедствие какое-то, а не издательство! — и питерские «Навыи чары») привел к тому, что в обозримом будущем едва ли кто-то решится издать наследие писателя с надлежащей полнотой и на достойном научном уровне. Так что остается утешаться академическим изданием «Мелкого беса».

Шмуэль Йосеф Агнон. Новеллы. Редактор-составитель Елена Римон. М., «Мосты культуры» — Иерусалим, «Гешарим», 2004, 544 стр.

Если нобелевского лауреата 1966 года, крупнейшего ивритоязычного прозаика минувшего столетия Шмуэля Йосефа Агнона¹ и можно издавать на других языках, то только так: с сопроводительными статьями, именным указателем, глоссарием и многостраничными комментариями. Ибо сюжеты Агнона, его символика, наконец, сама его лексика — все в этих рассказах отсылает к еврейской религиозной традиции, к книгам Танаха, талмудическим трактатам, агадическим преданиям и народным легендам.

Агнон относится к тем «эзотерическим» писателям, которые в рамках своей культуры кажутся безусловными классиками, а носителям иного языкового сознания зачастую просто непонятны — прямая противоположность, скажем, супермодному космополиту Этгару Керету, израильскому Мураками, проза которого в минимальной степени привязана к национальному контексту, да и вообще к определенной культурной среде. Тем не менее Елене Римон удалось подготовить образцовое во всех отношениях издание. Отдельного упоминания заслуживают очень разные, но одинаково удачные переводы Исраэля Шамира, Светланы Шенбрунн, Натана Файнгольда, Михаила Кравцова и других.

Лесли Поулс Хартли. Посредник. Перевод с английского М. Загота. М., «Б.С.Г.-Пресс», 2004, 478 стр.

На склоне лет скромный библиотекарь Лео Колстон вспоминает о девятнадцати днях, проведенных им в июле 1900 года в поместье школьного приятеля. Тем летом подросток оказался в центре любовного треугольника, вершинами которого были сестра его друга Мариан, ее жених лорд Хью Тримингем и ее любовник Тед Бердженс.

¹ См. также: Василевский Андрей. На платочке. — «Новый мир», 1992, № 6. (Примеч. ред.)

В равной степени симпатизируя всем троим и не слишком понимая суть происходящего, Колстон стал посредником между Хью и Мариан, между Мариан и Тедом...

Во многих британских школах, не говоря уже об университетах, «Посредник» входит в списки для обязательного чтения едва ли не с самого момента своего появления в 1953 году. Классический статус главной книги Хартли был окончательно закреплен знаменитым одноименным фильмом Джозефа Лоузи, получившим в 1971 году Гран-при Каннского кинофестиваля.

Однако в России судьба этого и других произведений Хартли складывалась не слишком удачно и в советские годы, и в постсоветское десятилетие — хотя и по разным причинам. Советская критика смотрела на британского прозаика с понятным подозрением: на фоне многочисленных сочинений «прогрессивных» западных литераторов его романы выглядели чересчур камерными и эстетскими. А в 90-е годы, когда к российскому читателю с полувековым опозданием пришла наконец европейская модернистская классика, неторопливая манера Хартли казалась безнадежным анахронизмом — его современниками были Джеймс Джойс и Вирджиния Вулф, а он писал так, будто жил во времена Генри Джеймса, если не Джейн Остин. Недаром английские рецензенты утверждали, что романы Хартли вызывают в памяти произведения авторов викторианской эпохи.

«Посредник» и впрямь демонстративно, вызываяще старомоден. Старомоден осознанно — а каким еще может быть роман о крушении надежд, возлагавшихся людьми 1900 года на новое столетие? Впрочем, сегодня, когда очевидно, что многие эффектные новации не пережили своего времени, а обаяние традиционного европейского психологического романа становится все отчетливее, консерватизм Хартли представляется скорее плюсом.

Временами кажется, что автор просто дразнит привыкшего к модернистским мотивам и приемам читателя, раз за разом обманывая его ожидания. Достаточно вспомнить центральную коллизию романа — девушка из знатной и богатой семьи обручена с виконтом, но «милуется» с соседским фермером. Этот треугольник словно бы специально заимствован из «Любовника леди Чаттерлей», однако Хартли предлагает совершенно иное решение темы. В «Посреднике» нет ни откровенных сцен в духе Лоренса, ни буйства плоти, ни первобытных страстей. Хартли не интересует ни формальный эксперимент, ни психоаналитическая интерпретация человеческих отношений.

Точно так же он проходит мимо возможности сделать из романа образчик столь популярной в XX веке гофманианы. Мальчик, считающий себя волшебником (или на самом деле обладающий чудесной силой — окончательного ответа на этот вопрос автор не дает), — можно представить, как обрадовался бы такому герою любой магический реалист. Однако Хартли если и вводит эту деталь, то лишь затем, чтобы добавить несколько дополнительных штрихов к характеристике Лео.

Вместо этого писатель с исключительной тщательностью исследует категории рока и случайности, вины и расплаты. Больше всего его интересуют правда и ложь человеческих взаимоотношений. Он мог бы показаться моралистом, но если это и так, то в мире Хартли господствует своеобразный эстетический морализм, в котором главной заповедью является следование фантазии, а не фактам.

Андрей Жвалевский, Евгения Пастернак. М+Ж: А черт с ним, с этим платьем! М., «Время», 2004, 256 стр.

Андрей Жвалевский, Евгения Пастернак. М+Ж: Современные методы управления погодой. М., «Время», 2004, 256 стр.

Андрей Жвалевский, Евгения Пастернак. М+Ж: Противофаза. М., «Время», 2005, 224 стр.

Андрей Жвалевский, на пару с Игорем Мытько сочинивший «Порри Гаттера», затеял вдвоем с новым соавтором, Евгенией Пастернак, очередное серийное производство — на этот раз молодежных мелодрам. Собственно, в том, что раньше или позже нечто подобное на нашем книжном рынке появится, сомнений не было: как феномен «Гарри Поттера» с неизбежностью должен был породить (и породил) массу подражаний, так и успех «Бриджит Джонс» должен был вызвать к

жизни бесчисленное множество иронических любовных романов. Вызвал. Глаза б мои на них не смотрели. За исключением сериала Жвалевского — Пастернак.

«Любовь — это поезд Свердловск — Ленинград и назад», — пел некогда Александр Башлачев. Кажется, герои «М+Ж» Катя и Сергей восприняли эту строчку буквально. Разве что географические пункты здесь другие: Сергей живет в Москве, Катя — в неназванном, но легко угадываемом Минске. Они любят друг друга, но жить вместе категорически не хотят — Сергею скучно в белорусской столице, Кате неуютно в российской. А потому влюбленные при каждой возможности мотаются из Москвы в Минск и наоборот, все остальное время общаясь при помощи телефона и компьютера...

Впрочем, пересказывать фабулу «М+Ж» — занятие совершенно бессмысленное. Ибо секрет не столько в ней, сколько в том приеме, который придумали для ее передачи авторы. Повествование ведется поочередно каждым из героев, все эпизоды «проигрываются» и с мужской, и с женской точки зрения (за «М» отвечает, естественно, Жвалевский, за «Ж» — Пастернак). Получается очень трогательно и невероятно смешно.

Плюс к тому соавторы не пытаются выдать качественное чтиво за «настоящую» литературу — случай в современной отечественной беллетристике едва ли не уникальный. У нас ведь детектив не детектив, если в нем герои о Бердяеве как следует не порассуждают. А уж женский роман без астрологии, зодиака и кармы и вовсе существовать не может. И вдруг люди честно, прямым текстом сообщают: «Мы пришли вас развлекать». И даже не пытаются намекнуть, что «М+Ж» — это аллюзия на «Мужское-женское» Годара или еще что-нибудь в этом роде.

Известно, что сиквел, как правило, получается слабее исходного текста. Но у Жвалевского и Пастернак каждая следующая книга выходит если и не удачнее, то уж точно не хуже предыдущей. А главное, она всякий раз оказывается немного другой. И потому благодарный читатель с нетерпением ждет продолжения и немножко грустит, зная, что четвертая «серия» должна, по замыслу авторов, оказаться последней.

±1

Ольга Орлова. Газданов. М., «Молодая гвардия», 2003, 276 стр. («ЖЗЛ»).

По поводу этой книги в сетевом «Русском Журнале» в свое время развернулась чрезвычайно смешная дискуссия. Станислав Никоненко обвинил Орлову в плагиате, коллеги-газдановеды вступились за Орлову, слово дали и издателю, и автору. Весь спор почему-то вращался преимущественно вокруг того, кто первым написал про фотографию маленького Гайто: «Его оттопыренные уши вслушиваются в звуки мира». По-моему, радоваться надо, если на такое кто-то позарился, да еще и подписал своим именем.

Справедливости ради отметим, что сама эта фраза присутствует в книге Орловой в несколько улучшенном виде, но разного рода «оттопыренных ушей» здесь тем не менее хватает. Элементарные ляпы, стилистические неуклюжести, наивный биографизм интерпретаций, характерная для серии в целом пафосность соседствуют у автора с интересными находками и впервые публикуемыми деталями.

Не лучше ли было переиздать к 100-летию юбилею прозаика монографию «первооткрывателя» газдановского творчества Ласло Диенеша, впервые выпущенную больше двадцати лет назад в Мюнхене, а в 1995 году перепечатанную небольшим тиражом во Владикавказе и практически не дошедшую до Москвы? Наверное, лучше. Но по воле издателя книга Орловой стала (и, по всей видимости, на долгое время останется) единственным общедоступным жизнеописанием замечательного писателя. Вариант, конечно, неидеальный, но вполне приемлемый, особенно если сравнивать ее не с исследованием Диенеша, а, скажем, с биографическим романом о Газданове все того же Никоненко, где наличествуют не только «оттопыренные уши» младенца, но и «красная сморщенная попка» новорожденного.

-1

Лоренс Даррел. Месье, или Князь тьмы. Перевод с английского Л. Володарской. М., «Б.С.Г.-Пресс», 2004, 334 стр.

История беллетристических упражнений на гностико-тамплиерские темы четко делится на два основных периода: до появления «Маятника Фуко» и после. «Месье» написан в 1974 году, однако к русскому читателю он пришел только сегодня, а потому неизбежно будет читаться на фоне второго — и лучшего — романа Умберто Эко. Увы, такого чтения ни эта книга, ни прочие части «Авиньонского квинтета» («Месье» эту пенталогию открывает) не выдерживают. Спасибо итальянскому медиевисту, теперь невозможно всерьез воспринимать пафосные описания египетских мистерий или глубокомысленные рассуждения банкира-мистагога, срывающиеся в усредненный псевдоинтеллектуальный кич, достойный какой-нибудь Ольги Токарчук или, прости Господи, Федерико Андахази.

Но хуже другое: «Месье» и другие романы авиньонского цикла выглядят откровенной пародией на шедевр самого Даррелла (зачем издатели лишили фамилию автора второй «л» — загадка) — знаменитый «Александрийский квартет». Все основные составляющие пенталогии — важнейшие сюжетные ходы, композиционные приемы, герои, ключевые мотивы, роковая еврейка, связь брата с сестрой, карты Таро — все это словно бы сошло со страниц «Квартета», потеряв по дороге что-то самое важное. Собственно, понятно даже, что именно.

В авиньонской тетралогии эзотерическая символика занимала положенное ей место в общей структуре, прилежно работая на романное целое. Действие было снабжено двумя рядами мотивировок — психологических и мистических. В авиньонском же цикле первые полностью подчинены вторым. Как результат — раздуваясь в количественном объеме, «Квинтет» теряет в объемности изображения.

По сути, перед нами не роман, а гибрид гностического трактата в образах (весьма картонных, надо сказать) и путевых заметок. Назойливый аллегоризм, в «Квартете» едва намеченный, здесь становится основным приемом. Даже центральный сюжетный элемент, любовный треугольник, для одного из героев — лишь «избавленная от телесной оболочки иллюстрация гностической инкарнации, известной по множеству древних текстов», для другого, не столь продвинутого, — «прототип новых биологических отношений, которые предвещают появление другого общества, основанного на свободе женщины».

Об опасности подобной метаморфозы предупреждал еще «Квартет» — самая эзотерическая и аллегорическая из частей тетралогии, «Клеа», вышла явно слабее всех прочих. Однако авиньонские романы спасала авторская ирония, неизменно остранявшая всевозможные «тайные смыслы». Здесь же все всерьез.

В результате «Месье» выглядит не слишком уклюжей попыткой повторить уже разгаданный фокус, а путь Даррелла провоцирует на размышления о печальной участи крупного писателя, превратившегося в собственного эпигона.

ЗВУЧАЩАЯ ЛИТЕРАТУРА CD-ОБОЗРЕНИЕ ПАВЛА КРЮЧКОВА

«ГОЛОСА ШИЛОВА» (1)

Однажды поэт и ученый Валентин Берестов, зная, как я люблю и ценю авторское чтение, сказал мне: «Хотите услышать голос Пушкина?»

Если бы я не знал, с кем разговариваю, то решил бы, что это — неудачная шутка.

Берестов и раньше «показывал» мне голоса. В имитации авторской манеры Бориса Пастернака, Алексея Толстого, Маршака и Чуковского он был пугающе убедителен — особенно когда тот, кому это показывалось, был знаком с оригина-

лом. Я имею в виду не столько факт личного знакомства, сколько сохранившиеся аудио- или видеозаписи, которые собеседнику Валентина Дмитриевича могли быть известны.

Проживи Пушкин восемьдесят, а не тридцать семь лет, познакомься он как-ким-нибудь чудом с Эдисоном, окажись перед фонографом, как оказался перед ним в начале 1890-х великий американец Уолт Уитмен — уже почти умирающий, но еще *звучащий*, — словом, если бы... Но гадать тут не стоит, и все, что нам остается, — это письменные воспоминания современников, слышавших, как читал Александр Сергеевич.

И я услышал «голос Пушкина». Высокий, звонкий, но не резкий голос, подчеркивающий ритм стиха и чуть-чуть — не иронизирующий, нет! — но *слышащий* себя, очень отчетливый. Это было не мандельштамовское пение (певец себя не слышит!), не камлание Пастернака, но скорее ахматовская модель: чеканная мелодия. Тут хорошо подходила формула Кольриджа: нужные слова в нужном порядке.

Я не помню, что именно читал Берестов, помню лишь, что это был Пушкин «зрелый». Наверное, он был уже автором «Бориса Годунова», которого, как известно, читал публично, например, в доме Веневитиновых.

Тут я хочу самому себе напомнить, что Валентин Берестов был помимо прочего незаурядным пушкинистом, учеником Ахматовой и Томашевского. Однажды он сказал мне, что, выбирая из литературной и жизненной судьбы Пушкина конкретную тему, определяя для себя форму и жанры работы, литературовед-пушкинист — этим самым выбором — бессознательно создает свой портрет, «проговаривается» и «раскрывается».

Скажем, самого Берестова больше всего волновало в Пушкине детство поэта, а также все, что относится к многообразной теме народного творчества, фольклору. Достаточно вспомнить убедительные доказательства ученым того, какие именно среди народных стихов, переданных Пушкиным Киреевскому, принадлежат перу самого Александра Сергеевича. У меня хранится аудиозапись, на которой Берестов трогательно поет один из таких текстов — «Как за церковью, за немецкою...».

...Берестов остановился посреди стихотворения. Я видел, что он устал и взволнован. Нам обоим было немного не по себе, почему-то ясно чувствовалось, что душа поэта сейчас где-то рядом с нами, что Пушкин как будто смотрит поверх наших голов, переживая в себе услышанное.

Когда слышу, как читает сам поэт, мне всегда кажется, что я присутствую при написании стихотворения, потому что настоящие стихи всегда рождаются из *звука*. И еще знаю, что, когда я слушаю аудиозапись — поэт читает только мне и никому больше, что нас — двое. Посредник — голос, в котором, по слову Максимилиана Волошина, сокрыта «душа поэта». Звук — голос — текст.

В стихах «на эту тему» лучше всех, по-моему, написала Ахматова. В «Тайнах ремесла», в первом стихотворении цикла.

Самого текста еще нет, слова еще не послышались, «сигнальные звоночки» «легких рифм» еще не зазвучали.

...Мне чудятся и жалобы и стоны,
Сужается какой-то тайный круг,
Но в этой бездне шепотов и звонов
Встает один, все победивший звук.

(«Творчество»)

Последние двадцать лет я прихожу на поэтические авторские вечера с диктофоном. О том, что в авторском чтении заложена важнейшая часть таинственного кода, способствующего рождению стихотворения, я догадался, очевидно, давно. И когда в октябрьском номере нашего журнала за прошлый год я прочитал «тезисы к исследованию» Владимира Губайловского («Голос поэта») — увидел, что моя давняя догадка может быть зафиксирована сегодня четкой, непреложной *литературной* формулой: «Поэт должен читать свои стихи, потому что никто другой этого сделать не сможет. Стихи, не наполненные его живым голосом, еще не вполне существуют. А прочитанные, они могут получить необходимый импульс для путешествия в будущее».

Когда же я получил предложение заняться обзорением *звучащей литературы* (а сюда ведь неизбежно войдет и актерское чтение!), то обрадовался и растерялся одновременно. Обрадовался потому, что на страницах толстого литературного журнала появится наконец возможность как-то собирать воедино и представлять читающей публике ту особую, странную, «элитарную» часть культуры, для которой с недавнего времени в книжных магазинах уже выделяют свои отдельные, пока еще очень небольшие пространства.

В музыкальных магазинах такие пространства выделялись и ранее: многие помнят, что в знаменитой «Мелодии» на Калининском проспекте был такой отдельный прилавок со своим продавцом. На полках стояли пластинки с голосами писателей и актеров, читающих художественные произведения.

Сегодня виниловые диски и даже литературные компакт-кассеты обрели исключительно музейно-коллекционное бытование, но, после некоторого *переходного* оцепенения, звучащая литература стала постепенно выходить и на CD — в современном и массовом формате. О чем и о ком рассказывать — есть.

Конечно, я немного лукавлю, обозначая в заголовке тот факт, что собираюсь ограничить себя в этом обзоре одними лишь компакт-дисками. Ведь если говорить не об актерском, но об авторском чтении, то надо иметь в виду, что издание CD — довольно дорогое удовольствие для российского литератора (если, конечно, имя писателя не является устойчивым «брендом»), — так что в поле нашего зрения неизбежно попадут какие-то издания на магнитофонных кассетах. Кстати, некоторые из них уже поднялись на «ступеньку» цифрового формата, надеюсь, дойдет очередь и до остальных. Ведь записи *мастеров* сохраняются.

А растерялся я потому, что представлять сегодняшнюю звучащую литературу без опоры на всю предшествующую ей историко-культурную эпоху отечественной звукозаписи, с ее эволюцией, ее мастерами и адептами, — невозможно. У нас была уникальная школа реставрации звука, у нас были — и есть еще — подвижники-профессионалы и по части работы со старыми записями, и по формированию государственных архивных фондов, опирающиеся не только на вчерашний, но и на сегодняшний день...

В конце концов, у нас есть коллекционеры, умеющие делиться с любящей литературу аудиторией — своими сокровищами. Появились, наконец, и совсем уже *современные* звуковые проекты — и с авторским, и с актерским чтением. Используются сложные аранжировки, писатели и актеры читают свои и чужие произведения, используя наложения голосов, приглашая для записи ультрасовременных музыкантов, снова, как и в старое доброе время, записываются целые мюзиклы и театрализованные постановки. История продолжается.

Но я говорил о старом опыте, о наработках звукоархивистики недавнего, прошлого века.

К счастью, немногие, но важные следы этой деятельности (а не только современные литературно-музыкальные перформансы и отдельные звукозаписи голосов сегодняшних литераторов) также проявились за последнее время. Причем в том самом современном формате, который обозначен в названии нашего обзора. И без ретроспективного, «просветительского» контекста нам, конечно, не обойтись.

Однако очерками по истории российской (да и зарубежной) звукозаписи мы заниматься не станем. Будем лишь надеяться, что однажды вся эта история под названием «Звучащая литература» будет кем-нибудь обработана и изложена при поддержке, скажем, Государственного литературного музея и других российских музейно-архивных учреждений — от Театрального музея имени Бахрушина и архива МГУ до крупных госхранилищ — радио- и телевизионных, фонодокументов; центральных, региональных, частных, наконец. Работа эта, честно говоря, для одного человека неподъемная, тут надобно совместить чье-то личное желание — и не одного человека, а многих — с серьезной государственной поддержкой, как это делается нынче у буржуинов. Нам до этого пока далеко.

К сегодняшнему дню в распоряжении тех, кто интересуется культурой литературной звукозаписи, охватывающей весь XX век — до наших дней, имеется всего только *одна* внятная ретроспективная книга — «Голоса, зазвучавшие вновь» писателя и литературоведа Льва Шилова.

Так получилось, и получилось более чем заслуженно, что именно на нем «скрестились лучи». Пишущий эти строки еще школьником начал собирать виниловые пластинки с авторским чтением Льва Толстого и Александра Блока, Маяковского и Пастернака — словом, всем тем, чему отдал свою жизнь наш выдающийся звукоархивист. В своей последней книге он рассказывает помимо прочего об основателе «Института живого слова», своем учителе, профессоре Сергее Игнатьевиче Бернштейне, который в двадцатые годы записывал на фоновалики лучших поэтов серебряного века.

Сначала спасать от исчезновения, потом восстанавливать, «оживлять» с помощью немногочисленных коллег¹ эти стершиеся от многократного прослушивания записи пришлось именно ему, Шилову. С середины прошлого века Лев Шилов начал записывать и своих современников, участвовал в создании специального Отдела звукозаписи при Государственном литературном музее, объединил вокруг этой работы специалистов и коллекционеров. Составил и издал десятки и сотни пластинок, написал несколько книг, оказался единственным, кто зафиксировал и сохранил манеру авторского чтения многих знаменитых прозаиков и поэтов. Стал классиком жанра².

В конце прошлого и начале нынешнего века Льву Алексеевичу удалось (со спонсорской, конечно, помощью) представить некоторые важные этапы своей многолетней работы на тиражных компакт-дисках.

Это классика отечественной звукоархивистики. Самое главное и бесценное теперь «в цифре». Конечно, значительная часть оцифрованного материала ранее публиковалась на выпущенных в советские и раннеперестроечные годы винилах, но многое оказалось представленным впервые.

Большинство попавших на компакт-диски записей за несколько лет до цифрового издания было «опробовано» на малодоступных (тиражом от 5 до 200 экземпляров) компакт-кассетах. Кассеты помечались трогательными, но строгими уведомлениями: «Музейное издание. Копирование и публичная трансляция запрещены», «Лекционное пособие для работы в филиалах», «Государственный литературный музей. Собственное издание. Тираж ограничен».

Издавались записи Толстого, Блока, Пастернака, Ахматовой, Мандельштама. Выходили кассеты-сборники поэтов серебряного века и «шестидесятников» двадцатого, собрания авторского чтения Пришвина, Паустовского, Шукшина, Светлова, Чуковского, Самойлова, Набокова, Бродского. Выходили — уж совсем единичными «тиражами» — и актерские работы: чтение Яхонтова, Качалова, Хенкина, Дмитрия Журавлева...

Сегодня эти кассеты, составленные главным образом Львом Шиловым, — коллекционная редкость, для меня драгоценная вдвойне: звукорежиссером и монтажером многих записей, а также автором старательно-искусного, «самодеятельного» оформления этих привычных глазу прямоугольных коробочек выступал молодой, но многолетний сотрудник Отдела звукозаписи и коллега Шилова — Сергей Филиппов. Тот самый «Сережа» Филиппов, благодаря которому существует знаменитая пластинка Олега Даля, читающего Лермонтова, а также, например, «гиганты» Бориса Чичибабина и Наума Коржавина. Незадолго до кончины Валентина Берестова он записал большой корпус его стихов и, кажется, еще вчера рассказывал мне о своей недавно случившейся дружбе с Эммой Герштейн, к которой он часто ездит в гости и которая соглашается рассказывать в его микрофон. Что сейчас с этими записями?

¹ Назову хотя бы некоторых звукооператоров, звукорежиссеров и реставраторов: Т. Бадеян, Т. Павлову, Т. Пикалову, Н. Морозова, В. Тоболина, Н. Нейча, О. Шорр, Г. Булочникову, А. Острину, Я. Познанскую, Л. Страканову, С. Филиппова... И хотя бы двух редакторов — Т. Гарновскую и Е. Лозинскую. И тех, кто взял на себя всю радиотехническую работу по подготовке озвучивания первой в мире выставки «Звучащая литература» (1980, Государственный литературный музей) — Л. Муранову и Л. Абрамзона.

² Ничего из ничего не получается. Мы всегда стоим «на плечах» у кого-то, кто-то дает нам первоначальное ускорение, а достанет ли нам благодарной памяти — зависит уже от нас самих. Я благодарен Шилову, незадолго до своей смерти поддержавшему добрым советом и наш новомирский проект «Звучащая поэзия» (см.: «Новый мир», 2004, № 12, стр. 231). В ближайших выпусках обзора мы подробно расскажем и об этой работе.

Вот на этих двух людях, Шилове и Филиппове, по большому счету и держался последние годы московский форпост литературного звука.

Сергей Николаевич Филиппов скорострительно скончался во время путешествия по своей любимой Киммерии — в конце прошлого года, через несколько недель после Льва Шилова. На прошедшем несколько месяцев тому назад *вечере памяти* их вспоминали вместе. Поле литературной звукоархивистики внезапно и резко опустело. Остались сделанная работа и благодарная память ценителей как авторского, так и актерского чтения литературных произведений.

Признаться, я одно время с некоторым удивлением относился к тому, что Шилов и Филиппов тратили себя на составление и выпуск тех самых малотиражных аудиокассет, многие из которых и стали «прологами» к представляемым в наших первых обзорах компакт-дискам³. Теперь я понимаю: они надеялись хоть чем-то заполнить — в сознании любителей литературы — пустое пространство между вчерашними виниловыми пластинками в бумажных конвертах и завтрашними CD в пластмассовых футлярах.

И прежде чем начать представлять диски, еще одно воспоминание из не такого уж далекого времени.

Зимой 2001 года Лев Алексеевич принес в переделкинский Дом-музей Корнея Чуковского, которым заведовал с 1996 года, какую-то очередную архивную кассету. Тиражом три штуки.

Я обратил внимание, что имя читающего автора написано на обложке кассеты фломастером от руки. Шилов перехватил мой взгляд и улыбнулся. «Это для раритетности, так интереснее». Я взгляделся, и у меня, что называется, «перехватило дыхание». Это было авторское чтение прозаика Юрия Казакова, голос одного из самых любимых моих писателей. Я даже и не знал о том, что голос Казакова существует в природе звукозаписи.

Протерев спиртом воспроизводящую головку кассетника, я бережно взял коробочку с формулировкой «Из коллекции Литературного музея» на корешке и размистой надписью на обложке «Читает писатель Юрий Казаков». Вставил в кассетник и нажал «Play».

Заикающийся, глуховато-стеснительный голос произнес: «„Двое в декабре“». ...Он д-долго ждал ее на вокзале. Был морозный, солнечный день, и ему все н-нравилось: обилие лыжников и скрип свежего снега, который еще н-не успели убрать в Москве. Нравился и он сам...» Я слушал не отрываясь. Минут через десять в чтении возникла крохотная пауза, послышалось чирканье спички о коробок, звук выдыхаемого дыма, и чтение продолжилось. Казалось, писатель находится рядом, в моей комнате.

«Вот работа для сегодняшних звукорежиссеров и телерадиоредакторов, — зло подумал я. — Они бы ему эту вредную привычку живо повывтравили».

...Недавно я услышал необычную реплику. Разглядывая компакт-диски с записями голосов писателей, пробегая глазами аннотации и списки звуковых треков, неизвестный мне «простой человек» — очевидно, тот самый «любитель» — произнес понимающе: «А-а, голоса Шилова. Тогда понятно».

Вооружившись книгой «Голоса, зазвучавшие вновь», стопкой виниловых пластинок и полтора десятками малотиражных компакт-кассет, я раскладываю перед собой 10 компакт-дисков, подготовленных, составленных и выпущенных Львом Шиловым (или при его ближайшем участии) за последние годы.

В сегодняшний обзор мы помещаем два из них: записи Бориса Пастернака и звучащее собрание сочинений Льва Толстого, изданное на CD.

Читает Борис Пастернак. Полное собрание звукозаписей авторского чтения. Стихотворения, переводы, эссе. A-ram ltd., Дом-музей Бориса Пастернака. OCD 010. 1996. Made in Sweden. Составитель Л. Шилов, редактор Н. Пастернак.

Самая «старая» пластинка. Скоро этому CD исполнится десять лет. В 2002 году фонограмма диска была переиздана (с реставрационной правкой) компанией «Russian disk» («Российский диск»).

³ Собственно, это и выпуском назвать нельзя было: С. Н. Филиппов просто копировал некоторое количество экземпляров с помощью обычной двухкассетной деки. Штучные, «почетные» копии передавались в методические отделы музеев.

Здесь 14 треков, представлены записи 1945 — 1950-х годов. В 1989 году ВТПО «Фирма Мелодия» выпустила почти идентичный винил-«гигант» (за исключением «Размышлений о литературе» на немецком и французском языках) — тиражом 10 000 экземпляров. Не указанный тираж издания 1996-го — это, я думаю, пятая, а то и десятая часть от *той* цифры. На CD тираж указывают редко.

Впервые знаменитый, «гудящий» голос Пастернака был воспроизведен на легендарной советской пластинке «Говорят писатели» (1965), которую комментировал еще Иракий Андроников. Там звучало стихотворение «Ночь», здесь к нему примыкает — из той же записи — «В больнице».

Для представляемого нами диска Лев Шилов — конечно, не впервые — использовал записи двух шведских славистов, посетивших поэта в 1958 году, и свои собственные находки. В звуковом архиве «Дома актера» отыскивались записи с шекспировской конференции 1947 года: с большим азартом и *лицедейством* Пастернак читает здесь из хроники «Генрих IV». В одном тбилисском собрании нашлась самая ранняя по времени (1945) запись (перевод стихотворения Н. Бараташвили «Цвет небесный, синий цвет...»). Еще два перевода сохранились почему-то в архиве детского радиоальманаха «Невидимка», который вел Лев Кассиль.

Интересно, что упомянутая фонограмма выступления о Шекспире с чтением перевода сцен из «Генриха IV» неожиданно обнаружилась Шиловым в фонотеке Всероссийского театрального общества во время безуспешных, как оказалось, поисков записей Михаила Булгакова. «...Я заново переслушал довольно много сохранившихся там тонфолевых дисков, часть которых еще оставалась неаннотированной. Услышал, например, неизвестную запись С. Маршака, голос шекспироведа М. Морозова... И как утешение, как компенсацию за потерянную фонограмму Булгакова воспринял зазвучавший с одного из тонфолей голос самого Бориса Пастернака!»

Жалко, что изданная уже в позднеперестроечное (1996!) время фонограмма оказалась без рискованного когда-то — но важного сегодня — вступления. «Стараясь скрыть волнение за шуткой, [Пастернак] говорит, что, делая перевод, думал „разделить шекспировскую судьбу“, но вышло наоборот: Шекспир в его переводе разделяет судьбу его собственных стихов, эти переводы тоже не печатают», — пишет в приложенном к CD буклете Шилов. Понадеемся, что следующее издание будет полным.

На этом CD, конечно же, переизданы знаменитые пять стихотворений из «Тетради Юрия Живаго», записанные известным чтецом С. М. Балашовым — буквально при застолье. Аудиозапись делалась «тайно», но Л. Ш. говорил, что Пастернак догадывался о находящемся где-то рядом микрофоне — «для истории». Об этой чувствительности вспоминала и З. Н. Пастернак.

Это, пожалуй, самая «вкусная», самая живая и неожиданная запись декламации Пастернака. Поэт читает свои стихи и тут же, в процессе чтения, «как бы резвяся и играя» *реагирует* на них — реагирует интонацией, каким-то беспечным, «пьянящим и пьяным» удивлением от того, в какую живописную музыку сплетаются образы и волнующие повороты сюжетных линий.

Когда шведы записывали «Ночь», «В больнице» и эссе о Блоке, Пастернак начал свое чтение так, как это было принято делать на радио еще в довоенное время. «Кроме поэта в комнате было только два человека, — пишет Лев Шилов. — Но он знал, что обращается ко многим и многим, в том числе и к будущим поколениям, к нам с вами. И он сказал, как бы выступая по радио: „...У микрофона русский писатель Борис Пастернак...“ И вот мы слушаем его».

Полное звучание 51.25. Фонограмма реставрирована студией ИСКУССТВО при участии института ОТКРЫТОЕ ОБЩЕСТВО (1996).

Говорит Лев Толстой. Фонографические и грамофонные записи 1908 — 1909 гг. Государственный музей Льва Толстого (фонограммы), Государственный литературный музей (составление). «Russian disk», RDCD 00723. 2002. Москва. Руководитель проекта и составитель диска Л. Шилов. Научное издание.

К столетию звукозаписи, к 1977 году, «Мелодией» был издан виниловый «гигант» с аналогичным названием. Вообще, записи Толстого на пластинках издавали несколько раз.

Эдисон прислал писателю фонограф в начале 1908 года, и Лев Николаевич постепенно «втянулся», уже с конца января диктуя в заморскую машину письма, которые его помощники переводили потом в письменный вариант. «Желание диктовать в фонограф возникло у Толстого, вероятно, и потому, что его мысль обгоняла процесс записывания», — пишет в своей книге Лев Шилов. Вся глава о Толстом («Старик говорил нам добро») — пожалуй, наиболее «детективная» часть и без того приключенческого повествования. В первую очередь это касается усилий, предпринимаемых звукоархивистом, дабы разыскать тот или иной валик, ту или иную грамофонную пластинку, упомянутую в каком-нибудь письменном документе.

Толстой читал на фонограф и притчи, и сказки, и черновики статей, и мысли из книги «На каждый день». Но больше всего записано именно писем. Очевидно, это произошло потому, что валики приходилось менять каждые 10 — 12 минут (да и было их не много). Под этот «формат» Толстому было легче подобрать жанр. Но и подбрав его, писатель приспособился не сразу: «Пишу вам это письмо, говоря в фонограф, и от этого простите, если оно будет bestолково и глупо...» И на следующий день продолжил: «...Продолжаю письмо по-человечески». Когда аппарат по просьбе оговорившегося или закашлявшегося Толстого останавливали, а затем заводили снова, Лев Николаевич начинал читать сразу же после включения. А нужно было пару-тройку секунд выдержать «на разгон». Реставраторам пришлось сначала догадаться об этой коллизии, а затем и учесть ее при перезаписи на современный носитель.

Звучащая на этом диске сказка «Волк», сочиненная Толстым для внуков и записанная на фонограф в начале июля 1908 года, в рукописи не сохранилась. Толстой отлично интонирует, воспроизводя голос грозного Волка и напуганного им мальчика. Толстовское «Ай-ай» здесь так же трогательно и *близко*, как и финальное «Прощайте, будет» — в знаменитом обращении к мальчикам, учащимся яснополянской школы. В названии записывающего аппарата, которое он поминает в некоторых посланиях, граф явственно ставит ударение на последний слог, а некоторые из писем заканчивает «...любящий Вас Лёв Толстой». Именно Лёв.

К сожалению, не вошла в этот диск запись 1895 года — рассказ «Кающийся грешник». Валики с рассказом хранились в фонограммархиве Пушкинского дома. Они были не только изрядно подпорчены, но изначально записаны плохо: аппарат был куда хуже того, что через тринадцать лет прислал Эдисон. Л. Шилов потратил на реставрацию много времени, голос Толстого выплывал из небытия понемногу, сначала отдельными словами, потом целыми предложениями. «В конце записи Толстой произносит: „*Говорил я в Москве 14 февраля 1895 года. Я, Лёв Толстой, и его жена*“. Эта, может быть, и не очень складная фраза произвела не меня, пожалуй, самое сильное впечатление: я услышал голос, донесшийся из XIX века!»

Но зато в диск включены записи на немецком, французском и английском языках, а рядом с самым длинным по протяженности треком (вольный пересказ из Виктора Гюго «Сила детства») помещена самая, как справедливо пишет Шилов, «впечатляющая», к тому же последняя из сохранившихся в московском музее писателя записей. Тогда, в конце лета 1908 года, Толстой серьезно готовился к смерти: «Жизнь моя накоротке, и я умираю, и прежде чем умереть, мне хочется, не то что хочется, но мне необходимо, и я не умру спокойно, не сказав вам, всем людям, милым братьям моим, то, чем вы губите не только свои дела, свои души, но и детей...» И далее — слабым, прерывающимся голосом он говорит о бесстыдстве государственного устройства. Этой теме — в разных ее вариантах и *приложениях* — посвящена добрая треть пластинки.

Мог ли Толстой представить себе, что пройдет время — и почти весь его сохранившийся *голос* уместится в плоской коробочке размером с офицерский портсигар?

Я впервые, признаться, слушал Толстого не прерываясь так долго — почти 70 минут. И хотя знал, что эти записи — все-таки пусть даже и отчетливая, но «тьень» его голоса, уже через четверть часа привык и к тембру, и к интонации, и к ритму. А через полчаса забыл и думать о качестве записи. Теперь знаю, что этот голос я могу узнать всегда: долбое, а уж тем более многократное прослушивание любых фонозаписей способствует, через привыкание, к таинственному «сживанию».

Общее время 69.40. В реставрации уникальных фонограмм принимали участие Г. Булочникова, Н. Морозов, Т. Пикалова. Звукоорежиссер диска С. Филиппов, мастеринг Катя Жукова. Редакторы М. Горохов, В. Ремизов. Дизайн В. Лазутин.

В следующем обзоре мы продолжим разговор о «голосах Шилова». За последние два года жизни (2003 — 2004) Льву Алексеевичу удалось невероятное: он выпустил семь CD и один мультимедийный компакт. Полностью подготовил еще две пластинки. Это голоса Блока, Ахматовой, Мандельштама, Петровых, Чуковского и Бродского. И диски «Голос Гумилева» и «Футуристы».

Это тщательно срежессированные композиции, включающие в себя не только оригинальные звукозаписи, но и звучащие воспоминания современников. На некоторых компакт-дисках можно услышать и деликатные комментарии самого звукоархивиста — голос, хорошо знакомый тем, кто бывал на его знаменитых литературных лекциях в 70-е и 80-е годы.

КИНООБОЗРЕНИЕ ИГОРЯ МАНЦОВА

ПРОТИВ ЭКСТРАПОЛЯЦИИ

(1) В декабрьской «Периодике» меня заинтересовала реплика кинорежиссера Петра Зеленки, вот она: «Если в чешском кино вы увидите сцены насилия, оно сразу покажется фальшивым и даже забавным... Сделай кто-нибудь в Чехии фильм с сюжетом, как в „Бумере“, все решили бы, что это комедия. Просто потому, что в Чехии нет таких бандитов».

Лет пять назад мне настолько понравился фильм Зеленки «Пуговичники», что я написал про него везде, где только мог. Я полагал, манера, в которой Зеленка предъявил посткоммунистическую действительность, может быть использована и нашими кинематографистами тоже. Я-то узнал в чешской картине российские реалии и запомнил возможный способ их репрезентации, а Зеленка не признал в российской картине своим — ничего.

Я доказывал знакомым и незнакомым людям: нужно работать в манере Зеленки. Во всяком случае, *можно* работать, не прогадаете. Делайте как Зеленка, а не как высокобюджетные, высокотехнологичные режиссеры из Голливуда. Но вот теперь из тумана появился мой культурный герой и честно высказался: ваши российские реалии не имеют с нашими чешскими ничего общего. У вас свои бандиты, у нас свои. Репрезентация вашего *предельного опыта* — ваша локальная задача. *Не смещайте нас* своей специфической поэтикой. Я несколько утрирую, но это чтобы перенасытить раствор, чтобы спровоцировать осадок.

Мне показалось необходимым начать кинообозрение с этого. Здесь заключен некий глубокий, но пока непроявленный смысл. В «Пуговичниках» меня пленило именно то, что западный (хотя и восточноевропейский) автор преподнес предельные темы — Хиросима, Смерть, Предательство, Глупость — в режиме повседневного комфорта: легко и остроумно. То есть не вынуждая меня к лицемерию, не требуя отречения от нынешнего себя — не вполне успешного, но все-таки не голодного, травмированного, но все-таки живого, взыскующего не страданий, а развлечений. А какие, кстати, бандиты в Чехии, *какие?!* Они сами по себе «культурнее» и «благороднее» наших или же их облагораживает, предъявляет не такими пугающими, каковы они на деле, западная социальная оптика?

Однажды я отмечал Девятое мая в компании, где по не зависящим от меня причинам случилось несколько так называемых *лихих людей*. Даже напившись, они вели себя весьма адекватно. За исключением одного: бывшего артиста. В какой-то момент этот человек почувствовал кураж и вознамерился бежать к автомобилю за оружием: пострелять белок и птиц. Ему подсунули порцию шашлыка, он на время успокоился, но после снова заколобродил.

Мы сидели у костра рядом, и до сего момента он поддерживал со мной регулярную доброжелательную беседу. Как вдруг перестал узнавать и назидательно поинтересовался: «Хочешь, я тебе сейчас накачу?!» Я на автомате переспросил: «Неужели с

обеих рук?» — и тотчас догадался, что начинается классический пьяный дебош с поножовщиной. Наутро мне предстояло возвращение в Москву, на службу в газету «Консерватор», где пару месяцев не платили зарплату, в силу чего я скитался по чужим углам, не решаясь снять какое бы то ни было жилье. Едва окрестные белки разбежались, а небесные птицы разлетелись, у меня случились внезапная трезвость с предельною злостью. Помню поразившую меня мысль: «И там дурдом, и тут! Пиши не пиши — один безрадостный конец». И еще: «Утром в газете, вечером в лазарете!»

Вопрос: рассказанная быличка скорее фальшива и забавна — или все-таки драматична? Что это за жанр? Есть ли тут «послание» и смысл? Где мне было уютнее — на чужих московских квартирах или у пьяного костра? А может, «артист» всего лишь ломал комедию, ту самую, против которой протестует чешский постановщик? Может, он нереализованный гений и подлинная драма в этом?

Петр Зеленка — тот редкий действующий кинематографист, с которым мне очень хотелось бы поговорить по душам. Например, в Праге. Лучше бы в Праге: хватит с меня отечественной экзотики.

(2) Слово, легкомысленно вынесенное мною в заглавие, требует пояснения: «*Экстраполяция* — метод научного исследования, заключающийся в распространении выводов, полученных из наблюдения над одной частью явления, на другую часть его». Кроме того, будут употреблены слова «индукция» и «дедукция».

«*Индукция* — логическое умозаключение от частных, единичных случаев к общему выводу, от отдельных фактов к обобщениям».

«*Дедукция* — логическое умозаключение от общего к частному, от общих суждений к частным или другим общим выводам».

(3) Предельный опыт: это преступление, болезнь или война. Можно ли экстраполировать на территории предельного опыта? В одной литературной газете довелось прочитать развернутую полемику критика Б. и кинодраматурга В. по поводу телесериала Ш. Критик-фронтовик говорит: того, что показано в сериале, не встречали в 1941 — 1945 годах ни я, ни мои боевые товарищи, ни авторы военных мемуаров. Все было с точностью до наоборот. Кинодраматург возражает: ваши маршалы-мемуаристы не видели настоящей войны, отсиживались в штабах, вы сами, вероятно, воевали в обозе, а мои сюжетные построения основаны на предельно достоверных рассказах физически и духовно калеченных войною солдат, доживавших в моем доме и моем дворе.

Итак, я не смотрел отчетного сериала Ш., но меня зацепила страстная интонация обоих участников дискуссии. Я подумал: чему учат нас эта страсть, эта аргументация, наконец, Эта Война?

(4) Сценарист Валентин Черных и режиссер Дмитрий Месхиев сделали фильм «Свои», получили за него Главный приз Московского фестиваля-2004 и доброжелательную прессу. Я достаточно подробно описал «Своих» в «Русском Журнале» (колонка от 4 ноября 2004 года). Несмотря на уважение к мастеровитым авторам, несмотря на симпатию к очень сильному актеру Богдану Ступке, я горячий противник этого фильма. Авторы вознамерились побороться с национальным мифом, с Великой Отечественной. Для теперешней России эта война словно миф первотворения. В сущности, ничего другого у нас за спиной нет: вначале постарались большевики, а уж потом наследовавшие им «демократы». В полной мере посягнуть на войну демократы не решились: советские коммунисты закодировали ее как нечто *слишком страшное* и *слишком кровавое*. Может, таким образом коммунисты спасли страну от полного распада и демонтажа, ведь кроме мифа *Великая Отечественная* демократы не убоялись ничего!

Советская пропаганда оперировала героическими частными сюжетами, с легкостью уподобляя их действующим лицам весь советский народ. Советская пропаганда, таким образом, работала в стиле «индукция». Но кажется, так работает всякое мифопоэтическое сознание: племя уподобляется своему тотемному герою. В фильме «Свои» осуществлена попытка дедукции. Коллективное тело как будто разято на отдельных персонажей, вместо *сходства*, на котором настаивала советская

культура, акцентировано *различие*. Кроме образа предателя-полицая, которого в назидание инакомыслящим разрешали предъявлять даже коммунисты, здесь выведены: brutальный русский чекист; трепетный политрук-еврей; простоватый кулацкий сын, то ли белорус, а то ли хохол, короче, западнэц с акцентом; сам кулак, служащий у фрицев старостой; его новая, куда более молодая, чем он сам, жена, удовлетворять которую приходится чекисту; наконец, бывшая невеста сына, которой хочется простого бабьего счастья и которая спит поэтому с тем, кто имеется в наличии: с сыном, с полицаем, опять с сыном.

Но, расщепив пресловутый советский народ, *авторы растерялись*. Я бы сказал, испугались. Миф нависает, миф угрожает, поэтому различия носят декоративный характер. В результате сюжет осуществляется в соответствии с традиционным алгоритмом: объединившиеся под руководством Отца (народов) наши, то бишь «свои», уничтожают полиция. Простите, но ведь советский канон не просто воспроизведен один в один, это бы ладно. Подумаешь, еще одна старая песня о главном. Он воспроизведен с хитровой ухмылкой, с деконструкцией и лжедедукцией. Приняли позу новаторов, наварили социального капитала, а в результате выдали дремучую советскую архаику, от которой отрекались, отплевывались! Но ведь ровно такова стратегия отечественной перестройки в целом. В рамках культуры тут все свелось к отмыванию символического капитала и к болезненной рефлексии тех, кто ошибся или опоздал с выбором приоритетов. Тех, например, кто *просто работал*.

Единственное отрадное впечатление от просмотра «Своих»: по-прежнему существует некая сила, которая тысячекратно сильнее самых оголтелых провокаторов, самых одиозных и безжалостных модернизаторов. Какого бы страшного идеологического монстра ни сотворили большевики из Великой Отечественной, сколько бы ни понаврали, как бы ни эксплуатировали страдания и беду в своих идеологических целях, как бы ни травматичен был монстр для сознания маленького человека, монстр этот загадочным образом нас бережет. Я против коллективных мифов, я устал, мне давно хочется куда-нибудь в Прагу, где бандиты рациональнее, пиво честнее, а кино остроумнее, и на сегодняшний день в России, конечно, нет другого такого отпетого индивидуалиста. Но, едва заметив, как страшный коллективный миф пытаются трусливо демонтировать во имя очередной «демократической» гнусности, я остаюсь с тем самым единым и неделимым советским народом, которого, конечно, не было в 1941 — 1945 годах, но который парадоксальным образом появился *там* теперь! Забавно, в нынешней России никакого народа тоже, конечно, нет. Но *ту страну* мы худо-бедно заселили. И, конечно, не теми самостийными индивидуалистами, которых лукаво навоображали себе авторы отчетного фильма.

(5) В 2004 году я впервые отсматривал прокатную текучку в количестве. Случилось несколько шедевров, несколько очень хороших картин, много достойных, были, конечно, и неудачи, провалы. Но более всего меня поразила *внутренняя дисциплина*, характерная для западных и в первую очередь для американских картин. В фильмах угадывается нечто, предшествующее и теме, и сюжету, и поэтике. Все время ощущаешь вот эту *внятность сознания*, в свою очередь провоцирующую внятность высказывания. Индукция, дедукция, экстраполяция — все это и многое другое не моя претенциозная блажь, а плоть и кровь западной культуры. Между непрозрачной реальностью и культурными институтами, призванными ее отражать, наведены мосты, установлены рациональные соответствия. Не туманная «духовность», а конкретная механика обеспечивает западной культуре доминирование.

Я специально пронаблюдал лишь за одним культурным аспектом: сравнил технику игры наших нынешних и голливудских актеров. Дело даже не в масштабе дарования и антропологическом ресурсе, дело в том, что западный актер точно знает свою задачу. Он играет в дискретном режиме, каждое его внутреннее или внешнее движение *опознано* им же самим, поставлено на службу сюжету, партнеру, постановщику. Самодовольные наши тянут какую-то невообразимую резину. Задача у них одна: пофасонить. Их вечно ориентировали на духовность, на бесконечность, теперь они приносят смысл, сюжет и зрительский интерес в жертву загадочному внутреннему миру своего героя. Они вынуждены отринуть даже тот

безупречный тренаж, которым занимались в наших действительно сильных театральных институтах. Актеры, да и режиссеры персонально не виноваты. Их дезориентирует и депрофессионализирует аморфная культурная среда. Отсутствие общекультурной задачи. Отсутствие логики в нашем повседневном измерении. Западные словечки и понятия отторгаются загадочной русской душой, не становятся плотью нашего мира. После этого не приходится удивляться тому социальному сюрреализму, который благополучно осуществляется в России на протяжении последних столетий.

Нужно либо решительно отдаться Востоку, в том числе последовав рекомендациям Жириновского относительно многоженства, гаремов, сопутствующего доминирования мужчин и т. п. симпатичных институций, либо всеми силами русской души отказаться от ее пресловутой «загадочности» в пользу рациональных мыслительных протезов западного образца. Повторюсь, и на Востоке, и на Западе есть свои вкусы, непереносима только отечественная эклектика. Сегодня перед лицом небытия России придется выбрать.

Кстати, в полемике относительно сериала Ш. один участник дискуссии привел отрывок из мемуаров Эйзенхауэра, который был поражен фактом необоснованно спешного штурма Потсдама Красной Армией и страшными потерями личного состава. На что маршал Ж. будто бы невозмутимо улыбнулся: «Ничего страшного, русские бабы нарожают еще!» Какие после этого могут быть претензии к вождю народов С., к начальникам внутренней полиции Я., Е., Б. и их подручным? К чекистам, к белым и красным, к бандитам и даже бандеровцам? У нас так принято. Нам так нравится. Никакой другой «загадки» нет, душа как душа. Слово бы в отместку ретивому маршалу русские бабы вскорости совсем перестанут рожать.

(6) Предельный опыт, вроде страшной войны, дается визуальным искусствам с трудом. Прозе этот опыт дается легче. Поэзии — без всякого труда. Зато кино здесь чаще всего лжет. Ведь кинокартинка чревата документальностью, значит, автор должен обосновать свое право на «наблюдение» за кошмаром, реабилитировать свою камеру, свой невозмутимый взгляд. Должен этически соответствовать. Чаще всего об этом не задумываются, смотрят на кошмары в упор.

В 2003 году появилась скромная черно-белая картина Алексея Германа-младшего «Последний поезд», где необходимая работа по обоснованию взгляда и по этической реабилитации автора-наблюдателя проведена почти безукоризненно. Это неожиданно хороший фильм о войне, где сознательно или нет использованы приемчики венгерского гения Миклоша Янчо. Герман справился еще и потому, что предложил рассказ с точки зрения сгнувшего на русском фронте немецкого доктора. Можно было бы докрутить, по объему заявленного материала этот полнометражный фильм тянет, скорее, на короткометражку. Впрочем, спасибо и за то, что получилось.

Витгенштейн пронципально заметил: мир счастливого человека и мир человека несчастного — два абсолютно разных, фактически не пересекающихся мира. Это очень существенное замечание. Страшная война в значительно большей мере, нежели мирная повседневность, разводит людей по разным углам, по разным мирам в зависимости от того, выжил человек или не выжил, покалечился или нет, остались близкие или погибли и т. д. Война — перманентный передел не столько даже территорий, сколько внутренних миров, это предельно интенсивный обмен предельными эмоциями. Миры рушатся и возникают ежесекундно! Еще и поэтому фильмы о войне, акцентирующие батальные сцены и внешнюю достоверность, куда фальшивее иных условных построений вроде гениальных опусов Янчо о гражданской войне в России и в Венгрии, вроде психологически убедительной, хотя внешне легковесной картины Леонида Быкова «В бой идут одни старики».

В антропологическом смысле наиболее достоверной, без дураков и поддавков, художественной версией войны является правильная песня. Песня — тот же сюжет, миф, машина по уничтожению времени, однако ее особенностью являются интимность и *проникновенность*. Человеческий голос буквально проникает вовнутрь, агрессивно захватывает тело слушателя и, подбираясь к его голосовым связкам, заставляет человека резонировать, включаться. Таким образом, голос устраняет границу между физическим телом и так называемым внутренним простран-

ством, теперь слушатель — не субъект и не объект, а некий инструмент для реализации предельно интенсивного процесса. Процесса, где сталкиваются, наслаиваются, отторгают друг друга — ужас, восторг, опьянение, безумие, надежда и множество иных солдатских эмоций, которым в быденном языке эквивалента нет.

В то же время необходимое рациональное сырье поставляет текст песни. Сознание подбирает тексту некий визуальный эквивалент, но это по определению бедный эквивалент, убогая картинка, *мерцание в тумане*. Вот и хорошо, таким образом становится невозможна та этическая двусмысленность, о которой говорилось выше применительно к фотографически достоверному взгляду на то, на что смотреть из комфортного зрительского кресла психически нормальному человеку попросту неловко. Мерцание же в тумане — своего рода переселение души. Тебя не оскорбляет четкость изображения, и при этом ты переживаешь чужой опыт, которому соинтонирует твоё тело!

Лично мне лучшим произведением о Великой Отечественной представляется песня Вениамина Баснера и Михаила Матусовского «На безымянной высоте». Это образцово-показательный шедевр, где счастливо сочетаются умеренная выразительность сюжета с «простоватой» мелодией. Сработай хотя бы один соавтор изошренней, потехничней и поизящнее, чуда не случилось бы. Канонический героический сюжет прописан с достаточным количеством внешних деталей, которые исполняют функцию якоря, не позволяющего картинке совсем оторваться от воображения и отчалить в туманную даль: «Дымилась роща под горою, и вместе с ней горел закат...» В то же время мелодия с легкостью цепляется за связки слушателя, требовательно вынуждая к соинтонированию среднестатистический мужской баритон. Ничего подобного в кино сделано не было. Потому что, повторюсь, массовое искусство кино не имеет морального права тарашиться на предельные кошмары. Когда кино на это отваживается, оно изменяет своей природе, фальшивит.

(7) Вот, однако, фильм про войну, который несказанно меня удивил. Я думаю даже, что «Долгая помолвка», поставленная режиссером Жан-Пьером Жене по роману Себастьяна Жапризо, — великая картина, без дураков. Я не смотрел знаменитую работу Жене и актрисы Одри Тоту «Амели», отправился на их новый совместный фильм только потому, что сеанс в Киноцентре совпал с моим свободным временем, которое властно требовало поменять его на что-нибудь необременительное.

Детектив, классиком которого по праву считается Жапризо, осуществляется в жанре «дедукция». Все мы помним откровения Шерлока Холмса на эту тему. «Долгая помолвка», выполненная как непрерывное движение *от общего к частному*, лишний раз демонстрирует нам социокультурную разницу между нынешней Францией и нынешней Россией. То, что в отечественной картине провоцирует раздражение и гнев, кажется уместным в картине французской. Попытка задним числом расщепить «советский народ» на индивидов — не что иное, как очередная спекуляция наших псевдолибералов, продолжение *гражданской войны* новыми средствами. Напротив, Франция, где цивилизационная общность все равно сильнее любой социальной разности, может позволить себе подлинно художественную дедукцию, иначе — сколь угодно последовательное движение от общего к частному, не сопряженное с очередным жестоким переделом ценностей и благ!

Фильм рассказывает о событиях Первой мировой. 1917 год, франко-германский фронт. Пятеро французских солдат-самострелов приговорены к смерти. Но начальство придумало, как использовать военных преступников с пользой для дела. Теперь самострелов выкидывают за бруствер, на пересеченную местность, разделяющую окопы противников. Без оружия, в качестве пушечного мяса. Видимо, самострелы должны были отвлекать, дразнить, выманивать, дезориентировать противника. Итак, пятеро брошены на верную смерть. Два с лишним часа картины — это медленное приближение к каждому из них, ретроспективное расследование судьбы, обстоятельств жизни и гибели.

Самое поразительное здесь, *чреватое гениальностью*, — это обретение все новых и новых подробностей. Начинаем с априорного общего знания: Первая мировая — мясорубка, где миллионы сражались с миллионами. Взгляд с высоты птичьего полета, из Ставки Главнокомандующего, из кельи историка-летописца. Почти

сразу же наше общее знание корректируют, выбирая пятерых основных героев, придавая им в помощь родственников, оставшихся в тылу, и фронтовых товарищей или недругов. Тоже ничего удивительного: надо же как-то рассказывать историю, на ком-то фокусироваться. Но постепенно фильм переползает с территории повествовательного здравого смысла на территорию художественного *чуда*: подробности становятся все более необязательными, дедуктивное упорство авторов — все более вызывающим. Вот уже объявлено о смерти всех пятерых, вот уже свидетели доложили начальству и героине, упорно разыскивающей возлюбленного, подробности с деталями. Но авторы нарушают правила игры, они начинают копать там, где «все ясно». Они идут на предельный риск: рассматривают свирепую войну не как аномалию, а как продолжение жизни. Осуществляют героическую подмену, словно настаивая: война не страшнее жизни, война — продолжение жизни другими средствами. И поэтому мы считаем возможным наплевать на «особенности предельного опыта» и будем разбираться с войной по законам мирного времени, по законам *детективного жанра*. То, что для наследующего военному времени обывателя — предельный опыт, для современника-солдата — повседневность.

Последовательность, с которой авторы реализуют эту стратегию, очень скоро дает плоды. Выясняется, что в театре военных действий — много точек зрения, что у каждого микрособытия — десятки свидетелей! Это только безответственному обывателю кажется, что одна ошетилившаяся штыками и стволами стена встречается в чистом поле с другою такою же безличной стеной. На самом деле война — это миллион *осмысленных*, соразмерных маленькому человеку *поступков*. Каждую минуту солдат просчитывает варианты: оголтело броситься на пулемет или отползти чуть влево, отлежаться и спастись; выполнить неадекватный приказ командира и рухнуть или сделать вид, что не расслышал; проявить амбиции и нахамить товарищу, спровоцировав его последующую месть, или стерпеть обиду. Жапризо и Жене возвращают войне социальное, а солдату — антропологическое измерение.

Успеху предприятия способствует изобразительная стратегия. У фильма очень яркая, броская картинка. Много вещей, много фона, однако провоцируемая подробным фоном документальная претензия нейтрализуется комикс-агрессией кадра. Выразительные ракурсы, искажающая оптика, ядовитые цвета — все работает на отстранение содержания. Нам все время внушают: это не зрение, не непосредственное наблюдение. Мы *здесь*, во фронтовой грязи, на линии перекрестного огня, — только благодаря воле к воображению. Гиперреализм картинки структурно работает так же, как крупнозернистая туманная муть в песне Баснера — Матусовского. Потребитель снова укрупняет не хроникальный кадр, а внутренний мир солдата, отыскивая в себе сходные эмоции. «Долгая помолвка» два часа манифестирует различия между персонажами лишь для того, чтобы в конце концов обозначить сходство между ними и зрителем. Подобно песне «На безымянной высоте», этот фильм властно требует соинтонирования. Будучи вызывающе броским, он с легкостью отказывается от приоритета изображения, ни в грош его не ставит. Оперируя всевозможными жанровыми клише, тем не менее утверждает уникальность и неповторимость как частного фронтового опыта, так и человеческой судьбы вообще. Фильм парадоксально предъясвляет войну как концентрат повседневности. Таким образом, он устраняет разрыв между эпохами мира и войны, обеспечивает необходимую живым эмоциональную связь с погибшими.

(8) Еще два замечания, два восторга. Во-первых, героиня, Матильда, роль которой как раз и исполняет Одри Тоту, с детства больна. Она перенесла полиомиелит, она с трудом передвигается, ей требуется регулярный массаж. Матильда находит своего возлюбленного живым, но навсегда потерявшим память. В финале она, хромая, сидит подле него, беспмятного, в солнечном саду. Физическая неполноценность главных героев — своего рода эмоциональный адаптер, переходник между эпохами войны и мира. Советская пропаганда жестоко обманывала, когда предъясвляла Победу как необратимое событие в борьбе с силами зла, как резкий скачок с поля печальной необходимости на поле неограниченных возможностей. Между тем еще древние китайцы советовали отмечать победу — похоронной про-

цессией. Победа — не итог, а урок. Счастливо соединившиеся герои фильма что-то выиграли, но что-то безвозвратно утратили. Мелодраматическая формула реализовалась, однако в финале авторы оставляют героев *на дистанции взгляда*. Ни объятий, ни счастья, ни даже удовольствия, одно лишь спокойное удовлетворение Матильды: она убедилась в том, что *вера имеет смысл*, и только. У такого вывода есть экзистенциальное измерение, а вот жанрового измерения — никакого. В эту самую секунду вся дедукция летит к чертям, а фильм представляется короткой ослепительной вспышкой, безуспешной попыткой — пофантазировать на тему предельного опыта. Скромность авторов подкупает. Они делают честную жанровую работу, но отдают себе отчет в том, что без помощи адекватного зрителя эта работа навряд ли имеет смысл.

Второй важный момент — это имя. Конечно, название «Долгая помолвка» — во всех отношениях отвратительный вариант, лживый. У меня нет под рукой оригинального французского названия, но даже английская версия «A Very Long Engagement» означает нечто принципиально иное, нежели сладкая русскоязычная чепуха. Ведь насколько я понял из словаря, «engagement» — это, кроме прочего, «свидание, встреча», «дело, занятие», «обязательство» и даже «воен. бой, стычка!» Получается целая россыпь смыслов. «Очень долгое сражение» — это и про Первую мировую, и про жизнь в целом, которая эту войну включает, но которая ею не исчерпывается. «Очень продолжительное занятие» — поиск любимого плюс борьба за него, предстоящая Матильде теперь. Наконец, если героям так и не удастся снова обрести взаимную любовь, их последующие контакты будут иметь характер «Очень долгого свидания», безнадежного свидания хромоножки с умалишенным.

Понимают ли наши прокатчики, что такое «Долгая помолвка»? Я не понимаю.

(9) В книге Михаила Рыклина «Деконструкция и деструкция. Беседы с философами» (М., 2002) более других меня заинтересовала финальная беседа с Борисом Гройсом. Примерно раз в полгода книга невзначай попадает в мои руки, и тогда я перечитываю помеченного ядовито-желтым маркером Гройса от начала до конца. Это предельно внятные и симпатичные мне высказывания. Например: «Мое первое знакомство с миром состоялось в больнице, куда я попал из довольно обеспеченной семьи. Там я познакомился с социальной жизнью и понял, что нельзя обобщать».

Или: «Можем ли мы индуктивно перейти от определенной суммы случаев, даже от бесконечного числа случаев к общему утверждению относительно существования бесконечного?.. Мне не нравится этот переход от определенной суммы примеров ко всему, я оказываю ему *сопротивление* (курсив мой. — И. М.)».

«Помню, как меня шокировали советские учебники, написанные так, как пишет Деррида и другие французские авторы. Например, „вода достигает 100 градусов, испаряется и превращается в воздух“. Другой пример: „советские трудящиеся, пройдя через социализм, превращаются в новое общество“».

И наконец: «Есть люди, которые убеждены, что всего много: существуют какие-то леса, поля, ледники, как писал Кант, возвышенное; потом это же стало называться природой, потом массмедиа, потом эртертейнментом, потом симулякрот. Всего очень мало: 3 — 4 соображения, 5 — 6 произведений искусства, 1 — 2 интересных человека. Это небольшое количество людей создает впечатление, что всего очень много и что они не просто 1 — 2 человека, которые сидят у себя дома, а что они что-то репрезентируют. Один представляет всю природу, другой представляет все мессианское обещание. Они создают иллюзию репрезентации бесконечности... Люди изобрели мало чего, а из изобретенного еще меньшее число вещей нашло применение».

Каждый день я сталкиваюсь с теми или иными людьми, которые волнуются по поводу цунами в Индийском океане, страстно переживают за пенсионеров-льготников или за судьбу украинской «оранжевой революции». Кроме прочего, их тревожат судьбы синих китов и амурских тигров, обещанный через 50 тысяч лет ледниковый период и возможная жизнь на спутнике Сатурна — планете Титан. Между тем эти люди не умеют самого малого: выстроить отношения с членами собственной семьи и соседями. Не умеют занять себя в ближайшие пять минут. Всю жизнь ждут ве-

ликих потрясений, сногшибательных сюрпризов. Подозреваю, как они удивляются себе в *последние полчаса*: сморщенное, непослушное тело, хриплое, неуправляемое дыхание, 2 — 3 плохо узнаваемых лица возле кровати, 3 — 4 бесполезных соображения в голове. Вода — только та, что в стакане на тумбочке. А из многомиллионных трудящихся — одна нерадивая медсестра.

Всего очень мало. 5 — 6 произведений. 1 — 2 человека. Сегодня это Зеленка и Гройс. А до завтра еще нужно дожить.

WWW-ОБОЗРЕНИЕ СЕРГЕЯ КОСТЫРКО

Предварительные итоги — об интернетовских мемуарах Сергея Кузнецова

Эти заметки спровоцированы содержанием ностальгической, про Интернет 90-х, книги Сергея Кузнецова «Ощупывая слона» (М., «Новое литературное обозрение», 2004), в которой один из «отцов основателей» сетевой журналистики собрал часть — малую — своих интернет-текстов и написал к ним сегодняшний развернутый комментарий; для меня это возможность продолжить начатый в февральском (прошлого года) WWW-обзоре разговор о смене эпох в русском Интернете.

У книги точное название — Кузнецов отдает себе отчет в неспособности дать некую внятную картину истории русского Интернета хотя бы потому, что сам он представляет своего рода персонализацию описываемого явления. Глупо было бы предъявлять ему, например, претензии в неполноте представленной им картины, — перед нами скорее лирические мемуары, чем историческое исследование. Это ситуация, когда уместно вспомнить высказывание Райх-Раницкого: спрашивать у писателя про его произведения — это все равно, что заводить с птицей речь об орнитологии. Мои заметки тоже будут написаны отчасти в жанре «ощупывая слона», то есть «к вопросу о некоторых особенностях».

Главным героем книги автор пытается сделать «мы», составлявшее интернет-сообщество 90-х, первое и, похоже, последнее в строгом значении этого слова: пространство Интернета расширяется настолько стремительно, что само слово «сообщество» очень быстро потеряло смысл. Но во второй половине 90-х оно означало нечто вполне реальное. Русский Интернет был необыкновенно «персонализирован»: М. Вербицкий, Е. Горный, А. Грызунова, Линор Горалик, Л. Делицын, А. Лебедев, Р. Лейбов, А. Носик, М. Якубов и другие — имена уже почти легендарные, хотя многие из них остаются и поныне действующими фигурами. («Нет ничего более естественного для духа русского Интернета середины девяностых, чем это определение темы через автора/издание: сетевая культура — это то, про что пишет „вестник сетевой культуры“ Zhurnal.ru, Интернет — то, о чем пишет „Вечерний Интернет“, и так далее. В 1996 — 1997 годах Рунет был адამическим миром, где, ткнув в любой объект, можно было дать ему имя и быть почти уверенным, что оно за объектом закрепится».) Кузнецов был одним из тех, кто давал имена, и он имеет право говорить от имени определенного поколения интеллектуалов (программистов, филологов, журналистов и писателей), точнее, части его, претендовавшей на роль новой интеллектуальной элиты или как минимум на статус самой продвинутой части этого поколения. Кузнецов пишет историю «своей интернет-тусовки». О людях, которые делали первые информационные и культурные сайты.

Книга Кузнецова дает возможность увидеть этих людей их собственными глазами. «Мои коллеги, относясь к так называемой богеме, вели себя временами столь разнузданно, что вселяли в меня гордость — вот, мол, насколько девиантна моя референтная группа! За то же я любил и Рунет времен Калашного (это когда основные проекты рождались в компании, собиравшейся на квартире Ицковича в Калашном переулке. — С. К.) <...> обстановка общего беспредела, когда кто-то пьет, кто-то курит, кто-то уже спит, а все вместе делают историю Интернета в России...»

Высказывание это, забавное прежде всего инфантильным, почти подростковым восторгом автора перед «разнузданностью» друзей-соратников, снимает какие-либо подозрения в излишней «девиантности» этой среды, потому как по-настоящему «разнузданный» человек не способен воспринимать разнузданность как экзотику.

Люди эти, действительно «вместе делавшие историю Интернета», — предприимчивые, энергичные, ответственные трудоголики; тот же Кузнецов появлялся когда-то в Интернете с новыми текстами, как правило, ежедневно, а были периоды, когда писалось по два-три текста в день; Антон Носик выдавал по двадцать страниц в день, это сверх колоссальной организаторской работы.

И еще в процитированном высказывании чувствуется интонация некой завроженности своей миссией, обостренное ощущение избранничества. Знаком этого избранничества была уже причастность к Интернету, самому прогрессивному, самому продвинутому, так сказать, явлению современности. Отсюда уходящее в прошлое самоуважение, с каким употребляются в текстах Кузнецова все эти «юзер», «модем», «браузер», «домен», «аська» и прочие термины. Это сегодня пятиклассники, обмениваясь дисками с новыми играми, хладнокровно, как слова «магазин», «уроки», «лыжи», произносят «операционная система», «драйвер», «загрузка»; да и само понятие Интернет сегодня уже почти встало в ряд с будничным: почта, телеграф, факс, прайс-лист, рекламный проспект, справочник, словарь. А тогда еще была магия в самом жаргоне сетевиков.

Но продолжу цитату: «...собравшиеся демонстрируют именно те черты, которые я люблю в людях, — они одновременно социально успешны и чудовищно асоциальны». Здесь принципиально важное для автора и его тогдашней среды — асоциальность как социальная установка. То есть мы осваиваем абсолютно новое информационное пространство, которое намерены делать «под себя». Хозяевами в Интернете будем мы. Никакого давления извне, никаких стереотипов поведения, социальных, нравственных и проч., — полная раскрепощенность.

Пафос раскрепощения стал пафосом поколения 90-х, и время этому как бы благоприятствовало (в романе того же Кузнецова «Серенький волчок» есть точная дата, когда кончилось для того поколения «их время», — август девяносто восьмого года, и это получилось в его романе убедительно). Период «цветения» того поколения оказался очень коротким, но и необыкновенно плодотворным, переоценить его значение для развития русского Интернета трудно. Собственно, русский Интернет во многом состоял из проектов перечисленных выше людей — сайтов информационных, литературных и, может быть, в первую очередь литературно-дискуссионных. «Интернет был прежде всего электронной почтой и ньюсгруппами, где велись бурные дискуссии <...> Главной идеей тогда было свободное общение, коммуникация. Привлекательность этой идеи в России объяснялась пафосом времен перестройки: свободная информация, отсутствие цензуры, либерализм и гласность...» Сравнивая начало русского Интернета с его сегодняшним состоянием, можно сказать, что то было, может быть, самое культурное почти во всех отношениях время русского Интернета (и самое романтическое, естественно, тут я с авторской интонацией полностью солидарен).

Возвращаясь вместе с автором к тогдашним интернет-проектам, ловишь себя сегодня на простых и даже грубых вопросах. Например, что это было? Какой смысл был в большинстве этих проектов? В чем их содержание? Что определяло их стилистику? А можно еще тупее: это все было всерьез или то была забава, играшка молодых интеллектуалов?

Да нет, большинство проектов того времени были абсолютно серьезны и действительно значительны. Та же библиотека Максима Мошкова — подобных собраний текстов классической и современной литературы, по свидетельству автора, зарубежный Интернет не имеет. Или, скажем, могучие информационные сайты наподобие «ИнфоАрта». Или литературные — «Тенёта», «Арт-Лито», «Вавилон», в которых выраживала сегодняшняя наша литература. И множество подобных.

Но и, разумеется, играли. И в разные игры играли.

Прежде всего — в литературные. Скажем, проект Романа Лейбова «РОМАН», попытка коллективного писания романа. Или игра в поэзию — на сайтах «Бури-ме», «Сонетник», «Сад расходящихся хокку» (наш журнал писал об этом в «WWW-обзоре» Михаила Визеля — 2002, № 4).

Игровая природа многих сайтов и продолжающая ее стилистика общения в гестбуках и на форумах — черта тогдашнего Интернета. Естественная для самой среды сетевого пространства, с его атмосферой дружеского междусобойчика, провозирующего на доверительность высказывания.

Ну а какими сегодня видятся другие сайты, тоже как бы игровые, но делавшие упор на игре в асоциальность, на легализацию мата, порнографии, темы наркотиков, политического экстремизма? На интерес к «трэш-эзотерике в духе детских страшилок и мифологизированного гностического фашизма», — завышенное словосочетание взято мной из материалов сайта «ЛЕНИН», по-своему знакового для Интернета 90-х годов. Здесь регулярно вывешивал обозрения основатель сайта и «интернет-культуролог» М. Вербицкий. Обозрения назывались «Ужас и моральный террор» и представляли собой развернутые цитаты из разного рода «трэш-сайтов». Вот характерная цитата из материалов этого обозрения: «Наше искусство — террор-арт. Падающий самолет — это шедевр. ГУЛАГ — развлекательный центр, вы получаете бессрочный билет на все аттракционы. <...> Мы открываем набор в наши Карательные Отряды Духа. Каждый истинный творец с нами. Каждый акт творчества — наша очередная победа. Последняя Революция — Великая Революция Духа уже уничтожает сегодняшний мир, возвращая нам РОДИНУ. ВСЕЛЕНСКИЙ СОВЕТСКИЙ СОЮЗ» <<http://imperium.lenin.ru/LENIN/zuzhas/37.html>>. Игра? Разумеется. И всерьез с гражданским пафосом наезжать на сайты с подобной стилистикой текстов вроде как глупо.

Или, скажем, как относиться к «пропаганде» Кузнецовым самодельных «девичьих порносайтов», которым он посвящает не один текст? Самой интонацией, иронично-благожелательной, автор обозначает эти обзоры как игру, как попытку перенесения сексуальной и нравственной проблематики в эстетическое пространство. Так же, как, скажем, и в большинстве текстов Линор Горалик времен ее интернет-проекта «Нейротика», в котором она, по словам Кузнецова, «временами делала настоящую литературу из новостей, посвященных сексу, эротике и порнографии». Но ясно же, что не будет Линор Горалик писать сегодня рекламные тексты к фотографиям барышень из отнюдь не игрового уже сайта «Проститутки.ру».

Конечно, игра. Способ расстаться с ханжеством.

Но у каждой игры есть свои законы, и в определенных ситуациях они способны подчинять себе игроков. Особенно когда игры в «девиантность» переносятся на поле социально-нравственной и политической проблематики. Тут уже легко переиграть самого себя. Сама природа «социального» отличается от природы «эстетического» как минимум по признаку смысловой одномерности высказывания. Форма здесь не играет той роли, какую играет в художественном тексте. И есть своя закономерность в том, что тот же «интернет-культуролог» Вербицкий в конце концов становится реальной идеологической фигурой, выступая на международных «научно-политических форумах» в качестве борца с мировым еврейским заговором, а тексты его подвешиваются на определенных сайтах рядом с соответствующими сочинениями Сергея Нилуса и «Протоколами сионских мудрецов». И это уже не интеллектуальная игра с «антисемитофобией» среди своих. Интернет с самого начала претендовал на аудиторию, несопоставимую с аудиторией даже самой популярной газеты, и сохранить здесь атмосферу дружеского междусобойчика невозможно. То, что было приперченной игрой в 90-е годы, приобретает в нынешнем интернетовском пространстве дурную однозначность идеологической установки или политического лозунга.

Сегодня «мы», на котором настаивает Кузнецов в своей книге, даже в самом усеченном варианте («Мы — это, скажем, Пелевин, Вербицкий, Эпштейн и я») таковым не воспринимается. Сошлюсь хотя бы на ту отстраненность от всего «интернетовского» (от «интернет-колумнистов»), которую так демонстративно подчеркивает Пелевин в своем последнем романе.

Многие особенности русского Интернета 90-х объясняются еще и тем упомянутым выше обстоятельством, что это было в значительной мере явление поколенческое — новое поколение интеллектуалов заявило о себе через Интернет.

Здесь, как мне кажется, не мешает уточнить само понятие «новое поколение». И наше, «старших», отношение к «молодым». Здравствуй, племя молодое, незнакомое? А почему, собственно, незнакомое? И в какой степени незнакомое? Откуда берется новое поколение — молодое? Чем формируется? Да нами и формируется, «старшими». Только не целенаправленно и соответственно не так, как нам хотелось бы. А естественным путем. И механизм этого формирования я бы определил словом «фильтрация». Младшее поколение в момент созревания как бы фильтрует нас. Подчиняясь инстинктивному чутью на подлинное, оно отсеивает из выработанных нами жизненных стереотипов всю шелуху, все наши иллюзии и заморочки, с помощью которых мы идентифицируем себя как поколение, оставляя для своей жизни только то (и плохое, и хорошее), что действительно жизненно существенно. Можно сказать, что во многом образ нового поколения — это еще зеркало для поколения старшего. Бывает, что в зеркало это жутковато глядеться. Но что делать, какие есть. Молодое поколение создаем мы, желая этого или не желая. И, собственно, потому мы так и зависим от них внутренне.

Так вот, если обратиться к новому поколению, образ которого явил русский Интернет 90-х годов, одним из самых громких и категоричных заявлений, обращенных к миру, то есть к «старшим», было: мы не такие, как вы. Мы свободны от вашего ханжества, заторможенности, оглядчивости и одышливости, от всех ваших заморочек, в том числе и «либерально-демократических», моральных и проч. Мы — другие!

И очень интересно читать книгу Кузнецова, держа в голове как раз этот вопрос: насколько другие?

Вот Кузнецов воспроизводит типичный для его обзоров новостной блок, помеченный 1999 годом. И эта выборка более чем репрезентативна для кругозора и уровня контактов с миром того интернет-поколения — в выборе тем и форме их подачи Кузнецов как обозреватель был свободен абсолютно. Единственное, на что он ориентировался, так это на интересы своего потенциального читателя, как огня боявшегося всего, что отдавало бы «ширпотребом», — «только те, кому не везет в жизни, ходят на большие концерты на „Горбушку“, — пишет Кузнецов. — Те, кому в жизни повезло, знают ходы в небольшие ночные клубы, на камерные концерты, где <...> собираются только „свои“».

Итак, вот новости от популярного интернет-обозревателя, адресованные «своим»:

вечер поэта Бахыта Кенжеева,
Мэрилин Мэнсон сделал предложение Розы Макгоун,
английский бизнесмен купил для своего бизнеса имя Элвиса Пресли,
отмена концерта рок-группы KISS,
суд над Авдеем Тер-Оганяном,
новое интервью Майкла Джексона,
торговля автографами Сальвадора Дали и т. д.

Это к вопросу о культурном кругозоре. То есть самый что ни на есть ширпотреб — стандарт «продвинутого молодого человека», среднестатистического потребителя глянцевого журнала и посетителя клуба «О.Г.И.».

Уровень проработки новостей:

«Седой и косматый Кенжеев пришел с молодой рыжей девушкой, получил в качестве гонорара бутылку „Ливади“, которую не спеша потягивал весь вечер» — это про содержание поэтического вечера, поэт здесь как персонаж светской хроники.

Или вот образ независимости и «интернетовской кругизны», приводимый автором с симпатией, — программист Чернов, автор кодировки КОИ-8, то есть человек, который плоть от плоти нашего Интернета, выложив без согласования с автором и издателем текст «Голубого сала», на упреки в пиратстве и несоблюдении элементарных норм поведения отвечает так: «Учить меня, что мне следует делать в Сети, а что нет в свете того, что в т. ч. благодаря мне эта Сеть здесь и появилась, есть верх наглости. <...> Со своими цивилизованными нормами идите в цивилизованную ж...у... А тем временем в моей Сети будут мои нормы и правила...» Ну

что ж тут нового? До боли знакомый, родной, можно сказать, рык обкомовского функционера.

Увы, продекларированный самим строем интернетовских текстов Кузнецова пафос: мы молодые, мы — другие, — повисает (для меня по крайней мере) в воздухе.

Да нет, ребята, что-то непохоже, что «другие».

...Установка на социальный успех, о которой много раз упоминает в своих заметках и в воспоминаниях Кузнецов, разумеется, присутствовала в том азарте, с каким делались первые литературные сайты в Интернете, но, как мне кажется, не она выполняла роль дрожжей, на которых взбуживало интернет-клокотание 90-х. Да и сам автор признается, что ни особых коммерческих успехов, ни какого-то значительного приращения общественного статуса их интернетовская деятельность не принесла даже самым знаменитым интернет-фигурам. Тут другое грело, другое заводило — притягательность Интернета как феномена эстетического. Волновала, держала в напряжении доступность для каждого из участников того процесса новой сценической площадки. Площадки, которая еще до начала действия уже успела обрасти своей мифологией. От которой общество ожидало чуть ли не чудес, ожидало самого продвинутого слова и жеста.

И надо сказать, что сама технология Интернета как бы давала право на подобные ожидания. Здесь будет уместно употребление слова «сцена» (рампа) как эстетической категории, обозначающей выделение из сырой, текущей действительности некоего эстетического явления. Рождение бытийного из бытового. Вот, скажем, ты — это ты. И то, что ты пишешь на своем компьютере, это еще часть тебя. Но вот ты выкладываешь написанное на сайте или хотя бы в гестбук — и происходит преобразование: текст начинает жить отдельно от тебя, в контексте других текстов. Он оживает для десятков, а может, сотен глаз, которые его сейчас читают, — а то, что читают, ты знаешь, потому что через полчаса на форумах начнут появляться реплики. И ты, оставаясь собой, наблюдаешь себя уже как бы со стороны. Ты как персонаж сетевого диалога. Ну а чем он формально отличается от платоновских диалогов? Да ничем. А если учесть, что интеллектуальный уровень тех первых дискуссионных клубов в русском литературном Интернете бывал, как правило, достаточно высок и что эстетическая состоятельность многих текстов, которые вывешивались на страницах тех же «Тенёт» или «Вавилона» (Сергей Соколовский, Станислав Львовский, Сергей Солоух, Линор Горалик и т. д.), была более чем убедительна, то эта игра превращения своей жизни в интернет-текст становилась уже и не только игрой. И даже авторы откровенно игровых проектов не могли не чувствовать, что на самом деле здесь, в этой как бы игре, начинает складываться культура завтрашнего дня; что скоро — думаю, многие даже и не подозревали, насколько скоро, — выложенные ими в Интернете тексты станут книгами, станут предметом серьезных рассматриваний.

Разумеется, за этот предельно укороченный путь к сцене нужно было платить. Как минимум платить ощущением некоторой «кукольности» своего литературного мира, сомнением в прочности выбранной сцены. Очень многие Саши, Тани, Миши так и останутся навсегда Танями и Сашами из Интернета. Но в целом процесс был вполне серьезный, «взрослый».

Обустройство, обживание нового информационного пространства молодым поколением литераторов счастливо совпало с процессами в современном искусстве, в частности с актуальностью для него разного рода перформансов, инсталляций, «актов» и проч. То есть с очень развитым современным искусством — и изобразительным, и литературным — изошренностью восприятия уже самого потребителя, с изменением, так сказать, процентного соотношения в участии художника и зрителя (читателя) в художественном событии. Если традиционно акт эстетического проживания произведения искусства предполагал большее усилие со стороны художника и меньшее со стороны потребителя, то сегодня все поменялось — художник делает некий жест, рассчитывая на то, что зритель наполнит этот жест собственным содержанием. И можно сказать, что та работа, которой занимались наши концептуалисты, скажем, Андрей Монастырский в 70-е, продолжилась в поэтике многих интернет-проектов, активизируя творческие потенции потребителя.

Во многом наша арт-тусовка 90-х годов занималась, по сути, дожевыванием самого понятия «рампы». И это имело свои плодотворные стороны, создавая интенсивность творческой атмосферы в Интернете, несопоставимую с традиционной. Может, потому Интернет дал нам чуть ли не целое поколение писателей.

И пусть не оправдались ожидания пришествия совершенно новых поэтик, того же гипертекста, о котором столько было писано в свое время, пусть сугубо интернетовские стилистики, перенесенные на бумагу, выдержав это испытание, становились явлением в принципе стилистически независимым от эстетики раннего Интернета (как, например, проект Макса Фрая, который стал книгой под названием «Идеальный роман», именно книгой), свою роль Интернет выполнил, став как минимум стимулирующей творческой средой. Это только для литературоведов важно, что рубленая фраза Хемингуэя или «драная» эссеистская проза «Опавших листьев» Розанова — след сотрудничества авторов с газетами, но для собственно литературы, для широкого читателя это обстоятельство уже несущественное.

...С некоторым усилием я прекращаю здесь свои заметки на полях книги Кузнецова, потому как действительно — «ощупываю слона». Тема почти безбрежная. Последнее замечание, уже о тональности кузнецовского повествования. Тональность ностальгическая: хорошее все-таки было время. Да. Присоединяюсь без каких-либо оговорок.



БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ЛИСТКИ

КНИГИ



Василий Аксенов. Американская кириллица. Проза и стихи. М., «Новое литературное обозрение», 2004, 552 стр., 3000 экз.

«Удивительные иной раз происходят в жизни совпадения: как раз к окончанию моих „американских университетов“, то есть к завершению двадцатичетырехлетнего пребывания в американской академической среде <...> еще проще — к отставке, я получаю приглашение написать или, вернее, выстроить книгу об Америке». Автор выстраивает ее так: от «Нон-стоп» (из книги «Круглые сутки нон-стоп», когда молодой автор писал про манящий образ свободной, полнокровной жизни, впечатления для которого он в качестве советского писателя, отпущенного читать лекции за океаном, успел набрать за два месяца в США), затем — главы из книги «В поисках грустного беби» («Яйцо») с еще почти не от-рефлектированной, но осязаемой в тексте грустью от утраты «американской мечты», которую начала заменять автору Америка реальная. Ну а далее — «сугубо американская книга, на этот раз не non-fiction, а самая что ни на есть „физкшн“», разделы «Яйцо» (главы из книги «Желток яйца»), «Блюз» («Озеро Бельведер»), «Парфенон», три рассказа: «Из негатива», «Иван», «Корбахи». Завершается том главами из книги «Кесарево свечение», образующими текст под названием «Старый сочинитель и дикая индейка».

Алексей Алехин. Записки бумажного змея. М., «Время», 2005, 288 стр., 1000 экз.

Книга о путешествиях, точнее, о поэтическом проживании путешествий в стихах и в прозе, писавшаяся тридцать лет, — Таллин (еще тех времен, когда в его название никто не вписывал второе и), Одесса, Хабаровск, Сахалин, Таджикистан, далее, как говорится, — везде, то есть Европа, Америка, Индия, Китай. Эссе из давнего название книге цикла публиковались в «Новом мире» в 1995 году (№ 2). Журнал намерен откликнуться на эту книгу.

Вуди Аллен. Риверсайд Драйв. Перевод с английского Олега Дормана. М., «Иностранка», 2005, 173 стр., 5000 экз.

Три пьесы Вуди Аллена, написанные в «вудиалленовском» жанре комедийной трагедии: «Риверсайд Драйв», «Олд-Сэйбрук», «Централ-Парк Вест».

Уильям Берроуз. Города Красной Ночи. Перевод с английского А. Аракелова. М., АСТ; «Компания Адаптек»; «Астрель», 2005, 400 стр., 5000 экз.

Первый из трех составивших позднюю трилогию Берроуза романов, написанный в 1981 году.

Даниил Гранин. Жизнь не переделать... М., «Центрполиграф», 2004, 464 стр., 10 000 экз.

Новую книгу известного писателя составили рассказы и повести о войне, собранные в разделе «Война вблизи и издали», историческая и фантастическая проза в разделе «Непредсказуемое» и мемуарная — в разделе «Недавнее прошлое» («Виктор Шкловский», «Несравненный Иракий», «Александр Гитович» и др.).

Дмитрий Колымагин. Прогулки. Дмитрий Авалиани. Рисунки. М., «Виртуальная галерея», 2004, 60 стр.

Книга, в которой на равных взаимодействуют стихи и графика.

Г. Лавкрафт. По ту сторону сна. Перевод с английского Валерии Бернацкой. Составление А. Лактионова. М., АСТ; «Люкс», 2005, 448 стр., 5000 экз.

Собрание рассказов одного из основателей американской мистической «черной школы» 20 — 30-х годов XX века Говарда Филлипса Лавкрафта (1890 — 1937). Ранее выходили его книги: «Хребты Безумия» — М., «Азбука-классика», 2004, 288 стр., 5000 экз. (повести «Зов Ктулху», «Шепчущий во тьме» — обе в переводе Е. Любимовой, «Хребты безумия» — в переводе Валерии Бернацкой) и «Морок над Инсмугом» — М., «Азбука-классика», 2004, 352 стр., 5000 экз. (вышедшая с предисловием Алексея Зверева книга представляла повести «Скиталец тьмы» в переводе Олега Алякринского, «Морок над Инсмугом» в переводе А. Спаль, «Жизнь Чарльза Декстера Варда» в переводе Людмилы Володарской; а также небольшое собрание стихотворений «Грибы с Юггота» в переводе О. Мичковского).

Малый шелковый путь. Новый альманах поэзии. Выпуск пятый. Ташкент, 2004, 134 стр.

Последний и, по-видимому, завершающий это издание выпуск альманаха «Ташкентской школы». Школа эта «могла возникнуть только на стыке эпох, в момент крушения имперского мифа и зарождения новой, постколониальной истории Центральной Азии. В основе «школы» раздвоение сознания между *там* и *здесь*, между *тогда* и *сейчас*. Лишь одной ногой стоит она на азиатской почве, но как раз в этом для нее — залог устойчивости, «то, что связывает „ташкольников”, давно переросло границы дружбы. Каждый из них бесценен для другого в качестве свидетеля Города, его хранителя и зрителя, способного добавить в картину коллективной памяти свои образы, краски и полутона» (Вадим Муртаханов). В первом разделе («Антология») подборки стихов Сабита Мадалиева, Рауфа Парфи, Ахмада, Рифата Гумерова, Бэлы Гершгорин, Санджара Янышева; еще четырнадцать поэтов представлены одним стихотворением в разделе «Евразийский оком». Центральное прозаическое произведение пятого выпуска — медитативная проза Саши Грищенко «Вспять», жанр которой обозначен как «большое стихотворение в прозе» и которая в номинации «большая проза» получила премию «Дебют» за 2004 год. Здесь же, в разделе «Школа», рассказ Сухбата Афлатуни «Индира» — хроника дня горожанки, как бы беспристрастная психологическая проза, и рассказ Вадима Муртаханова «Приближение к дому», восприятию которого помогают ассоциации с новеллами Кортасара — очень похоже и при этом совершенно не похоже, метафизическая жуть рождается из того хорошо знакомого нам страшного, что таится для нас, осваивающих пока еще общее постсоветское пространство, в так называемой проблеме «межнациональных отношений». В разделе «Александрия» — прозаик Александр Устименко со «Сказанием о Рохшанаке» и поэт Сухбат Афлатуни с поэмой «Александр и Ровшанаке».

Даниил Хармс. Все подряд. Хронологическое собрание сочинений в 3-х томах. М., «Захаров», 2005, 3000 экз. Том 1. 1910 — 1931 — 400 стр. Том 2. 1932 — 1935 — 336 стр. Том 3. 1936 — 1941 — 288 стр.

Самое полное собрание текстов (стихи, проза, драматургия, дневниковые записи, письма) Даниила Хармса, расположенных не по жанрам, а исключительно «по хронологии». Составил этот трехтомник И. В. Захаров.

Санджар Янышев. Регулярный сад. М., Издательство Р. Элинина, 2005, 92 стр., 1000 экз.

Третья книга стихов известного поэта, одного из лидеров литературной группы «Ташкентская школа» (см. выше — «Малый шелковый путь»), — стихи и короткие поэмы 2000 — 2003 годов («Раз в тыщу лет открываются шлюзы. / Речь обнажает варган и зурну. / Словно дневные осадки, медузы / Солнцем возносятся в вышину...»).



Михаил Айзенберг. Оправданное присутствие. СПб., «Baltrus»; «Новое издательство», 2005, 212 стр., 1000 экз.

Поэт Михаил Айзенберг как критик — статьи о современной поэзии, в частности о стихах Льва Лосева, Ивана Жданова, Сергея Гандлевского, Тимура Кибирова, Владимира Гандельсмана, Евгении Лавут.

Владимир Бондаренко. Серебряный век простонародья. М., ИТРК, 2004, 512 стр., 2000 экз.

Книга одного из ведущих критиков-«патриотов», с подзаголовком «Книга статей о стержневой русской словесности, об окопной правде, о деревенской прозе и тихой лирике», в которой устами одного из героев ее, Станислава Куняева, русская словесность последних десятилетий разделяется на русскую и «не совсем», и разделение это ведется от «Нового мира» времен Твардовского, в котором «русские писатели были пасынками», то есть произведения даже печатавшихся там Залыгина, Лихоносова, Белова «осмысливались в рамках господствующей в „Новом мире” прозападной идеологии». Список истинно русских писателей в книге начинается именем Юрия Бондарева.

Томас Венцлова. Статьи о Бродском. СПб., «Baltrus»; «Новое издательство», 2005, 176 стр., 1000 экз.

Семь статей Венцловы о сочинениях Бродского, короткий текст, написанный к сорокалетию поэта, и большое интервью, данное Валентине Полухиной и названное «Развитие семантической поэтики».

Леонид Гроссман. Бархатный диктатор. М., «Рипол Классик», 2004, 400 стр., 5000 экз.

Два исторических романа известного русского писателя и литературоведа Леонида Петровича Гроссмана (1888 — 1965) — «Бархатный диктатор» (о судьбе писателя Всеволода Гаршина) и «Рулетенбург. Повесть о Достоевском».

С. М. Дубнов. Книга жизни. Материалы для истории моего времени. Воспоминания и размышления. Вступительная статья, комментарии В. Е. Кельнер. М., «Мосты культуры» — Иерусалим, «Гешарим», 2004, 796 стр.

Книга воспоминаний, включающая в себя также извлечения из дневников Семена Марковича Дубнова (1860 — 1941), историка, политического деятеля, публициста, теоретика еврейского национального движения. Трехтомник под одним переплетом. Три этапа жизни — детство в Мстиславе и начало научной деятельности в Одессе (1860 — 1903), далее — научная и общественная деятельность в Вильно и Петербурге (1903 — 1922), эмиграция; повествование доведено до 1934 года. В приложении — автобиблиография книг и статей на русском языке (а также на немецком, английском, французском, испанском, итальянском, иврите...), опубликованных автором с 1881 по 1939 год.

Андрей Колесников. Я Путина видел! М., «ЭКСМО», 2004, 480 стр., 15 000 экз.

Андрей Колесников. Меня Путин видел! М., «ЭКСМО», 2005, 480 стр., 15 000 экз.

Две книги ведущего политического обозревателя ИД «Коммерсантъ», делающего в газете ту же работу, которую делала Елена Трегубова (о ее книге «Байки кремлевского диггера» см. «Библиографические листки» — «Новый мир», 2004, № 3), — о сегодняшней жизни Кремля, о быте и нравах, об известных и не очень персонажах, о большой и малой политике и о том, как смотрится она изнутри.

Н. Я. Комаров, Г. А. Куманев. Блокада Ленинграда: 900 героических дней. 1941 — 1944. Исторический дневник. Комментарии. М., «Олма-Пресс», 2004, 576 стр., 5000 экз.

Историческая монография, написанная для широкой аудитории на материале архивов Государственного Комитета Обороны, Ставки Верховного Главнокомандования, Военных советов фронтов Северо-Западного стратегического направления, спецсообщений НКГБ и НКВД, а также воспоминаний очевидцев. Авторы пытаются дать реальную оценку исторической роли руководителей Ленинградского фронта К. Е. Ворошилова, А. А. Жданова, М. С. Хозина, А. А. Кузнецова.

«Пока свободой горим...» (О молодежном антисталинском движении конца 40-х — начала 50-х годов). Составление и предисловие И. А. Мазуса. М., «Пик», 2004, 448 стр., 5000 экз.

Есть старые лагерники, справедливо оскорбляющиеся на слова сочувствия по поводу того, что их «репрессировали незаслуженно», да нет, говорят они, мы-то как раз сели «заслуженно», мы уже тогда понимали, чем платит страна и народ за свою завороченность «великим делом Сталина», и сопротивлялись этому самоубийственному мороку в меру сил. Книга знакомит читателя с несколькими молодежными политическими организациями и движениями — со «Всесоюзной демократической партией» (в воспоминаниях Виктора Белкина, А. И. Тарасова, Израиля Мазуса), с «Кружком Кузьмы» (в воспоминаниях Евгения Федорова), с «Коммунистической партией молодежи (КПМ)» (в воспоминаниях Анатолия Жигулина), с «Союзом борьбы за дело революции» (в воспоминаниях Майи Улановской, Аллы Тумановой, Владимира Мельникова).

Давид Самойлов. Лидия Чуковская. Переписка. 1971 — 1990. М., «Новое литературное обозрение». Вступительная статья А. Немзера. Комментарий и подготовка текста Г. И. Медведевой-Самойловой, Е. Ц. Чуковской и Ж. О. Хавкиной. 2004, 304 стр., 2000 экз.

Переписка поэта, далекого от официоза, и писательницы, числившейся в диссидентах, приоткрывающая закрытую от широкого читателя сторону жизни известных людей — интеллектуальную, душевную, эстетическую (да и просто жизнь — с болезнями, бытом, литературными новостями), которой жили в 60 — 70-е годы русские интеллигенты, сохраняющие свою внутреннюю свободу не только от государства и его тогдашней идеологии, но и от диктата «общественного мнения» и ближайших друзей («Прочитал две книжки Н. Эйдельмана <...> и еще часть романа Ю. Давыдова <...> Важная черта современных исторических писателей, что они занимаются разными формами обоснования конформизма. Обоснования эти тонкие, существенные, объясняющие необходимый аморализм любого заговора. Все вполне традиционное и соответствует нашей конформистской эпохе» — Д. Самойлов).

Ольга Суркова. С Тарковским и о Тарковском. М., «Радуга», 2005, 464 стр., 3000 экз.

Книга киноведа, исследователя, а также многолетнего друга Андрея Тарковского, в которой используются интервью с режиссером, его дневниковые и магнитофонные записи, а также другие архивные документы.

Анри Труайя. Антон Чехов. Перевод с французского А. Васильковой. М., «ЭКСМО», 2004, 608 стр., 6100 экз.

Жизнеописание Чехова, принадлежащее перу известного французского писателя.

Чуковский и Жаботинский. История взаимоотношений в текстах и комментариях. Автор и составитель Евг. Иванова. М., «Мосты культуры» — Иерусалим, «Гешарим», 2005, 272 стр., 1000 экз.

Книга о взаимоотношениях Владимира (Зеева) Жаботинского и Корнея Чуковского, которая началась для автора-составителя текстами четырех писем Жаботинского и воспоминаний Чуковского о своем учителе, потребовавшими подробного комментария, обращения к старым одесским и петербургским газетам, к иконографическому материалу (приведенному в этой книге), к архивным документам и т. д. Повествование разбито на главы «Ученик и учитель», «Полемика о евреях и русской литературе», «Разные уроки юбилея Шевченко», «Снова Лондон». Более подробно издание будет представлено в «Книжной полке Павла Крючкова» в следующем номере журнала.

Ориана Фаллачи. Ярость и гордость. Перевод с итальянского Л. Виноградовой. М., «Вагриус», 2004, 160 стр., 5000 экз.

Антиисламский памфлет известной итальянской журналистки (живет в США), написанный ею после событий 11 сентября 2001 года. Изданная миллионными тиражами в Америке и Европе, книга вызывает неоднозначную реакцию — мусульман шокирует жесткость анализа и оценок противоречий в исламе (французские радикальные исламисты возбудили даже судебный процесс против Фаллачи, который журналистка, впрочем, выиграла), либеральную Европу раздражает тезис о «губительной беспечности Запада».

Михаил Эпштейн. Все эссе в 2-х томах. Том 1. В России. Екатеринбург, «У-Фактория», 2005, 544 стр., 10 000 экз.

Первый том двухтомника известного культуролога — «эссе, написанные им за 27 лет и охватывающие опыт жизни на двух континентах. Это и опыт размышления о русской и американской культуре, путях их взаимодействия. Впервые собранные вместе, эти тексты образуют своеобразную картографию культурных границ и исторических рубежей: между Россией и Америкой, между Россией и СССР, между коммунизмом и капитализмом, между повседневными мелочами и поэтическими символами, между частной жизнью и имперским сознанием, между национальной природой и сверхтехнологиями будущего. В издание включены и две работы по теории эссе и эссеизма» (от издателя).

Составитель **Сергей Костырко.**

ПЕРИОДИКА



«АПН», «Время новостей», «Даугава», «День и ночь», «Дружба народов», «Завтра», «Иностранная литература», «Лебедь», «Литературная газета», «Литературная Россия», «Литературный бульвар», «LiveJournal», «Мемориал», «Московский комсомолец», «Народ Книги в мире книг», «Наш современник», «НГ Ex libris», «Новое время», «Новые Известия», «Октябрь», «Подъем», «Посев», «Российская газета», «Русский Базар», «Русский Журнал», «Свободная мысль-XXI», «Седмица», «Складчина», «Спецназ России», «Топос», «Урал», «Фома»

Ильдар Абузяров. Баскетболисты. (Провинциальный герой). — «День и ночь», Красноярск, 2004, № 9-10, ноябрь <<http://www.din.krasline.ru>>.

«Сыновья обеих когда-то учились в школе-интернате для слабообразованных детей...»

См. также: **Ильдар Абузяров**, «По странице в день. (Мексиканские рассказы для писателей)» — «Литературный бульвар», Казань, 2004, № 4-5 (5-6).

См. также: **Ильдар Абузяров**, «Воздушных кошмаров» — «Октябрь», 2004, № 6 <<http://magazines.russ.ru/October>>.

Анатолий Азольский. Смерть Кирова. Комментарий к выстрелу. — «Дружба народов», 2004, № 12 <<http://magazines.russ.ru/druzhba>>.

«Политические и бытовые убийства, наиболее громкие и значительные, поражают тем, что „трагическое стечение обстоятельств” — их обязательное условие».

«В городе на Неве он [Иван Запорожец] стал режиссером проваленного спектакля, поскольку на сцену прыгнул с галерки человек, оттолкнувший исполнителя главной роли и понесший отселятину».

См. также: «<...> изучавшие дело многочисленные комиссии, члены которых явно не симпатизировали Сталину, не смогли найти никаких доказательств причастности Иосифа Виссарионовича к убийству Кирова. С другой стороны, официальная версия 1930-х годов об убийстве, совершенном по заданию подпольной зиновьевской организации, сегодня также выглядит неубедительной. Скорее всего, свой теракт Николаев действительно совершил в одиночку. Как мы убедились, ничего сверхъестественного для этого ему не требовалось», — пишет **Игорь Пыхалов** («Выстрел в Смольном» — «Спецназ России», 2004, № 12 <<http://www.specnaz.ru>>). Он же: «<...> Сталин в начале 1930-х любил в одиночку разгуливать по Москве. Кончилось это тем, что 16 ноября 1931 года, когда Сталин в полчетвертого дня проходил по Ильинке около дома 5/2 против Старо-Гостиного двора, его чуть не застрелил нелегально прибывший в нашу страну бывший белый офицер, член РОВС Огарев. После этого случая Политбюро приняло специальное решение, запретившее Сталину „пешее хождение по Москве”».

Чингиз Айтматов. Убить — не убить... — «НГ Ex libris», 2005, № 1, 13 января <<http://exlibris.ng.ru>>.

«Выводя самолет из зоны активного зенитного огня, летчик глянул вниз, чтобы удостовериться, насколько успел удалиться от обстрела, — внизу космато расстилался густой буро-зеленый лес, который как бы кренился набок вместе с ним на вираже, казалось, лес постепенно опрокидывался, грозя свалиться в некую бездну». Рассказ, начатый лет двадцать назад, потом оставленный и законченный только накануне 2005 года.

Лев Аннинский. Слово останется. Интервью записала Нелли Раткевич (Красноярск). — «День и ночь», Красноярск, 2004, № 9-10, ноябрь.

Сумбурная, но интересная беседа (при участии писателя Михаила Успенского) — обо всем: китайской угрозе, распаде СССР, переписке Астафьева и Эйдельмана, загадке Михаила Шолохова и о том, что немцы — наши двоюродные братья. Среди прочего: «Нужно читать Пушкина. Но не всего! Дозируйте! Но без Пушкина нельзя». К сожалению, Лев Аннинский умолчал, что именно у Пушкина читать сегодня не следует.

Алан Ансен. У.-Х. Оден: ноябрь *Table talk*. Перевод с английского и комментарии Глеба Шульпякова. — «Топос», 2004, 30 декабря <<http://www.topos.ru>>.

16 ноября 1946 года. Оден говорит: «Вы знаете, представить Христа в искусстве все-таки невозможно. К Старым Мастерам мы просто привыкли и воспринимаем их автоматически, но в свое время их полотна казались современникам оскорбительными».

21 ноября 1947 года. «Я только что вернулся из Калифорнии. Стравинский был жутко милым. Мы с ним играли на пианино в четыре руки. <...> Он рассказал мне, что самое забавное определение секса нашел в словаре „Лярусс”. Хотя некоторые его анти-семитские замечания я переваривал с трудом. Нет, ничего такого страшного, просто он все время говорил: „Почему они называют себя русскими?”»

23 ноября. «Не думаю, что в обществе женщин надо демонстрировать свою гомосексуальность. <...> Конечно, можно обсудить проблему гомосексуализма с женщиной, которая умна и симпатична вам. Тут ничего страшного нет. Но даже в этом случае подобный разговор будет всегда некстати. Видите ли, женщины, даже самые умные из них, никогда до конца не поймут, кто такие эти голубые и в чем их смысл. Они всегда будут думать, что голубые — это те, кто еще не встретил свою женщину. И кто ее, несомненно, еще встретит. Не думаю, что женщине стоит тусоваться с голубыми. Хорошо, голубые острее, разговорчивее, интереснее, но девушка в их присутствии всегда будет ощущать свою никчемность. Они чувствуют, что их не принимают в игру, и жутко переживают по этому поводу. Нет, не стоит заикливаться на обществе голубых. В любой другой прослойке полно хороших людей».

Дмитрий Бавильский. «Зима, крестьянин торжествуя на дровках (? — А. В.) обновляет путь...». — «Топос», 2005, 12 января <<http://www.topos.ru>>.

«Суббота года — хороший повод заняться преобразованиями у себя внутри. Будем думать, что новоявленные Рождественские каникулы — это такой растянутый во времени Шаббад, время собрать точку внутренней опоры. Чтобы войти в новый, 2005-й свежим и обновленным».

«**Барабанов — это я...**» (Неизвестный Аркадий Кутилов). Предисловие Геннадия Великосельского. — «Складчина». Литературная газета. Омск, 2004, № 4 (16), сентябрь.

«Особое место в прозаическом наследии Кутилова занимает цикл небольших произведений под общим названием „Рассказы колхозника Барабанова” [1969], заставивший говорить о себе, будучи еще не опубликованным» (из предисловия).

См. также — об Аркадии Кутилове и детском поэте Тимофее Белозерове: **Владимир Новиков** (Омск), «Два поэта» — «Складчина», 2004, № 5 (17), декабрь.

Виталий Бахолдин. Встречи с Леонидом Мартыновым. — «Складчина», Омск, 2004, № 4 (16), сентябрь.

«Не помню его высказывания по этому поводу дословно, но в принципе введение погон для Красной Армии он [Мартынов] одобрил».

См. в этом же номере «Складчины»: «К свидетельству поэта [Леонида Мартынова] стоит отнестись с доверием и, следовательно, не исключать, что „Самопевы киргизские” в действительности могут принадлежать юному Мартынову. Но это лишь версия. Вот почему в настоящей публикации имя [Антон] Сорокина сопровождается вопросительным знаком», — пишет **Сергей Поварцов** («Казахские мотивы. Сорокин или Мартынов?»).

См. также четыре недатированных неопубликованных стихотворения Леонида Мартынова (публикация Г. А. Суховой-Мартыновой) — «Складчина», 2004, № 5 (17), декабрь.

Александр Беззубцев-Кондаков. «Большой конвейер» как символ эпохи. — «Урал», Екатеринбург, 2005, № 1 <<http://magazines.russ.ru/ural>>.

«Ранняя смерть (он ушел из жизни в двадцать семь лет) не позволила Якову Ильину завершить „Большой конвейер”, этим в значительной степени оправдываются недостатки романа, однако, на наш взгляд, схематизм в изображении героев „Большого конвейера” объясняется вовсе не тем, что автор не успел вдохнуть жизнь в их образы, а общей концепцией произведения, словом, то, что современному читателю представляется недостатком, для Якова Ильина таковым отнюдь не являлось. <...> „Большой конвейер” принадлежит к числу таких книг, которые, не оставив заметного следа в истории литературы, тем не менее <...>».

Игорь Белов (Калининград). Магнитола со стажем. Стихи. — «День и ночь», Красноярск, 2004, № 9-10, ноябрь.

Последняя тяга раскуренной дури.
 Подъезд неумыт и, как небо, нахмурен.
 Растоптан окуроч. Пора, брат, пора.
 Мы вышли и хлопнули дверью парадной.
 Сквозь ливень, бессмысленный и беспощадный,
 спускаемся в черную яму двора.

 Библейская тьма в опустевшей квартире.
 Я еду в троллейбусе номер четыре.
 Я вспомнил линялые джинсы твои,
 глаза твои ясные, мир этот жлобский,
 расхристанный голос с пластинки битловской,
 поющий о гибели и о любви.

См. также: **Игорь Белов**, «Весь этот джаз» (Калининград, 2004).

Сергей Беляков. К оружию, граждане? — «Урал», Екатеринбург, 2005, № 1.

«Сохранилась ли в наше время деревенская проза? Недавно сам Валентин Распутин признал, что таковой уже нет, как нет и деревни. Даже действие его последней повести происходит не в деревне, а в городе. Герои нынешнего Распутина, подобно многим героям Шукшина, уже не крестьяне, а горожане в первом поколении, хотя и не больно хорошо в этом городе прижившиеся. Классическая русская деревня, деревня беловского „Лада”, исчезла. Исчезла, видимо, навсегда. Нынешнюю моральную деградацию деревни (не только повальное пьянство, но и распутство, и всеобщую апатию) деревенщики предвидели еще двадцать — тридцать лет назад (в „Прощании с Матерой” это угадывается). Деградации этой есть вполне научное объяснение: в XX веке в деревне происходил естественный отбор наоборот: самые активные, трудолюбивые крестьяне либо сгнули в годы коллективизации, либо перебрались в города. На деревне же остались люди инертные, пьющие, не оборотистые. Процесс деградации шел медленно, но неуклонно. Сейчас, кажется, и впрямь не о ком писать стало. Деревенская проза девяностых тоскливо-печальна: мужики пропивают собственную кровь (В. Белов, «В кровном родстве»), нищают некогда прибыльные хозяйства, последние крепкие хо-

зьява покидают землю, которую тут же занимают чеченцы (Б. Екимов, «Последний рубеж», «Оставленные хутора»). Ольга Славникова еще в середине девяностых (в 1999 году. — А. В.) заговорила о „ледниковом периоде” для деревенской прозы. Пусть так, но ведь оледенение не вечно, периодически ледник начинает отступать, на месте тундры вырастает лес, приполярный климат сменяется умеренным, а то и субтропическим. Когда-нибудь отступит и этот ледник. Признаки его таяния уже заметны (не ошибиться бы!). Есть у большинства героев деревенской прозы одна черта: хорошие, добрые люди почти не сопротивляются злу, которое обращивается то жадным и бесовственным колхозным начальством (Б. Можаяев, „Живой”), то нахальным родственником, подбившим Ивана Африкановича к бессмысленной поездке на Север (В. Белов, „Привычное дело”), то самим укладом современной жизни, который губит в человеке все доброе, уничтожая традиционную мораль („Воспитание по доктору Споку”, „Все впереди”), то государством, ради строительства очередной электростанции лишившим людей родной земли (В. Распутин, „Прощание с Матерой”). Принцип соцреализма наоборот: обстоятельства почти всегда сильнее героя. Он может в лучшем случае лавировать, уходить из-под удара (как Федор Кузькин из повести Можаяева), может остаться на затопляемой земле (как старухи в „Прощании с Матерой”), но самому атаковать, победить зло — никогда. И вдруг все изменилось. Героиня последней повести Распутина берет в руки обрез и убивает кавказца, изнасиловавшего ее дочь. Ее сын Иван дерется на базаре с теми же кавказцами. Русский человек впервые не подставил другую щеку, но сам ударил обидчика. Одна ласточка, конечно, весны не делает, но за ней уже появилась и другая. В одиннадцатом номере „Нового мира” опубликован новый рассказ Бориса Екимова, „Не надо плакать...”. Боюсь, что название может ввести в заблуждение: имеется в виду вовсе не утешение, а призыв — не плакать, но действовать. Сюжет такой <...>.

См. также: «К сожалению, вряд ли ошибусь, если скажу, что широкого общественного отклика новая повесть В. Распутина не вызвала. <...> „Дочь Ивана, мать Ивана” — это, даже вне зависимости от темы, значительнейшее художественное произведение, равных которому по силе художественного воплощения, на мой взгляд, за последние 10 — 15 лет у нас не появилось», — пишет **Алексей Смоленцев** («И свет во тьме светит. О повести Валентина Распутина „Дочь Ивана, мать Ивана”: опыт прочтения» — «Подъем», Воронеж, 2004, № 12 <<http://www.pereplet.ru/podiem>>).

См. также: «Глупо переписывать недавнюю заметку, но повторю: лучший русский рассказчик (наверно, не только этого года) — Борис Екимов. Порукой тому не только „Не надо плакать...” („Новый мир”, № 11) и четыре других рассказа, напечатанные тем же журналом, но и большая часть его прозы — обостренно совестливой, строгой до боли, умно выстроенной и — вопреки грустным сюжетам — полнящейся гармонией», — пишет **Андрей Немзер** («Русская литература в 2004 году» — «Время новостей», 2004, № 238, 29 декабря <<http://www.vremya.ru>>).

См. также: **Ольга Славникова**, «Деревенская проза ледникового периода» — «Новый мир», 1999, № 2.

Дмитрий Бирюков. Батый и права человека. Пятиминутка ненависти в контексте вечности. — «Русский Журнал», 2005, 19 января <<http://www.russ.ru/culture>>.

«Сам себя я по привычке называю западником, но и это определение некорректно. То, что мы ценим на Западе, то, что мы хотим перенести с Запада на родную почву, не есть порождение „западной” культуры. Права человека, толерантность, политкорректность, приоритет личности над государством — не исконные западные ценности. Традиционная культура Запада не менее дика и жестока, нежели „восточная”, азиатская. И конечно же, заслуга в их утверждении не может принадлежать католической церкви. Наоборот, ниспровержение старой традиционной культуры, просветительское движение, радикальный отказ от тяжелого груза прошлого дали западному человеку возможность чувствовать себя в комфорте и безопасности, находясь на территориях, где восторжествовали принципы либерализма. А старая Европа — это инквизиция, это пытки и казни, это полное бесправие личности, бессилие подданных перед властью светской и церковной. Достаточно пролистать первые страницы знаменитой работы Мишеля Фуко „Надзирать и наказывать”, увидеть натуралистические описания средневековых методов расправы с преступниками, чтобы представить себе то, что в действительности представляет собой Европа исконная, традиционная».

Большинство американцев недовольны голливудскими фильмами. — «Седмица. Православные новости за неделю», 2005, № 183, 12 января <<http://www.sedmica.orthodoxy.ru>>.

«Опрос, проведенный телекомпанией *CBS* и газетой „*New York Times*”, показал, что большинство американцев негативно оценивают влияние голливудских кинофильмов на общество. 62% жителей США считают, что продукция „фабрики грез” негативно влияет на состояние морали, семейные и религиозные ценности, существующие в американ-

ском обществе. Только 6% опрошенных, наоборот, уверены в позитивном влиянии голливудских лент на США. 29% респондентов заявили, что влияние кинофильмов на эти аспекты жизни минимально».

Владимир Бондаренко. Взбунтовавшийся пасынок русской культуры. — «День и ночь», Красноярск, 2004, № 9-10, ноябрь.

«Рассказывают такой случай: посмотрев фильм Вуди Аллена „Анни Холл” о неврастеничном еврее, раздираемом между манией величия и комплексом неполноценности, да к тому же без ума влюбленном в англосаксонку „голубых кровей”, Иосиф Бродский небрежно бросил: „Распространенная комбинация — *dirty jew* и белая женщина. Абсолютно мой случай...”»

«Шел 1967 год, и кому-то из организаторов октябрьских юбилейных торжеств пришлось в голову пригласить для праздничного оформления набережной из Москвы группу художников-кинетов во главе с Львом Нусбергом и Франциском Инфанте, ныне широко признанным авангардным художником. Рисунок его и сейчас украшает мое жилище. Жили они в Петропавловской крепости, и я перебрался из своего общежития студенческого почти на месяц к ним в каземат, писал по просьбе Льва Нусберга какие-то манифесты, лозунги... <...> Не знаю, помнит ли Евгений Борисович Рейн, но и он бывал в тех кинетических казематах, и именно с его рекомендацией я попал в коммуналку к Иосифу Бродскому с пачкой своих стихов. Что-то Бродский отмечал положительное в моих стихах, что-то предлагал упростить, но в конце концов разошелся, разозлился и как самый настоящий школьный учитель разложил по полочкам всю мою (да и не только мою) авангардистскую дрянь. <...> Он был уже законченным классицистом и антиавангардистом, если не консерватором. Он не раз выражал достаточно четко свое консервативное отношение к смыслу литературы <...>. Нечто подобное Иосиф Бродский говорил и мне. Что в авангарде шестидесятых годов он видит затхлость и нечто, уже пахнущее молюю, и нет смысла писать стихи, лишенные смысла. „В этом смысле я не в авангарде, а в арьергарде, как и Анна Андреевна Ахматова”. Кстати, в той нашей беседе его ссылки на Анну Андреевну были постоянными, да и упор на простоту стиха, понятность мысли шел как бы от нее. Все, сказанное им, я сразу же записал и даже напечатал тогда же в нашем рукописном журнальчике, который мы выпускали вместе с моими друзьями и который ныне хранится в моем архиве. И несколько раз повторялось по отношению к словесным экспериментам шестидесятых годов: „дрянь, дрянь, дрянь”. Не думаю, что с моим максималистским характером он сильно бы повлиял на мои попытки перевернуть мир искусства, но признаться, мне и самому надоело к тому времени эти звуковые головоломки и шарады из крестиков и ноликов, я и сам уже достаточно начитался к тому времени блестящих поэтов Серебряного века, продающихся во всех букинистических магазинах за сравнительно дешевую даже для студента цену, от ничевоков перешел к Николаю Гумилеву и Велимиру Хлебникову, и потому я с интересом внимал „столь мракобесному” разбору своих левацких стихов уже нашумевшего в Питере поэта, вернувшегося не так давно с моих родных поморских земель. Расспрашивал я его и о северных впечатлениях, ибо к страданиям его в ссылке относился несколько иронично, на тех же землях, где он якобы страдал целых восемнадцать месяцев, веками жили мои поморские предки, да и тогда, в шестидесятые, моих родичей немало было разбросано по архангельским деревням, десятки Галушиных и Латухиных. <...> И я был рад услышать самые восторженные слова и о природе севера, и о моих северных земляках, и о русской народной культуре. „Вот у них и учишь поэзии”, — сказал мне в завершение нашего разбора-разгрома этот далеко не самый народный поэт. С поэзией собственной я и на самом деле с тех пор решительно завязал. Кстати, примерно так же вслед за мной завязал со своим модернизмом и критик из „Нашего современника” Александр Казинцев, когда-то начинавший со стихов в кругу Сергея Гандлевского».

См. также: **Владимир Бондаренко**, «Взбунтовавшийся пасынок русской литературы» — «Литературная Россия», 2003, № 43, 44, 45, 46 <<http://www.litrossia.ru>>.

Владимир Бондаренко. Иди и воюй. — «Завтра», 2004, № 52 <<http://www.zavtra.ru>>.

«Каждая война дает России своих писателей. <...> Чеченская война родила своего прозаика спустя пять лет после его возвращения из солдатских окопов. Страшный роман „Патологии” Захара Прилепина. <...> Я бы его не задумываясь поставил в один ряд с ранней фронтовой прозой Юрия Бондарева и Василя Быкова, Константина Воробьева и Виктора Астафьева».

См. также: **Захар Прилепин**, «Какой случится день недели» (маленькая повесть) — «Дружба народов», 2004, № 12 <<http://magazines.russ.ru/druzhba>>.

См. также рассказы **Захара Прилепина** и статью **Валерии Пустовой** о молодой военной прозе в следующем номере «Нового мира».

Владимир Винников. «Валерьяныч». — «Завтра», 2005, № 1, 5 января <<http://www.zavtra.ru>>.

«<...> серьезнейшие внутренние причины, которые Кожин освятил в том же интервью „Русскому перелету“: „ (До встречи с Бахтиным. — В. В.) Я общался почти исключительно с евреями. Потому что русских не было (!), они исчезли (!), то есть русские высокоинтеллекта и высокой культуры, их почти не было... Когда через год я снова приехал к Бахтину, — я ему не стал об этом писать, — чуть ли не первое, о чем я его спросил: ‘Михаил Михайлович, я не могу понять, как вы порекомендовали Розанова, а ведь он такой страшный антисемит’. На что Бахтин мне ответил: ‘Что ж поделаешь, но примерно так же думали и писали, правда, чуть меньше, чем Розанов, почти все великие писатели и мыслители России, начиная с Пушкина, Лермонтова, Гоголя или Киреева (? — А. В.), Аксакова и прочая’. <...> Это для меня было колоссальным переломом. В то время не было человека в мире вообще, который мог бы меня вот так вот изменить. Мне до этого представлялось, что сказать что-нибудь критическое о евреях значило проявить себя как человека неинтеллигентного. <...>»

«<...> внимание Кожина к тому или иному поэту в самих „почвеннических“ литературных кругах 60-х — 70-х годов воспринималось как некая „черная метка“».

Дмитрий Володихин. Лицо Москвы. — «Спецназ России», 2004, № 12, декабрь <<http://www.specnaz.ru>>.

«Москва — женщина, Вологда — женщина, Нижний и Ярославль — мужчины».

«Так вот, в девяносто первом она [Москва] умерла. Осталось на громадном ее кладбище много силы, много власти, много денег, много памяти о прошлых триумфах. Но душа московская истончилась, размылась. <...> Должна была прийти другая женщина, другое лицо, другой образ; их ждали, но сани с юной царицей все никак не показывались на заснеженной дороге. Зато самозванок явилось много».

«Монастыри — вроде огромных якорей, удерживающих пеструю, беснующуюся Москву в нашей реальности».

Андрей Волос. Аниматор. Роман. — «Октябрь», 2004, № 12; 2005, № 1 <<http://magazines.russ.ru/October>>.

«Да, — отвечал я, смеиваясь. — Ты права: если бы я был врачом, если бы я был реаниматором, а не аниматором, если бы речь шла о продлении человеческой жизни или действительном воскрешении людей, тогда я не спал бы ночей, а все только возжигал огни в колбах Крафта. Но, увы, это пламя — всего лишь форма удовлетворения тщеславия: клиент желает, чтобы его колба пламенела ярче, чем соседская; аниматор же (конечно, у него есть и другие мотивы деятельности, но это один из главных) хочет доказать, что владеет своим делом лучше других... Поэтому в шесть часов я выключу установку, захлопну дверь анимабокса, покину Анимационный центр, мы встретимся на обычном месте и отправимся ужинать в „Альпину“».

Федор Гиренок. Сочинения Бунина как иконостас русской жизни. — «Спецназ России», 2004, № 12, декабрь.

«Бунин — консерватор, то есть человек, который не дает хаосу прорваться наружу и затопить все сущее. Он высок, сух, желчен. Мне кажется, он никогда не был молодым, ибо быть молодым — значит быть революционером».

«Философия универсальна. Литература региональна. И универсальность ума нельзя соединить с региональностью чувства. Символом литературы без философии стал Бунин. Символом литературы без литературности стал Розанов. И оба они из Ельца, из золотого треугольника центральной России. Плотность языка Бунина делала его пригодным для выражения эмоций и чувств. Но на этом языке нельзя было мыслить. Он не был пористым, пустым. Розанов превратил чувство в орган умозрения, создавая прецедент для клипового мышления. Между Буниным и Розановым расположился Андрей Платонов, поселивший в языке эмоций и чувств пустоту газетных штампов и казенных слов. Пустые слова разговорили немолчаливый язык чувств, освободили энергетику языка вещей; заставили универсальное работать на региональное. В чувственном взгляде Бунина родилась и набоковская „Лолита“. Предметом эксперимента стал пол. В воображении Розанова родились обэриуты и Хлебников. Предметом их эксперимента стал язык, слово. Раскалывая слово, они хотели получить что-то первобытное, региональное. Философом пустых слов, то есть чистой литературностью, был Мережковский, от него произошли Венедиктов и Пелевин с Сорокиным. В XX веке писатели доопределились, то есть отделились от философии. И литература перестала хранить в себе русское сознание. Она стала пустой игрой ума».

«Бунин — продукт домашнего образования. У него не было не только университетского, но и гимназического образования».

«Бунин наблюдает Маяковского и Горького — главных русских интеллигентов. Маяковский — похабен, у него корытообразный рот, на него смотрят, как на лошадь, которая попала в банкетный зал. Маяковский — плебей. Он ест из чужих тарелок. Горький — тоже плебей. Он все это видит и хохочет. Бунин — барин. Он смотрит на них, как на тараканов. Бунин, безусловно, тяжелый человек. Но он не был интеллигентом».

Иеромонах Григорий (В. М. Лурье). Культурная контрреволюция. — «Русский Журнал», 2004, 30 декабря <<http://www.russ.ru/culture>>.

«Главный культурный итог 2004 года — обвальное поражение русской культуры. Не один 2004 год в нем виноват, но именно этот год закончился для русской культуры обвалом и ритуальным поношением — в Киеве на майдане».

«Может быть, в нашей „взрослой“ культуре уже и на самом деле не осталось ничего хорошего. (Если все-таки осталось, так тем лучше. Дай ей Бог здоровья.) Но повторим (тем более, что вслед за Достоевским), что настоящая культура — это та, которая нацелена на 17-летних. И здесь нам по-прежнему есть что сказать. Мы пришли к удивительному периоду, когда прежние рокеры 80-х слегка постарели и — дерзну сказать о своем собственном поколении — чуть ли даже не поумнели. У многих из них остался подростковый экстремизм, но появились жизненный опыт и глубина. Похоже, сейчас это производит совершенно новое воздействие на молодежь, и это такой недавний процесс, что я просто не решаюсь еще подводить его итоги. <...> „Старики“, похоже, доказывают, что они стали настоящим жестким стержнем молодежной культуры, на котором сможет держаться новая культурная традиция. И это такая традиция, от общности с которой никуда не деться не только украинской или белорусской молодежи, но даже русскоязычной молодежи далекой, но давно уже культурно близкой нам Израильщины...»

«<...> сейчас чуть-чуть расскажу о самом главном, наверное, культурном достижении года — альбоме „Гражданской Обороны“ „Долгая счастливая жизнь“, где все темы (даже музыкальные) их молодости рассказаны с опытом если не старости, то зрелости. Может быть, „взрослым“ в этом альбоме не все будет „понятно“, но вспомним: книги (и рок-альбомы) пишутся не для „взрослых“. Этот альбом — тот самый информационный код, при общении на котором никакие информационные шумы не будут способны повредить нашей коммуникации с нашей молодежью».

Владимир Губайловский. Голос из хора. — «Дружба народов», 2004, № 12 <<http://magazines.russ.ru/druzha>>.

«Не случайно все поэтические революции в русской поэзии начинались с чтения и попытки перевода или имитации иноязычной лиры».

Михаил Давидов. Тайна смерти Гоголя. Еще одна версия. — «Урал», Екатеринбург, 2005, № 1.

«30-летнее изучение исторических и документальных материалов, связанных с жизнью Гоголя, длительные и нелегкие размышления о его заболевании позволили мне сформулировать мнение, перешедшее затем в стойкое убеждение, что Николай Васильевич Гоголь страдал маниакально-депрессивным психозом. Но чтобы дорогой читатель понял, что собой представляла душевная болезнь Н. В. Гоголя, совершенно необходимо познакомиться с некоторыми азами психиатрии...» Автор — доцент Пермской медакадемии.

Александр Дворкин. «Камо грядеши» Генрика Сенкевича: хроника раннего христианства или «мыльная опера»? — «Фома». Православный журнал. 2004, № 6 (23) <<http://www.fomacenter.ru>>.

«„Камо грядеши“ нобелевского лауреата, почетного академика Санкт-Петербургской АН Генрика Сенкевича — без сомнения, самый известный и читаемый польский роман в мире. <...> Для большинства людей этот роман (или его киноверсии) — единственный источник сведений о раннем христианстве». Далее — впечатляющий список ошибок, неточностей и искажений в романе.

Гейдар Джемаль. «Курбан-байрам в России должен стать выходным днем». Беседа вел Михаил Поздняев. — «Новые Известия», 2005, 20 января.

«<...> ислам — единственное из всех монотеистических учений, в котором социальный фактор поднят на уровень религиозной добродетели. Ислам в принципе — идеология антиолигархическая, антилибералистская, антимоноетаристская, направленная против, мягко говоря, безответственного отношения к бедноте, которая сбрасывается с корабля, чтобы элита могла быстрее плыть дальше. Здесь корни исламофобии».

Долго и счастливо. Беседу вела Татьяна Бек. — «НГ Ex libris», 2005, № 1, 13 января.

Говорит **Александр Кабаков:** «У меня три года чудовищных испытаний! Совсем бросил пить. При том, что я очень редко меняю работу, — дважды за полтора года сменил работу. Сменил место жительства — переехал из Москвы в подмосковную деревню».

И много чего еще... <...> Жуткая активизация писания. За два с половиной года я написал большой роман, который очень неплохо встречен и читателями, и даже критикой, и книгу рассказов, которую на днях закончил и отдал... <...> Я не считаю свой последний роман „Все поправимо” намного лучше предыдущих, но он... Он имеет успех. Я на трезвую голову стал писать так, что сделался более понятным другим людям. Мое прежнее — это была умелая литература, но в любом случае это была запись алкогольного бреда. <...> Бывает так: два человека говорят между собой, и один из них, в силу того, что он быстро думает, проскакивает некие логические звенья. Проскакивает — и становится непонятен. Так и я: пока пил, постоянно в своих сочинениях многое проглатывал. Для меня что-то ощутимо с полуслова, а для моего читателя — нет. Вот мы с ним и расходились. А на трезвую голову мы с ним взяли и сошлись».

«Первые западники при советской власти были стилиги. Это была настоящая пятая колонна. Причем не осознававшая себя полностью, а на почти физиологическом уровне. На физиологическом уровне отвращения даже не к системе, а к сущности этой жизни...»

«По советскому времени не скучаю ни одной секунды. Как ненавидел советскую власть, так и сейчас ненавижу. Ничего ей не простил. Ничего. А по времени скучаю — эстетически. И не по советскому времени, а по мировому времени середины XX века. По классике XX столетия... Да-да, XX век имел свое классическое время. Оно было очень страшное на самом деле, причем во всем мире. Но эстетически это была классика. От середины 30-х до середины 50-х».

Валерий Дымшиц. Забытый обзорит. — «Народ Книги в мире книг». Еврейское книжное обозрение. Санкт-Петербург, 2004, № 53, октябрь.

К 100-летию со дня рождения прозаика и киносценариста Дойвбера (Бориса Михайловича) Левина (1904 — 1941). «Имя Бобы (как его называли друзья) постоянно упоминается в дневниках Хармса. <...> Его именем, наряду с именем Хармса, подписан целый ряд манифестов движения. <...> Левин участвовал во всех совместных выступлениях обзоритов и с чтением своих произведений, и как режиссер театральных постановок».

Иван Жданов о герметизме и жгучей проблеме свободы. Беседовал Игорь Кручик. — «Литературный бульвар». Экспериментальная альманах-газета. Казань, 2004, № 4-5 (5-6).

Говорит **Иван Жданов:** «Количество зла, его число будто бы неизменно, не уменьшается».

«Время для „огромных”, „столбовых” — так называемых — стилей сейчас неподходящее. Им обосноваться не на чем».

«Есть вещи, легко становящиеся символами. А есть такие — как это?.. — слишком современные. Они тяжело поддаются знаковости. Одно дело сказать „меч” — и другое, допустим, „АКМ”. Автомат Калашникова тоже, конечно, может стать символом, но не столь глубоким. Он будет касаться только определенного времени. А извечные символы тоже подверглись какой-то пертурбации. Сейчас же немислима только с их помощью достаточная коммуникация».

«Всегда было большой задачей художника — найти новую выразительность в том, что связано с частной жизнью человека. У Ван Гога есть один такой натюрморт — башмаки. Они настолько символаобразующие!»

«Пафос, на мой взгляд, такая же неистребимая вещь, как частная жизнь. Человек всегда — между жизнью и смертью, между свадьбой и крестинами. И любой рассказ об основных поворотах судьбы, любая фотография этого момента — и, естественно, стихотворение! — будут пафосны».

Виталий Иванов. Антиреволюционер. — «Русский Журнал», 2005, 14 января <<http://www.russ.ru/culture>>.

«Что до „революции” [в РФ], то идея эта столь же продуктивная, как уборка замусоренного помещения посредством пожара».

«Олигархат делом занят. Им не нужны ни великие потрясения, ни великая Россия. Путин — гарант того, что не будет ни того, ни другого».

«<...> наша проблема не в Путине, и не в „чекристах”, и не в прочих олигархах персонально, а в самом олигархическом режиме, даже олигархическом способе мышления, давно распространившемся на значительную часть общества».

Автор — заместитель редактора отдела политики/экономики газеты «Ведомости».

Олег Иванов. Архипелаг ГУЛаг. Путь к освобождению. — «Посев», 2004, № 12 <<http://posev.ru>>.

«Реальный грех современного россиянина состоит как раз в отказе от осмысления настоящего, в желании продлить навеянный большевизмом чародейством сон разума. Покаяться для нас сегодня и означает проснуться, стряхнуть с себя эти чары». К 30-летию выхода в свет «Архипелага...».

Здесь же: **Е. А. Евдокимова**, «Русский человек в советском лагере. По произведениям А. И. Солженицына „Архипелаг ГУЛаг” и „Один день Ивана Денисовича”».

Владимир Карпец. «Право-левый проект» и его двойник. — «АПН». Проект Института национальной стратегии. 2005, январь [без даты] <<http://www.apn.ru>>.

«<...> сегодня очевидным образом началась совершенно новая эпоха русской истории — эпоха впервые *открытой*, а не тайной власти спецслужб, к которой они шли в течение нескольких столетий <...>».

Игорь Викторович Касаткин. Женить Башмачкина. — «Топос», 2004, 5 января <<http://www.topos.ru>>.

«Переписать „Шинель”. Благородная задача. Это бы надо было сделать давно. <...> Неудачный выбор Гоголя, остановившегося именно на таком вот летальном исходе всего анекдота, имел катастрофические последствия для русской культуры».

Роджер Кимбалл. Сьюзен Зонтаг: попытка предсказания. Перевод Иосифа Фридмана. — «Русский Журнал», 2004, 30 декабря <<http://www.russ.ru/perevod>>.

«Когда приятель сообщил мне сегодня утром по телефону новость о том, что Сьюзен Зонтаг умерла в возрасте 71 года, моей первой мыслью было: „Завтра в *‘The New York Times’* на первой полосе будет напечатан огромный некролог, в котором писательница будет причислена к лику леворадикальных святых”. Желаящие могут проверить, оказался ли я прав. <...> Не вызывает сомнений тот факт, что Сьюзен Зонтаг, законодательница радикальной моды (если воспользоваться метким выражением Тома Вулфа), пользовалась большой известностью на протяжении 1960-х и 1970-х годов. Соответственно в эти (а отчасти и в последующие) годы она оказывала немалое влияние на общественную жизнь. Весь вопрос в том, каким было это влияние — благотворным или пагубным?»

Надежда Кожевникова. Трагедия возвращения. — «Лебедь», Бостон, 2005, № 409, 16 января <<http://www.lebed.com>>.

В связи с выходом дневников Георгия Эфрона, сына Марины Цветаевой (М., «Вагриус»). Среди прочего: «Я, например, от Бродского же, из его доклада на конференции, организованной в 1992 году к столетию Цветаевой в городе Амхерст, штат Массачусетс, узнала о казусе, произошедшем со стихотворным циклом Пастернака „Магдалина”, не включаемом, как и другие его произведения с библейской, христианской тематикой, в прижизненные издания. Отрывок оттуда — многие, видимо, как и я, думали, что оттуда именно, — Ольга Ивинская вынесла на заднюю сторону обложки своих запрещенных в СССР мемуаров „В плену времени”, издательство „Fayard”, 1972 год.

О путях твоих пытаться не буду:
Милая, ведь все сбылось,
Я был бос, а ты меня обула
Ливнями волос и слез...

Со сноской: „Неопубликованный вариант стихотворения ‘Магдалина’ Бориса Пастернака”. Ивинская, как выяснилось, оскандалилась. Прочитанное принадлежит перу не Пастернака, а Цветаевой, из ее цикла с тем же названием, „Магдалина”, но написанном в 1923 году, на двадцать шесть лет раньше „Магдалины” Пастернака. Поразительно, насколько оба цикла совпали, слились, будто спетые одним голосом, хотя мелодию, интонацию Пастернак подхватил у Цветаевой, а не наоборот. При его-то в каждом слове, каждом звуке оригинальности — впервые заимствование от другого, причем не родственного ни по стилю, ни по духу поэта.

У людей пред праздником уборка.
В стороне от этой толчеи
Обмываю миром из ведерка
Я стопы пречистые твои...

Не правда ли, как продолжение „О путях твоих пытаться не буду...”. Спустя двадцать с лишком лет, через разлуку, через смерть, через гибель Марины Ивановны вступает Борис Леонидович с ней в переключку».

См. также: **Надежда Кожевникова**, «Трагедия возвращения» — «Русский Базар/ *Russian Bazaar*», Нью-Йорк, 2005, № 3, 13 — 19 января <<http://www.russian-bazaar.com>>.

См. также три статьи о Марине Цветаевой в мартовском номере «Нового мира» за этот год.

Владимир Крылов. Черная метка Казимира Малевича. — «Подъем», Воронеж, 2004, № 11, 12 <<http://www.pereplet.ru/podiem>>.

«Малевич первым вставил нарисованный квадрат в раму и выставил свое творение в экспозиции произведений изобразительного искусства. Это факт. Но сокровенный

смысл такого события заключается в том, что оно не имеет никакого отношения собственно к изобразительному искусству и считать Казимира Малевича великим художником никак невозможно. Малевич, совершенно очевидно, является великим новатором, который сделал открытие, принципиально важное для технологической цивилизации XX века. Важнейший и, возможно, единственный результат творчества Казимира Малевича состоит в создании максимально простого изображения, которое несет в себе очень важную информацию, и такая информация прочитывается мгновенно».

См. также: **Владимир Крылов**, «Заметки о духовном развитии России и Запада в XX веке» — «Наш современник», 2003, № 3 <<http://nash-sovremennik.info>>.

Константин Крылов. На плаву. — «Русский Журнал», 2004, 30 декабря <<http://www.russ.ru/culture>>.

«<...> сама способность ко внешнеполитической деятельности является одним из признаков полноценного суверенитета. *В полной мере обладает суверенитетом только тот, кто способен нарушить чужой суверенитет.* <...> российская власть впервые за многие годы пытается продемонстрировать нечто вроде внешнеполитической деятельности, причем в публичном формате. Убить своего врага, спрятавшегося в чужом и враждебном царстве, и попытаться помочь другу (ну, или тому, кого мы почему-либо считаем другом) сесть на престол в другом царстве — это древние, почтенные, архетипические образы „внешней активности“. То, что первое удалось скверно, а второе не вышло вовсе, не отменяет того факта, что попытка была все-таки сделана. Можно критиковать — и справедливо — топорность и криворукость исполнения, можно смеяться (или плакать) по поводу результатов, но сама попытка вполне заслуживает одобрения. Главное, чтобы она не оказалась последней: после таких ударов можно и не встать. С другой стороны, нужно понимать принципиальную невозможность для этого президента и этого режима (опять же, вне зависимости от отношения к нему) сделать что-либо действительно серьезное, „разламывающее землю“. Потому что единственным источником *тектонической* энергии является народ, ставший нацией. Поскольку же угнетение русских как нации, удержание русских в недонациональном состоянии составляет суть политики „после 1991 года“ (и до — тоже, хотя это делалось иначе), постольку Путин, будучи сам плоть от плоти этой системы, никогда не осмелится нажать на красную кнопку, запустить реактор русского национального строительства. Горизонт текущих политических возможностей жестко очерчен абсолютным запретом на какое бы то ни было использование энергий реального, несимулятивного русского национализма. Вопрос лишь в том, как Путин и его команда используют те немногие возможности, которые находятся внутри круга дозволенного».

Павел Крючков. Корнеева радость. Заметки экскурсовода. — «Фома», 2004, № 6 (23).

«Писатель Корней Чуковский, его литературное наследие, его дом — „жизненно необходимая“ часть моей собственной судьбы. Я знаю о нем и то, чем мне всегда хотелось бы поделиться, и то, о чем мне не хотелось бы рассказывать».

«Я не знаю, приходило ли к Чуковскому в зрелые годы подобное религиозное чувство, оказывался ли он в том самом, по слову Феофана Затворника, „блаженном плене души“... Но, глядя отсюда на его трудолюбиво-мучительную жизнь, в которой он пережил войны, предательства, неврозы, отчаяние, потерял троих детей, не раз оказывался и сам на краю гибели, из запрещенной критики ушел в нишу сказочника, — оставляю себе лишь слабую надежду на то, что хоть изредка он сожалеет о своем *неприходе*. Обращение — всегда тайна, что, наверное, не отменяет попытки понять, почему этого не случилось и, боюсь, не могло случиться с писателем, который почти всеми своими книгами призывал к добру, учил пониманию красоты слова и бережному отношению к душе ребенка».

Тут же впервые воспроизведен автограф письма О. Э. Мандельштама к Чуковскому (около 17 апреля 1937 года): «Я поставлен в положение собаки, пса... Я — тень. Меня нет. У меня есть одно только право — умереть».

См. также: **Павел Крючков**, «А было все непросто... Уроки Владимира Корнилова» — «НГ Ex libris», 2005, № 1, 13 января <<http://exlibris.ng.ru>>.

Александр Кушнер. Горю, бледнею, обмираю... — «Литературная газета», 2005, № 1, 19 — 25 января <<http://www.lgz.ru>>.

Представляешь, каким бы поэтом —
Достоевский мог быть? Повезло
Нам — и думать боюсь я об этом,
Как во все бы пределы мело!

До свидания, книжная полка,
 Ни лесов, ни полей, ни лугов,
 От России осталась бы только
 Эта страшная книга стихов!

См. также: **Александр Кушнер**, «Лишь бы все оставалось» — «Арион», 2004, № 4 <<http://www.arion.ru>>.

См. также: **Александр Кушнер**, «Препинание — честь соловья» — «Новый мир», 2005, № 1.

Наталья Ланглейбен. Образ чекиста. Советские средства массовой информации 1930-х гг. — «Посев», 2004, № 12.

«В 1930-х было 5 мощнейших всплесков внимания к сотрудникам госбезопасности: 2 юбилея создания ВЧК (декабрь 1932, декабрь 1937 гг.) и 3 политических процесса: Зиновьева — Каменева (август 1936), Пятакова — Радека (январь 1937), Бухарина — Рыкова (март 1938). В остальные же дни образ наркомвнудельца предается тотальному массовому забвению, уступая место стахановцам и мировому фашизму».

Лев Либов. Сталин, Троцкий и я. Эссе-реквием. — «Урал», Екатеринбург, 2004, № 10; 2005, № 1.

«Уже в сентябре прошло большое комсомольское собрание, на котором исключили меня и Левку Генкина из комсомола. Меня — за связь с „врагом народа“, а Левку — за связь со мною...»

См. также: **Лев Либов**, «Плачь, сердце, плачь!» — «Урал», Екатеринбург, 2002, № 10, 12 <<http://magazines.russ.ru/ural>>.

Дмитрий Липскеров. «Русская литература Западу не интересна». Беседу вела Оксана Семенова. — «Новые Известия», 2005, 12 января <<http://www.newizv.ru>>.

«Если не клюет на рыбалке полчаса, это не значит, что рыба кончилась в речке. Просто не клюет. Сегодня как раз те полчаса, когда в литературе, к сожалению, небольшой провис. Ничего в этом страшного нет. Можно, конечно, рассусоливать, что писатель сегодня перестал быть больше чем поэтом. Что у него нет на сегодняшний день миссии. Раньше если писатель брался за перо, то он хотел перевернуть мир. Сейчас если автор садится за тем же самым, то это неправильно. Во всяком случае, это не для меня. Я мир не переворачиваю, и если переворачиваю, то только свой. <...> На сегодняшний день к русской литературе на Западе никто не имеет интереса. Наша переводная литература издается там тиражами две тысячи экземпляров. Книги не продают в магазинах, их распространяют по библиотекам. Соответственно ни материальной радости, ни читательской отдачи никакой нет. Рынок русской литературы — это сто пятьдесят миллионов человек в России, еще двести миллионов на территории СНГ. Это самый большой читательский рынок в мире. Чего мне еще желать?»

Сергей Малашенок. Из суверенных моментов чтения. Русская литература и политика. — «Топос», 2005, 13 января <<http://www.topos.ru>>.

«Тургенев, несомненно, несет свою немалую долю ответственности за то, что неизбежное случилось так скоро и политика <...> поселилась в сердцах и мозгах тех, кого оберегать от политики надо бы было с наибольшим прилежанием, то есть молодых людей. Потому что, как ни прав вообще Черчилль насчет того, что, мол, тот, кто в юности не был либералом, у того нет сердца, а кто в зрелости не был консерватором, у того нет ума, но. Но в России эта максима недействительна, так как в продолжение весьма длительных интервалов исторического времени те, кто был в России в юности либералом, до консервативной старости попросту не доживал, за что, конечно, несут ответственность не только политические педофилы, но и наши престарелые духом консерваторы».

«Русские люди не созданы для политики. <...> Геополитика, конечно, так же мучает и портит русского человека, как политика всякая другая, то есть аналогично водке, как и было сказано выше, но. Но с ней нам приходится мириться, жить, всегда помнить о ней, деваться некуда, потому что геополитика — политкорректное название войны, холодной или горячей. Уже только подготовка к войне — почти война! А русскому народу к войнам *надо* готовиться — так говорит нам исторический опыт. <...> В истории России было столько войн, что геополитика стала частью нашей национальной культуры, и, возможно, именно поэтому торговцы уцененными универсальными ценностями прямо запрещают нам даже произносить это слово — геополитика».

«Мне кажется, более всех русских поэтов от пьяной чаши геополитических наслаждений отпил Лермонтов. Начав с „Бородина“, он пришел в „Валерику“, к реке смерти по-чеченски. При Валерике все используемое войной идеальное и политическое, то есть польза войны, а также свобода, доблесть и гордость обеих сторон противостоят ясному небу, общему для всех, от которого и произошло, вероятно, и частное небо героя „Войны и мира“. Лермонтов в „Валерике“ не ставит под сомнение справедливость кровавого патрио-

тизма русских или чеченцев. Он просто фиксирует момент абсурда внутри своей собственной судьбы».

Игорь Манцов. В песочнице. — «Русский Журнал», 2004, 28 декабря <<http://www.russ.ru/columns/street>>.

«Частное мнение раздражает, с точки зрения корпоративной этики частный человек обязательно ошибается. Но самое страшное — он демонстративно презирает всякое социальное проектирование. Он планирует себя в границах пяти ближайших минут и уже к шестой минуте относится с недоверием, почитая ее за необязательную роскошь, за вульгарный фугуризм. Подлинная демократия — не рынок, не частная собственность, не либеральные заклинания. Демократия — это когда говорят: „Вот Манцов, он всегда ошибается, он кругом не прав, и поэтому мы хотим знать его мнение. А общеупотребимую истину, эту безотказную девочку по вызову, эту политкорректную соплю, — станем промокать гигиенической салфеткой“. Короче, как учит опыт Бриджит Джонс, излишний (социальный) вес провоцирует плохую ситуацию в голове».

Игорь Манцов. Категория «скорость» и концепт «водка». — «Русский Журнал», 2005, 11 января <<http://www.russ.ru/columns/street>>.

«Если не пугаю, молодые национал-большевики пострадали недавно именно за акцию против отмены льгот. Считается хорошим тоном порыв молодых национал-большевиков нахваливать: за явленные миру чистогана бескорыстие и альтруизм. Я же, напротив, вижу глупость и вопиющую политическую незрелость, если не лицемерие. Почему юноши и девушки, всерьез полагающие себя авангардом социальной борьбы, борются за чужие льготы? По мне, отмена льгот — единственная праведная акция правительства за 13 лет существования новой России. Хорошо бы равнодушная молодежь боролась за радикальное поощрение кормящих матерей и многодетных отцов. Или даже за легализацию проституции и сопутствующее развитие культуры сексуальных отношений. Пафос подобной борьбы понятен. Шкурный интерес молодых радикалов гарантировал бы конкретные социально-психологические сдвиги. А здесь? Неужели не ясно, что „старшие“, составляющие подавляющее большинство льготников, не друзья молодым, и это еще очень мягко сказано. Пускай эти старшие, давным-давно спроектировавшие будущее моей страны по образцу потребительского гетто, сердцем проголосовавшие за поколенческий шовинизм, согласившиеся на конец истории и тем самым предавшие собственных детей, борются за свои неотчуждаемые интересы сами. Не нужно быть всемирно отзывчивыми, нужно быть всего-навсего честными. Достаточно спасти маму с папой, бабушку с дедушкой, может, родную бездетную тетю, в крайнем случае любимую учительницу (мне с такойой не повезло, зато теперь одной проблемой меньше). А за абстрактно понятых „льготников“ переживать бессмысленно. Неприлично».

«Лимоновцы, куда приличнее бороться за трезвость, а не за льготы! Пьяных отлавливать и не жестоко, но нравоучительно бить прямо на улицах. Чтобы не поддавались на провокации, раньше времени не умирали. Начиная с нынешнего Праздника русский пьяница — не блаженный, не юродивый, как прежде, но агент глобализации, протеже неолиберализма. Отныне ему не прощается ничего. Пьянство приравнивается к измене Родине».

Александр Мелихов. Конфликт грез. Теория и практика сталинского антисемитизма. От «бундовской сволочи» до Еврейского антифашистского комитета. — «Новое время», 2005, № 1-2, 9 января <<http://www.newtimes.ru>>.

«Думаю, что и Сталин был идеалистом. Не в расхожем смысле — наивным, бескорыстным человеком, а в точном смысле слова: он жил грезой. Грезой о мире, в котором правит сила, воля и материальный интерес <...> грезой о мире, в котором грезы ничего не значат».

См. также: **Александр Мелихов**, «Прощание с темой» — «Дружба народов», 2005, № 1 <<http://magazines.russ.ru/druzhba>>; о ленинградской блокаде.

Александр Мильштейн. Кино и немцы. — «Топос», 2004, 31 декабря <<http://www.topos.ru>>.

Среди прочего — в этом большом тексте читаем: «„Вы что же, верите в ‘Протоколы сионских мудрецов’? — спросила Шмулевича ведущая программы ‘Сейчас в Израиле’, в которой появился похожий на Распутина человек в красной рубашке, — я правильно вас поняла?“ Она сказала это с ласковой интонацией — с какой говорят с душевнобольными. „Ну нет, — сказал Шмулевич, — я не верю. Но если гои в это верят, то почему бы это не использовать?“»

См. также сетевой дневник Аврома Шмулевича: <<http://www.livejournal.com/users/avrom>>.

Некоторые любят погорячее... — «АПН». Проект Института национальной стратегии. 2004, 31 декабря <<http://www.apn.ru>>.

Говорит **Илья Бражников**, главный редактор сайта «Правая.ру»: «Мое глобальное политическое желание не совсем политическое: я хочу, чтобы на земле (и в России в частности) кончилось Царство Абсурда и настало Царство Истины. Причем мне безразлично, какую оно будет иметь видимую форму — авторитарного режима, тоталитарной диктатуры или самодержавной монархии. Лучше, конечно, последнее, однако боюсь, что мы, цареубийцы и растлители всего святого, недостойны даже низшей формы теократии. Это — мое постоянное и неослабевающее ЖЕЛАНИЕ, поэтому, если это случится „вдруг“ в 2005 году, — тем лучше. Если же Царство Истины в 2005 году нам не светит, то я желаю всего того, что бы привело к нему постепенно:

1) в 1999 г. Путин обещал, что в 2005 г. у нас будет с Белоруссией одно государство. Где это государство? Я хочу, чтобы он выполнил это обещание;

2) пусть в 2005 г. власть Путина станет ничем не ограниченной, кроме его совести и Православной Церкви;

3) пусть, если он боится такой власти и не может даже выиграть украинские выборы, уступит в 2005 г. Лукашенко;

4) пусть в 2005 г. закончится эра прагматизма в политике;

5) пусть континент Северная Америка в 2005 г. опустится на дно Атлантического океана (либо, как вариант, всю его поверхность накроет цунами);

6) пусть, вместо половинчатых реформ календаря, с 2005 г. Россия перейдет наконец на свой нормальный освященный юлианский календарь и в наши дома вернутся Святочная и Пасхальная недели; не только Казанская, но и Крещение и Преображение Господне, а также Успение Пресвятой Богородицы должны в 2005 г. стать государственными праздниками;

7) губернаторская реформа должна логически завершиться максимальным укрупнением регионов и упразднением республик и автономий. Объединенные Россия и Белая Русь в 2005 г. должны стать унитарным государством;

8) государственная зарплата учителей, врачей, технической интеллигенции должна в 2005 г. быть сопоставима с зарплатой чиновника из Администрации Президента.

Да сгинет мгла. Да будет свет!»

См. также: <<http://pravaya.ru>>.

Андрей Немзер. Русская литература в 2004 году. — «Время новостей», 2004, № 238, 29 декабря <<http://www.vremya.ru>>.

«Никогда еще не принимался я за годовой обзор с таким тяжелым сердцем. И не потому, что в уходящем году словесность выглядела много хуже, чем, скажем, десять лет назад, когда я впервые обнародовал свой „взгляд на русскую литературу“ (понятное дело — 1994 года; то-то смеху над лже-Белинским было). Нет, год как год...»

Михаил Немцев. Казус Гараджи. Зеркало новой русской философии. — «Русский Журнал», 2005, 17 января <<http://www.russ.ru/culture>>.

Среди прочего: «Без всякого участия радикальных философов и культурных критиков Россия стала одной из немногих, а может быть, и единственной страной победившей сексуальной революции. Так можно говорить именно потому, что здесь как нигде бессмысленны призывы к сексуальной революции».

Юрий Нерсесов. Европейский арсенал Гитлера. — «Спецназ России», 2004, № 12, декабрь.

«На каждые семь танков и самоходок, выпущенных германскими и австрийскими предприятиями, приходится как минимум одно чешское изделие, не считая выпущенных по лицензиям танков германской конструкции! Для маленькой страны доля весьма внушительная — и, кстати, превосходящая процент британских и американских машин в советском танковом парке. А ведь Прага и Пльзень снабжали войска объединенной Европы не только бронетехникой. В годы войны здесь произвели свыше двух тысяч орудий и минометов разных калибров, около 700 тысяч винтовок, пистолетов и пулеметов, более 20 тысяч легковых и грузовых автомобилей, а также важные детали ракет ФАУ».

Общественное мнение и права человека. — «Мемориал», 2004, № 28, декабрь <<http://www.bulletin.memo.ru>>.

«Начиная с эпохи перестройки Общество „Мемориал“ многие годы было серьезной политической и общественной силой, влияющей на умонастроения российских граждан и в какой-то степени даже на политику России. С течением времени наша организация во многом потеряла возможность реального воздействия на общественное мнение...»

Информационный бюллетень распространяется бесплатно в 89 российских регионах, а также на территории Австралии, Белоруссии, Германии, Грузии, Латвии, Казахста-

на, Нидерландов, Польши, США, Украины и Франции; выходит при поддержке Агентства по международному развитию (США), Фонда Форда (США). Тираж 3000 экз.

Владимир Огнев. «Попутное» через тридцать лет. О жанре воспоминаний. — «Дружба народов», 2004, № 12.

«Неблагодарное и неблагодарное это дело — полемика с покойником. Неблагодарное потому, что он тебе не может ответить. А неблагодарное потому, что последнее слово все равно останется за ним, ведь оно именно последнее его слово. Вот и я не стал бы тревожить память В. Лакшина, чьи дневники не первый год публикует его вдова С. Лакшина, кабы не ее собственный комментарий под рубрикой „Попутное“...»

«И еще вопрос: а хотел ли сам В. Лакшин, чтобы его сугубо ЛИЧНЫЕ записи увидели свет? Так вот, без правки, проверки фактов, критериев элементарной этики? Или, как сказал один из „друзей“ В. Лакшина (друзей без кавычек): „Володя всегда думал об истории“, то есть и писал дневники для печатного станка? Если верно первое предположение — это просчет вдовы, публикатора. Если второе — самого В. Лакшина. Столь неприглядны „портреты“ команды — сначала А. Дементьева, потом уже и Ю. Буртина, А. Берзер, К. Озеровой, И. Борисовой, Е. Дороша, А. Марьямова и др. в дневниках В. Лакшина, столь высокомерна его позиция по отношению к тем, кто рядом с ним делал общее дело.»

См. дневники **Владимира Лакшина** — «Дружба народов», 2004, № 9, 10, 11 <<http://magazines.russ.ru/druzhba>>.

Василина Орлова. Окна. — «Литературная Россия», 2004, № 51, 17 декабря <<http://www.litrossia.ru>>.

Короткая проза. «Почему Алена Комкова поняла, что риэлтор Иванов умалишенный? На каких основаниях? На следующих: он написал и отправил по электронной почте письмо...»

См. также: **Василина Орлова**, «Тюльпаны из Амстердама» — «День литературы», 2005, № 1.

См. также статью **Василины Орловой** о новом поколении писателей в настоящем номере «Нового мира».

Pavell. Смерть постмодернизма. — «Мудрец, достойный Неба». Сетевой дневник Павла Святенкова. 2005, 8 января <<http://www.livejournal.com/users/pavell>>.

«Смерть постмодернизма — это когда некто рисует знак евро на знаке доллара, на чертанном Бренером на картине Малевича „Белый квадрат“».

Виталий Петушков. Непогашенный огонь. — «Литературная Россия», 2004, № 51, 17 декабря.

«Работы Галковского нельзя рассматривать объективно. От них веет духом изнурительной, тайной войны. На всех его сочинениях лежит печать отчаянной схватки за право быть самим собой и при этом не молчать, не уйти смиренно в небытие, как того требуют обстоятельства. Не склонять голову в свиньячем покорстве, не ложиться костью в основание величественных социальных пирамид и грядущих лучезарных царств, а реализовываться сегодня, сейчас, в той стране, где ты родился. Эта сверхзадача запрограммировала и литературное поведение Галковского, и его ярость от предчувствия неизбежной судьбы, а именно — быть расчлененным и использованным.»

См. также сетевой дневник Дмитрия Галковского: <<http://www.livejournal.com/users/galkovsky>>.

Михаил Попов. «Писатель — это солдат!» Известный русский прозаик отвечает на вопросы Владимира Бондаренко. — «Завтра», 2005, № 1, 5 января.

«В мире живых культур происходят и экспансии, и оккупации. „Там и мертвецы стоят насмерть!“ Недавно натолкнулся на высказывание писательницы Моррисон, сделанное на литературном конгрессе, где часто звучали с трибуны имена Шекспира, Гёте, Толстого в качестве примера высочайшего взлета человеческого духа. Чернокожая лауреатка Нобелевской премии возмущенно заявила: почему мои дети и внуки должны читать книги этих белых и мертвых мужчин?! Но я ведь тоже имею право не хотеть, чтобы меня заставляли читать книги живых черных баб».

Портрет в зеркалах: Витольд Гомбрович. Составитель Борис Дубин. — «Иностранная литература», 2004, № 12 <<http://magazines.russ.ru/inostran>>.

«<...> неосознанность его [Гомбровича] отношения к собственному личному несчастью связана с тем, что он не читал Фрейда, а условно-традиционное описание пережитого им исторического несчастья — с тем, что он не знает Маркса», — писал некогда **Пьер Паоло Пазоллини** о «Дневнике 1957 — 1961» Витольда Гомбровича. К счастью, это только одно из мнений, представленных в тематической подборке. Здесь же: **Борис Дубин**, «От составителя»; **Витольд Гомбрович**, «Дневник. 1957 — 1961» (фрагменты книги); **Чеслав**

Милош, «Кто такой Гомбрович?»; **Эрнесто Сабато**, «Фердыдурке»; **Сьюзен Сонтаг**, «Фердыдурке»; **Рикардо Пиглья**, «Борхес и Гомбрович».

Предыдущий номер «Иностранной литературы» (2004, № 11) весь — *немецкий*.

Борис Равдин. История и частушка: псковско-латгальский вариант. 1920-е годы. — «Даугава», Рига, 2004, № 5, сентябрь — октябрь.

Из собрания Ивана Дмитриевича Фридриха (1902 — 1975). По его недатированной машинописи, находящейся в Хранилище латышского фольклора Института литературы, фольклора и искусства Латвийского университета (ф. 1195). Архив И. Д. Фридриха находится в Пушкинском доме (Санкт-Петербург).

Ах, яблочко,
Сбоку зелено.
Пойдем купим по нагану,
Убьем Ленина. (2256)

Косил Ленин на лугу,
Поймал мышку за ногу:
Фу, какая гадина
Советская говядина. (7355)

Я шел мимо колхоза,
Там колхозники сидят:
Глаза серые, кривые (какая строчка! — *А. В.*),
Кобылятину едят. (7350)

Прочитирую также из вступительной статьи Бориса Равдина: «Частушки с упоминанием Ленина — достаточно частый сюжет в собрании И. Фридриха — в поднемецкой коллаборационистской печати явление редкое: в системе фашистской пропаганды к фигуре Ленина отношение поневоле шадящее, Лениным „кроят“ Сталина, и ленинское „Письмо к съезду“ с неллицеприятной оценкой Сталина — на страницах поднемецкой печати приводилось куда чаще, нежели частушки про основателя советского государства».

Алексей Решетов. Из неопубликованных стихов (1982 — 2002). — «Урал», Екатеринбург, 2005, № 1.

...Мы лежали на нарах
Возле грязных параш.
Мы потом выходили
На свободу, но там
Мало что находили
Незнакомое нам.

1996.

Федор Ромер. Слово изреченное есть взрыв. Передовицы Александра Проханова как литературный жанр. — «Завтра», 2005, № 2.

«Но, читатель, отнесись к этим текстам не как к колонке в газете [„Завтра“], выдающей невменяемость ее главного редактора, а как к факту искусства, которое изначально невменяемо. Искусство всегда избыточно, нелогично, оно презирает и нарушает законы здравого смысла. Оно перверсивно и, главное, дисфункционально».

Анна Рьжкова (Красноярск). Пушкин и судьба: «Повести Белкина». — «День и ночь», Красноярск, 2004, № 9-10, ноябрь.

«Мы проанализировали произведения Пушкина, начиная с лицейских лет и заканчивая 1830 годом, с целью установить частоту употребления в тексте таких слов, как „судьба“, „рок“, „жребий“, „Фортуна“, и слов „Сатана, Дьявол, Ад...“. Вот что показал анализ: слово „судьба“ употреблено Пушкиным 155 раз; „рок“ — 54 раза; „жребий“ — 25; „Фортуна“ — 8; „Сатана, Дьявол, Ад...“ — 47...» — пишет выпускница Красноярского литературного лицея, 17 лет.

Елена Светлова. Неизвестная Цветаева. — «Московский комсомолец», 2005, 11 января <<http://www.mk.ru>>.

«[Анастасия] Цветаева была строгой вегетарианкой и лишь иногда позволяла себе рыбное блюдо, „потому что Христос ел рыбу“».

«Ее доход составляли скромная пенсия и гонорары за публикации и переводы. Десятую часть своих средств Анастасия Ивановна жертвовала на нужды церкви. Она была прихожанкой храма Святителя Николая в Пыжах, что на Ордынке».

«Она говорила „вы“ совсем маленьким детям и почему-то животным. „Вы уже покушали?“ — всерьез интересовалась Анастасия Ивановна у своей кошки».

Валерий Сендеров. Русское золото. — «Посев», 2004, № 12.

«На сей раз Международная олимпиада прошла летом в Афинах. В неофициальном командном первенстве первые три места заняли Китай, Россия и США. Большинству читателей эти фразы покажутся сообщением об общеизвестном, такой неуклюжей заправкой к статье. И большинство ошибется: речь пойдет отнюдь не о хорошо известной ему олимпиаде. А об очередной Международной математической олимпиаде школьников. Бывают, однако, забавные совпадения... Впрочем, совпадения ли? Скромная по масштабам в первые годы своего проведения, полвека назад, математическая олимпиада давно приобрела масштабный характер. Реально она стала соревнованием между образовательными системами разных стран, и ее результаты весьма точно отражают иерархию уровней школьного образования в сегодняшнем мире...»

См. также: **Валерий Сендеров**, «Геология насха» — «Новый мир», 2005, № 2.

Елена Скульская. Назначь мне свиданье! Женщины-поэты, поэтессы, поэтки рисуют свои портреты. — «НГ Ex libris», 2005, № 1, 13 января.

«Вообще я антологии не люблю. <...> Но не любить антологии — глупо. Вроде как не любить алфавит, где рядом стоят, например, Дарья Донцова и Федор Достоевский. <...> Антология „Московская муза. XVII — XXI“ [М., 2004] — издание уникальное по замыслу и филологически представительное. Галина Климова собрала в этой книге поэтесс Москвы, на протяжении трех столетий писавших и пишущих о Москве, о любви и о творчестве...»

Роман Солнцев. «Липки» — не «липа». — «День и ночь», Красноярск, 2004, № 9-10, ноябрь.

«<...> я решил устроить маленький праздник с моими лицеистами и студентами, пишущими стихи и прозу, — я предвкушал этот праздник, заранее втайне похихатывал. Я надумал почитать литературные пародии советской эпохи, посвященные недавно столь любимым нашим поэтам, не гениальным, нет, но очень талантливым, чьи строки перелетали из уст в уста, а пародии на эти строки вызывали радость... ведь безликие стихи невозможно пародировать... И вот я начал читать вслух... одну пародию, вторую, третью, внутренне готовясь к обвалу смеха... поднимаю глаза — и вижу в классе растерянные лица. Ребятам не смешно. Только хмыкнули пару раз, когда дерганный стиль Маяковского передразнивался... И вновь тишина. И я понял: да молодые мои стихотворцы просто не знают оригиналов. В их памяти нет ни стихов Николая Тихонова с его прославленной строчкой: „Гвозди бы делать из этих людей...“, ни ярких поэм Павла Васильева и Смелякова, ни Бориса Корнилова и ни Антокольского, ни Светлова и ни Мартынова, ни прозы Фадеева и Леонова, так великолепно спародированных А. Архангельским, и даже Вознесенского с Евтушенко... Из Вознесенского знают „Ты меня на рассвете разбудишь“, и то лишь потому, что по ТВ показывали „Юнону и Авось“. Правда, помнят имена Есенина и Цветаевой, Гумилева и Ахматовой, Андрея Платонова, потому что — сломанные судьбы... кто-то и читал... но большинство поэтов советского времени для них не существует. Опустив книжку с пародиями, я стоял перед учениками, и мне показалось: я на одном берегу, а они — на другом, и тот берег уходит вдаль, и перед нами туман и бездна... „Порвалась связь времен“? Истинно так».

Валерий Соловей. Россия накануне Смуты. — «Свободная мысль-XXI», 2004, № 12 <<http://www.postindustrial.net/index.php>>.

«Если в конкретно историческом плане Смута и революция в России неразделимы, образуя феномен „смутореволюции“, в плане чистой абстракции они воплощали различные, хотя и взаимоуязвимые, логики. Смута — форма смены социокультурной русской традиции, механизм ее радикального обновления, революция — смена социополитического строя и социально-экономической системы; Смута воплощает внутренний смысл, имманентную логику русской истории, революция пропитана внешними, контекстуальными влияниями, она — результат взаимодействия внутренней российской и внешней мировой логик („красная“ и „демократическая“ смутореволюции могли развиваться только в капиталистическом контексте, хотя и на разных его стадиях); революция в России неизбежно сопровождается Смутой, Смута может протекать и без революции».

«Кардинальное отличие гипотетической новой смуты от старых русских смут состоит в том, что она произойдет в ситуации русского этнического надлома: впервые за последние пятьсот лет русские перестали ощущать себя сильным, уверенным и успешным в истории народом, что означает драматическое уменьшение шансов России и русских на повторную „сборку“ после хаоса смутного времени. Из новой точки бифуркации мы можем и не выйти единой страной и единым народом».

Александр Тарасов. Творчество и революция — строго по Камю. Левая молодежь создает свою культуру. — «Свободная мысль-XXI», 2004, № 8.

«<...> незаметно складывается *новая субкультура*, не являющаяся типичной молодежной субкультурой (подобной хиппи, панкам или скинхедам), а скорее представляющая собой *новую революционную контркультуру* наподобие революционной контркультуры 60 — 70-х годов XIX века в России. Ситуация в молодежном мире все больше напоминает этот период российской истории: с одной стороны, „широкие слои“ молодежи в результате общественных, экономических и культурных деградиционных процессов отброшены на уровень середины XIX века; с другой — существуют небольшие островки „элиты“ (дети „высшего общества“); с третьей — формирующаяся *разночинная* революционная контркультура в интеллектуальном и творческом отношении не только не уступает, но и откровенно превосходит уровень культуры молодежи из „высших слоев“. В России — впервые после Революции 1917 года — начинает формироваться, выражаясь языком „теории элит“, *контрэлита*, которая сможет в будущем вполне обоснованно предъявить свои права на власть и которая уже сейчас воспринимает сложившееся социальное, политическое, экономическое и культурное устройство как убогое, *отсталое*, не соответствующее ни требованиям XXI века, ни ее, контрэлиты, запросам и предпочтениям».

Автор — содиректор Центра новой социологии и изучения практической политики «Феникс».

Е. Тарасова. «Улисс» forever. — «Иностранная литература», 2004, № 12.

«Почему празднуют Блумсдэй? Потому что».

Здесь же — беседа с **Екатериной Гениевой** «О несостоявшемся священничестве и состоявшемся писательстве»: «<...> одно то, что два человека, определившие движение отечественного поэтического слова, Анна Ахматова и Осип Мандельштам, внимательно читали роман и взяли для своих произведений эпиграфы из „Улисса“».

С. В. Утехин. «Я жил в Англии и США, но никогда не принимал их подданства». — «Посев», 2005, № 1.

Сергей Васильевич Утехин скончался 11 июля 2004 года. Публикуется его беседа 1992 года с Андреем Владимировичем Морозовым. (См. текст беседы также: <http://www.amorozov.ru/inviews/utehin_serгей>).

«— *Что за человек был Керенский?*

— Он был очень порядочным, в некоторой степени наивный. Самое важное то, что в 1916 году ему вырезали почку и в 17-м почти все время у него были сильные боли. Вы помните, наверное, что он был истеричный и в обморок падал? Так это он в обморок от болезни падал, он не выдерживал болей.

— *Это правда, что он был великолепным оратором?*

— Он был одним из трех величайших ораторов того времени. Первым был Троцкий, второй — Пуришкевич. <...>

— *Был ли Керенский убежден в том, что Ленин — немецкий шпион?*

— Он никогда не был в этом убежден. Он даже не представлял, чем тот занимался в эмиграции».

В этом же номере «Посева» — **С. В. Утехин**, «О понимании истории. (Неопубликованные заметки)»; «Можно сказать (с Гегелем, но не по Гегелю), что *смысл истории — в свободе*».

Александр Ципко. Перестройка. Двадцать лет спустя. — «Литературная газета», 2005, № 1, 19 — 25 января.

«Перестройка, как она произошла, могла быть создана только студентом МГУ, дождавшимся до власти, который даже должность генсека хотел использовать для компенсации утерянного в молодости, для того, чтобы писать статьи, издавать книги, чтобы стать человеком, которого слушают».

Вадим Цымбурский. Расколота Россия, или «Питерский» проект. — «АПН». Проект Института национальной стратегии. 2005, 19 января <<http://www.apn.ru>>.

«<...> основная черта любой цивилизации — это переживание своего народа как *основного человечества*, а своей земли как *основной земли*. В 1634 году немецкому путешественнику Адаму Олеарию новгородский старый монах показал икону, где была изображена толпа иноземцев, свергаемых чертями в ад. На вопрос — „Неужели все, кроме русских, погибнут?“ — монах ответил: немцы и другие иноземцы могут спастись, если обретут русскую душу. В 1937 году, в канун своего ареста, Осип Эмильевич Мандельштам написал стихи о том же: „я, дичок, убоявшийся света, становлюсь рядовым той страны, у которой попросят совета все, кто жить и воскреснуть должны“, — утверждая, что в конечном счете вечная жизнь и воскресение связаны прежде всего с приобретением к опыту России. <...> Вспомним слова Достоевского о русском как всечеловеке. Ведь если русский человек способен произвести из себя самого образ всего человечества во всех вариантах — из этого

следует прямой вывод, что в принципе без остальных можно обойтись. Русский человек произведет человечество из себя самого».

«Русского народа сейчас просто нет. Есть скопище того, что политологи называют „атомизированные потребители”. Но мы знаем и другую вещь. Претерпевания нашей цивилизации в 20 веке, окончательное крушение аграрно-сословной культуры, затрудненное, драматическое развитие культуры городской и потом наполнение на нее международной космополитической культуры — все это привело к тому, что народ чрезвычайно пластичен и аморфен. Он в принципе никакой. Россия — страна, в которой как, может быть, нигде может реализоваться формула Брехта: *когда власти неуютен народ, власть всегда может распустить этот народ и набрать себе новый*. Акцентируя определенные группы людей, определенные типы людей, определенные социальные и психологические слои. Я глубоко убежден в том, что в конечном счете власть, сформированная вокруг этих оппозиционных центров, имела бы самые серьезные шансы *сформировать новый народ*, провозгласив контроль этого народа над элитами и фактически осуществляя контроль над элитами от имени не существующего в данный момент, *пока еще* не существующего народа».

Человек утратил сущность. Философ Сергей Хоружий в поисках новой антропологии. Беседу вела Майя Кучерская. — «Российская газета», 2005, 15 января <<http://www.rg.ru>>.

Говорит **Сергей Хоружий**: «Человек стал меняться — резко, неконтролируемо и притом непонятно: общее у всего списка в том, что эти явления не укладываются в обычные европейские представления о человеке, европейскую антропологическую модель. В основе ее два понятия: человек в ней рассматривается как сущность и как субъект; и оба приходится отвергнуть. Сущность человека — это его внутреннее ядро, твердая неизменная основа, набор присущих ему свойств и черт, кратко — сама „человечность” человека. И главный, если угодно, урок из современного опыта — то, что никакой такой сущности просто нет, человек ею не наделен. Тем самым классическая антропология в корне непригодна, и перед нами задача поиска новой модели человека».

Владимир Яранцев (Новосибирск). Литература в «космосе». Размышления над книгой о природе настоящей литературы. — «День и ночь», Красноярск, 2004, № 9-10, ноябрь.

«Преодолению этой инерции „обломовщины” в русском космизме и посвящено, на наш взгляд, творчество А. Платонова...» Многословные размышления в связи с книгой новосибирского филолога Эдуарда Бальбурава «Поэтическая философия русского космизма» (Новосибирск, 2003).

Составитель **Андрей Василевский**.

«Арион», «Вопросы истории», «Дети Ра», «Журнал Поэтов»,
«Знамя», «Звезда», «Слово-Word»

Андрей Арьев. Зырянин Тютчев. — «Звезда», Санкт-Петербург, 2004, № 12 <<http://www.zvezda.ru>>.

Эссе о поэте Сергее Стратановском по случаю его 60-летия.

«Стратановский далек от традиционализма, не будучи в то же время, что очень существенно для понимания природы его поэзии, сторонником авангардистских, тем более постпостмодернистских крайностей. Ему чуждо понимание искусства как иронической игры со знаками культуры. Искусство — и прежде всего поэзия — имеет, полагает он, прямое отношение к онтологическим ценностям человеческой жизни: к любви, к радости, к горю, к вере и неверию. Стихотворение представляется Стратановскому неким цветком в захолустье, диковинной красоты существом, вяжущим и крепнущим на глазах читателя. (Не знаю, как Стратановскому, а мне, читателю, так и представляется почти каждое его произведение. — П. К.) <...> Из того, что Стратановский „мыслит мифами”, вывода о его собственном „мифотворчестве” не следует. „Мифологию” он скорее дискредитирует. Во всяком случае, „современную мифологию”. Лирический субъект этой поэзии — человек бунтующего сознания. <...> Очень ответственное эстетическое кредо Стратановского сводится к желанию обнаружить неведомое в прошлом, истинное в банальном, к попытке раскрыть ходячее выражение как лирическое. Это своего рода „остранение остранения”...».

Вослед за эссе Арьева — совсем новые стихи **Стратановского**.

А. А. Бабий, В. М. Кириллов, Г. В. Кузовкин, В. И. Хвостенко. «Возвращенные имена». Программа и проблемы ее реализации. — «Вопросы истории», 2005, № 1.

Тут и обзоры региональных программ, и определение категорий репрессированных и типов источников, методическое и техническое обеспечение. Адреса сайтов, руководители отдельных проектов, статистика и еще раз статистика...

Хорошо бы кто-нибудь собрал сводную статистику (по годам) — уничтоженных органами дел оперативных разработок 20-х — 90-х. Хотя бы только по известным фамилиям. За последнее время некоторые цифры просачивались в печать. Они впечатляют.

Из преамбулы: «С конца 1980-х годов факт политических репрессий признан официально. Приняты законы о реабилитации жертв политических репрессий, созданы комиссии по восстановлению прав реабилитированных. Но комплексной межгосударственной научно-исследовательской и общественной программы изучения и распространения информации о массовых репрессиях в СССР до сих пор нет. Более того, наблюдается тенденция к закрытию этой темы — якобы из-за того, что процесс реабилитации завершен и проблема исчерпана. Это ложная и опасная установка <...>».

Сергей Бирюков. Сквозь мелкий морок дождя и снега. — «Дети Ра», 2004, № 4 <<http://www.detira.ru>>.

Благодаря издательско-редакторской работе главного редактора «Детей» **Евгения Степанова** для меня, обозревателя его *детница*, навсегда решена проблема того, как называть наших неутомимых нью- и нефутуристов от Кедрова до Бирюкова. Так и буду теперь, как они сами себя назвали, — Дети Ра.

Скажу вам по-читательски/по-приятельски, что С. Б. для меня изо всех Детей Ра — самый любимый, живой и последовательный. Мне нравится даже его биографическая справка: «<...> поэт, саунд-поэт, филолог, перформер, издатель... Основатель и президент Академии Зауми, учредитель Международной Отметины имени отца русского футуризма Давида Бурлюка. В настоящее время преподает в университете им. Мартина Лютера в городе Галле. Автор многих сборников стихов, а также теоретических книг <...>». Его отношения со словом напоминают мне того охотника, который однажды ушел на промысел и не вернулся, остался жить в лесу: «Так и честнее, и проще. Лес прокормит». Нынешний номер журнала посвящен «русскоязычной (и не только) литературе Германии».

Анри Волохонский. Живи пока и дышишь и живешь. — «Дети Ра», 2004, № 4.

Финал биосправки: «Член Союза немецких писателей. Автор многих книг, публикаций и знаменитой песни „Под небом голубым“ (в соавторстве с Алексеем Хвостенко)». Слышал я тут, что «под небом голубым...» — это вовсе Гребенщиков соорудил, а у Хвоста с Волохонским было — *над*. Но не суть: в массовом сознании эти двое «останутся» одной песней. Кстати, а что было бы, если б БГ за нее не взялся? Ничего. Пришлось бы обойтись без массового сознания, как они всегда честно и обходились.

Читаем Волохонского: «Живи пока и дышишь и живешь / Дышать и жить и жать не ложно можно / Одной ехидной дикобразу в еж / Но избежать пожалуй невозможно / Так жди и не надейся переждать / Плыви плыви пока умеешь плавать / Хотя конечно жать не пережать / Живей лепить лупить и лапать в лапоть» («Посмертное»). И чтобы нас не упрекнули в исключительности внимания к эмигрантам — из подборки тутошной **Ры Никоновой**. В справке: «Ры Никонова (А. А. Таршис) (Киль) — поэтесса, художница, издатель. Занимается визуальной поэзией, „мейл артом“». Кстати, человек на московском слуху. Читаем: «Монисты мага / корнями влага / Мизинец мысли / врага (живаго)». Под текстом четверная дата: (1969) — 1995 — 2000 — 2002. А что такого? Написалось примерно в 1969-м, лежало в архиве, два раза переосмысливалось, в 2002-м — осмысление закончилось, введено в канон.

...Футуристический клей «В-Момент-Будетлянин». Хочешь — нюхай, хочешь — клей. Существительный глагол.

Производство компании «Старая эстетика в новой реальности». Дистрибьютер — международный литературно-художественный журнал «Дети Ра», поставщик — **Евгений Степанов**. В «Колонке редактора» он поздравляет всех нас с Новым годом, желает крепкого здоровья и благополучия, а также... «Мы хотим также, чтобы у вас всегда была возможность читать хорошие стихи и прозу. А мы постараемся вам в этом помочь».

Спаси
бо
от всех
но

Дети Ра
Ры — дары

Робкое послание Детям Ра от составителя «Периодики».

Евгений Гришковец. Спокойствие. Рассказ. — «Знамя», 2004, № 1 <<http://magazines.russ.ru/znamia>>.

«От автора» тут (как последнее время делают в «Знамени») ничего нет. Тут полстраницы — «об авторе». Это первая его публикация в толстом литературном журнале.

Измучительно мягкий, чуть-чуть насмешливый (но без осуждения!), малость романтический (но без натуги!), пронизательно-ленивый, мудро-заикающийся такой джаз. Тема: Один дома, или Временно без семьи.

На мгновение я понял, почему Е. Г. читает свои штуки под музыку. Оттягивает. Или — вытягивает?..

...Ну не называть же рассказ: «Осторожно: равнодушие!» — отпугнет. Вот и лабаем понемногу, по(д)смотрим/по(д)слушаем да и с народом поделимся. Тихо так, славно, миролюбиво, спокойно, все-хорошо-все-в-порядке...

Александр Еременко. Новые стихи. — «Знамя», 2005, № 1.

Насколько я знаю, о судьбе только двух значительных поэтов наших дней — Александра Еременко и Алексея Цветкова — можно говорить как о случае «возвращения музыки». Оба *записали* (или по крайней мере начали отдавать в печать) после очень долгого перерыва.

Мне не хочется сейчас сравнивать *те* и *эти* стихи, «старого» и «нового» Еременко. Но я проверяю себя: сразу ли узнается интонация, «собственность» голоса и музыки. Да, узнается. Впрочем, по-моему, безнадежной, стальной ярости стало больше («Каток», «В воюющей стране...», «Возложите на Правду венки...»).

Скажу тебе, здесь нечего ловить.
Одна вода — и не осталось рыжих.
Лишь этот ямб, простим его, когда
летит к тебе, не ведая стыда.
Как там у вас?

.....
Не слышу, Рыжий... Подойду поближе.

(«Борису Рыжему на тот свет»)

...Тут мне даже показалось, что сим подведена черта под жанром стихотворных посланий. Что тема закрыта, предельней некуда.

Ирина Ермакова. Дурочка-жизнь. — «Арион», 2004, № 4 <<http://www.arion.ru>>.

Удивительные, жутковато-отчаянные и вместе с тем очистительные стихотворения Ермаковой Алехин увел почему-то в самый конец номера. И ни я, и никто не смог бы — ни из одного — ничего процитировать. Из песни слова не выкинешь. Почему-то все крутилась и крутилась в голове музыка прозы Андрея Платонова.

Я уже вспоминал публично известные слова другого классика о том, как много требуется глубины душевной, «дабы озарить картину, взятую из презренной жизни, и возвести ее в перл создания». И. Е. делает это на раз, соединяя редкую для сегодняшних стихов сюжетность с таинственной, экзистенциальной сущностью вещей. А может и не быть никакого сюжета: вот, миф-имя-образ центростремительно, на глазах у читателя заворачивается в смыслы, вот что-то почти сгустилось в *главные* слова, но тут же взорвалось и истаяло. Птичка вылетела, а в кадре-то никого и не было. Короче говоря, завершающее подборку стихотворение «Гоголь» (он, кстати, и есть процитированный выше классик) — выше любых оценок. Я не смогу, не понимаю, как делается (и делается ли?) подобная тонкая «материя». Как бы я хотел, чтобы его мог прочитать Розанов, долго и много терзавшийся Николай Васильичем.

Сергей Игнатов. Муха. — «Знамя», 2005, № 1.

Изысканная сорокастраничная вещичка, написанная рукой моего ровесника, тоже закончившего журфак и трудящегося на телевидении. «„Муха“ — это как раз то, что позволяет мне отдохнуть от редакционного конвейера и социального заказа. <...> Безусловно, вещичку эту я кое-кому посвящаю. А кому именно — они сами поймут, не прочитав и половины».

Вот ежели взять «Пугем взаимной переписки» Владимира Войновича да незаметно добавить туда капельку классического Юрия Мамлеева, потушить на раннем Викторе Ерофееве и освежить всегдашней Людмилой Петрушевской — можно подавать к столу, украшенному портретами, скажем, Гоголя и Алексея Славовского. А можно ничего этого и не делать и есть сырым. «Сами поймут».

Анна Кузнецова. Архаисты? Новаторы? — «Арион», 2004, № 4.

«Время сейчас на поэтических часах ужасно интересное. „Сместить“ никого невозможно — всякое „новое“ слово отзывается эхом традиции: в этом тыняновском смысле все се-

годняшние поэты — эпигоны, все играют кубиками культуры. При этом оснащенность поэтической техники так возросла, что новым как раз стал сам феномен массового писания стихов высочайшего версификационного уровня. Выросло поколение, воспитанное на „возвращенной” литературе, — а критики, принадлежащие по большей части к поколению постарше, не испытывавшему на себе таких разнонаправленных соблазнов эстетической игры, не замечают его, не понимают и не принимают всерьез. Сегодняшняя поэтическая молодежь воспитана на играх Серебряного века. Она получилась талантливой — игра способствует развитию эстетических способностей. И вопиюще несерьезной — ибо игры упоительны. <...>

В этих условиях обращение к архаическим формам высказывания возникает как запрос серьезности смысла. Запрос... у кого? У... языка <...>

Запрос такой серьезности у относимого к „новаторам” М. Айзенберга принял неожиданно архаическую стихотворную форму — то ли молитвы, то ли заговора:

Если вместе сложатся время скорое
и мое дыхание терпеливое,
отзовется именем то искомое,
ни на что известное не делимое.

Если полное имя его — отчаяние,
а его уменьшительное — смирение,
пусть простое тающее звучание
за меня окончит стихотворение.

Случилось это, на мой взгляд, потому, что затронуту поле, на котором новаторство невозможно. И которое навсегда останется гарантом узнавания поэта, в отличие от версификатора, поскольку поэзия — это спонтанная религиозность неверующего человека. Но когда она посягает на чужие территории, когда поэты жаждут вещей последних и отказываются от языка с его шутками, — поэзия приходит к самоотрицанию. От разговоров с Богом можно ли спуститься ступенью ниже?

Предел этой линии, выходящей за границы поэзии, показал Кирилл Медведев, о котором после выхода первой книги много говорили, а после второй вдруг разом перестали говорить. Только серьезность, высказывание без словесной игры, — это уже не стихи. Нельзя обойти эту гору, нельзя быть умным. Надо идти в».

Перечитал еще раз цитируемого выше Айзенберга. Вот вам и музыка, и мысль, и ритм, и традиция. И свежо, и нервно. Самые правдоподобные, «угаданные» теоретические рассуждения и определения, даже те, которые «работают» на эти стихи, — отступают за них.

Семен Лившин. Двести лет, как жизни нет. Подражание Александру Солженицыну. — «Слово-Word» (США), год не указан.

Год я определил, обнаружив в этом издающемся в США красном знаменном, пардон, звездно-полосато-давидном альманахе Центра Культуры Эмигрантов из бывшего Советского Союза — статью профессора кафедры киноискусства Нью-Йоркского университета Жени Кипермана к 100-летию Арама Хачатуряна. Великий композитор родился в 1903-м, стало быть, дошедший до меня альманах относительно свеж.

Чего не скажешь о работе Семена Лившина. Дело не в том, что эта пародия неостроумна и бездарна, как подметка сапога. От нее явственно несет тем же, чем несло в свое время от печально известного «фельетона» товарища Ардаматского «Пиня из Жмеринки». Но то был зоологический, махровый антисемитизм, господин Лившин. За такое даже в суд не подашь из-за боязни запачкаться.

Впрочем, в альманахе есть и более приличные тексты.

Инна Лиснянская. Отдельный. — «Знамя», 2005, № 1.

«Воспоминательная повесть» об Арсении Тарковском была написана зимой 1995/1996 года. Опубликована, как видим, спустя почти десять лет. Безусловно, окажется публикацией года. Этой вещи, надеюсь, еще предстоит «медленное чтение», в ней много важных психологически-портретных, историко-временных, стихотворно-литературоведческих нюансов.

А простиупающий за общей тканью повествования автопортрет воспоминательницы?

Да и припомню ли я с ходу другие столь живые и непосредственные свидетельства о нашем драгоценном поэте? Столь разнообразные психологические догадки и ясную систему доказательств их права на существование (например, «Тарковский — „поэт-ребенок»)? Найду ли примеры столь цепкой памяти, опирающейся на совсем маленький, но такой личный отрезок времени?

А соединение вчерашней детали с сегодняшним озарением и его проверкой? Один сюжет с письмом юного рыбинца Юрия Кублановского, подарившего А. Т. инструментальную цитату «на случай», чего стоит.

«Попервости», открыв журнал, я читал «Отдельного» как художественное произведение, спохватываясь, наслаждался зоркостью глаза и меткостью оценок, любовался лаконич-

ной и вместе с тем богатой, «вкусной» речью рассказчицы. Вещь, конечно, «отлежалась», но не «остыла»: то тут, то там в ней проступают «озерца» *риска*, постоянная «поперечность» подхода к жанру. И хотя она завершается пятилетней давности стихотворением «Разговор» (поэта с поэтом, друга с другом, Лиснянской с Тарковским), такое чувство, что никакого завершения нет. Что, завершившись, эти истории, собранные под единый покров сердечной памяти, начинаются с начала и даже их публичное, теперешнее бытование не останавливает этого движения. Не Мандельштам ли писал в письме о «непрекращающемся» разговоре с братом «по цеху»?

Вот фрагмент из главки «На городской квартире»:

« — Нет у Анны Андреевны музыкального слуха. Она прикидывалась любящей музыку. Вот и в стихах ее, особенно в „Поэме“, и Шопен, и чакона Баха, и даже Шостакович. Верно, считала, что поэту полагается любить музыку, в гостях всегда просила что-нибудь поставить из классической. И у Пушкина не было музыкального слуха, но он и не притворялся меломаном, однако „Моцарта и Сальери“ написал, да еще как! Сальери — музыкант отменный, но Пушкин вне зависимости от сомнительного факта дал нам два наивернейших типа в искусстве».

«<...> Тарковский имел обыкновение присваивать себе чужие рассказы.

Как-то в Переделкине он взялся пересказывать то, что я давным-давно знала от Липкина:

— Однажды, когда я поднимался к Мандельштаму, услышал его крик вослед спускающемуся по лестнице какому-то посетителю: „А Будду печатали? А Христа печатали?“

Я возмутилась:

— Ведь это было при Семе, а не при вас!

Лицо Тарковского сделалось обиженным, как у ребенка, поверившего в свою ложь и разоблаченного:

— Опять вы заладили: Сема да Сема, — и сделал такое движение рукой, будто сворачивал не разговор, а водопроводный кран. Когда лжет взрослый, то обыкновенно заминает свою ложь. Тарковский же дней за десять до этого своего невинного плагиата мне же и рассказывал правду:

— Мандельштама я видел всего однажды, в полуподвальной квартире у Рюрика Ивнева. Мы пришли вместе с Кадиком Штейнбергом. Помню, там был и Мариенгоф. Я боготворил Осипа Эмильевича, но и стыдись все-таки отважился прочесть свои стихи. Как же он меня раздракнул, вообразил, что я ему подражаю.

— Почему только однажды? Вы же Мандельштама и в Госиздате видели, никто лучше вас о нем не написал:

„Эту книгу мне когда-то
В коридоре Госиздата
Подарил один поэт...“

Тарковский мою декламацию пресек:

— Инна, прекратите. Жизнь и стихи далеко не одно и то же. Пора бы вам это усвоить в пользу вашему же сочинительству. <...>»

И. Л. обмолвилась здесь, что, если достанет жизни и сил, она напишет и о других своих — дорогих памяти — современниках. Тут и Мария Сергеевна Петровых, и Чуковские. Будем желать и ждать.

Наталья Одинцова. Хранитель памяти. Анатолию Разумову — 50. — «Звезда», Санкт-Петербург, 2004, № 12.

К недавнему юбилею составителя и создателя многотомного «Ленинградского мартиролога 1937 — 1938», единственного штатного сотрудника Центра «Возвращенные имена», легендарного сотрудника питерской Публички — Анатолия Яковлевича Разумова. Этого человека ценила и успела подружиться с ним — Л. К. Чуковская, его работу и его самого поддерживали и подерживают А. И. и Н. Д. Солженицыны, среди посетителей библиотеки он еще десять лет назад нашел себе верного помощника (Ю. П. Груздева), который вместе с ним, ежедневно, без выходных, на рабочем месте.

Мне посчастливилось немного быть знакомым с ним, и думается, что это едва ли не самый трудолюбивый, точный, несуетный и сильный интеллигент, встреченный мною за последние годы. На таких, как Разумов, все еще как-то и держится...

Памяти Рида Грачева. — «Звезда», Санкт-Петербург, 2004, № 12.

Здесь пронзительное поминальное слово **Андрея Битова** и представленное **Б. Рогинским** письмо Грачева 1970 года.

«...Рид Грачев был бесспорно лучшим ленинградским прозаиком той поры (начала 60-х. — Л. К.), а может, по потенциалу и не только ленинградским. Его сорокалетнее протестное молчание — само по себе мощный текст <...>».

Но для меня самым мощным оказалась фотография на второй стороне обложки «Звезды», лицо Рида Грачева. Этот человек прожил на белом — или еще каком-то — свете своей тайной жизнью без малого 70 лет. Здесь же помещен портрет губастого мальчика, почти подростка — с цитатой из него (будущего): «Нужно отказаться от всех авторитетов, кроме авторитета любви: мы узнаем ее, стоит нам только освободить души от невероятного мусора, оставшегося после всех наших потрясений <...>».

С. П. Пожарская. Франсиско Франко. — «Вопросы истории», 2005, № 1.

«В начале 90-х годов прошлого столетия Хуан Карлос, отвечая на вопрос Вилальонга, как Испания могла перейти от почти сорокалетней диктатуры к демократии с конституционным королем во главе и все это произошло без больших волнений и потрясений, ответил, что, когда он взшел на трон, у него на руках были две важные карты. Первая — несомненная поддержка армии. В дни, последовавшие за смертью Франко (1975. — *Л. К.*), армия была всеильна, но она повиновалась королю, поскольку он был назначен Франко. „А в армии приказы Франко даже после его смерти не обсуждались“. Вторая карта — мудрость народа. „Я унаследовал страну, которая познала 40 лет мира, и на протяжении этих 40 лет сформировался могучий и процветающий средний класс. Социальный класс, который в короткое время превратился в становой хребет моей страны».

Рубрика «Исторические портреты», конец статьи. ...А кто слушал — молодец.

Ирина Роднянская. В чем победа? (О книге Беллы Ахмадулиной). — «Арион», 2004, № 4.

Чуть более сорока лет назад И. Р. предложила «Новому миру» эту рецензию на первый стихотворный сборник знаменитой поэтессы. Рецензию отвергли. «Как мне объяснили потом <...> поэзия Ахмадулиной — слишком заурядна, неперспективна и вместе с тем „авангардна“, чтобы так пристально рассматривать ее и так пространно о ней рассуждать. (И это при том, что рассуждения мои вряд ли можно было считать апологетическими) <...>». Мягко говоря...

Подберем пару-тройку цитат-ключей.

«И вот — сборник восхитительных, пленительных стихов, вызывающих стойкий холодок разочарования и отчуждения. Это не совсем парадокс».

«Гибкость и изящество поэтической речи автора „Струны“ многому могут научить остальных. Белла Ахмадулина умеет создать впечатление, что ей присуще, прирождено? изъясняться стихами».

«Игра оказывается несерьезной, риск — неугрожающим, а бескорыстие — не более чем правилами все той же игры. На занавесе нарисованы „оранжевые“ языки адского пламени и эмблемы ангельской чистоты, но это внешний, искусственный покров — не конфликты и контрасты жизни увидены за мелочами, а мелочи декорированы контрастами и конфликтами».

Борис Рыжий. Приснится воздух. — «Знамя», 2005, № 1.

Композиция из нескольких десятков стихотворений разных лет (от 1992 до 1999-го).

Вот ведь написал, за восемь лет до:

Фонари, фонари над моей головой,
 будьте вы хоть подобьем зари.
 Жизнь так скоро проходит — сказав «боже мой»,
 не успеешь сказать «помоги».
 Как уносит река отраженья лица,
 век уносит меня, а душа
 остается. И что? — я не вижу конца.
 Я предвижу конец. И, дыша
 этой ночью, замешенной на крови,
 говорю: «Фонари, фонари,
 не могу я промолвить, что болен и слаб.
 Что могу я поделать с собой? —
 разве что умереть, как последний солдат,
 испугавшийся крови чужой».

(«Фонари», 1993, декабрь)

Вслед за подборкой Рыжего публикуется хорошее, умное, ближе к финалу шемяше-пронзительное эссе знаменитого голландца **Кейса Верхейла**. Оно является вступительным словом к русско-голландскому сборнику Бориса Рыжего «Облака над городом Е»:

«Говоря о мелодичности как существенном признаке поэзии Бориса Рыжего, я имею в виду не только ее физическое звучание. Мелодика в его случае — это в не меньшей мере

внутренний принцип, так что помимо мелодики в буквальном смысле можно говорить и о мелодике стиля, мелодике мыслей и мелодике чувств.

Если попытаться вникнуть в загадку психологического механизма, стоящего за стихами Бориса, то можно предположить, что это поэзия человека, находившегося под воздействием реальных контрастов такой силы, что в жизни он не смог с ними справиться. Эти противоречия в его биографии и в его душевном строе в конце концов и привели к его добровольной смерти. Но пока он был жив, они время от времени находили хотя бы символическое разрешение в необыкновенной гармонии его стихов.

Поэтика Бориса Рыжего, как я ее понимаю, как раз и состоит в игре в решение опасных экзистенциальных противоречий за счет мелодики <...>. И далее К. В. приводит и разбирает мое любимое стихотворение Б. Р. «Я тебе привезу из Голландии Lego...».

Сергей Слепухин. Стихи. — «Звезда», Санкт-Петербург, 2004, № 12.

Оттуда же, из «города Е», из бывшего Свердловска. Пятилетней давности первая книга стихов называлась «Слава Богу, сегодня пятница!».

Земля стоит на трех китах,
А Небо — на одной голубке,
Уравновешивает страх
Весенний воздух, странно хрупкий.
Как тяжело перемещать
На юг, восток и север дикий
И в крыльях ломких уместать
Святых растаявшие лики,
Держать над пыльной головой
Непросветленного поэта
Спасительный и роковой
Прозрачный нимб с каемкой света.

Дмитрий Тонконогов. С миру по танкетке. — «Арион», 2004, № 4.

Маленькая «антология» реализации новой стихотворной формы, придуманной А. Верницким.

«В самом слове „танкетка“ есть что-то симпатично несерьезное, тут и боевая гусеничная машина, и подошва женской туфельки. Это такая филологическая игра и просто приятное интеллектуальное времяпрепровождение». Из шести «танкеточных» авторов выбираю двоих; в отобранном, заметьте, неожиданно оказался похожим «сортовой», «маркировочный» мотив:

зебры
штрих-код саванн
(Алексей Верницкий)

Сибирь
Гиперссылка
(Роман Савоста)

См. также: А. Верницкий и Г. Циплаков, «Шесть слогов о главном» — «Новый мир», 2005, № 2.

Филология — кризис идей? — «Знамя», 2005, № 1.

Новая рубрика «Дискуссия» открывается полемическим эссе Вл. Новикова «Мне скучно без...» (об, условно говоря, длящемся «филологическом дефолте») и продолжается *тщательно подготовленными* ответами филологов (О. Лекманов, И. Роднянская, М. Липовецкий, И. Сурат, М. Шапир, И. Пильщиков, С. Бочаров, А. Рейтблат, А. Чудаков, М. Свердлов, Д. Бак). Редакция сложила, Владимир Иванович поднес спичку. Занялось, вспыхнуло. Иные искры очень даже летели, как в случае с Максимом Шапиром. «Не рискуя ни оценки раздавать, ни солидаризироваться с любой из представленных точек зрения, замечу, что нервный узел проблемы нащупан, кажется, верно», — резюмирует Сергей Чупринин.

Хроника событий. (Обращение Константина Кедрова). — «Журнал Поэтов», Альманах. 2004, № 6 (17).

Почтенный альманах, учрежденный группой Добровольного общества охраны стрекоз и рядом других организаций, мне сегодня на представление не потянуть. Долго возился с родственным(и) «Детьми Ра», да и популярных авторов тут много (Андрей Вознесенский, Алина Витухновская...). Сквозная тема тоже не простая: Носорог Рассела и Витгенштейна. Поэтому остановлюсь на первой странице, где справа от хроники событий (фестивали, вечера, книги) — такое: «*Выражаю глубокую благодарность радиостанции „Эхо Москвы“, которая первой принесла весть о моей нобелевской номинации. Сердечно благодарю всех, кто*

болел за меня в этом году: „АиФ”, „МК”, „РИА-Новости” и телеканалы НТВ, ОРТ, ТВЦ, РБК. Глубоко признателен тем, кто удостоил меня столь высокой чести. Константин Кедров». Чуть ниже, в справке: «<...> Как правило, в прессу просачиваются 10 имен, оказавшихся во главе списка. По сообщениям прессы, в этом году в десятке значились имена: американец Филип Рот, датчанин Ингер Кристенсен, швед Тумас Транстремер, сириец Ахмад Саид (Адонис), Джозеф Кутзее из ЮАР и русский поэт Константин Кедров. Лауреатом с пятой попытки стал Кутзее. Кедров рассматривался впервые».

Олег Чухонцев, Игорь Шайтанов. Спорить о стихах? — «Арион», 2004, № 4.

«По мне, „философская поэзия” — это усталость умственных усилий преодолеть духовный схематизм. Лирик живет не этим, а открытыми порами».

«У Тертуллиана есть замечательное рассуждение: „Поэты тогда пусты, когда приписывают богам человеческие страсти и разговоры. Философы тогда глупы, когда стучат в дверь истины”. Меня всегда само поэтическое ремесло ставило в тупик. Да и что тут скажешь.... Определять поэзию — это все равно, что форму ветра искать, поэтому она более безответственна, а с другой стороны — более свободна. И, разумеется, объективна. Ее питают не только предыдущие стихи. Установка всегда — на параллельные веяния».

«Как человек я похож на персонажа, когда-то поразившего меня этим сходством, — Степана Головлева, который кончил Московский университет, пришел босиком в свою родную Головлевку и все забыл. И по мне культура — тень от облаков, бегущая по лугу или по зеленому полю. Попробуешь зафиксировать — они сейчас одни, а тут выглянуло солнце — они другие. Такова память: когда она живая, когда она движется. *Я всегда стихи пишу только во сне* (курсив мой. — П. К.). Культура, когда она многообразна, ты от нее устаешь, но хорошо, чтобы она от тебя не устала. И ты просыпаешься с одним только звуком, тебе нечего сказать, кроме этого звука — мычания. Лучшей формулы поэзии не придумано в XX веке — „простое как мычание”».

«Как отличить плохое от хорошего — это для меня надуманное. Интересно другое — как отличить профанное от истинного, вот проблема. Есть проблема аутентичности поэзии относительно самой себя. Сейчас — огромное число средней одаренности, комар носа не подточит, всё делают так, как надо, под кого-то, подо что-то, но ничего не волнует. В них искусство умерло. Если я в новой книжке поэта могу отличить стихи по их, грубо говоря, стимости, могу понять, где вершины, где провалы, — это живое. А если нет, если все одинаково гениально, как уверяют, то дело скверное».

«Он (Бродский. — П. К.) всех убедил, что не поэт — носитель, а язык — носитель... Поэта формирует язык или он формирует язык? Зашел как-то Битов и подарил мне двустилие в мою записную книжку: „Об оборотной стороне медали / Нелепо говорить: „Не ожидали”». А в последние десятилетия предпочитают замечать только одну сторону медали. Вторая же не потеряла своего значения».

Это были фрагменты реплик и рассуждений **Олега Чухонцева**.

А. В. Шпилов. В тесноте... (Об одной характерной черте русской традиционной бытовой культуры). — «Вопросы истории», 2005, № 1.

О том, какое количество жилой площади приходилось на одного человека в обычной крестьянской избе. «Всего нами было учтено 430 сельских населенных пунктов, принадлежащих 65 помещикам». Мириады цифр, процентаж. Кубометры дров и метры горниц. И все ради чего? Чтобы понять: российские крестьяне набивались для жилья в одну комнату лишь потому, что дров для отопления всего дома ни-ког-да, ни при каких обстоятельствах было не запasti. Вот и ютились. Зато выжидали. Сами-то избы были вполне себе объемными, иная со своей отдельной печью в каждой комнате.

Георгий Шенгели. Эфемера. Вступительное слово и публикация Михаила Шаповалова. — «Арион», 2004, № 4.

Озоруешь стихом?
Так по крайней мере
овладей ремеслом —
как Георгий Шенгели.

Ох, Вл. Вл. прибил бы меня за подобные стихотворные аннотации. *Во весь рост* встали бы.

А поэма про трех сестер (1946), начинающаяся словами «Поэмка мне приснилась», — это «поток сознания, сон, в рамках красочного стиха. Превосходно вооруженный филологической культурой, поэт достигает эффекта благодаря сжатости стиха, его энергичности, когда отсутствие рифм при чтении не замечается» (М. Шаповалов).

Это действительно виртуозно сделано.

П. П. Щербинин. Жизнь русской солдатки в XVIII — XIX веках. — «Вопросы истории», 2005, № 1.

Исследований, подобных тому, что провел доцент Тамбовского госуниверситета, я не припомню. Только одно предложение: «Для женщины-солдатки очень трудно было преодолеть негативное восприятие своего образа в сознании современников и современниц, что в свою очередь накладывало отпечаток на поведение солдатских жен и их настроения». Не забудем про прелести жизни в семье мужа. Ужасные свидетельства, дикие цифры, жанровый фольклор («рекрутские плачи»). Русский Босх.

Составитель Павел Крючков.



АЛИБИ: «Редакция, главный редактор, журналист не несут ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности и порочащих честь и достоинство граждан и организаций, либо ущемляющих права и законные интересы граждан, либо представляющих собой злоупотребление свободой массовой информации и (или) правами журналиста: <...> если они являются дословным воспроизведением сообщений и материалов или их фрагментов, распространенных другим средством массовой информации, которое может быть установлено и привлечено к ответственности за данное нарушение законодательства Российской Федерации о средствах массовой информации» (статья 57 «Закона РФ о СМИ»).



ДАТЫ: 14 апреля исполняется 75 лет со дня смерти Владимира Владимировича **Маяковского** (1893 — 1930).



ИЗ ЛЕТОПИСИ «НОВОГО МИРА»

Апрель

5 лет назад — в № 4 за 2000 год напечатана комедия в двух действиях Б. Акунина «Чайка».

10 лет назад — в № 4 за 1995 год напечатан рассказ Владимира Маканина «Кавказский пленный».

40 лет назад — в № 4 за 1965 год напечатана статья В. Лакшина «Писатель, читатель, критик».

50 лет назад — в № 4, 5, 6, 7, 8 за 1955 год напечатана повесть Николая Дубова «Сирота».

65 лет назад — в № 4-5, 8 за 1940 год напечатан роман Алексея Толстого «Хмурое утро» (третья часть романа «Хождение по мукам»).

ИЗ ПОЭЗИИ «НОВОГО МИРА»

М. ЗЕНКЕВИЧ

НОЧЬ ПОД БУРКОЙ

I

Дорожкой платиновой серебрясь,
Отдохнувший от зноя в самшитовой роще,
Улетучиваясь от берега, бриз
Осторожно пробует парус на ощупь.
Потерявший прицельную мушку зрачок,
Расширенный ночным атропином,
Ловит искры с огнива подковы — чок-чок
По кремням заплутавшихся горных тропинок.
Воровская ночь и другим не в пример.
Надрываясь заливистой трелью частой,
Каждый сверчок, как милиционер,
Охраняет свой полночный участок.
Так тревожно, призывно... Нет, не к добру,
Одурманенная кипарисовым вздохом,
Эта ночь по млечному серебру
Перекатывается звездным горохом.
И, пока не забылся и не заснул,
Все не можешь, как море, прибором смириться
И, любовью ограблен, кричишь караул
Миллионной незримой сверчковой милиции.

II

Взамен светляков сверкают поодаль
Глазные натертые фосфором спички.
Видно, приелись отбросы и падаль,
Просят — мясо стрихнином напичкать.
Шакалья безлунная ночь! И надо ли
Знать и мне, и случайной звезде,
Что Бестужев-Марлинский где-то здесь
В стычке с черкесами пал у Адлера?
Под бараньей буркой до самой зари
Цокающий всадник не даст заметить,
Что с насечкой серебряной газыри
Оттиснулись кровью на белом бешмете.

«Новый мир», 1930, № 4.

SUMMARY



This issue publishes the ending of «The Canvas», a novel by Oleg Yermakov, two stories by Oleg Zobern, as well as some chapters from «I've Come to the End of My Tether», a memoirs book by Anatoly Kuznetsov. The poetry section of this issue is made up of the new poems by Maria Vatutina, Anatoly Naiman, Ella Krylova and Dmitry Bobyshev.

The sectional offerings are as follows:

Essays: «The Michelson's Experiment», an essay by Grigory Pomerants.

Comments: «Your Classical Authors are Freaks and Cretins» — an article by Alla Latynina dwelling on the shocking «My history of Russian Literature» by Marusya Klimova.

Literary Critique: «Like an Iceberg in the Ocean» — an article by Vasilina Orlova on contemporary literature by young authors.



«Редакция не обязана отвечать на письма граждан и пересылать эти письма тем органам, организациям и должностным лицам, в чью компетенцию входит их рассмотрение» (Закон РФ «О средствах массовой информации», ст. 42).

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Словесное сочетание «НОВЫЙ МИР» зарегистрировано ЗАО «Редакция журнала „Новый мир“» в качестве товарного знака по классам МККТУ 16, 38, 41, 42.

Редакция журнала «Новый мир» не имеет никакого отношения к деятельности одноименных компаний в Москве и за ее пределами.

Общественный совет: А. Г. Битов, С. Г. Бочаров, А. Г. Волос,
Д. А. Гранин, Б. П. Екимов, Ф. А. Искандер, Ю. М. Каграманов, А. А. Ким,
А. С. Кушнер, А. Н. Латынина, Б. Н. Любимов, А. М. Марченко, В. С. Непомнящий,
П. А. Николаев, О. А. Славникова, М. О. Чудакова

Главный редактор А. В. Василевский

Редакционная коллегия: М. В. Бутов, В. А. Губайловский, Р. Т. Киреев,
С. П. Костырко, П. М. Крючков, Ю. М. Кублановский, О. И. Новикова,
И. Б. Роднянская, О. Г. Чухонцев

Корректоры Н. Н. Замятина, С. Л. Лукогина

Редактор-библиограф А. И. Фрумкина

Компьютерная верстка — И. Н. Колесникова

Компьютерный набор — Т. В. Дорофеева

Адрес редакции: 127994, ГСП-4, Москва, К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2.

Телефоны: главный редактор — 209-57-02, ответственный секретарь — 209-91-81,

отдел прозы — 200-54-96, отдел поэзии — 229-56-92, отдел критики — 209-05-88,

зав. редакцией (хозяйственные вопросы) — 209-62-68,

для справок, продажа журналов — 200-08-29.

Факс: 200-08-29. Электронная почта: nmir@lenta.ru;

по вопросам зарубежной подписки: povu-mir@mtu-net.ru

Сетевой журнал «Новый мир»: http://magazines.russ.ru/novyi_mi

Свидетельство Министерства Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций ПИ № 77-15286 от 28 апреля 2003 г.

Учредитель и издатель — ЗАО «Редакция журнала „Новый мир“».

Сдано в набор 20.12.2004 г. Подписано к печати 10.03.2005 г. Формат бумаги 70x108 1/16. Бумага кн.-журн.

Офсетная печать. Объем 15,0 печ. л., 21,0 усл. печ. л., 27,0 уч.-изд. л.

Тираж 8700 экз. Зак. 318. Цена договорная.

Отпечатано в ФГУП «Издательство и типография газеты „Красная звезда“»,
123007, Москва, Хорошевское шоссе, д. 38.

ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРЕМИЯ ИМЕНИ ЮРИЯ КАЗАКОВА

Премия учреждена в 2000 году журналом «Новый мир»
и Благотворительным Резервным фондом.

Премия присуждается автору,
живущему и работающему в России,
за рассказ на русском языке, впервые напечатанный
в текущем году на территории России
(циклы и сборники рассказов, рукописи
и сетевые публикации не рассматриваются).

По итогам 2000 года лауреатом премии стал **ИГОРЬ КЛЕХ**,
по итогам 2001 года — **ВИКТОР АСТАФЬЕВ**,
по итогам 2002 года — **АСАР ЭППЕЛЬ**,
по итогам 2003 года — **ИРИНА ПОЛЯНСКАЯ**,

по итогам 2004 года —

БОРИС ЕКИМОВ

«Не надо плакать...» — «Новый мир», 2004, № 11.

Состав жюри:

РУСЛАН КИРЕЕВ, председатель жюри, прозаик,
зав. отделом прозы журнала «Новый мир»;
ПАВЕЛ КРЮЧКОВ, литературный критик,
сотрудник журнала «Новый мир»
и Дома-музея К. Чуковского в Переделкине;
МАЙЯ КУЧЕРСКАЯ, прозаик, литературный критик,
обозреватель «Российской газеты»;
АЛЕКСАНДР ЛЕБЕДЕВ,
депутат Государственной думы РФ,
президент Благотворительного Резервного фонда;
ДМИТРИЙ ШЕВАРОВ, прозаик, эссеист, литературный критик,
обозреватель газет «Первое сентября» и «Деловой вторник».

Сумма премии — 3000 \$.

Координатор премии
МИХАИЛ БУТОВ